

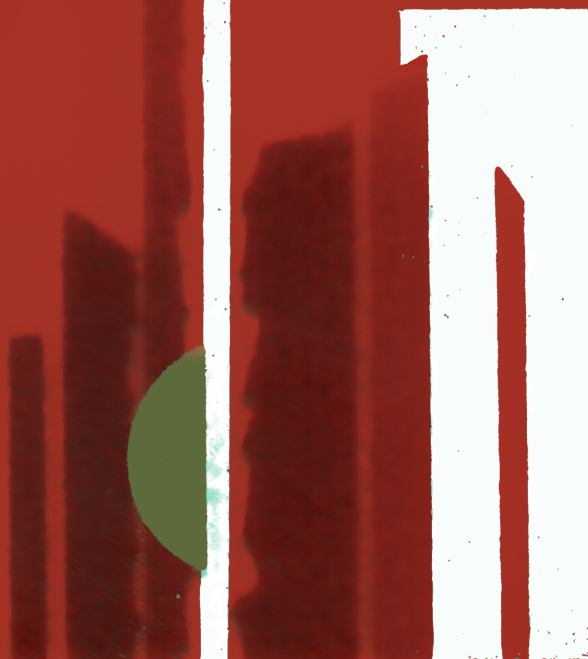
Африка

Литературный
альманах

Африка

Выпуск 1

Выпуск 1





**ЛИТЕРАТУРНЫЙ
АЛЬМАНАХ
«АФРИКА»**

«Черным гигантом» назвал африканский континент замечательный негритянский поэт США Лэнгстон Хьюз. К сожалению, несколько столетий руки и ноги этого гиганта были скованы цепями колониального ига. Но вот, благодаря революционным бурям нашего века, он выпрямился во весь рост и стал, одну за другой, рвать цепи угнетения и рабства. В наше время рушатся последние остатки колониализма, Африка свободна. Возрождаются ее народы, их великолепное древнее искусство, расцветает литература, в которую притекают свежие силы. Африканские писатели все активнее включаются в борьбу за лучшее будущее своей земли, против всего отжившего, мешающего движению вперед. Народы Африки и многие их писатели, художники, композиторы обращаются к революционному опыту нашей страны. С каждым днем крепнет дружба, соединяющая Советский Союз с многочисленными народами Африки. Естествен и понятен наш интерес к африканской литературе. Об этом свидетельствует и начало выпуска литературного альманаха «Африка», который призван знакомить читателей советской страны со всем лучшим, что есть в творчестве африканских литераторов, освещать жизнь Африки и ее культуру в разных аспектах, содействовать дальнейшему укреплению советско-африканской дружбы. От всего сердца желаю успеха альманаху в этой его благородной миссии.

МИРЗА ИБРАГИМОВ



ЛИТЕРАТУРНЫЙ АЛЬМАНАХ

Выпуск 1



Москва
«Художественная литература»
1981

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Громыко Ан. А.
Давидсон А. Б.
Ибрагимов М. А.
Исмагилова Р. Н.
Кулик С. Ф.
Осипов В. О.
Хохлов Н. П.

Составление
Б. Егорова

Оформление
В. Алешина

СОДЕРЖАНИЕ

Из современной ангольской поэзии

Перевод с португальского В. Михановского

Жофре Роша	
Командир Володя	9
На смерть Лэнгстона Хьюза	10
Энрике Герра	
Тюремная песня	11
Эужения Нето	
11 ноября 1976	12

Виктор Цоппи. Пока живет Хадиджа	17
Айша Лемсин	
ХРИЗАЛИДА. Роман. Перевод с французского И. Световидовой	20

Сенегальские рассказы

Перевод с французского Ф. Мендельсона

Роже Дорсанвиль	
Пять молитв мосье Ф.	164
Диейнаба и Любовь	172
Сада Веинде Ндиай	
Русалка	199

Е. Суровцев. Пегги Аппиа и ее герои	211
Пегги Аппиа	
ЗАПАХ ЛУКА. Повесть. Перевод с английского И. Архангельской и Ю. Жуковой	213

Джаред Ангира

Перевод с английского Э. Шустера

Псалом надежды	268
Соната для Сапфо	269
Новости	270
Жалоба горожанина: элегия «националиста»	271
Спокойная оратория	272
Тайна лагуны для стоков	272
Диалог	273
Желание	274
Арманда	274

Грейс Огот

Перевод с английского Л. Биндеман

Рыбак	276
Амулет из слоновой кости	289

Зеленомысские рассказы

Габриэл Марнану

Жизнь и смерть Жоана Кабафуме. <i>Перевод с португальского</i> <i>Н. Тараториной</i>	309
---	-----

Жоан Лопеш Фильу

Возвращение. <i>Перевод с португальского М. Демурина</i> <i>и А. Чужакина</i>	318
--	-----

Стихи разных стран

Энох Тиндимвебва

Белый шлем. <i>Перевод с английского Н. Тимофеевой</i>	323
--	-----

Коджо Гиннае Кьен

Время. <i>Перевод с английского А. Сергеева</i>	325
---	-----

Амин Кассам

Метаморфоза. <i>Перевод с английского А. Сергеева</i>	326
---	-----

Кеки Дарвулла

Черный дождь. <i>Перевод с английского А. Сергеева</i>	327
--	-----

Воле Шойинка

Гулливёр. <i>Перевод с английского А. Сергеева</i>	328
--	-----

Коле Омотосо

ТЕНИ НА ГОРИЗОНТЕ. Пьеса. Перевод с английского В. Перехватова	331
--	-----

Жан Рикенбур

Перевод с французского В. Швыряева

Ностальгия	364
Труженик	365
Малайский пантун	366
Чио-сан	366
Галантная дуэль	367

Статьи и очерки

Журналисты об Африке

Сергей Кулик

Мадагаскар: ожившие страницы	369
--	-----

Николай Хохлов

Нгуги из Кении	420
--------------------------	-----

Фольклор

ТУНИССКИЕ СКАЗКИ	438
----------------------------	-----

КАМЕРУНСКИЕ СКАЗКИ. Перевод с французского Е. Лившиц	444
--	-----

МОЗАМБИКСКИЕ СКАЗКИ. Перевод с португальского Н. Тараториной	446
--	-----



Жофре Роша

Жофре Роша (род. в 1941 г.) — видный ангольский поэт, общественный и государственный деятель, вице-президент Союза писателей Анголы.

Переведенные стихи — из книги «Так занимается рассвет» (1977), изданной Союзом писателей Анголы.

КОМАНДИР ВОЛОДЯ

Нет в мире савана, который бы покрыл
Тебя, сраженного, размахом скорбных крыл.
Нет пули той, чтобы сразить смогла
Отважного и гордого орла.

Знай: революционный твой порыв
Не погасит фугасной бомбы взрыв.
Борьба идет, ей не видать конца.
Струится пот с усталого лица.

В борьбе, Володя, сын своей земли,
Ты впереди, хоть и лежишь в пыли.
Солдат Народа, верной Дружбы сын...
Нас всех Свобода кличет среди руин.

Мы слышим все: ты продолжаешь петь!
Пред песней той отступит даже смерть.
Идешь в строю... не уронил ты знамя!
В святом бою гудит над нами пламя.

И в сердце, и кругом земля Анголы.
Ее леса, и города, и доли.
Звезда Анголы дышит и живет —
Грядущего надежда и оплот.

НА СМЕРТЬ ЛЭНГСТОНА ХЬЮЗА

«Я тоже Америка!..»¹
Да, ты тоже сын Америки,
Хотят они того или нет.

Пушай им это не по нраву —
Американец ты по праву!
От самой первой той войны за
Независимость
И до войны во Вьетнаме и Корее,
Американец каждым мускулом и нервом —
Первым был ты в любви к отчизне,
Пролил кровь в цемент ее —
Отвергнут ею.

Не признавая ни в чем конформизма,
Похожий лишь на себя,
Голосом, в котором звон
Цепей векового рабства,
Кричал ты, Хьюз:
— Я тоже Америка!

Да, Хьюз, ты был американцем,
Как и все они,
Хотя случалось:
Гость в дом —
И тебя отправляли на кухню.
Но тем тебя не унизили!
Пусть довлеет прошлого груз,
Что было — вспомяни!
Да, ты был американцем, Хьюз,
Таким же, как они.



¹ Строка из стихотворения американского поэта Лэнгстона Хьюза.

Энрике Герра

Энрике Герра (род. в 1937 г.) — ангольский поэт и художник. В настоящее время преподаватель университета в Луанде.

Принимал активное участие в борьбе за независимость Анголы.

Автор сборника рассказов «Одино-

кая хижина» (1962) и сборников стихов «Когда меня осеняет вдохновение» (1976) и «Избранные стихи» (1978).

Стихотворение «Тюремная песня» — из сборника «Избранные стихи», опубликованного Союзом писателей Анголы.

ТЮРЕМНАЯ ПЕСНЯ

Тот товарищ
Из тюрьмы шагнул,
Слезы горло
Яростно сжимали.
На прощанье
Мне рукой махнул...
Знаю: плакал он
Не от печали.
Плакал он,
Поскольку твердо знал:
Плач родит
И звонкий смех, и слово.
Вслед ему
Смотрел я и молчал,
Оставаясь одиноким снова.

Мой товарищ
Из тюрьмы шагнул,
Зная: друг его
Еще томится.
Миновал решетки, караул
С верой, что поднимется пшеница.

Кактусы цветами
Вдруг покрылись.
Песни с воли
В камеру пробились.

Тюрьма Кошиас
1965



Эужения Нето

Эужения Нето (род. в 1934 г.) — ангольская поэтесса, прозаик и общественная деятельница. Супруга покойного президента НРА А. Нето.

Ее книга для детей «И в лесах го-

ворили звери» была удостоена премии ЮНЕСКО.

Стихотворение «11 ноября 1976» — из сборника «Была надежда и была уверенность» (1976), изданного Союзом писателей Анголы.

11 НОЯБРЯ 1976

1

Пусть из саванны или с гор,
Пусть из долин или полей
Не донесется стон — укор
Прекрасной родины моей.
В невзгодах не напрасно закаленный,
Ликуй, народ страны освобожденной!
Идем вперед, усилия утروив.
Пусть спят в земле
Погибшие герои.

2

Народ ангольский не терпел насилья.
Те, кто отважен, расправляли крылья.
Поэты говорили нам о тех,
Кто время проводил в плену утех,
Кто пил, как будто воду,
Кровь народа,
Обкрадывал и мертвых и живых...
Но время шло, ударил час свободы, —
Тот долгожданный и великий миг.

Запомнит моя земля
Четвертое февраля,
Год шестьдесят первый огневой,
Когда мы ринулись отважно в бой!
И грянувший ураган
Промчался над сонмом стран,
Затронул все части света...
Народ не забудет это!

Восток запылал костром,
Но мы сражались с огнем, но мы сражались
с врагом

Среди чадающих пожарищ
За родину — светлый дом.
И мы победили, товарищ!

3

Ты знаешь ли, как замирают мгновенья,
Мгновенья печали, мгновенья прозренья,
И в каждом ты первые чуешь шаги...
Свирепствует ночь, и не видно ни зги.
Как вам рассказать о подпольной работе?
О риске, отваге, о точном расчете?
Мешать нам старались враждебные страны.
Но только трудились мы все неустанно:
Возили оружие на землю Анголы
Звериной тропой, сквозь горы и доли.
Ангола родная, запретная днем,
Гостей привечала во мраке ночью!

Четыре отряда на севе́р стреми́лись,
Четыре отряда за родину бились,
Отряды, отряды, их слава жива.
Их было четыре, осталось лишь два...

Созреет грядущего солнечный колос,
Возвысят погибшие смолкнувший голос, —
Тогда лишь Ангола нам скажет устало,
Как много достойных она потеряла,
Как много сынов на дорогах войны
Погибло за счастье родимой страны.
Они умирали, отчизне верны!

О жертвы кровавые! Вас ли забыть!
О память сражений, — тебя не избыть!
В реке не искали мы легкого брода.
Несли партизаны родному народу
Великое счастье, чье имя — свобода!

И солнце зажглось, и рассеялась мгла.
По трудным дорогам нас верно вела
Надежда народная — МПЛА!
Мы шли, не боясь, на задание любое.

Голодные, брали селения с бою.
Мы шли по песку без дорог и тропинок,
С жестоким врагом мы вели поединок.
Ангола, тебе посвящали усилья.
Мужали в полете неробкие крылья.
Последний свой вздох сыновья отдавали,
Избавить тебя навсегда от печали.

На утлых каноэ,
Средь бурной реки
Мы плыли — посудины были хрупки,
И плавать иные из нас не умели...
Но мы достигали поставленной цели!
Струится река, не река — душегубка.
Сторожко плывет не каноэ — скорлупка.
Дымится, как варево, водная гладь.
А берег далек, и к нему не пристать.

Да, все было так!
Но бывало похуже.
Вдруг кто-то случайно уронит оружие.
Тогда уж — как хочешь,
А вызволь со дна!
А волны круты́, и вода холодна...
Но мы-то оружие со дна доставали
И плыли, мечтая о дальнем привале,
О тайном причале.

На суше — засады.
Будь к стычке готов!
На суше — отряды проклятых врагов.

Поведаю, как шло вооруженье...
Свершая трудный, дальний свой поход,
Мы шли без страха на поля сраженья,
Где за свободу бился наш народ.

Непросто Южной Африки просторы,
Идя с Востока, тайно пересечь...
Пустыни, реки, пропасти и горы
Пройдя — сумей оружие сберечь!

Три тыщи километров до Лусаки...
Дар-эс-Салам остался позади.

Спешим, спешим, как будто мы в атаке,
И только гнев и боль кипят в груди.
Короткий отдых.... Дальше — до Сиконго.
Пусть небо злобно заревом объято, —
Мы к линии пылающего фронта
Бежим — там ждут оружия солдаты.

...Путь этот длился месяцы, пожалуй.
В руке кинжал, в кармане — пистолет.
Я не забуду сердца бег усталый
И африканский золотой рассвет.

Припомню караван... Боеприпасы
Во вьюках погрузили на ослов.
Покая с ними не было ни часу:
Осел, известно, затрубить готов!
Услышит враг — и все! Пиши пропало...
Шел караван натруженной рысцой.
Над нами солнце яростно пылало,
Благословляло наш священный бой!..

О, сколько жертв! Поверить невозможно...
Снаряды, мины, выстрелы в упор.
И даже ночью на сердце тревожно...
Но мы врагу готовы дать отпор!

Что это? Дождь? Нет — бомбы сыплют с неба
Напалм сжигает урожай и дом.
Опять народ останется без хлеба.
Гремит война... К победе мы идем!

Нас ждали крокодилы-жакарé,
Что падалью насытиться успели.
И трупы разлагались на жаре,
И пажити безлюдные чернели.

Но нам была свобода дорогá!
Мы книгу битвы яростно листали.
Мы шли вперед, чтоб победить врага...
Пусть горстка нас — мы сонмы побеждали!

Империализм предателей снабжал
Оружием своим сверхсовременным,
Изменников десятками скупал...
Но наступало время переменам!

Ничто их не смогло б остановить:
Ни бомбы, ни засады, ни Иуды...
Нам, умирая, так хотелось жить!
Анголу от врагов освободить,
И дружную семьей скорей вступить
В грядущее — неведомое чудо...

4

Помню, это было утром, раным-рано...
В трудную минуту пели партизаны:
— Я б хотел жениться, век с тобой прожить
Только нет подарка — к свадьбе подарить.
Лишь звезда на флаге, жаркая звезда.
И ее я буду защищать всегда!..
Даже если в пропасть ухнет колея,
Вспоминай солдата, милая моя!

Где страданию мера? Горек битвы дым...
Крепла наша вера. Знали: победим!..

5

Пусть же эхо ныне не смолкает, нет!
Горы и пустыни подтвердят вослед:
Нет врагам прощенья — пусть предатель знает.
Праведное мщенье факелом пылает!
Да, мы победили ложь, и тлен, и яд.
Ведь народной силе в мире нет преград!

День над отчизною веселый...
Да не померкнет он вовек!
Пускай история Анголы
В грядущее стремится свой бег.
Моя страна в ветрах весенних...
Соратники!..
Прошу я вас:
Кто больше помнит о сраженьях —
Пускай продолжит мой рассказ.

Перевод с португальского В. Михановского



ХРИЗАЛИДА¹

ПОКА ЖИВЕТ ХАДИДЖА

Айша Лемсин задалась дерзкой целью.

Дерзкой не только потому, что у нее было немало выдающихся предшественников, посвятивших свой талант описанию беспримерного подвига алжирского народа в освободительной антиколониальной битве. Вспомним Мулуда Маммери, Мохаммеда Диба, Катеба Ясина, Малека Хаддада, Абдельхамида Бензина. Но еще и потому, что молодая алжирская писательница дебютировала в очень трудном жанре, который можно было бы определить как семейная хроника, но который, по существу, есть хроника национальная, историческая. А если еще точнее, ее «Хризалида» — это эпопея нескольких десятилетий и нескольких поколений, сфокусированная в судьбе одной семьи.

Такое художественное решение необъятной исторической темы на столь небольшой «литературной площади» — задача исполинская. Символика здесь рискует обернуться ходульной ди-

дактикой, обобщение — претенциозностью, правда жизни — плакатным стереотипом. Но писательница доказала, что она — мастер. Тонкий, проникновенный, искренний. Скупой на риторiku и щедрый на глубокую любовь к людям, которых язык не поворачивается назвать «персонажами».

Когда отмечалось двадцатипятилетие алжирской революции, один французский политолог задним числом констатировал, что борьба алжирского народа за независимость была бунтом элиты алжирцев против неравноправия и несправедливости; словом, мятеж против презрения гораздо больше, чем против нищеты. Народ, который считали почти ничем и который обладал всеми достоинствами, требовал права стать хоть чем-то... Честная констатация, но далеко не полная.

Да, и бунт, и мятеж. И антиколониальная война. Но не только. Революция! А она, если настоящая, всегда прозренье. Путь к нему никогда ни для какого на-

¹ © «Des Femmes», 1977

рода не был и не будет ни легким, ни прямым, ни асфальтированным, ни освещенным яркими фонарями. Первые шаги по этому пути даются трудно и только людям, преисполненным мужества и убежденным в правоте своего дела. Первые вехи на этом пути преодолеваются в плотном и душном мраке прошлого, которое кажется незыблемым и вечным, как само мирозданье. Не оступается, не ошибается и не ушибается лишь тот, кто не осмеливается ступить на ту дорогу, кто мраку покорен, кто мраку — раб, кто не угадывает рассвета и не встает с колен ему навстречу.

Откуда взялись герои всенародного восстания 1 ноября 1954 года? А вот и из той оцепеневшей деревеньки, в которую мы вместе с Айшой Лемсин наведались еще в середине тридцатых годов, чтобы попрощаться с ее жителями только в середине семидесятых. Мы вошли наугад в один из домов, в герметически замкнутый микромир. Это крепость. Стены — смирение перед всевышним, повелевшим во веки веков жить так, и только так. Вера слепа, глуха, жестока и несправедлива. Она замняет надежду, запрещает мечту, топчет любовь, отменяет личность. Там, за стенами, которые после магического прикосновения к ним Айши Лемсин становятся для нас прозрачными, живут люди. Хорошие и плохие. Добрые и завистливые. Злоязыкие и работающие. Улыбчивые и суеверные. Люди, словом.

Когда мы с ними знакомимся, они еще и не помышляют о борьбе даже «за право стать хоть чем-то». Существование в замкнутом пространстве по освященным исламом неприкосновенным правилам их вполне устраивает. Устраивает оно мужчин, у которых, кроме дома, есть еще работа в поле, и мечеть, и неспешные беседы в кофейне, и «право иметь четырех жен». Устраивает оно и женщин, у которых, кроме неволи и обязанности рожать наследников, нет ничего. «Это мектуб — судьба, и с этим ничего не поделаешь». «Женщине, в силу ее положения, из всех средств борьбы оставалось лишь смирение».

Горше не скажешь и о самом Алжире тех времен — бесправной колонии великой Франции, начертанной на своих знаменах гордые слова: «Свобода, равенство, братство». И если в мусульманском обществе, как пишет Айша Лемсин, «женщина, в силу своего естественного послушания, являлась самым надежным завоеванием мужчины», то для колониальных империй не было более надежного завоевания, чем послушные народы колоний.

Законы общественного развития неумолимы и беспощадны к тому, что себя изжило и мешают иновой жизни. Наверное, философская весомость такой лирической книжки, как «Хризалида», прежде всего не во временном совпадении, а в гармоническом созвучии и синхронном развитии двух бунтов. Один — бунт лично-

го отчаяния прекрасной Хадиджи против «естественного послушания», ее открытый, хотя, казалось бы, обреченный на поражение бой за свою любовь, за свое счастье и человеческое достоинство, который делает ее во сто крат сильнее и свободнее, чем все вокруг. И другой — бунт непокоренного духа покоренного народа, обретающего свое национальное сознание, достоинство, свободу в революции, сокрушающей дотоле неприступную крепость колониальных порядков.

В этом переплетении судеб алжирки и Алжира нет ничего нарочитого, нет заданной схемы с предвидимым хэппи-эндом. Мрак и свет здесь не на дуэли — один на один. В книге живут живые люди со своими банальными, увы, слабостями и неповторимыми, к счастью, характерами. Преображаются они не по волшебству, и не сразу, и не целиком, и не все. Как не сразу и совсем не по волшебству меняется общество, в котором они живут. Новое рождается в муках и судорогах. Горе-злосчастье и дряхлая добровольно не уступает радости свое насиженное веками место.

Айша Лемсин не живописует. Стилль ее прост и строг. Язык лаконичен. Повествование искренне. Эмоции сдержанны. А читаешь — волнуешься. Как если бы это твоей жене деревенский шарла-

тан, предварительно напив ее гнусным снадобьем, надрезает палец. Как если бы твой сын ушел в партизаны и долго не давал о себе знать. Как если бы... Много в этой маленькой и скромной книжке страниц, которые не могут оставить читателя равнодушным.

Айша Лемсин — не сторонний наблюдатель того, что произошло и происходит в ее Алжире. Не свидетель защиты и не прокурор. Но — участник. Активный, убежденный, страстный участник процесса реконструкции человеческих взаимоотношений и самой страны. Это ее жизнь.

В эту жизнь как очистительная буря ворвалась новая вера — светлая и осмысленная вера в человека, в его разум, в его талант создателя, в его добрую «мектуб», в его теперь уже навсегда завоеванную свободу. Люди, с которыми подружила нас писательница, так и останутся нашими родными и близкими. Ближе и дороже всех нам Хадиджа. Даже боязно вообразить, что стало бы со всеми другими, если бы не она.

И когда мы думаем о новом Алжире, мы верим, что, несмотря на все заботы, тяготы, огорчения, он будет жить и побеждать, будет счастлив, пока живет на свете Хадиджа. А она бессмертна. Ведь она — народ.

Виктор Цоппи

А среди них есть такие, которые своими языками искривляют писание, чтобы вы сочли это писанием, хотя оно и не писание, и говорят: «Это — от Аллаха», а это — не от Аллаха, и говорят они на Аллаха ложь, зная это.

Коран. Сура 3

И будьте верны в мере, когда отмериваете, и взвешивайте правильными весами. Это — лучше и прекраснее по результатам.

Коран. Сура 17

*Моему мужу, Мариш
и Жаку, которые первыми по-
верили в «Хризалиду».*

Среди зеленого простора затерялась маленькая белая деревушка. Весь ее причудливый облик свидетельствовал о наивной фантазии ее строителей. Хрупкое и в то же время достаточно прочное творение из дерева и камня бросало, казалось, вызов времени и его холодному функциональному модернизму. Деревня эта как бы воплощала в себе ожесточенное стремление бедноты иметь крышу над головой. Кое-где к домам, обремененным памятью долгих лет, жались густые тени.

От главной улицы деревни, основной ее артерии, разбежались небольшие тупики. Эти пути, ведущие в никуда, созданы были мужчинами-ревнивцами для ограждения чести своих домов.

Над оцепенением теплых летних сумерек взметнулся крик. За ним последовал жалобный стон, пронесшийся, как метательный снаряд над равнодушием прохожих. Из глубины одного двора донеслись какие-то странные хлопки. Можно было подумать, что это хлопают дети, играющие в непонятную игру. Затем снова стон, монотонные причитания. И вдруг опять крик! Вопль!..

За одной из закрытых дверей дома, скрестив ноги, сидела на циновке женщина. Голова ее поникла в горестном отчаянии. Ее узорчатая, вся в складках гандура¹ напоминала огромный увядший лепесток. Изливая свое горе, женщина била себя по щекам и бедрам. Иногда она оглядывалась по сторонам, и в ее глазах вспыхивала ярость затравленного зверя. Лица ее нельзя было разглядеть, но выкрашенные хной волосы говорили об

¹ Гандура — длинная рубаха без рукавов.

уже немолодом возрасте, подбородок у нее оплыл, но руки были еще крепкие. Из-под пестрого платка, словно робкие языки пламени, выбивались пряди волос. Внезапно она вскочила, выпрямилась и погрозила небу. Рядом, подперев щеку ладонью, сидела неподвижно ее подруга. Задумчивый вид этой более молодой женщины впечатлял еще сильнее, чем безумные вскрики плачущей. Она, казалось, ушла всей душой в печальные видения прошлого. Заплакал ребенок. Молодая женщина как бы очнулась от сна и нырнула во мрак другой комнаты, безмолвной свидетельницы этого навеки застывшего мира — загона для женщин в чадрах... Немного погодя она вернулась с ребенком на руках. Голос ее зазвенел, словно льющаяся родниковая вода:

— Перестань плакать, Хадиджа! Ради Аллаха! Это мне следовало бы расцарапать себе лицо или вырвать сердце! Пора бы тебе уже привыкнуть!..

Хадиджа подняла пылающее от гнева и возмущения лицо, даже слезы не могли погасить живого блеска ее огромных черных глаз, как бы бросавших последний вызов убегающей молодости.

— Нет! Нет! Это всякий раз новая рана. И последняя наверняка окажется смертельной. Я одна, мне совершенно не на кого положиться.

Опечаленная этими словами, молодая подруга покачала головой:

— А как же дети? Ну, а я? О нас-то ты совсем позабыла?

Хадиджа потупилась, ей стало невыносимо стыдно. Затем бросилась к подруге.

— В вас вся моя жизнь! Ты хороший человек, Акила. Но эта новая женщина, которая явится сюда, эта Зина!.. О! Нет! Нет! Мне не выдержать этого испытания!..

В новом приступе гнева она расцарапала себе лицо ногтями. Слезы, которые катились у нее из глаз, смешались на щеках ее с кровью.

Испуганный ребенок снова заплакал. Акила с досадой опустила его на пол. Хадиджа перестала стонать и взяла ребенка к себе на колени. Своим надтреснутым голосом она принялась утешать его, ища в этом утешении бальзам для собственных ран. Ребенок потянулся к ней и залепетал:

— Мама! Мама!..

Тыльной стороной ладони Хадиджа вытерла щеки и прижала к себе ребенка. В ее глазах появилось робкое подобие радости. Она щекотала малыша, а тот заливался веселым смехом. И вскоре она забыла обо всем на свете. Младенческая невин-

ность заслонила на мгновение все нанесенные ей обиды, все горькие до слез переживания. В этой изумительной чистоте Хадиджа черпала силы. Она подняла голову. Судьба давно уже сдала ей все карты, и она, как могла, вела игру. Знала, что проигрывает, и все-таки чувствовала: не все плохо, ведь всегда так — что-то теряешь, а что-то находишь взамен. Она в это верила, должна была верить. Надежда, гордость, а может быть, просто тепло, струившееся от ребенка, придали ее надтреснутому голосу неожиданную твердость:

— Никто не посмеет причинить вам зло! Этот дом ваш... До тех пор, пока жива Хадиджа!

Своенравные тучи не подвластны весне. Они в любую минуту готовы заслонить солнце! Но ведь одного сияния солнца мало для радости. Тишину непрерывно нарушают голоса, исполненные отчаяния. Только улыбка ребенка, его доверчивый взгляд могут преисполнить нас восхищения.

Мир казался Хадидже непостижимой тайной, жестокие опасности, которые не подстерегают тех, кто греется у счастливого семейного очага или укрылся за надежной стеной здоровой торжествующей молодости, подстерегали ее семью. Грозный удар судьбы мог неожиданно обрушиться на ее близких, так уж получается, что жизнь учит слепой борьбе, лицемерию, лжи и ненависти. Хадиджа продолжала ощущать тепло ребенка, и ее сердце мало-помалу успокаивалось... В памяти всплывало прошлое, история ее жизни, похожая на тысячи и тысячи точно таких же; и она с горечью думала о том, как исковеркали эту жизнь установленные мужчинами обычаи.

Отцовский дом — они жили на юге страны — Хадиджа оставила уже давно. Было ей в ту пору шестнадцать. Впервые в жизни она ехала через равнины, доли и холмы под ликующие крики «ю-ю!» и радостные свадебные песни. После необыкновенно веселого путешествия она очутилась здесь, в этом краю, в деревне, где царили знакомые ей с детства суровые, непреклонные нравы. Для нее началась новая жизнь, приходилось уживаться со свекром и свекровью, с зятями и придирчивыми золовками. Муж, на ее счастье, оказался веселым жизнерадостным молодым человеком — старше ее всего года на четыре — он умел заставить ее забыть обо всех семейных неурядицах. Двадцать лет! Замечательная пора!.. Он любил подшучивать над ее наивностью, часто баловал ее тайком от всех: много ли надо, чтобы порадовать юную девушку и завоевать ее искреннюю привязанность. Хадиджа обожала своего мужа. Каждый день она благодарила небеса за ниспосланное ей счастье. Ведь, по обычаю, браки заключаются родителями, са-

ми молодые люди не имеют права на выбор, они даже не знают друг друга до той самой таинственной и волнующей брачной ночи, которая соединит их на всю жизнь. Радость Хадиджи была вполне понятна. Судьба послала ей молодого красивого мужа. Волосы у него черные, глаза — зеленые, лицо — такое светлое. А эти трепетные губы, с которых не сходит веселая улыбка!

В первые годы замужества Хадиджа жила совсем неплохо, хотя и подвергалась постоянным насмешкам свекрови и золовок.

По утрам, еще до петухов, она первая поднималась, чтобы испечь горячую лепешку, сварить кофе, подмести двор, прежде чем проснется весь дом. Мужчины завтракали все вместе и отправлялись на полевые работы. Женщины судачили, занимаясь своими ребятишками, а Хадиджа хлопотала по дому. На ее долю выпадала самая неблагоприятная работа, ведь она считалась «пришлой»; так как родилась не в этой деревне. Отцы молодых людей познакомились за несколько лет до того, во время паломничества в Мекку. Оба старца прониклись такой симпатией друг к другу, что решили поженить своих детей, чтобы скрепить связавшие их узы дружбы... Фанатический пыл и долгое путешествие окончательно подорвали здоровье престарелого отца Хадиджи. Он умер в священном краю. Согласно желанию старца, его погребли в благословенной земле Пророка. Отец Мокрана — так звали ее мужа — взял на себя заботу о соблюдении всех необходимых формальностей. Затем он отправился на юг, чтобы отвезти родным вещи покойного и утешить его семью. Старый хаджи¹ сдержал свое обещание и попросил руки Хадиджи для своего любимого сына Мокрана. Когда в деревне распространилась весть о предстоящем союзе, жители ее буквально остоленели от изумления. Трогательная история двоих старых хаджи, ореол тайны, окутывавшей невесту, возбуждали всеобщий интерес. Но вот радостным празднествам пришел конец, и сплетницы развязали языки. Женщины, что жили в своем замкнутом кругу, в наглухо закрытых дворах, после окончания хозяйственных дел каждый день принимались за перемывание косточек.

И думать было нечего, чтобы Хадиджа могла ускользнуть от пересудов. Подумать только, ведь ее выбрал отец, а не мать молодого человека, которой, по обычаю, принадлежало право решать, кто станет его женой. Женщину, у которой был сын, почитали, боялись, всячески ублажали все матери, мечтавшие

¹ Хаджи — так называют мусульманина, совершившего паломничество.

подыскать мужа для своих дочерей. Тонкая политика проводилась во всех местах встреч: в хаммамах¹, во дворах, особенно долгими ночами рамадана². В конце концов любой брак или развод решался женщинами. Мужчины покорно следовали мнениям своих жен. А тут все наоборот. Впервые на памяти деревни свекровь отстранили от решения брачных дел. Впрочем, последнее слово было все-таки за ней. Не прошло и года, как Хадиджа стала воплощением всех земных грехов. Первая ее вина была в том, что она не привезла с собой никаких драгоценностей, лишь пару золотых браслетов; сразу было видно, что приданое собрали второпях да и то, вероятно, благодаря настояниям ее будущего свекра, которому не терпелось увезти ее с собой. Женщин раздражало и доброе отношение свекра к снохе, а ведь эта Хадиджа даже не могла родить ребенка, как все остальные снохи, которые торопились утвердить таким образом свое положение! Ко всем этим «недостаткам» примешивался и еще один, совсем уж ни с чем несообразный: муж был без ума от нее. Весь стыд потерял, не пытался даже скрывать свою любовь к Хадидже. Слыханное ли дело, они так громко смеялись по вечерам у себя в комнате! Каждый взгляд, каждое движение своей жены Мокран воспринимал как милость, дарованную ему небом! О великий Аллах! А тут еще и почтенный свекор взирает на все это с растроганной улыбкой! Столько поправленных приличий не могли ей простить ни властная свекровь, ни тем более золовки. Вполне понятно, что в отсутствие мужчин они не упускали случая позлословить по ее поводу.

С самого утра Хадиджа беспрекословно выполняла всю работу, с радостью ожидая награды, уготованной ей в конце дня. Ночь приносила с собой жаркие ласки мужа. И в этих ласках без остатка растворялось чувство горечи, которое накапливалось в течение дня, забывалась всеобщая враждебность. Ее гибкое тело было податливо, словно глина, в руках мужа, удивленного и очарованного всплесками ее чувственности. Казалось, Хадиджа для того и родилась, чтобы удовлетворять пылкие желания Мокрана.

Но судьба, ревнивая ко всем проявлениям счастья, уже готовила им беды.

В доме шептались все громче и громче, вопросы становились настойчивее и коварнее. Хадиджа оставалась все такой же

¹ Хаммам — баня (араб.).

² Рамадан — месяц поста у мусульман.

тоненькой, как и была, и все выражали насмешливое удивление. Свекровь пристально следила за талией снохи. Хадиджа ходила в просторной гандуре и была стройна и ловка, словно газель, тогда как ее золовки, ежегодно производившие на свет потомство, гордились своей пышной округлостью. Они с важностью разгуливали по двору или лениво нежались в тени, подшучивая при каждом удобном случае над «костлявой» Хадиджей. Узкие бедра и плоский живот Хадиджи не только шли вразрез с принятыми здесь «канонами красоты», но, главное, являлись прямым оскорблением свекрови, которой требовались все новые и новые внуки. Хадиджа, однако, настолько была уверена в любви мужа, что не обращала внимания на все нападки.

Но тут на нее обрушился тяжелый удар: умер отец Мокрана. Ушел из жизни добрый и справедливый человек, главная ее защита и опора. Хадиджа оплакала его, как горячо любимого отца.

Над головой Хадиджи сгустились тучи. Ей недвусмысленно дали понять, что она-то и есть причина этого скорбного события... «Бесплодная женщина приносит только несчастье!» Над ней как будто тяготело ужасное проклятье! Она стала для всех воплощением бед. Свекровь, удрученная смертью своего супруга, возненавидела молодую женщину, осыпала ее упреками, а однажды, в приступе бешенства, даже побила, на радость другим невесткам.

Старуха, опасавшаяся новых несчастий, с каждым днем становилась все сварливее. Разумеется, дело не обошлось без вмешательства кумушек, разжигавших пламя ненависти. Мокран, который глубоко почитал мать, не знал, что и делать, он разрывался между этими двумя женщинами, каждую из которых по-своему любил. Чтобы спасти свой семейный очаг, он готов был даже обратиться к талебу¹, как посоветовала ему однажды вечером мать.

По старинному поверью, с появлением каждого нового человека в доме связывались все события, как счастливые, так и несчастные. Родился, например, ребенок, и семья собрала богатый урожай! Стало быть, ребенок сулит ей счастье! Эта вот молодая женщина принесла с собой удачу в семью мужа: до нее он едва концы с концами сводил, а теперь торговля его процветает, и все у него хорошо...

Старые мудрецы с джемаа², признанные знатоки Корана,

¹ Талеб — шарлатан, деревенский колдун (араб.).

² Джемаа — собрание и площадь, где оно происходит (араб.).

не раз сурово отчитывали невежд за богохульство. Как можно приписывать самостоятельность человеческим деяниям? Не predetermined ли все заранее? «Мектуб»¹ — отнюдь не порождение извечной лени, как полагают некоторые «смелые умы», напротив, это глубокая философия, предполагающая мудрость и мужество, столь необходимые для того, чтобы принимать удары судьбы... Увы! Гордыня, зависть или попросту робость заставляют порою забывать самые прекрасные заветы! А Мокран робел. Мать не давала ему покоя, требуя, чтобы он прогнал Хадиджу и женился во второй раз или же... обратился к талебу — только он и может изгнать вселившегося в нее злого духа. «О, Аллах! — сокрушался бедный Мокран. — Как повесить в то, что моя нежная, любящая жена одержима дьяволом? Но, с другой стороны, как объяснить эти странные совпадения?»

В конце концов мать сумела все-таки посеять в нем сомнения.

— Неужели ты не помнишь, — говорила она, — как сразу же после свадьбы тетя Зохра подвернула ногу на ступеньках бани?

Мокран ничего не помнил... Он только пожимал плечами: «На этих мокрых ступенях мудрено не поскользнуться. А уж о тетке и говорить нечего! Старая да к тому же еще слепая, как крот, долго ли тут до беды...»

— Взять хотя бы тебя, сын мой, ты сам на себя стал непохож! — не унималась мать. — Да, да, я прекрасно понимаю, ты женился совсем недавно, но это не причина, чтобы не ходить на джемаа!.. А ведь раньше ты, как твой отец (мир его душе!) и братья, совершал омовение пять раз в день, и по пятницам посещал мечеть. Теперь же ты радуешься любому предлогу, лишь бы остаться дома! Сразу же после работы бежишь сюда, пренебрегаешь своими друзьями, своими обязанностями правоверного мусульманина... Молчи, сын! Выслушай меня хоть раз! Мать у всех одна. И мне недолго осталось жить! — Вот так! Она превосходно знала, что играет на самых отзывчивых струнах. И Мокран начинал чувствовать за собой какую-то неведомую вину. — Прошел целый год, твой бедный отец (мир его душе!) и я, мы оба были горько разочарованы, что у вас нет детей, у других же твоих братьев... Нет надобности говорить тебе, какое значение мы придаем продлению нашего рода. Но с тех пор, как твоя жена появилась здесь, радость покинула наш дом!.. (Она явно преувеличивала!.. Мокран знал, что в этом доме было по меньшей мере двое счастливых: его отец,

¹ Мектуб — предписание, судьба (араб.).

который до последнего дня любил и голубил дочь своего друга, умершего в Мекке, дочь этого святого человека! И он, Мокран, преображенный светом любви!) Однако он не прерывал разглагольствований матери. А та продолжала:

— Твой отец (мир его душе!) никогда в жизни не болел! Он был еще в полной силе, несмотря на свои годы! Да простит мне Аллах, если я неправа! Но сам подумай, мой сын! Мыслимо ли, чтобы смерть нагрянула так внезапно, в то время как у него был всего лишь насморк. Нет и нет! Всему виной сглаз, все наши беды от него. Послушай же моего совета! Ее можно еще освободить от злого духа. Си-Тaleb просто волшебник. Ему удавались и не такие чудеса. Вам только надо сделать...

Мокран боялся сначала, что мать посоветует какую-нибудь жестокую затею, одну из тех, что так действуют на воображение простодушных женщин, — но выслушав ее, он вздохнул с облегчением: оказывается, речь идет о самой обыкновенной татуировке! Многие здешние уроженки украшали себя татуировкой, это считалось вполне естественным. Но Хадиджа! Мокрану претила сама мысль о том, что тонкой, смуглой кожи жены коснется раскаленным железом старый филин — деревенский колдун. Но ведь мать сказала, что он оттиснет всего лишь маленький крестик. Крестик!.. Как тут было не задуматься о традиционном значении некоторых знаков...

Хадиджа ни о чем не подозревала. Ей и не полагалось знать о том, что ее ожидает... Иначе «злой дух сатаны» переберется на время в другое убежище, а потом, когда опасность для него минует, возвратится в ее тело.

И вот однажды вечером, когда Хадиджа уже собиралась лечь спать, Мокран заботливо предложил ей выпить отвар. По его словам, в последнее время его стала беспокоить ее бледность. Молодая женщина немного удивилась. Отвар! Она и сама могла бы его приготовить! Но зная, с какой нежностью относится к ней муж, она решила, что он и в самом деле тревожится за ее здоровье. Свекровь каждый вечер пила перед сном теплый отвар, и муж, вероятно, отлил ей немного. Хадиджа терпеть не могла никаких снадобий, но, чтобы доставить удовольствие любимому мужу, взяла у него чашку, не обратив внимания на непривычно умиленное выражение глаз грозной свекрови.

Какая ужасная это была ночь! Мокран в страхе следил за своей женой. Она жалобно стонала, как будто была вся изранена. Тело ее корчилось, по лицу пробегали тени мучительных кошмаров... Она кричала, звала мужа. Испуганный Мокран прижимал ее к себе, нашептывая нежные слова утешения. Мать

подбадривала его, уверяя, что все идет как обычно в таких случаях. Отвар из таинственных трав, которыми снабдил ее талеб, придавал силы молодой женщине в ее борьбе с самим шайтаном. На рассвете Хадиджа как будто успокоилась, лишь изредка тихонько стонала. Тут-то и появился талеб. Тот самый, кого Мокран прозвал старым филином, да он и в самом деле походил на эту зловещую ночную птицу.

Мокран расстегнул рубашку, надетую прямо на голое тело, и все равно задыхался. Широко открытыми глазами смотрел он на странное видение, появившееся на пороге, а по лицу его струился жаркий пот. Показывая пальцем на Хадиджу, мать что-то шептала талебу. Наверное, рассказывала, какую беспокойную ночь провела молодая женщина. Одна из старших сестер Мокрана раздувала огонь в кадилънице. Кругом царила мертвая тишина. Даже птицы безмолвствовали. Талеб медленно двинулся вперед, и мать тотчас же закрыла за ним дверь. Впервые, с тех пор как все это началось, Мокран почувствовал ужас. Талеб был горбат. Лицо его покрывали глубокие морщины. Он смотрел на спящую молодую женщину странно горящими глазами, как будто даже ее не замечал. Присев возле нее на корточки, талеб вытащил из-под своего черного бурнуса алюминиевую коробку, похожую на коробку из-под печенья, которое продается во всех лавках. Мокран пристально следил за его порывистыми движениями. Впечатление было такое, будто он под гипнозом. Талеб подвинул кадилъницу к Хадидже и что-то забормотал своим гортанным голосом, который в безмолвии комнаты производил устрашающее впечатление. Повалил густой дым: Мокран уже не различал лица талеба, только по временам вздрагивал от его монотонного бормотания. Мать крепко держала сына за руку. Вдруг голос талеба зазвучал с грозной силой, отчетливо слышалось: «Откуда ты изыдешь, рогатый? Откуда ты изыдешь?» Его длинные, восково прозрачные руки лежали на груди Хадиджи. Она задыхалась. Неожиданно Хадиджа мотнула головой и едва внятно произнесла имя мужа. Мокран понял, что она зовет его на помощь. Он рванулся, собираясь спасти ее от этого сатанинского отродья, но мать успела удержать его. Трудно даже было заподозрить такую силу в женщине столь почтенного возраста. Взгляд Мокрана перебегал от жены к талебу, тот повторял свой вопрос. Вдруг молодая женщина встrepенулась. Измученная кошмарами, она открыла распухшие от слез глаза и с невыразимым страхом посмотрела на склонившегося над ней талеба. А он продолжал неумолимо твердить: «Откуда ты изыдешь, рогатый? Откуда ты изыдешь?» У Хадиджи вырвал-

ся дикий вопль, вопль несчастного, затравленного зверя: «Из моей руки! Из моей руки!..» Она упала на кровать, прижав к животу левую руку. Большой палец она спрятала в кулак, словно хотела уберечь его от неведомого врага. Мокран в ужасе отшатнулся, уж не стал ли он жертвой какой-то чудовищной галлюцинации? Талеб, наконец, умолк и поманил мать Мокрана. Она подошла к нему, а затем, кивнув головой, направилась к двери. Как только талеб прекратил заклинания, молодая женщина успокоилась. Дыхание ее стало ровным. Однако она по-прежнему прижимала к себе кулак. Мать принесла деревянную ложку, талеб тотчас же налил в нее желтоватую жидкость из крохотного пузырька. Он протянул ложку Хадидже, и она выпила с такой жадностью, будто горло у нее пересохло от нестерпимой жажды. Казалось, она окончательно пришла в себя. Лицо ее приняло обычное выражение. Заметив, однако, незнакомца, она удивленно заморгала глазами. Мокран подбежал к ней.

— Хадиджа! Как ты себя чувствуешь? Это Си-Талеб... мы позвали его, потому что ты больна...

Больна? Молодая женщина была ошеломлена. Правда, все тело у нее ныло, как от побоев... Что же все-таки случилось? Она устремила на мужа вопрошающий встревоженный взгляд. Мокран отвернулся и увидел, что талеб достает какие-то странные инструменты из своей коробки. Мокран знал, что должно произойти. Дольше уже нельзя было уклоняться от объяснений.

— Знаешь... Ничего страшного... мать говорит, что надо...

Заметив, что он мнется, путается в словах, мать поспешила перебить его. Уж она-то знает, что сказать. Глядя прямо в глаза невестке, она начала:

— Ты была очень больна, дочь моя, бредила всю ночь. Поэтому нам и пришлось позвать Си-Талеба. Он вылечит тебя. Сделает тебе едва заметную татуировку, и все будет в порядке.

При этих словах Хадиджа так и передернулась. О, нет! Все, что угодно, только не это! Ей всегда внушали страх эти неизгладимые знаки на коже. Многие женщины любят украшать узорами лицо, шею. Даже ее мать была татуирована! Но сама она не захотела подвергнуться этой болезненной операции. Почему же теперь вдруг?..

Свекровь властно сказала:

— Ты должна повиноваться! Ты стала жертвой сглаза. Талеб сделает тебе всего лишь маленький крестик... Вот и все... Это необходимо ради твоего же собственного здоровья, ради счастья твоего мужа и... во имя покоя в этом доме! Скажи ей сам, сын мой!..

Мокран обнял жену и взволнованно прошептал:

— Тебе даже не будет больно, вот увидишь...

Хадиджа знала, что некоторые женщины питают пристрастие к таинственным обрядам, но ее поразило, что все это происходит с ведома ее мужа. Обычно такие вещи делают тайком от мужчин. Мокран же относился ко всему происходившему с явным одобрением. Хадиджа устало пожала плечами...

Талеб взял левую руку Хадиджи. Несколько минут он созерцал линии ее ладони. Затем взял большой палец и с таким же вниманием стал изучать его. Хадиджа отпрянула. «Нет! Только не в этом месте!» Можно было подумать, что она старается защитить что-то очень для себя дорогое. Талеб долго смотрел на нее, и в глазах его, казалось, вспыхнул лучик сочувствия. Затем он быстро извлек откуда-то тонкий кинжал и вонзил его в палец. Брызнула кровь. Талеб вырезал крестик и впустил в ранку краску — ту самую сурьму, которой женщины красят глаза. Хадиджа и вскрикнуть не успела, как все уже было кончено. Человек этот и впрямь был знатоком своего дела. Хадиджа с отвращением разглядывала свой изуродованный палец и пятно крови, смешанной с черным порошком. Ее поташнивало. Мать засуетилась вокруг талеба. Она приказала своей дочери принести кофе...

— Мокран! — прошептала Хадиджа.

Пристыженный Мокран боялся увидеть слезы в глазах жены и закрыл лицо руками. Через несколько мгновений он поднял голову и с облегчением увидел, что в комнату хлынули первые лучи спасительного утра. Старый филин уже исчез. Хадиджа, казалось, спала, а, может быть, только делала вид, что спит? Мать позвала его завтракать, ему пора уже было выходить в поле вместе с братьями. Прежде чем оставить комнату, он на миг задержался. Уж не приснился ли ему страшный кошмар? — внезапно усомнился он. — Но нет, в комнате еще пахло благовониями, дотлевали курения. Рука Хадиджи лежала на одеяле. Большой палец сильно распух. Женщины трясли во дворе покрывала, братья нетерпеливо звали Мокрана. Неужели они ничего не слышали? «А если... если все это сплошное шарлатанство? — подумал он. — Хадиджа бредила под действием отвара. Когда талеб забормотал свои заклинания, нервы у меня были на пределе! Талеб обращался к Хадидже, будто к мужчине. Когда он говорил о рогатом, он, очевидно, имел в виду дьявола? Но ведь Хадиджа спала, когда он без конца повторял свой нелепый вопрос. Вполне вероятно, что она ответила только для того, чтобы отвязаться от него. А мы-то решили, будто это сам шайтан говорил ее устами. Да, но почему

она спрятала палец? Совпадение? Боялась, вероятно, что ей будет больно, вот и все. Старый талеп знает свое дело, за долгие годы занятия колдовством ему удалось проникнуть в глубочайшие тайники души. Но что, если в словах матери есть хоть доля правды?.. О, Аллах! Наставь меня на путь истинный!» Обдумывая происшедшее, Мокран так и не смог прийти ни к какому выводу. В конце концов, — решил он, — его молодая жена пострадала не так уж сильно, отделалась маленьким крестиком на пальце. Но будет ли от этого хоть какая-нибудь польза — это еще вопрос.

Хадиджа между тем успела оправиться от пережитого потрясения и наслаждалась вполне заслуженным отдыхом. Свекровь велела всем невесткам оставить ее в покое. В первый раз с тех пор, как Хадиджа переступила порог этого дома, она почувствовала заботливое отношение к себе. Ей принесли горячие оладьи с медом, чай с мятой. Сама свекровь поправляла ей постель. Казалось, что Хадиджа обратилась вдруг в могущественную богиню, дарующую небесную благодать. Она с горечью думала: «Если татуировки достаточно, чтобы завоевать любовь свекрови, я готова выжигать на себе крестики каждый божий день!..»

Жизнь мирно пошла своим чередом. Многие для Хадиджи изменилось. Вероятно, к лучшему. Золовки прекратили насмешки над ней. Всю домашнюю работу стали делить поровну. Свекровь заметно поутихла. Изгнав шайтана из Хадиджи, талеп вместе с тем лишил почтенную матрону ее бывшей воинственности. Все только дивились, видя, что Лалла Байа утратила всегдашнюю спесь и перестала сыпать колкостями. Сказывается, видимо, возраст, думали окружающие.

Лалла Байа и ее молодая невестка стали относиться друг к другу сначала дружески, а потом и со взаимной симпатией. Деревенские кумушки привыкли уже к нескрываемой враждебности свекрови по отношению к Хадидже, они были ошарашены такой внезапной переменой. Мокран втайне радовался миру, осенившему, наконец, его дом. Но, увы, ребенка, которого с таким нетерпением ждали, все не было. Прямо об этом не говорили, однако Мокрану с каждым месяцем становилось все труднее скрывать свое разочарование.

Дни текли в мирном согласии, все члены семейства были довольны жизнью, но тут снова стряслась беда. Как-то, вернувшись из хаммама, Лалла Байа слегла. То ли чересчур распарила свои старые кости, то ли простудилась, но только боль-

ше не встала. Миновала осень, и деревья снова расцвели как бы для того, чтобы миг смерти не казался таким зловещим. Лалла Байа умерла, примирясь с собой и с другими. Перед смертью она вознесла молитвы Аллаху за то, что он позволил ей угаснуть в кругу сыновей. Для нее, как и для всякой мусульманской женщины, то была высшая награда.

После ее смерти семейство распалось. Братья вместе со своими женами поселились на участках земли, доставшихся им по наследству. Во всем пятикомнатном доме не осталось никого, кроме Хадиджи и ее мужа. А ведь прежде там жило множество людей.

Наконец-то супружеская пара могла вздохнуть свободно. Но Мокрана стало всерьез тревожить бесплодие его жены. Вняв уговорам семьи и деревенских старух, Хадиджа обошла всех марабутов¹ в округе. Она пила отвары из таинственных целебных трав в надежде обрести наконец ребенка, который укрепил бы ее семейный очаг. Мокрану надоело ждать. Он стал раздражителен и без конца приводил в пример своих братьев и друзей, которых Аллах щедро одарил детьми. Он по-прежнему любил свою жену, но как тут сохранять спокойствие, когда на тебя жалостливо смотрят все знакомые и если не говорят, то думают: «Бедняга Мокран! Аллах не дал тебе детей!.. Жизнь твоя пройдет зря...»

Хадиджа утратила все свои прекрасные иллюзии и почти все простодушие. Она ожесточилась по отношению к другим, да и к себе самой. Сон, врачеватель всех бед и забот, покинул ее. До рассвета не смыкала она глаз, раздумывая над своим несчастьем.

И пока тяжелая серая мгла уползала сквозь щель между закрытыми ставнями, Хадиджа сосредоточенно обдумывала свое неясное будущее. В конце концов инстинкт самосохранения, свойственный и человеку и зверю, подсказал ей спасительный выход. Ребенок — вот лучшая защита от всеобщей враждебности. Эта мысль успокоила ее. Она закрыла уши для деревенских пересудов и призвала к себе на помощь гордость. Для начала она прогнала старую Гармиа, знахарку, которая ежедневно являлась, чтобы растереть ей живот и снабдить ее очередной порцией целебных мазей... Старуха вылетела от нее, ругательно ругая «проклятую Хадиджу», в которую вселился сам шайтан. Изливая свою досаду, матрона не преминула вспомнить досужие вымыслы былых времен. Однако Хадиджа, ничуть не страшась проклятий, решительно захлопнула дверь.

¹ М а р а б у т — святой, проповедник (араб.).

Мокран возвратился в этот день как обычно мрачный. Не сказав жене доброго слова, подтянул циновку к жаровне и стал дожидаться обеда. Жена встретила его радостно и с приветливым видом накрыла мейду¹. Она порхала, словно птичка, щебечущая в лучах солнца. Муж посмотрел на нее с любопытством.

— Ты чего так развеселилась сегодня?

Хадиджа лукаво улыбнулась. Ее раскрасневшееся от радости лицо сияло, словно полуденное солнце. Черные волосы, заплетенные в тугую блестящую косу, ниспадали до самой талии. Любуясь волнующей красотой своей жены, Мокран на мгновение забыл все свои невзгоды. Хадиджа уселась возле него и стала потихоньку посвящать его в план, который вынашивала все это время...

Мокран слушал ее ошарашенный, не в силах в то же время сдерживать легкой улыбки. Дерзость того, что она предлагала, превосходила все его ожидания. Что и говорить, характер у нее твердый. Она наделена удивительным жизнелюбием, смелостью и непреклонной волей, такие качества не часто встречаются у женщины, вынужденной повиноваться мужчине. Хадиджа умела гордо противостоять всем и всему. Мокран и сам-то в глубине души побаивался ее. Не раз случалось ему уступать ее прихотям.

Хадиджа рассказала ему, что решила обратиться к новому врачу, женщине, которая недавно вместе с мужем приехала к ним в деревню. В Хадидже ожила надежда. Все ее существо дрожало от нетерпения. Темные глаза наполнялись внезапными слезами, которые тут же осушал жар слов. Едва слышным голосом она призналась мужу, что не доверяет местным знахаркам. Только новый врач, «румиа»², спасет ее.

Мокран хорошо знал пылкий нрав жены. Но, черт побери, это слишком! Да она просто сошла с ума! Ведь ее муж — сын почтенного шейха Мулуда (мир его душе!)... Ей ли шататься по деревенским улицам и заходить к «руми»? Нет, нет, он не допустит этого! Воспылав праведным гневом, сын шейха Мулуда приказал своей жене выбросить эту мысль из головы. Но Хадиджа не унималась. Она клялась, что ни одна живая душа не узнает об этом. Она пойдет в сумерках, плотно закутавшись в покрывало.

Сказано — сделано. Завернувшись в хаик³, Хадиджа проскользнула к белому дому, стоявшему на склоне холма.

¹ Мейда — круглый низкий столик (араб.).

² Румиа — европейская женщина (араб.).

³ Хаик — белое покрывало (араб.).

На ее стук вышла девушка. Хадиджа узнала Фатиму, дочь главной мойщицы хаммама. Фатима ходила по домам, помогала на свадьбах или похоронах.

— Впусти меня и позови свою хозяйку!

— Кто ты? «Тбиба»¹ никого не принимает дома. Приходи в больницу!

Хадиджа не стала затевать спор, просто оттолкнула Фатиму и вошла в кухню. Фатима подняла крик. Хадиджа усадила ее на стул и сняла чадру.

— Как? Это ты, Хадиджа? Жена Си-Мокрана! Йа раби!² Что с тобой?

Фатима, конечно, была сильно удивлена, увидев такую женщину в чужом доме да еще в такой поздний час. Ведь дочерям и женам из почтенных семейств не полагалось вообще выходить на улицу, разве что по случаю какого-нибудь знаменательного события, и то лишь в сопровождении мужа, старухи или мальчика. Бедная Фатима не верила своим глазам и ушам — тем более, что гостья раскричалась, как у себя дома...

На шум прибежала молодая женщина с добрым, немного печальным взглядом. Фатима совсем перепугалась при виде хозяйки. Роста она была маленького, с худенькой, трогательно хрупкой фигуркой. Светлые волосы еще более оттеняли благородство черт ее лица. Она с любопытством разглядывала прекрасную дьяволицу, которая бурно жестикулировала под покрывалом. И Хадиджа уставилась на «румиа» с забавным удивлением. Такой ли она представляла ее себе? Разумеется, ей доводилось видеть европейских женщин: жену учителя, жену начальника жандармерии или жену лесника, который жил на отлете в просторном и красивом белом доме... Конечно же, они не общались с деревенскими женщинами. Иногда их видели всех вместе, в школьном саду, где они собирались, чтобы поболтать. Все они были уже в годах. Деревенским женщинам они представлялись жительницами другой планеты. Сверкающая от крема кожа, накрашенные губы, завитые щипцами волосы, — все это вызывало естественное удивление, но не восхищение. А женщина, представшая изумленному взору Хадиджи, была необыкновенно хороша.

В наступившей тишине Фатима рассказала хозяйке о цели прихода Хадиджи. По мере того, как девушка переводила ее слова, Хадиджа энергично кивала головой, ее пылающий взор

¹ Т б и б а — врач (араб.).

² О, боже! (араб.)

заинтересовал белокурую женщину (на самом деле она была не врачом, а фельдшерницей, помогала доктору-мужу в больнице). Оба они приехали недавно, но уже успели освоиться с обычаями и образом мыслей мусульман. Хозяйка очень быстро догадалась, что привело к ней Хадиджу. Обе женщины прониклись взаимной симпатией, и вскоре, с помощью Фатимы, между ними завязался оживленный разговор. Хотя они и принадлежали к разным народам и говорили на разных языках, они сразу же поняли друг друга, почувствовали себя союзницами. Между ними не было ничего общего, их объединял только пол. Но именно в этом, может быть, и кроется секрет того, что объединяет женщин. Тем, кто страдает от одного и того же векового зла, свойственна стихийная солидарность, две женщины могут стать непреодолимой силой, если действуют заодно, или же... могут стать пылкими соперницами, способными прибегнуть к самому дьявольскому оружию. Они слишком хорошо знают друг друга, инстинктивно угадывают самое сокровенное...

Единственное, чего опасалась Хадиджа, это столкнуться с одной из тех высокомерных «румий», которые снисходительно выслушивают просьбы туземцев. Горделивый нрав Хадиджи мог бы привести к скандалу. Деликатное отношение, с которым она встретилась, удивило и в то же время несколько сбило ее с толку. Эта женщина в глазах Хадиджи воплощала в себе знание, науку. А между тем, она чуть ли не извинялась за то, что не похожа на неожиданную гостью. Взгляд у нее был ясный, неназойливый, даже трогательно робкий. Хадиджу охватила внезапная нежность к этой «румий». Она решила во что бы то ни стало сделать эту женщину своей подругой и союзницей. А супругу врача заворожили красноречивые жесты, удивительно подвижное лицо и хрипловатый голос посетительницы, произносившей непонятные слова, которые тут же переводила Фатима.

В тот же вечер Хадиджа обо всем рассказала Мокрану. «Румий» согласилась лечить ее — разумеется, под строжайшим секретом.

Фатима, естественно, была в курсе всего происходящего, она не только служила переводчицей для своих хозяев и их пациентки, но и помогала Хадидже готовить лечебные ванны. Каждый день, как только стемнеет, Хадиджа отправлялась к «румий» для лечения.

А в деревне продолжали судачить о бесплодии жены Си-Мокрана и о его упорном нежелании жениться во второй раз. «Ведь он имеет право взять четырех жен! К тому же он доста-

точно богат, чтобы позволить себе роскошную свадьбу, да не одну. Эта женщина наверняка околдовала его...»

Чего же другого и ждать было от деревни или даже города с исстари установившимися обычаями! Священная цель брака — продолжение человеческого рода. И мужчина, почитающийся главой семьи, имеет полное право перед Аллахом и людьми прогнать свою жену.

Некоторым женщинам удавалось утвердить свою власть с помощью многочисленного потомства, особенно сыновей. Такие женщины становились впоследствии грозными свекровями, бесплодным невесткам не приходилось рассчитывать на снисхождение.

А деревенские кумушки! Под какими только небесами их нет! Не считаться с ними невозможно. Они кидаются друг к другу в бане или во время праздников и, захлебываясь, перемывают косточки и старым и молодым.

А тут случилось неслыханное событие. «Вы слышали?.. Хадиджа забеременела!.. Как, Хадиджа?.. Быть того не может!.. Ведь столько времени... Наверняка дело не обошлось без тетушки Фафы. Знаете ее?.. Мойщица в хаммаме, мать Фатимы... Еще бы! Ее дочь давно уже зачастила в дом Си-Мокрана... Ба! Хадиджа прогнала старую Гармиа, а сама, видно, пошла к другой знахарке, вот и все!..»

И сразу же молчаливая тетушка Фафа очутилась в центре внимания. Все льстиво улыбались ей, ее громко требовали то в один конец хаммама, то в другой — потереть спину... «Ай да тетушка Фафа, мы тебя недостаточно ценили. Ты знаешь свое дело куда лучше этой полоумной Гармиа... Хадидже не на что было надеяться...» Бедная тетушка Фафа всегда держалась в стороне от сплетен и заботилась только о том, чтобы заработать себе на хлеб. Она никак не могла понять столь внезапного интереса к своей скромной особе. «Дочери мои! — говорила она. — Оставьте меня в покое! С ума вы, что ли, все посходили? Я старая женщина, верю в Аллаха, а Аллах, как известно, карает за колдовство. Я честно зарабатываю себе на жизнь, не приписывайте мне дурных дел!» «Ах, вот как! — сердились женщины. — Должно быть, этой старой козе дорого заплатили, ишь как заносится!» Потом, сгорая от любопытства, они заходили в дом Си-Мокрана и поздравляли, зачастую искренне, без всякой зависти.

Хадиджа была хороша как никогда. Фатима дневала и ночевала у нее. Обе они, скрестив пальцы, распевали заклинания, дабы отвести все беды.

Родные и подруги толпились во дворе, пили кофе и при-

хотелось узнать, с помощью какого снадобья...

Почтенные матроны и думать забыли, а может, просто прикидывались, будто забыли, что когда-то и сами содействовали «чуду»...

Они восхищались красотой Хадиджи и пророчили ей красивого сына.

Что же касается супруги врача, то она радовалась втихомолку. «Румиа» передавала с Фатимой всевозможные витаминны для Хадиджи. Тайна соблюдалась свято. Никто и не догадывался, чем обязана Хадиджа «тбибе». В знак благодарности жена Мокрана посылала своей подруге горячие лепешки и хрустящее печенье, приготовленное ею самою. Она обожала Мариель. Не скоро решилась Хадиджа называть ее по имени, но в конце концов уступила настояниям подруги. Мариель смеялась, ей было приятно слышать свое имя, произносимое с раскатистым «р» этой удивительной женщиной, полной горячей признательности к ней.

В семействе Мокрана царило радостное веселье. В ожидании счастливого события были сделаны необходимые приготовления: сложен в мешки из козьих шкур кускус¹, запасено всевозможное печево. С другого конца страны приехали мать и сестра Хадиджи. Все радовались счастью в семье шейха Мулуда.

Но за несколько недель до родов Хадиджа приняла странное решение, которое чревато было новыми неприятностями. Она сказала мужу, что хочет, чтобы роды у нее принимала жена врача. Никаких повитух она к себе не подпустит.

Когда слух о ее решении распространился по деревне, поднялась буря негодования! Слыханное ли дело, чтобы в кругу людей, заслонившихся от мира стеной обычаев и ревниво оберегавших от вторжения незнакомцев свою жизнь, творилось такое... Шел тысяча девятьсот тридцать седьмой год. А в те времена почтенные деревенские семейства были обязаны следовать раз и навсегда установленным правилам. Это лишь беднячкам позволяется ходить с непокрытым лицом к роднику или на базар — для продажи циновок и глиняной посуды. Лишь они стоят вместе со своими ребятишками в длинной очереди у дверей больницы. Но женщина из «почтенной семьи» — никогда. Легко себе вообразить, насколько ошеломило всех поведение супруги одного из сыновей покойного Мулуда.

¹ Кускус — вид мучного изделия, из которого готовится арабское национальное блюдо.

Всюду, где собирались женщины, — в хаммаме, во дворах прядильщиц или вышивальщиц — только и слышно было: «Ну и Хадиджа! Видно, беременность ударила ей в голову! Экая гордячка! Отказалась от помощи наших деревенских повитух, которые испокон веков помогают женщинам разрешаться от бремени. Хочет, чтобы ее первенца принимала «румиа»!.. Как бы на ее дом не пало проклятье!»

Так судачили досужие языки. Однако Мокран не перечил своей упрямой жене. Он никого не слушал, в блаженной надежде стать в скором времени отцом.

И вот однажды, весенним утром, страстное желание Хадиджи наконец сбылось: у нее родился сын. Его приняли белые руки европейской женщины. Хадидже было в то время двадцать лет! По совету Мариель, Хадиджа, вопреки обычаю, не пеленала сына. Она позволяла малышу свободно дрыгать ножками и вместо традиционного оливкового масла смазывала его кожу мазями и присыпала тальком.

В доме Мокрана не прекращались празднества. Презрительное высокомерие кумушек уступало место восторгу при виде изобилия яств, которыми их потчевали хозяева.

Отец разгуливал теперь по улицам с гордой осанкой и с торжествующей улыбкой на лице. У него родился сын! Его мужская честь была спасена, и в доме царила радость.

И вдруг над головой Хадиджи снова сгустились тучи. У нее начались приступы внизу живота. Боль была такой острой, что у нее захватывало дыхание, казалось, будто ее режут ножом. Чувствовала она себя так плохо, что не в силах была заниматься домашними делами.

Сначала Хадиджа ничего не говорила мужу об этих тревожных симптомах, но когда сильное кровотечение уложило ее на целый месяц в постель, ей пришлось рассказать обо всем мужу. Мокран настоял, чтобы она пригласила врача. К больной пришла Мариель вместе со своим мужем. Оба они были поражены состоянием молодой женщины.

Последовал длительный курс лечения. В конце концов Хадиджа оправилась от болезни, но ее предупредили, что детей у нее больше не будет. Таков был результат знахарского лечения, к которому она в свое время прибегла.

Подошло время отъезда Мариель. Четыре года провела она в этих суровых краях и за это время привязалась к здешним людям, теперь ей с мужем предстояло вернуться к себе на родину, уступив место тем, кто приедет им на смену. Всего более

огорчала ее разлука с Хадиджей, с этим прямодушным, чудесным созданием. По пути в Алжир, где им предстояло сесть на пароход, Мариель снова и снова вспоминала свою последнюю встречу с темноволосой Хадиджей.

— Стало быть, ты все-таки покидаешь нас? — Черноглазая Хадиджа попыталась скрыть свою печаль за этими ничего не значащими словами.

Мариель ничего не ответила, и молодая женщина со вздохом добавила:

— Ты моя спасительница... И моя единственная подруга. Как странно, что я подружилась с европейской женщиной!.. Переведи, Фатима... Скажи ей, что я никогда не забуду ее.

Фатима торопливо переводила слова обеих женщин. Марисль, правда, говорила, по обыкновению, мало, больше слушала. Такой уж у нее был характер. В ее робких глазах лишь изредка зажигались лукавые искорки. Лишь огненным словом Хадиджи удавалось вызывать на ее лице веселую улыбку. Фатима знала, что в присутствии подруги ее хозяйка преображалась. Мариель становилась откровенной, и Фатима с удивлением читала открытую книгу ее чувств, Хадиджа умела убеждать, умела быть нежной и в то же время порывистой, иногда безрассудной. Одним словом, такой, какой мечтала быть Мариель!.

— Те, кто приедет на смену вам... — В голосе Хадиджи звучало разочарование. Она нервно звенела двумя золотыми браслетами, надетыми на левую руку.

— Следи за своим здоровьем! — говорила Мариель. — Ты вылечилась, но ведь, неровен час, можешь заболеть снова... Прошу тебя! Если понадобится, смело обратись к тем врачам, которые заменят нас...

Лицо Хадиджи передернулось.

— Нет, нет, все будет по-другому... На, возьми! — сказала она, протягивая один из своих браслетов. — Муж подарил мне их по случаю рождения Мулуда... Один я оставлю себе, а другой... Возьми на счастье!..

И в самом деле, все теперь было по-другому... Маленькому Мулуду исполнилось два года. Он весело перебирал ножками во дворе. Хадиджа внимательно прислушивалась к своему внутреннему голосу. Она чувствовала — детей у нее больше не будет. А муж молод. Значит?.. Мокран тоже это знал! Ему нужны были еще наследники, ведь у него много превосходных земель.

Время шло, бессчетные волны его накатывали, точно прилив, всякий раз несущий с собой что-то новое. В мечети, в кофейнях или в домах обсуждались деревенские дела, и у всех находилось, что сказать...

Мокран раздумывал над советами, которые давали ему старые друзья его отца. Само собой разумеется, ничто не ускользало от внимания жителей деревни.

Братья теперь упрекали его в нерешительности. У одного из них было три жены, у другого — две. Женщины прекрасно ладили между собой, вместе воспитывали детей и работа у них спорилась. Один из братьев преуспевал в разведении скота, другой — получал большие надои молока.

Мокран и сам работал без усталости. Только для кого ему копить деньги? У него всего один сын, и какой сын! Выращенный, можно сказать, под стеклянным колпаком. Мать купала его белье. Не позволяла ему ходить с непокрытой головой или босиком, как ходили другие ребята. Эти-то росли крепкими и уже не раз доказывали свою смелость на скалистых горных тропинках. А Мулуд был худеньким, тщедушным, нервным... Нет, Мокрану и в самом деле требовались другие сыновья, которые могли бы быть его опорой на старости лет!

По мере того, как подрастал сын, Мокран испытывал все большую досаду. Для своего возраста мальчик был чересчур спокоен, чересчур хрупок, даже чересчур красив, будто девочка: у него были пышные черные кудри и большие боязливые зеленоватые глаза. Нравилась ему только книжки с картинками, которые Фатима, по поручению его матери, покупала в городе. Да, Мокран был разочарован. Глядя на сына, он невольно думал: «Правду говорят старики, что огонь оставляет после себя пепел!.. Мы с Хадиджей — люди крепкие, выносливые, а сын у нас — слабенький!»

С появлением первых весенних почек в доме Мокрана началось странное оживление. Работник Мокрана с помощью других мужчин починил крышу с почерневшими от времени черепицами, заделал все дыры. Прогнившие брусья заменили новыми, вместо ветхой старой двери навесили нарядную дверь, выкрашенную в зеленый цвет. Стены побелили известью. Дом как будто помолодел. Соседки, явившиеся помочь стереть следы краски, трещали без умолку:

— Уж не Мулуда ли собираются женить?

— Мулуда?.. Это пятилетнего-то малыша? Помолчали бы лучше, кумушки. С ума вы, что ли, посходили?

Хадиджа не скупилась на резкие слова, желая поставить сплетниц на место. Она и сама толком не понимала смысла этих переделок. На все ее вопросы муж неизменно отвечал:

— С тех пор, как умерли мои родители, дом обветшал, его надо починить, привести в порядок. Надеюсь, ты не против?

Хадиджа в страхе предчувствовала, что на ее семейный очаг вот-вот обрушится новая беда. Близился рамадан, все женщины торопились навести порядок в домах, пополнить запасы перед постом.

Однажды вечером Хадиджа уложила сына и села шить, дожидаясь мужа, который с каждым днем являлся все позже, задерживаясь то на джемаа, то в кофейне. Вернулся он раньше обычного, со странно серьезным видом.

Мокран сел возле жены и принялся поправлять тюрбан. Это было у него признаком волнения. Хадиджа знала за мужем такую привычку и поняла, что он чем-то сильно озабочен. Сердце в груди молодой женщины бешено застучало. Она старалась сохранить спокойствие, пытаясь угадать, какой удар ее ожидает. Мокран откашлялся и начал так:

— Хадиджа, дорогая моя жена!.. Неужели ты не замечаешь, что дом этот чересчур просторен для нас! Помнишь, в былые времена нас здесь было двенадцать душ!.. О Аллах! Не знаю даже, как тебе и сказать!..

Тихонько положив рубашку, которую собиралась чинить, Хадиджа прошептала:

— Муж, говори, что у тебя на сердце... Я слушаю.

— Так вот! Сын наш подрастает точно так же, как растут и наши миндальные, инжирные, оливковые деревья. У нас нет, к несчастью, других детей. Такова воля Аллаха. Главное, что ты жива-здоровая... Ты знаешь, как я тебя люблю. Даже когда все, в один голос, уговаривали меня отказаться от тебя, я не сдался, потому что люблю тебя. Но сегодня долг повелевает мне взять другую жену, чтобы она дала мне сыновей, которых ты уже дать не можешь! Прости меня! Ты всегда будешь у меня на первом месте! Мать моего старшего сына. Мне нужна твоя помощь, твое доброе согласие...

Ах, Хадиджа! Если б ты только знала, как тягостно мне видеть ребятишек в домах у братьев. Да сохранит меня Аллах от зависти! Но когда я гляжу на них, я особенно ясно понимаю всю тщету своей жизни... К тому же Мулуд такой слабенький. Да пошлет ему Аллах сил! Чувствую я, не быть ему настоя-

щим крестьянином, таким, как мы все. Ему нужны братья, чтобы защитить его. А мне нужны сыновья!

Молодая женщина слушала его с ужасом. Происходящее казалось ей кошмарным сном. А между тем в глубине души она знала, что этот день придет. День, когда жизнь ее будет исковеркана! Сколько тому было примеров в семье. Этого следовало ждать. И все-таки она была захвачена врасплох. Это было одно из тех несчастий, которые — так ей казалось — обрушиваются на других. На всех других, но только не на нее...

И у нее не было ни отца, ни братьев, которые могли бы ее защитить. Жить было негде, кроме как здесь, в доме мужа... До чего же эти мужчины странный народ! У одной из сестер ее мужа рождались только девочки, однако ее муж не осмеливался жениться во второй раз, опасаясь братьев своей жены! А у дочери кади¹ вообще нет детей, к тому же она старше мужа. И что ж, она не падает духом: взяла у родственников на воспитание двух ребятишек (по мусульманским законам нет легального усыновления) и растит их, как своих собственных. Конечно, у нее есть защита. Хадиджа ощущала все свое одиночество и слабость мужа, который не в силах устоять под напором семьи. Она пристально смотрела на мужа, дожидаясь, что он еще скажет.

— Чего ты хочешь, прогнать меня?

— Нет! Что ты выдумала, жена? — Его зеленые глаза вдруг вспыхнули. Слегка покраснев, он смущенно расправил усы и признался, точно молодой влюбленный: — Так вот! Си-аль-Тажер предлагает мне свою дочь Уарду. Ей шестнадцать лет. — Он задумался на мгновение. — Я прошу тебя, ступай вместе с моими сестрами просить ее руки. Ты познакомишься с ней, и они увидят, что ты не против... Пойди завтра же, я хочу сыграть свадьбу до рамадана, тогда мы сможем провести этот месяц все вместе, тихо-спокойно, по-семейному. Что касается выкупа, то я договорился с отцом. Теперь дело за женщинами. Я рассчитываю на тебя!..

Последние слова он произнес с нежной улыбкой, а Хадидже казалось, что она впервые в жизни видит свои руки, она сосредоточенно разглядывала их, будто замороженная их очертаниями. «Ну, разумеется, — думала она, — все давным-давно решено...»

Теперь уже ничто не могло задеть ее. Она подняла голову и спокойным тоном сказала:

¹ Кади — судья (араб.).

— Хорошо! Пойдем спать, завтра мне придется встать пораньше, чтобы успеть приготовить угощение.

Мокран не посмел больше вымолвить ни слова. Он опасался гнева своей жены. Думал, она станет кричать, может быть, плакать. А она приняла известие о его новой женитьбе так, будто речь шла о самом обыкновенном празднике, к которому следует подготовиться. Взволнованный до глубины души, он прошептал:

— Да благословит тебя Аллах, Хадиджа, за твою доброту!

Наступила ночь. Таиться было больше не от кого...

Хадидже приснилось, будто она купается в реке, протекающей внизу, в долине. Она моет себе ноги, живот, наслаждается одиночеством. Но вот она выходит из воды и начинает искать свое платье. Его нет на месте — остались только старые сандалии... Вдруг послышался чей-то смех, и она видит вдалеке какую-то женщину, убегающую с ее одеждой. Женщина размахивает гандурой Хадиджи и вслед за ней откуда-то появляются и другие. И все они смеются, смеются... А Хадиджа содрогается от холода и стыда: как же ей, голой, пройти по деревенским улицам? Руками она старается прикрыть живот, зубы стучат...

Обливаясь потом, бедная женщина в ужасе проснулась. Ее глаза растерянно заморгали в темноте. Дрожащими руками она лихорадочно нащупала сынишку, который спал рядом. Тот застонал во сне. Она тихонько прижала его к себе и шепнула:

— Вещий сон!.. Мои сандалии — это ты, мой сын... Мой за-слон, моя единственная защита в жизни! Я — нагая!.. Совсем нагая!.. Но зато у меня есть ты. Для тебя я всегда буду самой сильной на свете.

Дочь Си-аль-Хаджи была свеженькой девушкой с правильными чертами лица, но без всякого обаяния. Тем не менее всем нравилось это упитанное лицо с невыразительными, но красивыми губами. Ее голубые глаза лишены были всякого лукавого задора, свойственного обычно молодости. Но эта полнотелая девица была убеждена в своей неотразимой красоте!

Она знала, что ее собираются выдать замуж за Си-Мокрана, у которого уже есть жена и ребенок, но это ее нисколько не смущало. Воля отца — значит, так тому и быть! «Она у меня молодая да красивая, стало быть, ее будут носить на руках», — с удовлетворением думала ее мать.

«Его жена? Да ведь она старуха! (Это в двадцать-то пять лет! Считалось, что в этом возрасте женщина уже отжила свое). К тому же и детей у нее больше не будет! Пусть радуется».

ся, что ее не прогнали совсем!» — так думала будущая супруга Си-Мокрана.

Хадиджа вышла из дома в сопровождении золовок, увешанных драгоценностями. Они несли с собой полные подарков корзины. «Надо пустить пыль в глаза будущим родственникам, — думали золовки. — Слепить, ошеломить «противниц» обилием шелка, золота. Вот только Хадиджа чересчур худа, все дело портит. Но ничего, зато мы в теле».

Женщины расположились в самой большой комнате, усевшись на мягкие диваны. Мейда ломилась от всевозможных лакомств. Хадиджа, державшаяся очень прямо, заставляла себя принимать участие в общей беседе, не лишенной двусмысленных шуток. Она улыбалась в ответ на намеки, которыми так любят упиваться женщины, оставаясь наедине друг с другом, особенно перед свадьбой. Мать Уарды ворковала, обращаясь к Хадидже:

— Йа Хадиджа! Поручаю твоим заботам мою Уарду! Надеюсь, ты будешь относиться к ней, как к родной дочери.

(Она не стеснялась в преувеличениях, хотя прекрасно знала, что у Хадиджи никак не могло быть такой взрослой дочери.)

— Она такая хрупкая, моя крошка Уарда! И ничего-то не смыслит в жизни...

— Я сама живу в доме с тремя другими, — вступила в разговор соседка. — Все мы прекрасно ладим друг с другом. Супруг у нас хороший, справедливый... В конце концов, мы ведь только слабые женщины, а хозяин — мужчина! Зато мы не знаем забот...

— Ничего себе слабые! — перебила Айша, старшая сестра Мокрана, славившаяся своим острословием и никогда не упускавшая возможности посмеяться. — О чем ты говоришь, дочь моя? Вас четверо, а он, бедняга, один? Это он слаб, его надо жалеть!

Все так и прыснули, ухватившись за бока. Хадиджа, превозмогая бурю, бушевавшую в ее сердце, с любопытством следила за своей золовкой. Никогда не разберешь: к кому из своих подруг, которые так и ласться к ней, она относится с уважением, а кого презирает. Ни одно празднество или сколько-нибудь значительное событие не обходится без Айши, неподражаемой Айши. Она не похожа ни на сестру, ни на братьев, те красивые, статные, она маленькая, толстая и, однако, очень нервная, что характерно обычно для худых. Она очень подвижна и обладает удивительным даром — освещать любое, самое бесцветное сборище. Отношения ее с Хадиджей столь же непонятны, как и ее характер. Она и над ней, казалось, вечно под-

трунивает. Вот и сейчас она с любопытством разглядывала каждую из присутствующих, словно перед ней было восьмое чудо света.

Появилась смущенная Уарда. Путаясь в своей новой, с иголочки, гандуре, она принесла поднос с чаем. И тут же подставила для поцелуя свои круглые щеки Хадидже. Та вздрогнула: «Она-то хрупкая! Эта корова! О, Аллах! И все-таки ей ни за что не поднять даже самого легкого матраса, так она, видно, избалована...» Девушка двигалась медленно, слегка вразвалку. Ее белые руки показались Хадидже чудовищно толстыми, ее душил смех, и в конце концов, не выдержав, она расхохоталась ко всеобщему ужасу.

— Нельзя ли и нам посмеяться вместе с тобой, Йа Ма Хадиджа? — холодно спросила мать. («Ма», произнесенное столь едким тоном, должно было указать Хадидже ее место — среди старух.)

Хадиджа не обратила ни малейшего внимания на эту колкость. К ней уже вернулось хорошее расположение духа, и она ответила:

— Йа халти¹ Зохра (она сделала ударение на слове «халти»), меня рассмешила трогательная робость твоей дочери, я хочу подружиться с ней и научить ее смеяться вместе со мной.

Уарда потупилась. Женщины сочли ответ Хадиджи весьма находчивым.

Старшую жену отправили на кухню. Дорогу молодой!

Свадьбу отпраздновали с большой пышностью, как того требовало положение супругов в обществе. Семь дней и семь ночей не смолкали радостные крики «ю-ю!». Звенели песни, братья и друзья новобрачных взрывали петарды.

Хадиджа работала, как одержимая. Ее сын тоже принимал участие в празднествах, его старались приласкать все женщины. Мальчик, которому со времени обрезания ни разу не доводилось видеть столь радостного события, остался очень доволен.

Но вот свадьба позади.

Хадиджа открыла окно. На улице было безветренно, жарко. Она скользнула взглядом по высокому, мощному тополи, который рос во дворе. На циновке возле нее играл сын, он выре-

¹ Халти — тетя (араб.).

зал из книжки цветные картинки. Глаза ее устремились на запертую дверь спальни. Уарда все еще спала. Мокран куда-то ушел. Ей вспомнилось время, когда в зеленой спальне с мягкими матрасами жила она сама...

Печаль и сожаление омрачили на какой-то миг ее взгляд, но тут же исчезли. После вторичной женитьбы мужа она решила не обнаруживать своих чувств. Осевшая где-то в глубине сердца горечь то пробуждала в ней увядшую молодость, то делала ее вдруг сухой и надломленной. У нее был теперь совсем другой настрой. Стремясь приспособиться к новому существованию, не уронив в то же время достоинства, Хадиджа перестроила свою жизнь: отныне она взяла на себя все домашние хлопоты. Это она задавала ритм всей семье. А когда силы ее иссякали, она черпала мужество, твердость и веру в себя в своем маленьком сыне. Впрочем, обошлось без резких потрясений.

Уарда спокойно вторглась в ее владения и принимала все блага, как должное. Точно царица, сменившая другую! Ей казалось вполне естественным, что она расхаживает в шелках, а Хадиджа прислуживает ей. Мокран упивался своим счастьем. Пышные формы молодой супруги распалили в нем пылкость, угасшую от долгой привычки к первой жене.

С появлением в доме нового члена семьи работы у Хадиджи прибавилось. А Уарда отнюдь не собиралась утруждать свою особу.

Родные молодой жены ежедневно являлись в гости. И Хадиджа, само собой разумеется, подавала им кофе и сладости, а зачастую и кормила обедом. Оставалось только надеяться, что со временем эти посещения прекратятся.

Так вот, в тот день, оставшись наедине со своим старым другом, тополем, Хадиджа приняла решение поговорить с Уардой: она чувствовала себя совершенно разбитой, и физически и морально. Муж больше не удостоивал ее своими посещениями. По-прежнему был ласков и приветлив с ней, но целиком поглощен новой любовью.

Хадиджа сварила обед, прибрала, как обычно, в доме. Уарда открыла, наконец, окно и очень мило попросила Хадиджу принести ей чашку кофе.

Хадиджа села подле Уарды и начала с привычной для себя откровенностью:

— Уарда, вот уже два месяца, как ты замужем. Я хочу поговорить с тобой начистоту. Праздник кончился, и одному

только Аллаху ведомо, как я еще держусь! У нас один муж на двоих... И дом тоже один на двоих, а это накладывает на нас определенные обязательства. Для меня главное — это домашняя работа. Сама понимаешь, что ты должна мне помогать, и прежде всего убирать свою комнату. Слава богу, у нас во дворе есть колодец, и нам не надо ходить за водой на другой конец деревни. Каждой из нас по очереди надо стирать и готовить еду. О своем сыне я, разумеется, позабочусь сама!

Уарда слушала, старательно занимаясь своим делом: высушив язык, она подводила глаза. Пытаясь сохранить спокойствие, Хадиджа возвысила голос, будто разговаривала с глухой:

— Если хочешь, мы поговорим об этом с Си-Мокраном. Только это смешно, такие вещи женщины обычно решают сами.

Уарда повернулась наконец к Хадидже.

— Хорошо! С завтрашнего дня я буду стирать и готовить, так что ты сможешь отдохнуть. Но предупреждаю, — сказала она, заливаясь детски веселым смехом, — я не так скоро на руку, как ты! Я ведь наблюдала за тобой! Ты, точно ветер, налетаешь на посуду, и в одну минуту все вычищено, вымыто, высушено... А матрасы! Я видела, как ты их взбиваешь! Откровенно говоря, у меня даже голова кружится, когда я смотрю, как ты это делаешь. Потому-то я и не открывала окно, дожидаясь, пока ты кончишь. Знаешь, мать всегда подшучивала над моей медлительностью. Это из-за моей полноты...

И она снова радостно засмеялась.

Глядя на ее свежее, порозовевшее от беззаботной веселости лицо, Хадиджа сказала таким же точно беспечным тоном:

— Мне это безразлично! Делай, как умеешь, только помоги мне, а то я очень устала.

— Ты и в самом деле чересчур худая, Лалла Хадиджа (словом «лалла» Уарда хотела выразить свое уважение к старшей супруге). Не стоит так расстраиваться... Ничего не поделаешь, «мектуб»...

Закрыв глаза, Хадиджа прошептала:

— Я всегда была такой! Никогда у меня не было ни капельки жира, зато я крепкая. Не в обиду тебе будь сказано... я ни за что на свете не хотела бы быть похожей на тебя! Тебе надо хоть немного похудеть, вот увидишь, сразу легче станет дышать.

Ее юная соперница поджала губы и сказала:

— Си-Мокран говорит, что я и так хороша!

— Ох уж эти мужчины! — пожав плечами, ответила Хадиджа, поражаясь обезоруживающей наивности Уарды.

В словах, которыми обменивались женщины, не было и тени враждебности. Они спокойно беседовали, а маленький Мулуд играл возле них.

Жизнь в этом белом доме протекала внешне спокойно и счастливо. Несколько месяцев спустя Уарда забеременела. То была большая радость, особенно для Мокрана. Вместе со своим тестем он строил бесконечные планы в деревенской кофейне.

Новость быстро распространилась по всем соседним дворам. Каждый советовал обратиться к той или иной повивальной бабке, ибо в памяти у всех еще живо было воспоминание о том, как Хадиджа потребовала, чтобы роды у нее принимала европейская женщина-врач. Именно этому обстоятельству молва приписывала «проклятие», которое тяготело над Хадиджей, нарушившей священные законы предков. Опасаясь пагубного влияния бесплодной соперницы, мать Уарды, по наущению деревенских кумушек, не отходила от дочери ни на шаг, заранее остановив свой выбор на старой Гармии, принимавшей всех отпрысков в «добропорядочных» семьях деревни. Эта женщина с изрезанным бесчисленными морщинами лицом и вечно слезящимися глазами без ресниц была похожа на тощую горную козу. Она снабжала местных жителей всевозможными амулетами. Никто не сомневался в том, что она владеет секретом «бараки». Гармия уверяла, что ей достаточно поколдовать над несколькими волосками, и вечная любовь гарантирована. У нее водилось приворотное зелье. Колдовала она и над свежими, прямо из-под кур, яйцами: ее заклятья укрощали строптивых супругов, любовников или сыновей. К ней в дом, боязливо озираясь, частенько входили мужчины и женщины, чтобы предсказаниями грядущего счастья заглушить свое горе, чтобы обмануть повседневность несбыточными мечтами. Старая Гармия умела гадать на картах. Все страшились навлечь на себя ее гнев. Слова ее имели власть над всеми жителями деревни, богатыми и бедняками. Независимо от времени года старуха всегда куталась в цветные шали. Никто не мог определить ее возраст. Она как бы срослась с замшелыми камнями деревни. Во время родов ей помогали две женщины, с трепетом исполнявшие любое ее приказание. Говорили, будто у нее есть аттестат акушерки, выданный ей административными властями.

Гармия всегда недолюбливала Хадиджу, а уж с той поры, как та подружилась с «румией», и вовсе ее возненавидела.

В дом Мокрана Гармия явилась торжествующей победи-

тельницей. Хадиджа никак не могла повлиять на ход событий и решила попросту не замечать ее.

Близился срок родов, а Уарда между тем с каждым днем слабела. У нее стал такой огромный живот, что она ни в чем не могла обходиться без помощи матери и Хадиджи. Роды угрожали быть трудными, предсказывали двойню. «Да о чем беспокоиться, когда тетушка Гармиа тут?» — твердили все в один голос. Только Хадиджу тревожило состояние Уарды. А та ничего не понимала в женских делах и в страхе искала утешения у Хадиджи, инстинктивно угадывая, что она одна обладает здравым смыслом.

Предчувствуя беду, Хадиджа умоляла мужа отправить Уарду в больницу. «Дома, — говорила она, — твоя жена умрет на руках у этих бабок!..» Мокран заколебался было, но мать Уарды, испугавшись слова «больница», принялась поносить Хадиджу, называя ее колдуньей, приносящей всем несчастья! «Да, да, это она сглазила мою дочь! — твердила она. — А теперь хочет спровадить ее в больницу, точно сироту!..»

Хадиджа, на долю которой выпало столько унижений в жизни, решила молиться за Уарду, в надежде, что все как-нибудь обойдется.

Уарда родила близнецов: мальчика и девочку. Они были уже мертвые, а мать их, истекая кровью, жалобно стонала. Вскоре, ко всеобщему ужасу, Уарда умерла.

Тетушка Гармиа всюду кричала, что бедняжку Уарду сглазили. Но убитые горем родные оставили без внимания разглагольствования старухи, покорные судьбе, «мектубу», они печально примирились с неизбежностью.

Мокран стал мрачен, как никогда. Почти все время он проводил в доме у тестя, возвращаясь к себе все позже и позже.

Долгий и трудный год близился к концу. По-прежнему хрупкий и болезненный Мулуд поражал всех своими успехами в школе. По мере того как мальчик рос, усиливалась его тяга к одиночеству. А это сильно огорчало отца, который никак не мог смириться со своей горькой участью. Других сыновей у него не было, и какая-то таинственная злая сила рушила все его надежды.

Отношения между ним и женой стали чисто плотскими. Мокрана охватывало порой неудержимое желание. В такие минуты он забывал мучившие его кошмары, хотел любить только Хадиджу. Но единственная тень омрачала всю его жизнь: жена не могла дать ему других детей. А ему требовались дети, прежде всего сыновья. Это был человек прямой, благородного ума и большого сердца, но в нем укоренились традиционные

представления о предназначении мужского пола. Одного сына достаточно, чтобы облегчить ему жизнь! Иметь же нескольких сыновей — высшая радость на земле!

Си-аль-Хаджи-аль-Тажер был набожным старцем, его почитала вся деревня. Ловкими интригами он умел одолеть всех своих недоброжелателей. Бывший участник войны 1914—1918 годов, северо-африканский стрелок, награжденный медалью за храбрость, он воспользовался своими заслугами, чтобы упрочить свое положение политика: к нему с уважением относились местные колониальные власти, а окрестные жители побаивались его. Его приветливый вид и медоточивые манеры действовали безотказно, даже Мокран, известный своим презрением к «руми» и тем, кто с ними сотрудничал, поддался тщательно рассчитанному обаянию старика.

В последнее время аль-Хаджи вошел во вкус своей новой роли — ему нравилось подыскивать жен для Мокрана. Он советовал тому снова жениться.

— Сердце мое разрывается, сын мой, — говорил он, — когда я вижу твою печаль. Дочь моя умерла, так повелел Аллах, а вот тебе следует подумать о потомстве!..

Хаджи предложил ему в жены свою юную племянницу. Она была сиротой и жила у него после смерти родителей. Приданое за нее давалось более чем скромное. Просить ее руки по всем правилам не было никакой необходимости, аль-Тажер считал, что обсуждать тут нечего. Дело было решено после торжественной вечерней молитвы в мечети.

Еще одну свадьбу сыграли в доме Хадиджи, но на этот раз наспех и скромно, без тамтамов и торжествующих криков «ю-ю!». Так Акила сменила свою двоюродную сестру в зеленой спальне. Было ей двадцать лет. После смерти своего отца (брата Си-аль-Тажера) Акила всецело зависела от милости богатого дядюшки и его жен. Девушка и не надеялась на брак с таким человеком, как Си-Мокран. Но дядя еще раз показал свою ловкость. Он сумел разом избавиться от лишнего рта и породниться с простодушным Мокраном. Скотина его отныне могла беспрепятственно пастись на полях соседа.

Хадиджа и Акила сразу же привязались друг к другу, их объединили тайные горести и взаимная симпатия.

Достаточно ли одного солнца для радости!.. Однажды, в безмолвии прекрасного летнего вечера, Хадиджа глубоко задумалась.

Ей уже тридцать лет. У нее есть десятилетний сын, единственный, других не будет. Есть у нее муж, — когда-то она верила, что он принадлежит ей, ей одной, а теперь вот выну-

ждена делить его с соперницей... И если бы только с ней одной!.. По мусульманским законам мужчине разрешается иметь четыре жены. До тех пор, пока Мокран не обеспечит продолжение своего рода, свадьбам, видно, конца не будет.

Одна. Совсем одна, никого, кроме сына, у нее нет. «Ах! — уверяла себя Хадиджа, — мой сын ни за что не останется жить здесь, в этой глуши! Ему будут открыты все дали». Сама того не сознавая, Хадиджа мечтала, что сын сумеет осуществить ее собственные несбывшиеся надежды. Какое счастье, что на земле живет ее мальчик, через него и она сможет приобщиться к знаниям, к новым мыслям, ко всей мудрости мира!

«Пусть уезжает!» — молила ее душа, истерзанная пережитыми бедами. «Пусть уезжает подальше от этой деревни! — зывало ее израненное сердце. — Я не хочу, чтобы он превратился в тупого мужлана, не имеющего никаких достоинств, кроме мужской силы, стремящегося наделать побольше детей и подсчитывающего свои скудные доходы после каждого урожая... Не хочу, чтобы его взгляд упирался в серые стены деревенской кофейни, а все мечты сводились к тому, чтобы не ударить в грязь лицом перед соседом! Мой сын узнает другую, вольную жизнь... Как говорила моя подруга Мариэль: «Пусть твой мальчик свободно резвится на солнце...»

Да, да, ее сын заживет свободно. И тогда жадным глазам Хадиджи откроется новый мир. Независимость сына придаст ей новые силы.

Это и будет ее наградой. Битвы вести не ей, женская доля обрекает ее на смирение. Существуют правила, которым необходимо следовать, и законы, которым надо повиноваться, хотя бы для того, чтобы не уступить свое место сопернице. Приходится играть свою роль до конца, дабы сохранить достоинство в этом замкнутом женском мире, где ревность считается непростительным пороком.

То были времена всемогущества сплетен, которые губили и возвышали целые семьи. Извечный ужас перед тем: «А что об этом скажут?» — заставлял людей прятаться в панцирь лицемерия. Запреты убивали в них все душевные порывы.

Тогдашнее население страны делилось на три категории людей. К первой относились европейцы, стоявшие у кормила колониальной власти, у них были свои обычаи, своя религия, свои привилегии. Они были чужестранцами, и подражать им не следовало. На их стороне была сила, и они всей душой презирали «некультурных» туземцев. Ко второй категории принадлежали те, кто стоял на страже «цивилизаторской» миссии оккупантов, то были влиятельные алжирцы: богатые мусульмане,

пособники колонизаторов, друзья чужеземцев. Эти во всем старались подражать хозяевам, посылали своих дочерей в школу, давали им высшее образование, позволяли своим женам ходить без покрывала и даже занимались политикой. Они составляли своего рода «туземную цивилизованную аристократию». Для того, чтобы получить назначение на некоторые административные посты, требовалось принять французское гражданство, но несмотря на все выгоды, которые сулила перемена гражданства, те, кто решался на этот шаг, таились от своих соотечественников. Им было стыдно...

Остальные же, темная масса офранцузенных мусульман — мелкие торговцы, феллахи, рабочие, — жили замкнуто, цепляясь за свои традиции и обычаи, неукоснительно следуя заветам Корана. То был для них единственный путь приобщения к культуре. Семья — крепкая ячейка, где они чувствовали себя свободными! Их дети — бесспорная ценность, утверждавшая их мужское достоинство. Чтобы оградить свою личность от натиска современности, они жестоко искажали заветы священной книги, на самом деле такой простой и терпимой по самой своей сути. Всякого рода запреты, ханжество святош охотно поощрялись оккупантами, ведь фетишизм, как известно, и есть опиум для народа. Некоторые брали себе четырех жен. Под любым предлогом замужнюю женщину могли выгнать, отослать обратно к родителям, те же, у кого рождались одни девочки, считались проклятыми (в том случае, разумеется, если семьи жены и мужа не были связаны каким-либо общим интересом).

Женщин, таким образом, держали в постоянной зависимости от мужчин.

Однако, если не принимать во внимание традиций, женщины, в силу своей природной покорности, представляли собой наиболее надежное приобретение для мужчин. Несметный полк темных женщин был залогом сохранности и оправданием исконных ценностей.

Почему, спросите вы, женщины представляли собой наиболее надежное приобретение для мужчин? Ну, прежде всего потому, что их с детства готовили к тому, чтобы они были выгодным помещением капитала для своих хозяев. Причем, по сравнению с городскими, деревенские женщины играли более значительную роль в общественной и экономической жизни своей среды.

И в самом деле, разве не пользовались они большей свободой? Выкуп, который соглашался платить мужчина за свою будущую жену, был далеко не бесполезным капиталовложением.

Он оплачивал многолетние усилия, потраченные семьей на воспитание молодой девушки, на то, чтобы научить ее готовить, убирать, вышивать, шить, прясть, ткать и так далее.

Представляете себе, сколько труда уходит на то, чтобы создавать изделия народного искусства, которые продают на базарах: корзинки, мешки, покрывала, подушки, разноцветные ковры?

Хотите знать, на что наши женщины употребляли свой досуг? Бедные могли пойти на базар и продать плоды своего труда, либо отправиться бродить по лабиринту улочек, предлагая свой товар тем, кто живет взаперти, то есть женщинам из состоятельных семей. А эти, в свою очередь, покончив с домашними делами, занимались приготовлением всевозможных сладостей или шитьем, а то и просто болтали.

Встречались женщины в хаммаме, в прохладном предбаннике, это у них своеобразный салон. Накрашиваясь хной, они рассказывали друг другу о своих заботах и радостях. Кого-то расхваливали, кого-то осуждали... Кумушки чернили не одно доброе имя, приводя таинственно достоверные сведения.

Так вот и получалось, что все они, подобно мужчинам, были заняты целыми днями.

Мужчины обычно проводили свое свободное время в кофейне или в мечети. Женщины заполняли свой досуг иначе: ходили в гости к соседкам, чтобы поздравить их с рождением ребенка или же, наоборот, выразить сочувствие по какому-нибудь грустному поводу. Они смеялись вместе с теми, кто радовался, и плакали там, где случалась беда. Отсутствие супруга отнюдь не являлось помехой для их общения.

И все-таки женщины вынуждены были повиноваться законам, установленным для них так называемым «сильным» полом. Им приходилось делить супружеское ложе с узаконенными соперницами, жить с мужчинами, которых выбирали не они сами, будь даже эти мужчины слепые, хромые, старики, гнусные развратники. Что же касается привилегированных женщин из почтенных, иначе говоря, богатых семейств, то и над ними тяготели несправедливые законы. Тем не менее, по достижении определенного возраста, они могли быть уверены, что обретут реальную власть. Особенно, если у них были сыновья. Под конец уже, на закате своей жизни, они приобретали даже право оспаривать решения мужчин. Они пользовались авторитетом, к ним относились с уважением, как к истинным патриархам рода. Однако, независимо от происхождения, всех их роднила одна общая черта — удивительная снисходительность к человеческим слабостям.

А как неотразим взгляд наших женщин! Странное, таинственное очарование их глаз, которое так поражало чужеземцев, объяснялось отнюдь не применением сурьмы! Легендарная красота их взгляда испокон веков сочетает в себе глубокую серьезность с неясной печалью. Это волнующее выражение свойственно даже девочкам — может быть, потому, что они уже знают уготованный им путь. А может быть, в их зоре отражается опыт прошлых поколений, все жертвы во имя одной цели — быть многодетной супругой и мужественной матерью?.. Кто знает! Но взгляд наших женщин забыть нельзя, стоит только раз его увидеть.

Была погожая пятница, когда весна вступила в свои права. Мокран отправился на кладбище, на могилу своих родителей. Вид у него был нерадостный. Мысли скользили одна за другой, точно блестящие зернышки четок, которые он перебирал в пальцах. «Сколько уже лет прошло с тех пор, как я взял в жены Акилу! — устало думал он. — Года четыре, наверное...»

Нет, он не жалуется! Напротив! Женщина она красивая, нежная и преданная. К тому же еще и работающая. Но вот беда, у нее рождаются одни девочки! Старшей, Файзе, — полтора года, младшей, Малике, — всего несколько месяцев. Обе его супруги живут в добром согласии. Характер у Хадиджи стал мягче, да и насмешливости поубавилось. Неизменным в ней остается одно: неутолимая жажда любви.

Она, как и прежде, любимая жена Мокрана. Он стал размышлять о Хадидже. Целыми днями она с отсутствующим видом хлопочет по хозяйству, только в обществе детей проявляя веселость. По ночам она приходит очень поздно и, не говоря ни слова, ложится подле него, закованная в свое молчание. Хадиджа непохожа на других женщин, нет в ней этой беспечной нежности, она горда, как мужчина, думал Мокран. Невольно краснея, он сознавал в глубине души, что сам тянется к ней. Его ласки мало-помалу разжигают Хадиджу. И, наконец, в ее прекрасном теле вспыхивает страсть. Она всякий раз как бы заново покоряет его, душа в своих объятиях. Кажется, искусство любви дано ей от рождения. Такая женщина, как она, до конца жизни способна сохранить тот же яростный пыл.

Сгорая от нетерпения, Мокран считал ночи, дожидаясь, пока настанет очередь Хадиджи. И его не отталкивало то, что потом она снова становится отчужденной, всем своим видом выражает презрение. Он знал, что Хадиджа так и не смирилась с тем, что произошло, вся ее душа восстает против этого дела, хотя она и понимает, что таков обычай.

Она привязалась к Акиле. В глубине души Мокран посмеи-

вался, наблюдая, как согласно, всегда заодно действуют обе женщины. Они всегда готовы прийти друг другу на помощь, их подчеркнутая взаимная вежливость свидетельствует о том, что они не желают выставлять напоказ свою дружбу, но не может его обмануть. С первого дня появления Акилы все шло как по маслу. Домашняя работа была поделена поровну, и в супружеских отношениях тоже установили порядок. В первые месяцы Акила была с ним все время, а когда забеременела, жены стали чередоваться. Если одна была больна, ее заменяла другая.

После того, как Акила родила, по обычаю, Хадиджа осталась с ним сорок дней. Для того, чтобы восстановить супружеские отношения после родов, устраивался целый церемониал. Женщина отправлялась в хаммам, мойщица растирала ей все тело, особенно живот и ноги. Называлось это «джибир». Женщина выходила из бани свежая, благоухающая, со старательно подведенными глазами.

Мокран любил Акилу. Испытывал благодарность к ней за ее умудренную покорность.

Она была очень предупредительна, его желания были для нее законом. По вечерам она приходила смущенная, с потупленными глазами. Прижималась к нему, как кошка, и ждала... Их объятия были спокойны, как и характер молодой женщины. В легких очертаниях ее тела не было ничего вызывающего. Когда он был с ней, кровь никогда не стучала у него в висках, руки не дрожали во время ласк, сердце не билось яростно... У него есть все основания считать себя счастливым. Две женщины, такие разные, и семейный очаг, где царит мир и покой!

Но нет! Ему нужен еще один сын! Сердце его горестно сжалось. За что его так несправедливо карает судьба?

Солнечный свет заливал кладбище, казавшееся большим садом.

«Отец! Я всегда был любящим и почтительным сыном! Отец, ты всегда благословлял меня в своих молитвах! Мать! Помогите мне! Я хочу сына! Еще одного сына для продолжения нашего рода!..» Мокран стоял неподвижно, беззвучно шевеля губами, одержимый одной только мыслью, одним желанием. Затем, совершив вечернюю молитву, он, по-прежнему погруженный в глубокое раздумье, направился домой, ибо никому не дозволено оставаться с усопшими после «аль-Аср»¹. Душа Мокрана была охвачена неизъяснимой скорбью. В памяти его всплывали старинные пословицы и речения, согласно которым: «Над тем, кому Аллах не посылает сыновей для про-

¹ Полдень (араб.)

должения рода, тяготеет проклятье всемогущего. Его род осужден на вымирание. Этот человек расплачивается за свой грех или за грехи предков».

Мокран почувствовал страх. Жизнь его протекает среди этих слепых стен без всякого проблеска надежды! Неужели у него так никогда и не будет сильного сына, накрепко, как сам он, привязанного к земле? Мулуд такой странный! Здоровья он слабого, да и понять его никак нельзя, он здесь всему и всем чужой. Ах, если бы у него был другой сын! Тогда он, Мокран, очутился бы, наконец, в блаженном мире и чувствовал себя господином! Враги с почтением и страхом расступались бы перед ним, а те, кто дороги ему, обрели бы надежную защиту... Воцарилась бы взаимная любовь. Тогда и старость не страшна, всем тайнам и ужасам конец, он с радостью взирал бы на мир. Ощущал бы свою силу! Болезни, жестокие удары судьбы, сама смерть, все было бы ему нипочем!..

Но пока ничто не возвещало перемен к лучшему. Лишь мысль об обширных, плодородных полях утешала его. Благодаря упорной работе и сметливости ему удалось утроить площадь своих земель, а ведь прежде у него было одно маленькое поле пшеницы. Работавшие с ним крестьяне были довольны им, уважали его за справедливость и доброту. С ранних лет Мокран привык трудиться вместе с ними, вместе пахал и засеивал лоно земли. Теперь он стал хозяином, но все осталось, как было. Он работал бок о бок с другими, и хозяина и феллахов роднила любовь к земле.

Аллах был милостив к его хозяйству, но не давал своего благословения его женам. Он жаждал сына. Ему все чаще теперь казалось, что люди смотрят на него с жалостью. Может быть, на лице его отражалось царившее в душе смятение? Или люди угадывали, что его снедает безумное желание чуда? Денег у него стало больше, но плечи его ссутулились, а взгляд казался отчужденным. Несмотря на скуку, одолевавшую его теперь на джемаа, он принуждал себя к усердию в молитвах, уповая на справедливость Аллаха, воспеваемую старыми талемами.

Так шла его жизнь, год за годом. Сверкающая белизной деревня, в своей незыблемой красоте, гордо высилась на холмах. Она казалась отрезанной от мира с его постоянными потрясениями, не знала бед городской жизни. Она как будто излучала свет, и зеленая долина простиралась у ее ног, точно преданная возлюбленная.

Дорога, ведущая к деревне, прихотливо извивалась. И в летний зной, и в зимнюю сырость по ней нелегко было взби-

раться. Казалось, эта дорога охраняет жителей деревни от непрошенных гостей. Лишь для своих сыновей она была привычной и надежной.

А там, на вершине, — все тот же извечный круговорот: жизнь с ее радостями, горестями или даже трагедиями, которые усугублялись вмешательством молвы.

Старая Гармиа умерла. Вместо нее появилась другая повитуха, которая всем сулила «бараку».

Братья Мокрана процветали. Талек-колдун был бессмертен. Жил он у входа на кладбище — старый филин, недремлющий свидетель человеческих слабостей. Что до Хаджи-аль-Тажера, то он совершил второе паломничество в Мекку, на этот раз вместе со своей супругой. Вернулась она из святых мест в белоснежной джеллабе¹, преисполненная достоинства. От нее, казалось, распространялось сияние святости. В течение нескольких дней ее посещала вся деревня. Женщины торопились прикоснуться к ее шелковым платьям, старались уловить исходящий от них аромат святой земли. Лалла аль-Хаджи принимала эти знаки почтения с невозмутимо смиренным видом. Эта женщина с таким крикливым, пронзительным голосом, говорила теперь блаженным шепотом, как будто грудь ее была придавлена невидимым грузом. Святость сделала ее такой томной и напыщенной, что оробевшие гости никак не могли оправиться от смущения. Бедные женщины сознавали все свое ничтожество перед лицом этой Хаджи, погруженной в благочестивые размышления.

А в доме Мокрана родилась третья дочь. Хадиджа была очень расстроена. Каждое рождение усиливало ее беспокойство. Долгожданного сына все не было и, стало быть, следовало опасаться появления новых соперниц.

Деревенскую жизнь, казавшуюся до той поры незыблемой, затронули новые веяния. Теперь уже людей заботили не только их собственные дела, тревога и неуверенность в завтрашнем дне проникли в самые глухие улочки. Три года прошло с тех пор, как началась революция. Прежде сюда доносились лишь отдаленные ее раскаты, зато теперь она ширилась с каждым днем, и деревня, напоминавшая ранее ленивую, равнодушную жену, очнулась вдруг ото сна. Сменился весь персонал в больнице, по улицам сновали военные в разнообразных мундирах,

¹ Д ж е л л а б а — национальная одежда (араб.).

грохотали танки. Новые люди, новые ужасы — все вокруг содрогалось.

Большинство молодых и здоровых мужчин присоединилось к партизанам, чтобы принять участие в освобождении страны. Старики шептали, что это священная война, она установит новый порядок, откроет новый путь для народа. Собрания в мечетях были запрещены, единственная деревенская кофейня была переполнена солдатами и шпиками. Рашид, хозяин кофейни, даже не скрывал своего сотрудничества с чужестранцами. Настало время пыток, незаконных арестов, унижений, смерти. Люди обратились в диких зверей, и Аллах перестал существовать.

На тенистой дороге, которая вела в деревню, резвых, веселых ребятишек сменили мрачные дозоры жандармов. Всюду виднелись их каски и каски солдат САС¹. Они наводили ужас на детвору. В деревне остались одни только старики, женщины да подростки. Правда, кое-кто из молодых мужчин продолжал обрабатывать землю. Задолго до наступления темноты деревня как будто вымирала, хотя за ее стенами ощущалось биение жизни. Деревенские жители научились различать в ночи одиночные выстрелы братьев муджахидов², глухо раздававшиеся в отдалении, и непрерывную сухую пальбу чужеземных войск. На лицах людей лежала печать новых, непривычных забот. А время, казалось, остановилось.

У Мокрана не было, как у других, сыновей в рядах партизан. Зато его племянники и один из братьев ушли в маки, и ему надлежало хранить их земли и защищать женщин. Пока что солдаты не донимали его. Возможно, что этим он обязан был Си-аль-Хаджи-аль-Тажеру, с которым его связывали родственные узы. Тот был уже в преклонных годах, но по-прежнему с почтением относился к оккупационным войскам и на улице появлялся не иначе, как увешанный всеми своими медалями. Впрочем, он успевал сражаться на всех фронтах. Для одних он держал наготове медали и удостоверения ветерана войны, другим регулярно делал тайные взносы, а для деревенских бедняков с большой шумихой выделял пожертвования. Тех, кто пользовался его расположением, опасность обходила стороной... Но надолго ли все это? Время-то смутное!

Мулуд вырос. Погруженный в свои книги, он, казалось, не замечал ничего вокруг. Он кончил начальную школу и хотел

¹ САС (Section administrative speciale) — Специальная административная служба.

² Муджахид — участник национально-освободительной войны.

учиться дальше, но отец не отпустил его в город. Учеником он был очень способным, и его взяли под покровительство школьные учителя — очень милая пара, которая спокойно делала свое дело в тревожной обстановке восстания. Мулуд и сам вел занятия в младших классах. В награду учителя помогали ему изучать любимые предметы, особенно математику. Они давали ему читать книги, которые он потом обсуждал с ними. По воскресеньям и четвергам, когда занятий не было, он проводил долгие часы в их маленькой квартирке при школе. Преподаватели на свой лад принимали участие в борьбе, не оставляя на произвол судьбы деревенских ребятишек, и жители деревни питали к ним большое уважение: то, глядишь, принесут свежих яиц, то курицу в базарный день, а то всевозможное печево по случаю какого-нибудь мусульманского праздника. Солдаты же посмеивались над тем неумным пылом, который они вкладывали в воспитание «сыновей феллахов». К несчастью, они должны были вскоре выйти на пенсию, понятно, что им жаль было покидать маленькую деревенскую школу и ребятишек. Тем более, что никто все равно не придет на смену им в этот глухой край, да еще во время войны.

Начальник САС не раз уже грозил направить в школу какого-нибудь молоденького солдата, полагая, что это и будет идеальным средством психологического воздействия, давно уже запланированного просвещенными умами высшего военного командования.

Мулуд с жадностью глотал книги, стараясь не терять времени даром.

Молодой человек стал добровольным писцом и в то же время посредником между жителями деревни и командованием САС. Все с уважением называли его «учитель». Многие являлись в дом Мокрана: старики просили молодого человека пойти вместе с ними, чтобы разузнать что-нибудь об их сыновьях, арестованных накануне солдатами, женщины — помочь им разыскать среди задержанных мужа. Он читал письма мужчин, уехавших на заработки в Европу, и писал им ответы.

Ночами он внимательно читал газеты и слушал сообщения всех радиостанций, какие ему удавалось поймать. Душа его воспламенялась при мысли о братьях, сражающихся во имя новой жизни. Ему снились то радостные, то тревожные сны. Увидит ли он свою страну свободной? Доведется ли ему увидеть алжирское знамя, людей, мыслящих по-алжирски, вдохнуть алжирский воздух, встретить на улицах алжирских полицейских, солдат? Наконец, есть, пить, любить, как подобает истинным алжирцам? О, великая радость, сладостное безумие!

Оставаясь один в своей комнате, мальчик предавался безумным мечтам. Он проклинал природу, наделившую его хрупкостью девочки. Он был чересчур худощав и не в меру высок. Чрезмерная худоба заставляла его втягивать голову в плечи, что придавало ему вид тщедушного интеллигента. Ему всюду было не по себе. В доме он жил, словно безмолвная тень. Акила относилась к нему с немим обожанием, а мать — с безграничной любовью, которую он ощущал в каждом ее движении. Эта любовь, казалось, следует за ним по пятам. Отца Мулуд глубоко уважал, но они не были близки, их отношения сводились к редкому обмену банальными любезностями. Отец, разочарованный немощью и слабым, как он считал, характером сына, утратил к нему всякий интерес. Более чем когда-либо Мокран одержим был стремлением иметь еще одного сына. Не скрывая своей досады, он и не пытался понять странного отпрыска, подаренного ему Хадиджей.

Акила занималась воспитанием дочерей.

Хадиджа радовалась знаниям сына, хотя и замечала тайные муки мужа.

Мокран и так и эдак прикидывал возможность завести еще одного сына, пока к нему не подобралась старость.

Переходя через возрастной перевал, Мулуд задавался бесконечными вопросами, на которые не находил ответа...

Вот уже час, как мать ходила взад и вперед по двору, вздрагивая при малейшем шорохе в доме. Она была в сильной тревоге. Скоро шесть часов, а Мулуда все еще нет! Школа закрывается в четыре часа. Он давно уже должен был бы возвратиться домой. После пяти часов на улицах — ни души, жители деревни наглухо закрывают окна и двери.

Что случилось? Куда подевался Мулуд? Может, он попал в облаву? Но ведь ему прекрасно известно, что задолго до семи часов, когда наступает комендантский час, любой человек, случайно оказавшийся на улице, дает удобный повод для расправы с собой.

— Йа Лалла Хадиджа! Да перестань же волноваться! Мулуд, конечно, задержался у своих учителей...

— Нет, Акила! Он знает, разгуливать по улицам в такой поздний час опасно. Я чувствую, с ним что-то случилось!

Хадиджа метнула взгляд на окно комнаты, где спал муж, и проворчала:

— А этому хоть бы что, разлегся на своих матрасах и дрыхнет! Ему и дела нет до сына!

В этот миг в дверях показался Мокран.

— Жена! Неужели ты думаешь, что я не беспокоюсь о сыне? Мулуд ни в чем не виноват, он смирен, как ягненок! И все его в деревне знают... А насчет солдат не бойся, они не причинят ему никакого зла, им ведь прекрасно известно, кто он. Успокойся ты, ради Аллаха!

Хадиджа ничего не ответила. Она присела на край колодца, чтобы лучше видеть входную дверь. У ног ее играли Файза с Маликой.

Подняв голову, Файза прошептала:

— Ты думаешь, что Мулуда арестовали солдаты? Как дядю Салаха?

— Молчи, девочка! Упаси нас Аллах от такой беды! Твой брат скоро вернется, иншаллах¹.

Файза, старшая дочь Акилы, обожала своего брата. Он научил ее читать. А какие необыкновенные истории он рассказывает! И разговаривает он с ней, как со взрослой. Благодаря его стараниям она первая из девочек переступила школьный порог. Вся семья восставала против этого, кроме двух мам. И это понятно: в деревне не принято давать девочкам образование, то привилегия мальчиков. Но Мулуд отличался упрямым характером и настоял на своем. Теперь она стала лучшей ученицей в классе, и учительница говорила: «Файза — достойная смена своему брату. Если ей позволят и дальше учиться, она многого добьется...»

У девочки было точно такое же пристрастие к книгам, как и у брата. Зато ее младшая сестра, Малика, не пожелала учиться в школе, она была красивее Файзы и предпочитала петь, играть, подражая взрослым женщинам.

Наконец-то стук в дверь! Хадиджа метнулась открывать. Перед ней стоял бледный Мулуд. Не проронив ни слова, он погладил Файзу по голове и торопливо направился в свою комнату. Тут его окликнул отец. Молодой человек повернулся, чуть не столкнувшись с матерью, которая следовала за ним по пятам. От радости Хадиджа потеряла дар речи. Она пожирала сына глазами, прикасаясь изредка к его руке, как бы желая удостовериться в том, что он цел и невредим.

— Что случилось, почему ты так задержался? Твоя мать совсем было голову потеряла от страха...

Молодой человек взял Хадиджу за руки:

— Прости меня, мама! Я сидел у старого Рабаха, он попросил меня написать письмо его сыну во Францию. Дело было спешное. Бедняга! У его сына туберкулез, он лежит в больнице

¹ Бог даст (араб.).

в чужой стране. А другой сын ушел к партизанам! Си-Рабах остался совсем один, а ведь он такой старый! Мы говорили с ним о Камеле, моем лучшем, единственном друге, я и не заметил, как пролетело время.

Глядя ему прямо в глаза, Хадиджа сказала:

— Сын мой, ты уже настоящий наездник, умеешь держаться в седле. Но сейчас, когда вокруг нас бродит смерть, послушайся моего совета: не позволяй своему скакуну заносить тебя слишком далеко! Тогда и опаздывать не будешь.

Хадиджа не имела привычки разговаривать с сыном. В первый раз в жизни ей пришлось держать такую длинную речь. Мулуд понял тревогу матери.

Успокоенная семья собралась наконец ужинать. Женщины накрыли мейды: одну для Мокрана и его сына (взрослые сыновья имели право садиться за стол с отцом, ибо мужчины обычно ели одни, а женщины — с детьми). Файза с недавнего времени разделяла трапезу с мужчинами. Она веселила всех своими вопросами, замечаниями. Сама того не ведая, девочка заполняла своим оживлением тягостное молчание. Отцу с сыном нечего было сказать друг другу. Женщины ели отдельно, вместе с малышами, они не произносили ни слова, но их безмолвие говорило о взаимном понимании и симпатии. Акила, добрая фея, едва проглотив кусок, бежала за шорбой¹, благоухающей свежей мятой, потом собирала миски из-под супа и ставила тарелки с кускусом... После ужина Мулуд почтительно целовал отца в лоб и удалялся. Младшие сестры со смехом старались удержать его. Файза каждый вечер требовала от него какой-нибудь занимательной истории. Часто она засиживалась с братом допоздна, внимательно слушая певучие слова Мулуда. Перед сном Си-Мокран обязательно читал несколько страниц Корана, и Хадиджа неизменно повторяла: «Пора бы уж ему выучить книгу наизусть, ведь он столько времени ее читает!» Ту ночь Хадиджа должна была провести с супругом, но она была слишком взволнована, да и мысли ее были заняты совсем другим. Ей хотелось остаться одной. Поэтому она, сославшись на внезапную слабость после пережитого волнения, попросила Акилу пойти вместо нее. Затем извинилась перед Мокраном и пошла спать, размышляя о сыне. Она чувствовала, что в его жизнь вторглось что-то необычайное. Все знали, что старый Рабах — связной муджахидов. Конечно, не в точности, а только по слухам! Но материнское сердце чувствовало опасность, и всю ночь Хадиджа не могла сомкнуть глаз.

¹ Шорба — суп, похлебка (араб.).

В следующее воскресенье в гости к Мокрану пожаловал Силь-Хаджи-аль-Тажер вместе с супругой и сыном Хосином, которого Хадиджа прозвала «хитрецом». Глаза его так глубоко сидели в глазницах, что их выражение оставалось для всех загадкой. Это он прогнал мать своих детей, потому что она неизлечимо заболела и стала для него обузой. «Хитрец» поспешил жениться на бесстыжей дочери имама. Это еще больше ожесточило против него деревенских женщин. А теперь он подбивает Мокрана взять еще одну жену. В это трудное военное время кое-кто не утратил, видно, вкуса к свадебным пиршествам, и Хадиджа, зная все это, не упускала случая изъять сыну старого хаджи свое презрение.

Мейда ломилась от миндального печенья на меду и стаканов с чаем, разрисованных золотыми цветами и эмалью. Мужчины беседовали в зеленой комнате Мокрана. Женщины сидели во дворе на коврах, постеленных поверх циновок. Погода стояла прекрасная, и послеобеденное время можно было провести вполне приятно, если не обращать внимания на самодовольство Лаллы аль-Хаджи. Она с важным видом молола всякий вздор, не забывая при этом подпускать шпильки:

— Акила, а тебе известно, что у твоей двоюродной сестры мальчик? Она родила вчера... Ах, если бы ты только видела, какой красивый браслет преподнес ей муж! — И тут же добавила сладчайшим голосом: — Иншаллах! Да будет и на твоей руке такой же, дочь моя... Ее муж сам не свой от радости, не знает, чем еще побаловать жену. Аллах сжалился, наконец, над этой бедной девочкой... А помнишь, как она приходила ко мне готовить кускус? Одета она была так худо, что я отдавала ей платья моей бедной Уарды («Мир ее душе!» — хором воскликнули все три женщины). Они с матерью жили благодаря щедротам твоего дяди аль-Хаджи. Что ж, за добро, которое он сделал, его ждет награда на небесах!..

Акила ненавидела ее всей душой и, не удержавшись, сказала в ответ:

— Вы были так добры к нам, несчастным сиротам! Храни вас Аллах, а нас — спаси от завистников...

Хадиджа метнула в ее сторону лукавый взгляд. Акила добавила искренним тоном:

— Я рада за сестру! Завтра же пойду поздравить ее.

— А что касается щедрости ее мужа, — не преминула вставить Хадиджа, — то ему это ничего не стоило... Иначе он поступил бы, как все!

— Ну уж! — взвизгнула старуха, которую смутило грозное выражение лица Хадиджи. В глубине души она побаивалась

«дьяволицы», так мысленно именовала она первую жену Мокрана. И, стыдливо заслонив лицо рукой, она заворковала:— Ничего не поделаешь, дочь моя! Мужчина обязан заботиться о продолжении рода, и женщине, которая не способна дать ему сыновей, приходится мириться со своей судьбой.

Хадиджа разразилась вдруг резким оскорбительным смехом. Бедная Хаджи подскочила, точно ужаленная, и не нашла ничего лучшего, как присоединить свое кудяхтанье к смеху женщин. Как гласит пословица: «Они смеялись надо мной... А я смеялась вместе с ними».

— Не в обиду тебе будь сказано, Лалла, ты, хоть и совершила святое паломничество, а богохульствуешь! Неужто тебе не ведомо, что все в руках Аллаха! Он один решает, кому дать дочь, а кому сына! И все мы одинаково равны перед ним, и мужчины, и женщины... Ведь, в конце концов, все мы обратимся в прах.

— Смейся, смейся, дочь моя! А все-таки я права, когда говорю, что наши дочери должны мириться со своей судьбой, разумеется, я имею в виду девушек из хороших семей, тех, что свято берегут свою честь. Другие же... Они все равно плохо кончают. Как подумаю о своей дочери... Она умерла в самом расцвете!.. Хорошо хоть, что у меня есть моя дорогая Акила. Она так добра, что мне кажется, будто я прихожу в этот дом к своей дочери.

Хадиджа тем временем думала: «Болтай себе, старая ведьма, ты приходишь сюда упиваться тем, что Акила не может родить сына! Знаю я таких! Знаю я, что у злых старух на уме!»

Слыша смех, мужчины важно покачивали головами: ох уж эти женщины, веселятся, как дети! Аль-Хаджи сказал со вздохом:

— Да сохранит Аллах их такими же беззаботными!

Мокран осторожно подхватил:

— Времена тяжелые. Вчера только они арестовали беднягу Али с сыном. Наверняка тут замешан Рашид! По его доносам забирают всех тех, кто прежде его презирал, сейчас он вознесся и мстит, да только надолго ли это?

Хосин, откашлявшись, заметил:

— Я всегда старался держаться от него подальше, хотя и был с ним вежлив, знал — это суцая змея... Я оказывал ему кое-какие мелкие услуги, когда он просил меня, не более того...

Слова его никого не могли обмануть, всем было ясно, что расчетливый ум Хосина заставлял его действовать исключительно в угоду собственным интересам.

Будущее рисовалось Си-аль-Хаджи в мрачном свете, и он

долго разглагольствовал об этом. Мокран не обращал внимания на воркотню старика. Он слишком хорошо его знал: пессимист на словах, на деле аль-Хаджи был оптимистом и не раз доказывал это. Каждое утро он поднимался, благословляя Аллаха, что владеет таким богатством и все еще жив. А слова нужны ему были как заклятья — для того, чтобы отогнать несчастье.

Вдруг Хосин удивленно спросил:

— А Мулуд? Где он? Почему его нет с нами?

При одном упоминании этого имени Мокран сразу поскуachel.

— За весь день ни разу не показывался! — ответил он грустно. — Ведь знает, что вы у нас в гостях. Йа Аллах! Что за странный у меня сын! Дурного о нем ничего не скажешь, нет... Но я возблагодарил бы небо, будь у него чуть-чуть побольше пыла, хоть бы он когда-нибудь рассердился, проявил нетерпение, показал свою силу, наконец, как положено мужчине. Но нет, он совершенно спокоен, вечно о чем-то мечтает, его сжигает какой-то тайный огонь... Одним словом, он не такой, как все. Кроме книг, его ничто не интересует — решительно ничто! Не знаю, как тут быть.

Друзья напомнили ему, что всему виной его слабость к Хадидже. Он позволил ей воспитывать сына по собственному усмотрению, и она вбила ему в голову странные мысли. Хадиджа держала его в стороне от других деревенских ребятишек, поощряла его пристрастие к чтению, и вот вам результат! Этот парень в один прекрасный день уедет навсегда. Мокран соглашался с ними, втайне думая, что этот сын — чужак, он не станет ему утешением в старости и для работы на земле не годится. Видно, он рожден для иной судьбы, не той, что была предназначена его предкам. Так дни шли за днями, не предвещая ничего хорошего...

Да, жизнь идет своим чередом, наносит удары, отнимает силы. Дети подрастают, старики умирают, мир и нравы меняются.

Каждый, казалось, держал жизнь в своих руках. Готов был преодолеть любые трудности или взвалить их бремя на себя. Да, времена настали иные. Общественное мнение, которое прежде направляло деревенскую жизнь, утратило былую силу. Веселые сборища женщин устраивались все реже. Ребятишки, резвившиеся на холмах, оглашавшие криками улицы, куда-то исчезли.

Старый талеп потерял свое влияние. Его умение отводить «сглаз» никому теперь не могло принести пользу. «Злой дух» завладел всей страной.

И вот однажды вечером Мулуд не вернулся домой! Привычная дорога в школу слилась, видно, с той, что вела в школу жизни...

Проходили недели, а от него так и не было никаких вестей, будто он растворился в воздухе. Мулуд ушел столь же незаметно, как и жил в доме. Может, он погиб или попал в плен к парашютистам? Нет, навряд ли, иначе солдаты не подвергали бы Мокрана всем этим бесконечным допросам! Сколько унижений пришлось ему вынести, сколько побоев! Только вмешательство учителей, а главное, старого хаджи с его медалями, спасло Мокрана. Военные власти, потеряв надежду добиться чего-либо, оставили его в покое.

Но вот наконец, ко всеобщему удивлению, выяснилось доподлинно, что Мулуд ушел к партизанам. Эта новость отозвалась некоторым оживлением в стенах хаммама и деревенских домов. Разумеется, Мулуд не один отправился в горы, таких было много, но кто бы мог подумать, что именно этот хрупкий мальчик, вся жизнь которого проходила в школе, способен бросить вызов смерти? Дом Си-Мокрана снова стал центром всеобщего внимания.

Хадиджа, как обычно, удивила всех своим поведением. Впрочем, она и в самом деле отнеслась к этому событию весьма странно, во всяком случае, не так, как повели бы себя при подобных обстоятельствах другие женщины. Она казалась бесстрастной, однако бесстрастие ее не означало смирения, скорее было выражением горделивого достоинства. Матери или жены, чьи сыновья или мужья ушли к партизанам, потихоньку плакали, с благодарностью принимая сочувствие односельчан, или же неустанно возносили молитвы за сражающихся. К ней же вернулся боевой дух былых времен, и она опять стала прежней Хадиджей. Когда речь заходила о ее дорогом сыне, она с гордым видом генерала после победоносного сражения, с усмешкой отвечала тем, кто пытался ее утешить:

— Мой сын — настоящий мужчина. Напрасно вы принимали его за смиренного ягненка. Он выбрал дорогу чести. Даже если он погибнет, мое сердце не будет разрываться от горя, потому что он ушел сражаться за свободу! А нет ничего дороже свободы! Нечего меня жалеть, мне надо завидовать! А ну-ка, женщины, утрите слезы! Лучше отведайте лакомства, которые я для вас приготовила...

Женщины были ошарашены. Ее гордыня казалась им сата-

нинской. Нет, эта женщина навсегда останется для всех загадкой!

Мокран испытывал сильное беспокойство за сына. Тяжело переживал он и побои, которыми угостили его солдаты. Но над всеми этими чувствами торжествовала гордость. Он как будто снова возродился для жизни, забыл свои прежние муки. «Я боялся, что мой мальчик, — думал он, — потонул в море книг. Но оказалось, что он крепкий, храбрый мужчина, как и все в нашем роду...» Мокран предавался мечтам о возвращении сына. Он и мысли не допускал о его смерти. Его мальчик станет настоящим мужчиной. Там, в горах, испытав голод и страх, он забудет о своих книгах. Столкнувшись с тяготами войны, он поймет истинную цену земле. «Не иначе как сам Аллах исполняет мое заветное желание: сын таков, каким я хотел его видеть», — радовался Мокран.

Шли годы. Ставший уже привычным страх сковывал деревню, как и всю страну. Щебетанию птиц вторили автоматные очереди и окрики чужестранцев. В работе феллахов не было прежнего усердия. И это понятно: всюду бродила смерть, каждую минуту следовало быть начеку, крестьянам нечего было больше делать на земле, кровь и ненависть властвовали над ней. Некоторые пытались, правда, растить злаки, но и они, казалось, были охвачены тем же мятежным духом, что и крестьянские сыновья. Никто уже не складывал их с почтением в хранилище — а ведь без этого лепешки, которые пекли женщины, теряли свой ароматный дух. Большая часть полей была выжжена, деревенские жители превратили остальные в огороды или выращивали на них лишь самое необходимое количество пшеницы. Вся страна застыла в жадном ожидании грядущих перемен. Однако ничто не предвещало скорого освобождения от кошмара. И вся надежда была на этих дерзких смельчаков, восставших с оружием в руках.

Старики отправлялись иногда в поля и стояли там, молитвенно поднимая глаза к небу, потом, вздохнув, возвращались домой еще более сгорбленные. С грустью смотрели они на детей. Этими суровыми, непреклонными людьми владела одна только мысль, у них не было другого желания, кроме как дождаться дня, когда восторжествует истина. И в этом ожидании воплотилось все — их прошлое и будущее.

Но вот однажды утром Рашида, хозяина кофейни, нашли убитым. Утро это ничем не отличалось от всех других, разве что этим первым в деревне убийством. Кофейня была заперта,

а фидайна¹ и след простыл. Никто ничего не видел. Никто ничего не слышал. Обыскали все дома, по несколько раз допросили всех мужчин, в общем, началась обычная в таких случаях суматоха со всеми ее неприятными последствиями.

С недавних пор в больнице появился новый военный врач, который привлек всеобщее внимание. Ко всем деревенским жителям он относился с неизменной предупредительностью. Среди крестьян, которые привыкли с опаской относиться к военной форме, быстро распространилась весть о его дружелюбии. Для начала этот врач постарался улучшить питание больных. Кроме того, больным разрешено было оставаться в больнице до полного выздоровления, их перестали отсылать домой сразу же, как только спадет температура. Маленькая революция, совершенная доктором, привлекла к нему симпатии местного населения, зато коллеги по службе стали относиться к нему враждебно. На военной базе его наградили прозвищем «Кюре».

От этого человека веяло бесконечной добротой. Весь его облик внушал доверие. На щеках у него улыбались вечные ямочки, а его круглая розовая плешь и маленькие голубые глазки излучали, казалось, мягкую веселость. Из-за красноватого цвета, который приобрела его белая кожа под чересчур ярким солнцем, народ перекрестил его из Роже в «Руже»². Если у кого-то возникали трудности, он тут же обращался за помощью к «Руже», который со свойственной ему настойчивостью делал все, что было в его силах. Он с участием выслушивал всех несчастных. Доктор оказался замешанным в семейные дела Мокрана, хотя тот и не позволял своим обращаться за медицинской помощью к чужестранцам. Однако этим предрассудкам настал, видно, конец. Судьба поколебала устои самых, казалось бы, незыблемых принципов.

Файза, старшая дочь Мокрана, сломала ногу, взбираясь на дерево на школьном дворе. Подружки поддразнивали ее, уверяя, что ей ни за что не влезть на дерево, как мальчишке. Девочка приняла вызов, но в опьянении победой сорвалась, когда спускалась вниз. Учительница тут же отправила ее в больницу, где ей оказал помощь доктор Роже.

Соседи сообщили об этом отцу. Мокран пришел в ужас не столько от самого происшествия, сколько от того, что его дочь очутилась в этом проклятом месте. Несмотря на ворчание Хадиджи с Акилой он побежал туда с твердым намерением забрать дочь домой.

¹ Фидайн — партизан.

² Руже — вид рыбы с красной чешуей.

Бледная девочка лежала на койке, испуганно поглядывая на собравшихся вокруг нее людей в белых халатах. Увидев чудовищно огромную ногу в гипсе, отец ощутил все свое бессилие. Он повернулся к Фатиме, работавшей здесь санитаркой после отъезда своих прежних хозяев.

— Фатима, это опасно? — спросил он. Все его высокомерие как рукой сняло. Сейчас это был просто встревоженный отец.

— Нет, но гипс снимут не раньше, чем через месяц.

— Что? Через месяц? И моя дочь останется у вас? Я не позволю ей провести здесь и одной ночи!

Охваченный праведным гневом, Мокран прижимал к себе дочь, как будто пытался оградить ее от порчи. Фатима умоляла его успокоиться. Но он продолжал кричать:

— Я заберу ее немедленно. Ее будут лечить дома... Замолчи, Фатима! В конце концов, это моя дочь.

Жизнерадостный голос прервал всю эту суматоху в палате. Испуганные больные молча лежали под своими простынями. Увидев доктора, Мокран поправил тюрбан, нервно одернул бурнус и, приняв полный достоинства вид, попытался произнести спокойным тоном:

— Я пришел за своей дочерью.

Сказано это было по-французски, но с сильным арабским акцентом. Доктор протянул ему руку, и Мокран неловко пожал ее, обезоруженный его невозмутимостью и любезностью. Мокран с любопытством разглядывал врача, который в его глазах был чуть ли не колдуном. Доктор стоял перед ним в подчеркнуто почтительной позе, он был так непохож на «других»...

— Разумеется, мосье, вы вправе забрать своего ребенка, но хочу предупредить вас, что у нее перелом ступни. Девочке необходимо лечение, которое она сможет получить лишь в больнице. В противном случае она может остаться хромой на всю жизнь или умереть от инфекции...

Доктор говорил простыми словами, пытаясь втолковать отцу, какой опасности он подвергает свою дочь. Мокран опустил голову, слово «умереть» напугало его. Он взглянул на певинное личико дочери и спросил:

— Я могу навещать ее каждый день?

— Конечно! Вообще-то это запрещено, но когда будете уходить сегодня, зайдите ко мне в кабинет вместе с Фатимой, я подпишу вам пропуск.

Родные навещали Файзу каждый день. Наконец ей сказали, что скоро она выйдет из больницы. Еще месяц ей придется ходить в гипсе, а потом она снова должна вернуться сюда, чтобы

снять его. Файза особенно привязалась к Фатиме. Та тоже любила ее, приходила даже в свободные от дежурства часы. Все свое время молодая женщина отдавала больнице, всей душой она была предана больным. Фатиму забавляли бесконечные вопросы Файзы.

— Фатима, ты едва умеешь читать, как же тебе удастся выполнять всю эту работу?

— Очень просто! Я ведь делаю ее вот уже пятнадцать лет! Раньше я всегда приходила сюда вместе с моей хозяйкой. Ты-то ее совсем не знаешь, тебя и на свете тогда еще не было. Это она принимала у Хадиджи Мулуда...

Файзу взволновал образ нежной Мариель.

— Да, я знаю эту историю. Тетя Хадиджа рассказывала мне ее много раз. У нее, как и у тебя, тоже всегда слезы навертываются на глаза, как только она вспомнит ту даму. Она была красивая?

— Мало сказать, красивая! Она так и светилась добротой и очарованием. А какая маленькая была! Пожалуй, не выше тебя, — с улыбкой сказала Фатима. — Но хрупкая она была только с виду. Да, — вздохнула молодая женщина, — это ей я обязана всем своим умением! А началось с того, что я приходила к ней убирать квартиру. Мне было тогда четырнадцать лет. Потом она научила меня немного читать, делать уколы... Она не хотела, чтобы я работала служанкой, говорила, что обучит меня всему до того, как уедет... Благодаря ей, — сказала Фатима, поглаживая девочку по волосам, — я теперь зарабатываю на жизнь, и моя бедная мать может наконец отдохнуть!

— А почему ты не вышла замуж, как другие женщины? — снова спросила Файза.

Глаза Фатимы подернулись печалью. Это была высокая смуглая девушка, очень невзрачная, наделенная лишь красотой души. Что ей было ответить ребенку? Что она была дочерью бедной вдовы и что ни одна старуха в деревне не взяла бы ее себе в невестки? А мужчины не обращали на нее внимания, потому что она работала, ходила без чадры... да и нехороша собой. Разумеется, все жители деревни любили ее, но так, как любят привычный предмет, составляющий неотъемлемую часть окружающего. Женщины то и дело обращались к ней за помощью, мужчины вежливо здоровались с ней, относились к ней с уважением. Они даже останавливали ее на улице, как друга, чтобы расспросить о больном сыне. Вот и все. Да и потом, ей ведь уже не двадцать лет.

И хотя каждый обычно старается соблюсти приличия, истина иногда проглядывает, ее может выдать взгляд, движение.

Разве за бесконечной преданностью Фатимы больным не скрывалась жажда быть любимой? О чем она мечтала? На что надеялась? Каждый день она проделывала все тот же путь. Однако достаточно оказалось наивного вопроса ребенка, чтобы обнаружилось все ее одиночество, такое горькое и неизбежное. Но когда-нибудь!.. Ведь говорят же, что каждому из нас отпущена своя доля счастья на земле...

Время шло, и вот Акила, в свою очередь, оказалась в преддверии ада.

И во сне ей не удавалось найти забвение. После того, что сказал ей Мокран, у нее было такое чувство, будто жизнь ускользает от нее. Мир обретал истинное свое лицо, которое ей предстояло еще узнать. Мыслями обращаясь к Хадидже, она как бы вновь переживала ее муки, ее тайные унижения. Теперь ее самое, точно горящая головешка, опалили слова Мокрана. О, Аллах! Стать второй женой! После того, как она родила троих детей! Терпеть соперницу, которая вторгнется в их семейный круг.

А Хадиджа? Что-то она на это скажет? С ней ведь никогда не знаешь, чего ожидать! Сама Акила еще готова была смириться, ибо такова уж ее судьба! Она привыкла склоняться перед решениями мужа. Молодая женщина вспоминала слова Мокрана:

«...Дорогая моя, нежная Акила! Ты, верно, спрашиваешь себя о причинах моей печали... И, конечно, угадываешь, что меня тревожит отсутствие моего единственного сына. К тому же меня преследует опасение, что он может вообще не вернуться. Сначала я испытывал только чувство гордости за него, рад был, что он поступил как настоящий мужчина. Я надеялся, что Аллах возвратит мне сына закаленным и сильным, — таким, о каком я всегда мечтал. Но время идет, и во мне растет страх! Сыновья моих братьев тоже ушли, но у них есть другие. А у меня только вы, мои любимые жены и маленькие дочки... Если со мной вдруг что-нибудь случится! Да, да... молчи, Акила, и слушай! Кто тогда вас защитит? Мое добро растащат братья, родные и двоюродные, вам, женщинам, не достанется почти ничего! Ты полагаешь, что вас защитит доброта семьи? Увы, я знаю, как это бывает! Свара из-за наследства может преобразить вдруг людей, принадлежащих к одной и той же семье, заставить их утратить всякое благородство. Только мужчина может постоять за вас. Сын — залог вашего благоденствия. Не знаю, как еще тебе объяснить... Но... вот уже четыре года у тебя нет больше детей. Не знаю, чем мы провинились перед Аллахом, но судьба снова ополчилась против меня..

Я решил сказать сначала тебе... Да, именно тебе, хотя полагалось начать с Хадиджи, она старше... Но ты ведь знаешь, какая она у нас горячка, так что ты уж сама ей скажи. Тебя, она, может, и послушает. Все наши старики советуют мне жениться. Ты, верно, знаешь Зину, свояченицу твоего двоюродного брата Хосина, ее мужа убили через несколько дней после свадьбы... По нынешним временам мужчинам полагается брать под защиту вдов тех, кто погиб на этой войне. Да прости меня Аллаха! Во всяком случае, клянусь тебе, Акила, это будет последняя женщина, которая войдет в наш дом. Ты молчишь? Я чувствую, ты одобряешь меня, другого я и не ждал от тебя!...»

Акила в полную меру ощущала свою женскую слабость. Весомость всех этих доводов не оставляла у нее сомнений, что тут не обошлось без вмешательства ее дяди, старого Хаджи, и его сына, «хитреца». Как видно, они неплохо поработали! Одним махом им удастся отделаться от свояченицы Хосина и в то же время сделать «доброе дело» — пристроить вдову героя. Они верно нащупали слабое место Мокрана — его безумное желание обзавестись сыновьями.

Завтра наступит новый день. Итак, красавец и богач Мокран остается в глубине души маленьким мальчиком, который все еще грезит о недосыгаемой звезде.

На другой день Акила проснулась со свинцовой тяжестью в голове. Она чувствовала себя солдатом, идущим на верную гибель ради выполнения своей грозной миссии.

...Хадиджа с заснувшим ребенком на руках очнулась от своих нерадостных раздумий. Она выпрямилась, отрясая прах воспоминаний. И вдруг, обратив свое прекрасное, до времени состарившееся лицо к небу, вскричала дрожащим от ненависти голосом:

— Я проклиная Аллаха!

Этот всплеск сатанинского гнева, словно молния, поразил Акилу. Да, Хадиджа неукротима в своей ярости! Как вдруг помолодела эта женщина, которая после ухода ее сына казалась такой безучастной, странно задумчивой! Ноздри у нее раздувались, свидетельствуя о клокотавшей в ней буре. До сих пор она кое-как соглашалась с Мокраном и принимала всех его жен, но на этот раз взбунтовалась. А ведь после исчезновения сына, которого, может, и в живых-то уж нет, она должна была остро ощущать потребность в защите. Она и в самом деле осталась совсем одна. Она не могла опираться ни на молодость, ни на

детей и все-таки готовилась к бою. В ней копился гнев Акилы, Файзы, Малики и Хании. Гнев всех женщин. Она рычала, воплящая в себе тысячу женщин:

— Нет, никогда! Пусть лучше я умру! Пусть лучше вся деревня растопчет меня. Ни одна женщина не переступит больше порога этого дома...

Акила попробовала успокоить ее:

— Лалла, опомнись! Они могут уговорить его прогнать тебя, куда ты денешься? Ведь сейчас война! Надо смириться, тем хуже для Мокрана! И для Зины! Что до меня, то я отказываюсь выполнять свои супружеские обязанности, отдаю ей его с радостью!

Акила ласково обняла Хадиджу за плечи и сказала с притворной веселостью:

— Вот увидишь, как хорошо мы заживем, будем с тобой спать вместе с девочками. Файза останется в комнате Мулуда. И у нас, иншаллах, всего будет вдоволь! Признаться, в глубине души мне будет даже спокойнее, по крайней мере, я могу не заводить новых детей...

Хадиджа покачала головой и, угрожающе ткнув пальцем в Акилу, процедила сквозь зубы:

— Ты молода, и у тебя еще будут дети! Клянусь этими седыми волосами, — при этих словах она театральным жестом сбросила свой платок на землю и, тряхнув головой, повторила: — Да, вот этими седыми волосами!.. — Оттянув кожу щек, она зарыдала: — И этими морщинами! Си-Мокран не возьмет себе другую жену... или я больше не Хадиджа!

Она походила на некую колдунью, явившуюся из тьмы веков. И гнев придавал ее дикой красоте неотразимую чувственную притягательность.

Спустя несколько дней Мокран явился домой к обеду. Дело было в пятницу. Он пришел после молитвы вместе с Си-аль-Хаджи-аль-Тажером, которого пригласил отобедать. Можно было подумать, что Мокран всячески увиливает от неизбежного объяснения с Хадиджей. Подспудное чувство вины заставляло Мокрана боязливо кутаться в бурнус при звуках голоса первой жены.

Мужчины уселись на диван, но вместо мейды с кушаньями, которых они дожидались, в дверях комнаты появилась Хадиджа. В ореоле солнечных лучей Хадиджа казалась неким фантастическим призраком, богиней возмездия. Мужчины почуяли угрозу.

Уперев руки в бока, Хадиджа сказала, с трудом сдерживая звенящий голос:

— Си-Мокран! И ты, Си-аль-Хаджи! Я пришла сказать вам, чтобы вы не смели и помышлять о новой женитьбе! До тех пор, пока я жива, никакая другая женщина не придет сюда!..

Мокран побледнел. Еще бы! Ему нанесли оскорбление в присутствии одного из самых почтенных жителей деревни. Он жестко сказал:

— Сумасшедшая! Сейчас же уходи отсюда!

Старик впёрил в эту фурию свои маленькие прищуренные глазки и забормotal, заклиная дьявола: «Бисмиллах эр рахман аль рахим!»¹

— Не уйду! И хочу торжественно предупредить вас, что я готова на все! Если надо убить — убью, — спокойно сказала Хадиджа. — А потом уйду к сыну... Надеюсь, меня простят, если я убью бессердечных людей.

На этот раз старый хаджи, забыв сатану, решил сам ответить дерзкой женщине:

— Ты переходишь всякие границы, дочь моя! Может, ты забыла, с кем говоришь? Порядочным женщинам положено молчать и повиноваться. Этому человеку нужен сын, которого вы не можете ему дать. По закону ему разрешается иметь даже четырех жен! А что касается твоей угрозы... Уж лучше помолчи. Мы знаем, как приводить в чувство таких нечестивых женщин, как ты...

Старик все больше нервничал под насмешливым взглядом Хадиджи. Мокран тронул его за руку. Необычное спокойствие овладело мужем Хадиджи. Редкие взрывы супруги всегда оказывали на него отрезвляющее действие. Понять этого было нельзя, поди узнай, откуда у нее такая власть над ним. Страха он не испытывал, и все-таки что-то в нем немело, когда она выказывала такую яркую решимость. К тому же он ничуть не сомневался, что Хадиджа не лжет. Он был уверен, что она и в самом деле готова на все. Мокран пристально посмотрел на жену, хотя ему было неприятно, что приходится смотреть снизу вверх.

— Садилась бы лучше, вместо того, чтобы оскорблять гостя! Ты что, забыла законы гостеприимства?

Хадиджа, скрестив ноги, села на пороге. Ее гандура ниспала дрожащими складками.

— Я — дочь одного из самых древних южных племен. Меня воспитал человек, который славился своим великодушием и честностью. В жилах моего отца текла благородная кровь.

¹ Ритуальная фраза из Корана.

Я хорошо знаю правила гостеприимства, которым с давних пор следует наш народ, но сегодня для меня важно лишь одно — спасти мою семью от коварных замыслов врагов! Я готова на все что угодно, только бы защитить моих близких. Я никогда еще не перечила твоей воле. Сама ходила сватать тебе жен, так повелевал мне долг верной супруги. Я знала: моему мужу нужны дети, а я не могла их больше дать...

А ты, Си-аль-Хаджи! Я преданно ухаживала за твоей дочерью Уардой. Ее погубило ваше невежество: она умерла, хотя ее можно было спасти. Что до Акилы, то я и впредь буду защищать ее от подлецов, как защищала до сих пор! Я борюсь не за себя, а за нее и малышей...

Хадиджа повернулась к Мокрану, не обращая внимания на старика, порывавшегося что-то сказать. Она возвысила голос, чтобы заглушить его проклятия:

— Акила молода, у нее еще будут дети! Пусть даже девочек! Пора бы уж тебе смириться! Бери то, что дает тебе Аллах!

Муж опустил глаза, перебирая пальцами зерна четок. Си-аль-Тажер проворчал что-то, обрушив душивший его гнев на свои четки, он заставлял их сносить все пытки, на которые ему хотелось бы обречь Хадиджу: мял, безжалостно перекручивал, тянул в разные стороны, так что нитка чуть было не лопнула. А женщина тем временем продолжала свою страстную обличительную речь:

— Ты никогда не задавался вопросом, почему твое желание до сих пор не исполнено? Ты слишком многого требуешь от Аллаха, вот что я тебе скажу, ты злоупотребляешь его добротой! Неужели ты ни разу не задумывался над этим, когда вы собираетесь на джемаа? Когда читаете Коран, пытаетесь углубиться в слова Пророка? Как видно, нет! Среди вас немало таких, кто не прочь обмануть женщин, поживиться за их счет! Они-то и заставляют вас выворачивать на свой лад святые заветы Корана. Так это и есть ваша мудрость? Неужели вы не поняли смысла войны, которая теперь идет? Ваши сыновья, ваши жены идут на смерть. А весь этот позор, все унижения, на которые обрекают нас солдаты, — это кара, ниспосланная всевышним во искупление грехов ваших... Да откройте же наконец глаза! Ишь ведь что выдумали: «Мы заботимся о девственницах и вдовах!..»

Последние слова Хадиджа процедила с насмешкой, она явно метила в старого хаджи. Мокран был поражен. «Как, двадцать три года эта женщина живет со мной, а я только сегодня узнал, что она умеет говорить как мужчина... Как честный мужчина... И слова находит какие нужно — справедливые слова!

Она умеет быть и непримиримой, и циничной, и благородной!» А Си-аль-Тажер дрожал от возмущения. Эта проклятая женщина осмеливается говорить такое мужчинам? И не кому-нибудь, а ему! Человеку, словам которого с трепетом внимают все, кто сходится на джемаа. Он стал искать свою палку. Ему не терпелось уйти... но с достоинством! Да! Главное.— не уронить своего достоинства перед этой дьяволицей: «Бисмиллах эр рахман, аль рахим!» Да и этот Мокран тоже хорош. Молчит, словно язык проглотил! Мало того, пожирает ее глазами! И с каким восторгом! О! Она околдовала его, иначе и быть не может... Мысли теснились в голове старика. Лицо его, увенчанное шитым золотом тюрбаном, стало пунцовым от сдерживаемого гнева.

— О, женщина,— сказал он,— в своем безумии ты забыла, что по закону тебе положено молчать, положив руки на голову! Уходи!

Но она с презрением оборвала его:

— Я уйду, только с вашей кровью на руках. Так вас проучу, что об этом будут вспоминать даже потомки! Так и скажи всем, а главное, не забудь уведомить «хитреца»...

О-о! Нет! Это уж слишком... Ему нельзя больше оставаться здесь, эта бесстыжая женщина нанесла ему серьезное оскорбление. Он повернулся к Мокрану, пытаясь найти поддержку.

— Скажи что-нибудь, сын мой! Прогони эту гадину, которая оскорбляет нас! Ради Аллаха! Накажи ее, или я сейчас же уйду!

Неподвижный, как статуя, Мокран очнулся, наконец стряхнул с себя странное оцепенение. Ничего не ответив своему другу, он встал, расправил бурнус, медленно провел рукой по тюрбану. Хадиджа знала эту привычку мужа, означавшую, что им принято какое-то важное решение.

— Пойдем, мой друг! Я провожу тебя домой!

Мокран посмотрел на жену долгим взглядом. И казалось, во всем мире нет никого — только эти двое людей, связанные по гроб жизни. Мужчина осознал наконец тщету своих желаний. Женщина восторжествовала после стольких лет непонимания...

Она вышла во двор и, возвысив голос, сказала, не скрывая радости:

— Акила! Готовь мейду для отца твоих детей! А я испеку рфис:¹ у нас сегодня праздник!

¹ Рфис — праздничный пирог.

Она знала, что их муж, проведив старого хаджи, вернется домой обедать.

Во всех домах только и разговору было что о Хадидже. На этот раз звезда ее была в зените.

Все стали вспоминать законы, правила, в соответствии с которыми текла жизнь в стране, — и удивлялись. Подумать только! Женщина решилась выступить сама, словно отец, брат или сын, и во имя чего же? Дабы защитить свою соперницу!

Кумушки всласть потешились поражением грозного хаджи. Само собой разумеется, все было известно до мельчайших подробностей. Оставалось только догадываться, каким образом разоблачались самые сокровенные тайны. Вероятно, у женщин есть особые антенны, улавливающие все события.

Историю эту раздули и приукрасили в пользу той, кого называли теперь не иначе как Лалла Хадиджа. Ее смелость была залогом общего освобождения, она стала зачинательницей.

Мало-помалу счастье разгладило все морщины. Хадиджа снова прибегла к «больничной магии», чтобы вылечить Акилу. В один прекрасный день деревенские жители с удивлением увидели, как две женщины, выйдя из хаммама, направились к белому зданию больницы.

И снова Фатима служила Хадидже переводчицей. Доктор Роже принял их в перевязочной. Его забавляло, что на вопросы, которые он задавал Акиле, отвечала Хадиджа. Это была какая-то странная загадка. Прежде всего доктор осмотрел Акилу, потом с помощью Фатимы провел предварительный опрос пациентки. Ему потребовалось немало терпения, чтобы добиться ответов от заливавшейся краской Акилы.

— Спроси ее, нормально ли у нее проходят циклы?

После долгого совещания трех женщин Фатима перевела:

— У нее все в порядке, но сроки она уточнить не может. По словам первой жены, как будто бы каждые тридцать дней...

Для доктора этих объяснений было недостаточно, но он уже привык к туманным ответам женщин. Зачастую они не в состоянии назвать свой возраст и обращаются за помощью к мужу. Только он знает возраст и даже продолжительность регул своей жены.

В конце концов Акила, по подсказке Хадиджи и Фатимы, ответила и на более деликатные вопросы.

«Я сразу же иду в баню и в течение недели...» Она с трудом подбирала слова, испытывая нестерпимую муку.

Доктор оставался бесстрастным, слушая долгие объяснения Фатимы.

Но Хадиджа прервала их диалог, чтобы дать более точные сведения. «После того, как родилась Ханья, — сказала она, — Акила все время чувствует себя усталой... Поэтому она больше не хочет... И потом, она худеет все больше и больше...»

Доктор долго раздумывал, затем наконец прописал молодой женщине длительное лечение.

Но после ухода женщин он снова размышлял над полным согласием двух супругов одного и того же мужчины. Между ними не было ревности. Старшая заботилась о здоровье другой, младшая доверилась покровительству старшей... С самого рождения мы зажаты в тиски всевозможных догм... То, что у нас делается тайком, — думал он, — здешние мужчины делают в открытую, ни от кого не таясь! Нам кажется, что логика — это добродетель только потому, что она скучна. Они свободнее нас. И женщины отличаются большим благородством, принимая как должное этот порядок. Доктор Роже стремился раскрыть этот загадочный для него мир. Он решил про себя, что непременно прочитает перевод книги, священной для людей этой страны.

Неустанные заботы доктора принесли свои плоды. Вылечить Акилу оказалось не так уж трудно. Молодая женщина окрепла, и радость снова вернулась в дом. На какое-то время забылся ужас военных ночей.

Когда наконец произойдет долгожданное событие? Может быть, даже сегодня вечером? Мокран снова окрылен надеждой. «Аллах внял моим мольбам. Но что это, неужели я опять собираюсь богохульствовать? Ведь я поклялся не думать отныне о том, кого носит Акила под сердцем: девочку или мальчика? Нет, нет! Слава Аллаху за будущее прибавление в моем семействе!» Он пытался овладеть собой и, чтобы не думать о том гаинстве, которое свершалось в его доме, начал вспоминать о докторе, вылечившем его жену вот уже год тому назад.

Где-то теперь этот славный человек? Увы, в деревне его уже нет! Его перевели в другое место, а куда именно — никто не знает. И все за то, что он снискал себе большую популярность среди местного населения. Начальство никак не могло простить ему чрезмерного интереса к «туземцам». За время лечения своей жены Мокран ближе познакомился с доктором и оценил его по достоинству. Его нисколько не удивило бы, если бы ему вдруг сказали, что «Руже» ушел к партизанам. И это были не пустые домыслы! Рассказывали, будто доктор читал Коран. И еще говорили, что он пересылает через кого-то

из деревни лекарства для патриотов. Но все это, конечно, были только слухи, толком же никто ничего не знал. Достаточно, однако, было вспомнить, с какой настойчивостью он защищал от солдат истерзанных пытками пленных, которые попадали к нему в больницу, — как воображение сразу разыгрывалось. Но потом вдруг он исчез. Вместо него приехал другой врач. По словам Фатимы, доктора Роже отправили в один из самых глухих районов страны. Перед отъездом он будто бы открыл ей по секрету, что долго там не протянет. Что он хотел этим сказать? То ли, что начальство уморит его, нагружая работой до полного изнеможения, то ли что он собирается перейти в ряды борцов за свободу? Кто знает! В годы войны подобные люди не раз совершали поступки, которые озаряли светом надежды это страшное время, затем они куда-то пропадали.

Мокран долго размышлял об этом чужестранце, примирившем его с другими. Среди них есть, конечно, и злые и добрые, но эта детски простая истина часто забывается.

А теперь вот Мокран ждет. Таинственные, непостижимые связи существуют в мире. Мулуд и Мариель. Ребенок, который должен родиться сегодня вечером, и «Руже». А ведь оба они теперь далеко, неизвестно где.

Между тем к торжественному событию готовились по всем правилам. Повивальная бабка вместе с другими женщинами хлопотала в комнате Акилы. Хадиджа действовала молча, но быстро: принесла таз с водой, освежила горячий лоб Акилы. Фатима тоже была здесь. Не слишком рассчитывая на повитуху, она по собственному почину кипятила ножницы, которыми должны были перерезать пуповину, и готовила чистое белье для младенца.

Мокран вышагивал по двору, нервно поглаживая свою джеллабу, поправляя тюрбан. Он никак не мог унять дрожи в руках. Его брат и шурья уселись на циновки и, покуривая, вели беседу. Все внимательно прислушивались к звукам, доносившимся из соседней комнаты. Ребятишки и те чувствовали торжественность момента, самые маленькие жались к Файзе. Та знала, что происходит, она не раз уже слышала, как женщины обсуждали это между собой. Девочка возносила молитвы со всей горячностью своей юной веры: «Аллах! Аллах! Сделай так, чтоб родился мальчик! Ради тети Хадиджи! Ради моего отца! Ради моих маленьких сестреноч! Пошли сына в этот дом, опустевший после ухода Мулуда. Обещаю, что буду поститься каждый год в знак благодарности за твою милость... О, Аллах!»

Файза, со всей чистотой и восторженным пылом своих

тринадцати лет, сама того не подозревая, вступила на проторенный путь взрослых, щедрых на обещания, которых не могут потом выполнить из-за непредвиденных обстоятельств, а это ведет к плутовству и обману.

А женщины тем временем творили заклинания против сил зла, долженствовавшие облегчить матери разрешение от бремени.

Акила корчилась, повторяя непрестанно: «Йа Раби! Йа Мухаммед!», вызывая таким образом к богу и его пророку, как и положено во время родов любой добропорядочной мусульманке.

Послышался душераздирающий крик, неожиданный, как раскат грома в ночи. Схватки усилились, не давая передышки Акиле. Женщины, собравшиеся в комнате, умолкли, время как будто остановилось. Сама земля, казалось, перестала вращаться, словно в эту прекрасную летнюю ночь вся природа вместе с людьми и зверями прислушивалась, стараясь уловить первое дыхание жизни. И этот дар притягивал к себе руки, готовые с любовью принять новое божье создание.

Акила снова закричала. Женщины подхватили ее под мышки, и она повисла в воздухе.

Раздался последний короткий вопль, и вслед за тем наступило странное молчание, в нем угадывалось удивление плачущего ребенка, которому дали вдруг конфетку.

И вот дом огласил сердитый крик. Мокран вздрогнул.

Он давно уже научился распознавать голоса новорожденных. И на этот раз не сомневался.

Да! Это мальчик!

Не дожидаясь, пока выйдут женщины, чтобы сообщить ему пол ребенка, он поднял глаза к небу и, преклонив колени, вознес горячую молитву. Затем, простершись, Мокран поцеловал землю, протянув открытые ладони к Аллаху. Наконец-то после долгого пути ему удалось утолить жажду. Файза оставила своих сестренку и, не обращая внимания на удивленные взгляды своих дядьев, подошла к отцу, чтобы помолиться вместе с ним.

Новорожденного завернули в чистое, но старое белье, по давнишнему поверью, это должно было обеспечить ему долгую жизнь. Подобно этим застиранным, выдавшим виды пеленкам, ребенок должен обладать выносливостью во всех жизненных передрягах. С ног до головы его смазали оливковым маслом, в глаза пустили каплю лимонного сока, дабы жизнь его была светла и радостна, а в рот положили несколько капель меда — да не изведает он никакой горечи, только сладость.

Мать лежала на матрасе с закрытыми глазами, умиротворенная и счастливая.

Хадиджа вышла с ребенком на руках, ее появление встретили семикратным «ю-ю!», так соседней оповещали о рождении мальчика. Когда рождалась девочка, «ю-ю!» звучало три раза.

И тут же наступила тишина. Все женщины были поражены открывшимся их глазам зрелищем: отец и его дочь молились бок о бок на каменных плитах двора. По щекам Хадиджи покатались слезы, они упали на лоб ребенка, и тот разразился негодующими криками.

— О, женщины! — воскликнул Мокран дрожащим от волнения голосом. — Перестаньте кричать «ю-ю!». Сбережем эту радость в сердцах до возвращения наших сыновей с гор!

Он не торопясь подошел к Хадидже, взял из ее рук своего сына и с лукавым блеском в зеленых глазах спросил:

— Как ты хочешь назвать его?

— Ты отец, — ответила она, — тебе и решать.

— Послушайся меня хоть раз в жизни, упрямица! Назови имя, которое тебе хотелось бы ему дать.

Она смотрела на ребенка со странным удивлением: да, она тоже его мать! Ведь она так ждала его! Ее вдруг захлестнула волна несказанного счастья, как будто у нее под сердцем впервые шевельнулся ребенок или же как будто она впервые извела радость любви.

И Хадиджа прошептала:

— Адил! Справедливый! Ибо в нем явлена нам справедливость Аллаха, вознаградившего наше долготерпение. К тому же родился он в то время, когда уже близок час торжества истинной справедливости на нашей земле!

— Да будет так! А теперь я отнесу Адила к матери.

Женщины расступились перед ним, и он присел возле Акилы, Хадиджа выпроводила всех из комнаты и тихонько прикрыла дверь. Одни готовили предписанный обычаем рфис, другие заваривали кофе и чай. Файза схватила Хадиджу за руку, их глаза горели огнем одной и той же радости.

Тысяча девятьсот шестьдесят первый год. Все только и говорили о скором освобождении страны. И хотя оасовцы с ожесточением истребляли мусульман, надежда на избавление от колониального гнета становилась все сильнее и определеннее, народ готовился к решительной схватке.

В городах начался террор: военных и некоторых штатских среди европейцев охватило подлинное безумие. Однако никто

уже не сомневался в том, что это последняя вспышка затянувшейся болезни.

А деревня выжила, несмотря на все испытания, выпавшие на ее долю.

Дядюшку Салаха, старшего брата Мокрана, арестовали, о нем не было никаких сведений. Большинство деревенских парней ушли в маки. Вся деревня с трепетом ожидала их возвращения.

Файза закончила начальную школу, она была первой из деревенских девочек, кому это удалось. Учителя достигли пенсионного возраста, и хотя сначала они собирались продолжать работу, возраст взял свое. Пришлось им уехать. На прощанье они обещали писать Файзе и посылать книги. После их отъезда школу закрыли, там расположилась контора САС.

Для своих четырнадцати лет Файза была очень начитанной и образованной девочкой, она читала даже трудные для ее понимания книги старшего брата. Подобно ему, она тоже стремилась к знаниям и старалась быть в курсе всех событий, поэтому не расставалась с маленьким транзистором. Это она осведомляла все семейство о военных и политических событиях в стране. Отец был втайне недоволен дочерью. Везде и всюду ее видели не иначе как с книгой в руках.

«Один любитель книг в семье — это еще куда ни шло! Но вот любительница — это уже слишком!» — ворчал он себе в усы.

Файза допоздна засиживалась за чтением, не обращая внимания ни на сестру, ни на женщин, занятых шитьем или вязаньем. Хадиджа гордилась девочкой, нередко делала за нее кое-какую работу по дому и старалась успокоить Мокрана, когда тот выражал досаду на эту странную, по его мнению, манию. Что до матери, то она с явным недоброжелательством относилась к развитию личности в своей дочери. По простоте души Акила полагала, что она только понапрасну забивает себе голову всякой ерундой, неустанно пробегая страницу за страницей и в своем увлечении забывая о еде и питье. Мать боялась книг, инстинктивно угадывая их могущество. Ее мечты не шли дальше того, чтобы выдать свою старшую дочь замуж за какого-нибудь честного парня из местных. Слава Аллаху, и сама она из хорошей семьи! Отца ее все знают и почитают, и братья у нее есть. Деревенские старухи спят и видят, как бы породниться с семейством Шейха Мулуда. А ее старшая дочь — хорошенькое дело! — берет пример с европейских женщин! Со временем она, того и гляди, станет относиться свысока ко всем деревенским парням, потому что они не знают все-

го, что написано в ее книгах! Зачем пичкать свой ум ничемными историями? Лучше бы училась готовить кускус, замешивать тесто и ткать шерсть... Акила вздыхала, думая о том, что в возрасте Файзы она сама уже вела все хозяйство в доме. Видно, Мулуд заразил ее своим пристрастием к чтению. Ах, почему она раньше не постаралась оградить дочь от его влияния? Правда, в ту пору она целиком поглощена была другими детьми. Сколько забот на нее тогда свалилось! А тут еще Лалла Хадиджа вздумала поощрять безумное увлечение дочери. Акила ума не могла приложить, что с этим поделаться, все свои надежды она возлагала на авторитет Си-Мокрана, который полностью разделял ее взгляды.

А Хадиджа, хоть и была сама неграмотной, но всегда жале-ла, что родилась слишком рано, уж она-то чувствовала, что спасение Файзы — только в книгах. «Женщина, которая умеет читать и писать, — неустанно твердила она, — лучше сумеет справиться со всеми трудностями».

Втайне ее всегда ранило превосходство мужчин. И ей не хотелось, чтобы Файза или кто другой из девушек попали в руки какого-нибудь грубого деспота, который запрет жену, позволяя ей выходить из дому лишь на свадьбы или похороны. Хадиджа пыталась втолковать все это Акиле, когда та жаловалась на странности своей дочери. «Да ты представь только, — говорила она, — что ее могут прогнать, если она вдруг будет бесплодной или просто забудет поцеловать руки своей свекрови...» Акила яростно мотала головой, но Хадиджа не унималась: «Нет! Она выйдет замуж за человека образованного, под стать ей самой, с широкими взглядами на жизнь, он будет любить ее, не опасаясь, что скажут другие и как посмотрит его семья на то, что он осмеливается баловать свою супругу. Нет, Файза не зачахнет в невежестве, как забытый плод на ветке...»

Девочка часто рассказывала тете Хадидже удивительные истории, почерпнутые ею из книг. Старая женщина внимательно слушала ее, с выражением трогательной наивности на лице. Она становилась ребенком, а девочка превращалась во взрослую женщину, черты ее озарялись радостью. Листая страницы, она рассказывала Хадидже о чудесных героинях... Нет, вы только представьте себе, больная женщина, у нее чахотка (в деревне это считается постыдной болезнью), но, несмотря ни на что, ее любит молодой человек, любит так сильно, что оставляет ради нее свою семью. Имя возлюбленной Маргарита. Файза говорила, что это название цветка. А имя ее возлюбленного — Арман. Хадидже хотелось знать все подробности, она задавала все новые и новые вопросы, а потом раздумывала

над судьбой той, которую называли «дамой с камелиями». Ах, сколько еще других разных историй доставляли безграничную радость Хадидже.

В доме Си-Мокрана все перевернулось вверх дном. Молодые рассказывали легенды пожилым! Впрочем, эти легенды как будто были созданы для нежных девичьих уст...

Файза, опьяненная бесхитростным восхищением тетушки Хадиджи, с жадностью глотала книги Мулуда — все без разбора.

Она и сама-то не всегда понимала, что читает. И тогда лезла в словари. Кто бы мог предположить, что в маленькой белостенной деревушке, жившей по старинке, четырнадцатилетняя девочка говорит о звездах, о планетах, о вселенной — и с кем? Со старой, известной своим крутым нравом женщиной!

А между тем Файза углублялась в греческую мифологию, и воображение Хадиджи воспламенялось, когда она слушала повествования о сыне Зевса и Антиопы, который возвел стену вокруг Фив. Об Амфионе, чья игра на лире сдвигала и камни. Об Антигоне, дочери Эдипа, которая бесстрашно выступила на борьбу против закоснелых обычаев и погибла, осмелев похоронить своего брата Полиника... «Вот видишь! — говорила старая тетушка Хадиджа. — Даже в старину женщины восставали против безумия мужчин!» Хадиджа требовала, чтобы Файза рассказывала ей легенды, где героинями были женщины. И девочка парила над веками, пытаясь воссоздать для своей восторженной подруги действительность мечты. В голове Хадиджи перепутались странные имена и названия: Джейн Эйр, «Грозовой перевал». Сестры Бронте покорили своими романами сердце тетушки Хадиджи. Они заставляли ее трепетать, плакать, смеяться и предаваться размышлениям над таинственными силами любви и ненависти...

Особенно поразило ее открытие, которое она сделала, слушая Файзу. Оказывается, «чувство чести», столь высоко ценимое здесь, в деревне, а также сила семейных кланов и мужская гордыня существуют не только у них, но и в других странах. Она просто онемела от изумления, услышав пересказ «Колумба». Этот драматический рассказ заставил ее содрогнуться, но в то же время призадуматься и с большей снисходительностью взглянуть на законы своей страны, которые в общем-то были не столь жестоки и кровавы, как, скажем, вендетта в других краях.

Обе женщины отличались страстностью характера и потому между ними время от времени неизбежно возникали столкновения.

Малика, младшая сестренка Файзы, также принимала участие в этих вечерних посиделках. Она смеялась, видя, как гневается Хадиджа, когда Файза утверждала, что Земля вертится. «Как? Мы живем на самом обыкновенном шаре, который к тому же еще и крутится? И на других планетах, возможно, существует жизнь. Это где же, на небе? Эта девчонка — богохульница. О, Аллах, видно, старые учителя и в самом деле набили ей голову песком!»

Мало-помалу Хадиджа успокаивалась, ибо в глубине души верила в науку. Однако продолжала сомневаться.

И все же в доме мало что изменилось, если не считать новых веяний, привнесенных Файзой в эти тяжелые годы войны. Естественная беззаботность и радость, свойственные детству, неведомы были тогдашнему поколению ребятишек. Их жизнь омрачали страх и смерть. Преждевременная угрюмость запечатлелась в их глазах. Не последнюю роль в раннем формировании Файзы сыграло книжное наследство Мулуда. Его книги поили своей мудростью ту, что готова была припасть к любому источнику, лишь бы утолить жажду. За это время, однако, Файза познала сухость пустыни и ее горячего ветра. Сказано ведь: «Будешь жить с певцом — и сам запоешь, будешь жить с молещиком — и сам станешь молиться...» А когда человек молод, ум его особенно подвержен влиянию. Пробуждению Файзы способствовало множество самых разнообразных обстоятельств.

Юную девушку манили необъятные дали жизни, а на улицах ее деревни продолжал между тем господствовать комендантский час...

Однажды, перебирая книги своего брата, она наткнулась на незнакомую книгу. Сначала ей показалось, будто это роман. Она с любопытством перелистала несколько страниц и мало-помалу зачиталась — перед ней был «Капитал» Карла Маркса. Там говорилось о манифесте 1848 года, о создании I Интернационала, излагалось целое учение, основанное на материалистическом объяснении экономических и исторических фактов. Файза невольно преодолевала ощущение непонятного страха. У нее было такое чувство, как будто она прикоснулась к чему-то запретному. Файза хмурила лоб, пытаясь проникнуть в смысл слов: «Централизация средств производства и обобществление труда достигают такого пункта, когда они становятся несовместимыми с их капиталистической оболочкой. Она взрывается. Бьет час капиталистической частной собственности. ...народной массе предстоит экспроприировать немногих

узурпаторов...»¹ Она долго предавалась размышлениям, но так и не поняла смысл прочитанного. Ах, если бы Мулуд был здесь! А без него кто ей объяснит? На другое утро она стала доискиваться, кто из окружающих сможет рассеять ее недоумение. Вот, например, ее двоюродный брат Карим, который учится в лицее. Ему повезло: сестра его матери живет в городе. В деревне он появляется только во время каникул. Файза не слишком-то была дружна с ним. Наведывался он сюда редко, да и потом, уж таков обычай: девочки — сами по себе, и мальчики — сами по себе. Как же быть? Но ничего, уже конец июля, Карим вот-вот должен приехать. Как-нибудь выпадет удобный случай, чтобы поговорить с ним...

Малика мыла во дворе посуду и громко напевала. Девушка она ловкая, гибкая и неустойчивая. Ей бы только посмеяться, поболтать с другими женщинами. Файза же любила читать. Ее мечты естественно вплетались в действительность, а мысли вбирали в себя весь смысл существования... Малика обещала стать воплощением беззаботности, о теневых сторонах жизни она не задумывалась.

Как раз в тот день женщины торопились поскорее покончить с хозяйственными делами, потому что у тети Айши была назначена туиза: все сообща должны заготавливать шерсть для бурнусов и покрывал, по части тканей тетя Айша была лучшая мастерица в семье. Все свободные женщины собирались у нее, это был своего рода праздник, с шутками и смехом.

Однако на этот раз Файза заупрямилась, ей хотелось остаться дома.

— Я посижу с Адилем и приготовлю отцу обед.

Но Акила настаивала:

— Пора наконец и тебе хоть немного поработать, привыкай к женскому труду. А если останешься здесь, я знаю, ты опять уткнешься в свои книги. Нет, нет, иди!

Хадиджа пришла ей на помощь.

— Послушайся мать, Файза! Теперь ты уже взрослая девушка, и твои руки пригодятся у тети Айши, работы там много. Вот увидишь, это очень интересно, узнаешь, по крайней мере, как делаются покрывала.

Девушка вздохнула с несчастным видом. Было решено, что дома с малышами останется Акила, а Хадиджа с Файзой и Маликой отправились в путь.

Дом тети Айши стоял чуть ли не на самом краю деревни, неподалеку от маисового поля. Перед оградой дома играли

¹ К. Маркс. Капитал. М., Изд-во полит лит-ры, 1967, с. 773.

ребятишки, которые встретили пришедших радостными криками. Там уже собралось большинство деревенских женщин, они должны были помочь хозяйке дома в ее самой важной за весь год работе. Всех угостили чаем со сладкими пирожками, и, расположившись во дворе, женщины принялись за работу.

Тетя Айша была лучшей ковровщицей во всей округе. Это искусство передавалось из поколения в поколение, в каждом семействе была своя отменная мастерица, но Айшу отличало от всех особое умение, дар, и ее ковры были особенно красочны, переливались всеми цветами радуги.

Настриженную с баранов шерсть промыли в горячей воде, высушили, затем покрасили, подготовив для тканья. Это была трудоемкая работа, которая требовала помощи других женщин. И так уж испокон веков было заведено, что все они оказывали друг дружке эту помощь. В тот день женщины должны были чесать и прядь шерсть, которую затем скрутят в мотки и уложат возле ткацкого станка.

Айша уже припасла уток, из которого ее волшебные пальцы создадут в скором времени яркие покрывала, красивые, мягкие бурнусы, ковры, словно тысячи женских голосов, сливающие в себе все краски.

Айша подбадривала своих подруг добрыми словами:

— А ну-ка, моя газель! Потяни немного нитку. Что и говорить, пальцы у тебя такие же нежные и белые, как моя шерсть. Ах, и счастливцев же твой муж! Клянусь всеми святыми!

Хадиджа старалась помочь ей изо всех сил. Шутками да прибаутками им удалось развеселить женщин. Туиза в доме Айши самая приятная и в общем-то неустойчивая, хотя работа не из легких: работать приходится сидя, двигаются одни лишь руки, поднимаются, опускаются, растягивают пряжу широкими взмахами. На сердце у всех было радостно. Файза вместе с другими девушками сматывала шерсть. Скоро именно им, молодым, поручат накрывать столы. А пока они работают, то и дело краснея и потупляя глаза от рискованных шуточек женщин. Так незаметно бежит время, наступают сумерки, и все они отправляются домой с радостным ощущением покоя в душе. У каждой из них есть свои дни для туизы — в эти дни они запасают продовольствие на зиму. Во всяком добропорядочном доме положено хранить в мешках из козьих шкур кускус, мучные шарики или «птичьи языки» для супов. Все это заготавливается вот так же, в один из летних дней, с помощью соседок. Для жителей деревни туиза — дело привычное. К каждому значительному событию обычно готовятся все сообща, и тут всегда выискиваются женщины, готовые чи-

тать стихи, рассказывать старинные легенды или щедро рассылать пословицы. Туизы помогают раскрытию самых разнообразных талантов, они превращают деревню в тесное содружество людей. Браки, как правило, заключаются между жителями одной деревни. Правда, невестку иногда берут из соседнего района, в том обычно случае, если это какая-нибудь дальняя родственница.

В четырнадцать лет девочку уже могут выдать замуж. В доме Си-Мокрана было две взрослых дочери, одна — четырнадцати лет, другая — тринадцати, которые уже привлекали внимание старых свах. Но когда с Файзой заговаривали на эту тему, она неизменно отвечала:

— Нет! Я не пойду замуж! Хочу учиться. Хочу изучить какое-нибудь дело.

Мать с Хадиджей частенько посмеивались над ней:

— Неужели ты будешь ходить на работу, как мужчина! Какой стыд!

А тетя Хадиджа лукаво добавляла:

— То, что ты ученая, пригодится твоему будущему мужу. Но ведь ты у нас все-таки не чужестранка? Замуж-то ты выйдешь! Твой отец, слава Аллаху, убережет тебя от глупостей. И ты будешь счастливее нас, потому что знаешь свои права. Ваша жизнь, девочки мои, будет лучше нашей. И вашему поколению достанется больше радости...

— Или страданий! — с усмешкой возражала девушка. — Мы научились читать, а там, глядишь, научимся и понимать. Тогда мы утратим беспечность, у нас появятся новые желания, а это только затруднит нашу жизнь.

— Ну, я-то уж, во всяком случае, унывать не намерена! — смеялась Малика. — Напротив, я буду веселиться по всякому поводу!

Малика была воплощением неизбывного веселья и беззаботности, что не мешало ей знать грамоту.

«Написать письмо я сумею», — говорила она. «Ну да, — вмешивалась Файза, — с кучей орфографических ошибок». Малика и в самом деле была вечно не в ладах с правилами образования множественного числа, согласованием и спряжением глаголов, но, пожав плечами, заявляла: «Это не помеха, чтобы иметь мужа и детей».

Между сестрами был всего год разницы в возрасте. Младшая была не только красивее, чем старшая, но и более женственной. Чернота волос подчеркивала прелесть ее лукавых зеленых глаз, унаследованных от отца. Малика отлично понимала как свои достоинства, так и выгоды своего положения. Она

мечтала о пышной свадьбе с петардами, песнями, красивыми гандурами из бархата, шитого золотом, и, само собой разумеется, о муже и ребятишках. Поэтому она невольно присоединялась к женщинам, которые высмеивали пристрастие сестры к книгам и ее нежелание выходить замуж. Файза была чересчур высокой для своего возраста, чересчур худой и смуглой, — в полную противоположность Малике.

Природа как-то странно заострила все черты характера и внешности Файзы. Она походила скорее на Хадиджу, чем на родную мать. В ее походке, движениях все еще сказывалась детская неловкость, но у нее, безусловно, была своя изюминка, трудно определяемая, но вполне реальная. Стать, как и другие женщины, просто «вещью», предаться плотским удовольствиям означало для нее отказ от богатых возможностей духовного совершенствования. Всю жизнь благодарить мужа за то, что он остановил на ней свой выбор! Смешно, думала Файза, тут неуместен восторг, который проявляет простодушная Малика. Ей так хотелось поделиться своими мыслями с матерью, со всеми другими! Сказать им, что она не желает быть безропотной рабыней, весь мир для которой сосредоточен в домашнем хозяйстве и радостях супружеского ложа. Нет, это не для нее. Файза слушала все те же стародавние истории, которыми без устали тешились ее тетушки и подружки, и душа ее втайне трепетала: она клялась себе, что сумеет отстоять свою будущность от всех посягательств. И думала она только о бегстве. Как будто замышляла предательство. Своими страхами и тревогами она делилась с тетей Хадиджей:

— Вот увидишь! Когда я вырасту, я пойду работать и накоплю много денег, чтобы ты могла поехать в Мекку. Только представь себе, ты возвращаешься в белом одеянии и все кумушки спешат приложиться к твоим рукам и голове. Ты в полной мере заслуживаешь этого, потому что ты добрая и потому что... Потому что я люблю тебя больше всех на свете!

Хадиджа со смехом отвечала:

— Тише! Тише! Не ровен час, услышит твоя мать, каково-то ей тогда будет? В твоём сердце мы все должны быть равны!

Девушка повторяла, что непременно выполнит свое обещание и отправит Хадиджу в Мекку. Ма Хадиджа прижимала ее к себе и шептала:

— Дурочка! Пока ты зарабатываешь на мое паломничество в Мекку, я совсем состарюсь! Ах ты, моя славная горлица, мой звонкий ручеек!

Как раз в ту пору приехал Карим. Вся семья гордилась молодым человеком: он сумел закончить свое обучение в городе,

который всё еще сотрясался от обрушившихся на него бурь. Отец его томился в тюрьме, так что Карим оказался единственным кормильцем в доме, где, кроме матери, на его попечении были сестры и две отцовские жены. Вполне понятно, что большую часть свободного времени молодой человек проводил у дяди Мокрана. Оба они привязались друг к другу. Нрав у Карима был положительный, серьезный, но не слишком: ему удалось сохранить веселую непосредственность. Несмотря на диплом, он ничуть не переменялся. Конечно, он знал куда больше, чем его деревенские приятели, но чувство меры, присущее крестьянам, никогда ему не изменяло.

Он часто беседовал с дядюшкой о событиях в городе. Слушая его, Мокран думал о том, что со своим сыном он никогда так много не говорил. С Каримом ему легко и просто, тот очень общителен и с ним можно обсуждать любые проблемы. Карим посвятил дядю в свои планы. Он собирается остаться здесь: после окончания войны будет преподавать в школе. Он уже убедился на опыте, что нигде, кроме как в родной деревне, жить не сможет.

— Я чувствую, — говорил он, — что мое место здесь, здесь смысл моей жизни и работы.

В конце концов он полностью покори́л Мокрана: да, что и говорить, разумный парень, достойный сын своих предков...

Малика непрестанно кружила во дворе: Карим возбуждал ее любопытство. Файза не выдержала и показала свои книги. Двоюродного брата очаровал ее ум. Как-то после обеда отец отправился спать, а молодые люди остались беседовать во дворе. Файза смущенно протянула ему книгу Мулуда, которая так заинтриговала ее. Карим удивленно вздернул брови:

— Ну и ну! Странное, однако, чтение для твоего возраста! — со смехом сказал он.

Под градом ее вопросов Карим на какое-то мгновение потерял дар речи... «Поразительно, — думал он, — как это девочку из нашей деревни могли заинтересовать труды Карла Маркса. Ни более ни менее!» Он объяснил ей, что философия, излагаемая в этой книге, трудна для ее понимания, но станет ей доступной со временем. Однако Файза, со свойственным ей упрямством, хотела знать, существуют ли люди, придерживающиеся этого учения. Он осторожно ответил, что есть такая большая страна — Россия, где это учение нашло себе ревностных приверженцев. Она настойчиво его расспрашивала, не христиане ли живут в этой стране. В ее сознании понятие религии неразрывно было связано с формой государственного строя. Карим долго смотрел на свою любознательную двою-

родную сестру, потом, призвав на помощь все свои познания, стал просвещать. Он рассказывал ей о равноправии людей в обществе, о системах правления, существующих в разных странах, вкратце объяснил философию автора взволновавшей ее книги. Но когда он попробовал сопоставить значение этого философского учения для России со значением Корана для мусульман, Файза была потрясена. «Значит, они верят только в науку, признают только ее силу? А существование бога отрицают?» — с недоверием повторяла она. Потом, вдруг пожав плечами, решительно тряхнула головой, выражая таким образом свое недоумение.

В конце концов оба они рассмеялись, и Карим, потрепав ее по щеке, посоветовал не увлекаться пока что такого рода чтением: «Подрасти сначала, а потом уже составишь более разумное представление о подобных вещах».

В Файзе было еще так много детскости, что ей непременно захотелось поразить Хадиджу. Лучшей публики и желать было невозможно. Взволнованная своим открытием, Файза показала Ма Хадидже портрет Карла Маркса на обложке книги. Та воскликнула: «Какой красивый! Задумчивый, гордый взгляд! Великолепная седая борода! Послушай, да он похож на твоего отца! Как странно! — Потом, подумав, добавила: — Интересно, кого он любил в своей жизни. Расскажи мне о нем!»

Хадидже нравились рассказы о любви. Файза была польщена интересом своей верной слушательницы и с важным видом произнесла: «Это великий человек! Ученый!» И, увлеченная силой своего воображения, она стала рассказывать историю жизни великого человека... Хадиджа с трепетом слушала пламенные слова девушки. Файза обладала истинным даром рассказчицы, умела достигать нужных эффектов. Этот дар она, по всей видимости, унаследовала от какого-нибудь предка-сказителя.

— Благодаря ему в этой стране нет больше богачей, — заявила она в заключение, показывая на портрет. — Ни царей, ни цариц...

Глаза у Хадиджи округлились от удивления:

— Как, там нет больше богатых? Они прогнали царей? Йа Раби! Существует же на свете такая страна! И я только сейчас узнала об этом! — жалобно простонала она.

А девушка, упиваясь магией слов, прошептала таинственно:

— Это еще не все, Ма! Наклонись поближе...

Хадиджа встала, прищипла ухом к горячим устами девушки, и та выдохнула:

— В этой стране ему поклоняются, как богу! А его книга — это их Коран.

Пожилая женщина отпрянула, точно ужаленная. И впилась глазами в девушку: уж не рехнулась ли она, не вселился ли в нее сатана? Сердце ее бешено застучало, оцепенение было нарушено. Она уставила гневный палец на обложку книги и прокричала:

— Они не признают бога? Вот нечестивцы! Христиане, евреи — все, все веруют в бога, каждый по-своему. Ну а ты-то, дочь моя, уж не восхищает ли тебя их богохульство? Бороться за бедных — это хорошо, но уничтожить веру! Бисмиллах эр рахман аль рахим! Если бы твой отец знал! О, несчастная!

Хадиджа вырвала книгу из рук девушки, та побледнела, почувствовав, что попала в тиски собственной откровенности.

— Ни разу в жизни не слышала ничего подобного! Я сожгу эту книгу. Просто грех держать ее в доме благочестивых людей...

Охваченная гневом, она буйствовала, точно фурия, от нее можно было ждать любых крайностей. Вскочив, Файза выхватила книгу из рук обезумевшей женщины и закричала еще громче, чем она. Как ни странно, это тут же успокоило Хадиджу.

— Это книга Мулуда! — кричала Файза. — Ты не имеешь права ее рвать. Когда он вернется, все его вещи должны быть в целости и сохранности! Если хочешь знать, я нарочно все преувеличила: была так поражена, что мне захотелось удивить и тебя, вот и все! Сама же я всей душой верю в бога! А ты что подумала?

Хадиджа с облегчением вздохнула, услышав эти разуверения. Она присела на край дивана и велела Файзе подойти к ней.

— Ах, это ужасно, моя горлица! У тебя было такое странное выражение лица. Больше всего меня возмутило твое лицо, а не книга. Страшно даже подумать, что есть люди без веры! Скажи, неужели Мулуд читал все это? Да?.. Но он никогда не рассказывал тебе ничего подобного? Не знаю теперь, что и думать! Учитесь, дети, но не отрекайтесь от своей религии, от своих обычаев и от почитания святых.

Из города поступали тревожные вести. Любой араб, очутившийся на улице, мог подвергнуться жестокой расправе, всюду царил насилие. И телеграф разносил новости по всему миру. Стало известно, что генерал де Голль провозгласил на торжественном заседании прекращение огня. Как и всех алжирцев, Файзу окрыляла надежда. Она до слез была взволнована,

когда услышала, как по радио в первый раз говорят о свободном Алжире. История как бы оживала, и сквозь века веяло великое дыхание человеческого братства.

Колонны грузовиков, джипов загромождали дороги: они увозили оружие и несбывшиеся надежды на увековеченное господство...

Люди целовались на улицах, охваченные единым радостным порывом: наконец-то обретена независимость! Это слово, неоспоримое в своей подлинности, подымало бурю народного ликования.

На смену тем, что ушли, прибывали другие солдаты в мундирах цвета гор. Опаленные солнцем, они были так веселы и глаза их светились таким счастливым удивлением, что казалось, они никак не могут поверить, что имеют теперь полное право гордо ступать по земле своих предков. «Неужели извилистые горные тропы, где мы едва осмеливались дышать, боясь выдать себя врагу, — теперь только кошмарное воспоминание?» — можно было прочесть в их восторженных взглядах. Наконец-то в их криках зазвучала радость, а не боль. На каждом шагу они впитывали в себя окружавшую их любовь и поклонение.

В то время, как в некоторых домах слышались рыдания: оплакивали павших борцов за свободу, в других гремели торжествующие возгласы: «Ю-ю! Ю-ю!», и все вокруг было напоено запахом праздничного кускуса. А там, на улице, какая-то женщина пыталась разузнать о своем сыне, показывая пожелтевшую фотографию.

В деревне неожиданно обнаружилась своя героиня! Оказывается, Фатима, которая всю войну проработала в больнице, была одной из самых надежных и верных связных, помогавших муджахидам. Жители деревни с изумлением смотрели, как с присущим ей скромным видом она идет в рядах борцов за свободу. Все поздравляли и благословляли друг друга. Радио, улицы, само небо — все, казалось, охвачено было торжеством. И все спешили убедиться в незапятнанном величии своей родины.

Лишь в доме Си-Мокрана царило уныние. Мулуд все не возвращался. Дядя Салах погиб вместе с двумя двоюродными братьями. Вернулся один Юсеф, старший брат Мокрана, только его возвращение и утешало семью. Вся ответственность легла на плечи Карима.

И вдруг командир одной из частей джунудов¹, расположив-

¹ Джунуд — солдат (араб.).

шейся в деревне, сообщил им весть о Мулуде. Оказалось, что молодой человек был тяжело ранен через год после ухода в маки. Его переправили в Тунис, где он долгое время лечился. Мулуд обратил на себя внимание остротой своего ума, и его вместе с группой молодых людей отправили учиться в СССР. Наконец-то отец мог возвестить своим, что Мулуд вернется через три месяца. Они узнали, что он получил диплом инженера. Весь дом преисполнился гордости, но так как они не очень-то хорошо понимали, что это значит, им пришлось обратиться к Файзе. Закончив свои разъяснения, девушка вдруг лукаво добавила, обращаясь к Хадидже:

— Страна, где он учился, та самая, о которой я тебе рассказывала... Помнишь, Ма, ты еще тогда рассердилась!

Хадиджа подскочила и изо всех сил ударила себя по бокам:

— Йа шуми!¹ Неужели Мулуд там? Йа Аллах! Только бы он не переменялся!

Она запричитала, но никто не мог уловить смысл этого разговора двух женщин.

— Чем ты встревожена, жена? — спросил Мокран. — Можно подумать, что у них в стране живут сущие дьяволы.

— О, так оно и есть! Ты и представить себе не можешь, насколько ты близок к истине! Да оградит его Аллах от дурных помыслов!

Тут она заметила насмешливое выражение на лице Файзы, и к ней сразу же вернулось хорошее настроение.

Хадиджа посмотрела ей прямо в глаза и со смехом проговорила:

— Ну, теперь-то я знаю, чего опасаться. Уж я ли не сумею вернуть Мулуда на путь истинный? Запру его в мечеть вместе со старыми толба² и буду сторожить дверь до тех пор, пока он не выйдет оттуда таким же безгрешным, как из чрева матери!

Все семейство потешалось над этими угрозами, хотя никто не понимал толком, в чем дело.

Дом заново побелили и начали готовить всякие сладости, ожидая возвращения старшего сына.

Итак, началась новая жизнь, сулившая новые радости. Многие предавались тогда размышлениям, пытаясь угадать будущее и политику новорожденного Алжира. Младенец этот был увенчан короной новой идеологии и звонкими лозунгами...

В кафе люди рассказывали друг другу всякие небылицы. А на улицах, вытесняя возвышенные слова, мало-помалу

¹ Восклицание, выражающее изумление.

² Толба — учителя или чтецы Корана (араб.).

утверждалась повседневная жизнь. На обломках прошлого возрождалась национальная культура. Революция облачалась в новые наряды, выдвигала новые имена. Ислам возвращался к прежней власти.

Однако, несмотря на пылкие речи, будущее скрывалось в тумане. Где отыскать ключи к нему? Страна ликовала, впервые дыша полной грудью. Гордо и надменно, в опьянении своей красотой и молодостью, смотрела она вперед. Щедро и великодушно, не считая, раздавала свои сокровища. Но голова у нее кружилась от новообретенной свободы. Шумливая, импульсивная, она забывала порой об осторожности благоразумии, свойственном зрелости. А ведь в мире, где беспредельно властвует конкуренция, нет более выигрышной карты, чем терпение. У дверей зала, где происходил праздничный бал, толпились другие красавицы. Но в своей надменности она презирала скрытность перед лицом врагов и друзей, тайны, которые дремали в ее сердце, вырывались наружу, грозные, как кинжалы. Девственница готова была раскрыть свою грудь, обнажив все, что в ней таилось. Она отметала богатых недругов, собирала у своих ног всех обездоленных бедняков, делилась последним куском хлеба с нищими, отдавала всю себя без остатка.

Нимфа, вышедшая из глубины веков, закрывала уши, не желая внимать словам мудрецов, ибо ей неведома была подозрительность.

Война, оружие и безрассудная храбрость — этим далеко не исчерпывается политика, та самая, что с помощью хитрых уловок, недомолвок и расчета умело прокладывает себе дорогу даже в джунглях. Нимфа пожимала плечами, ей было все нипочем! Жажда свободы заслоняла от нее реальную действительность. Она отказывалась ползать, как муравей. Разумеется, она могла бы проявить волю и желание защитить слабых, но должна была скрывать свои замыслы и держать про запас козыри, чтобы выложить их в нужный момент...

Пусть она пока ведет свою игру, — нашептывали благоразумные, — пусть творит свой суд, пусть отстаивает всеми силами правду, может быть, мудрость в конце концов явит свое мирное обличие.

Люди начинали верить в божественную справедливость. Вчерашние отверженные становились сегодня избранниками, пользующимися всеобщим уважением. Все это и обсуждалось во дворе Си-Мокрана. Сам он удалился соснуть после обеда. Женщины пили чай, расположившись вокруг мейды. Речь шла о последних деревенских событиях: старый сапожник Рабах,

потерявший на чужбине чахоточного сына, дождался наконец другого сына, сражавшегося в рядах партизан! Камель был лучшим другом Мулуда. Теперь он фактически стал мэром деревни и вместе со своей семьей жил в белом здании мэрии. Молодой человек, симпатичный и умный, старался изо всех сил преобразить любимую деревню. Снова открылась школа, во дворе ее толклись ребятишки. Большинство деревенских жителей искренне радовались возвышению Рабаха. Но и завистников у него хватало.

«Ишь как вознеслись!» — судачили они. Давно ли старая Кейра плела корзинки и циновки, а ее муж чинил стертые подметки... И вот они принимают гостей в своем новом жилище, заставленном какой-то чудной, непривычной мебелью. Кумушки смеялись, рассказывая друг другу такую забавную историю: старой Кейре не понравилась столовая мебель, и она приказала вынести все столы и стулья, только загромождавшие, как она считала, комнаты, а вместо них велела поставить низкие диваны и застелить их коврами. Оставила она только буфет. Злые языки уверяли также, будто ваннные комнаты она превратила в кладовые, забив их мешками с мукой и кускусом. Это, однако, отнюдь не мешало завистницам, да и просто любопытным являться к ней с визитом: одна несла смен¹, другая — финики, все торопились поздравить халти Кейру. Жена Си-Рабаха всегда отличалась скромностью и в новых обстоятельствах ничуть не переменялась. Это была тихая старушка, с признательностью взиравшая на все окружающее, довольная уже тем, что существует на свете.

Зато старый Хаджи-аль-Тажер вместе со своим сыном Хосином был оттеснен на задний план. Он совсем одряхлел, и почитали его теперь за один только возраст. После скандала, учиненного Хадиджей, они с Мокраном охладели друг к другу. Виделись, конечно, в мечети, но тем и ограничивались их встречи. Медали были убраны в ящик комода. Старик отнюдь не считал себя предателем! Не вносил ли он свою лепту в общее дело, регулярно выплачивая патриотам пять тысяч старых франков? Это-то и оградило его от бесчестия. Хосин продолжал интриговать по своему обыкновению. Правда, его боевой задор сосредоточивался теперь лишь на свадьбах, но в ту пору устраивалось множество свадеб. Можно было подумать, что им передался стремительный ритм дней и речей. Казалось, что в стране не останется скоро ни девушек, ни вдов...

Среди радостного возбуждения, сопутствующего обретению

¹ Смен — масло (араб.).

свободы, Хосин не утратил своего делового нюха. Он стал осторожно обхаживать Камеля. Была у него шестнадцатилетняя дочь на выданье, юная и живая Мерием. Супруга старого хаджи пыталась залучить к себе Си-Рабаха и халти Кейру, устраивая всевозможные пиршества в их честь или по случаю какой-нибудь уады¹. Си-Рабах, на которого прежде и внимания-то никто не обращал, восседал теперь на джемаа между имамом и отцом Хосина. Сын Мокрана все еще не возвратился. Его дочери были только лишними конкурентками для Мерием! Поэтому Мокрана и «забывали» приглашать на обеды, которые устраивали Тажеры...

Вскоре и Фатима тоже вышла замуж за майора или капитана отважной АНО². За кого именно, так толком никто и не знал, потому что люди еще не привыкли разбираться в новых званиях. Свадьба была скромная, под стать самой тихой и спокойной Фатиме. Посреди всеобщего необузданного веселья это выглядело более чем странно. Мать невесты просто засыпали подарками.

Попивая чай, Хадиджа и Акила шутили по поводу мании величия, появившейся с недавних пор у некоторых людей. И вдруг услышали стук в дверь. Они продолжали сидеть, недоумевая: кто бы мог прийти к ним в такое время? Молодым женщинам не положено открывать дверь, это пришлось сделать Хадидже.

Онемев от удивления, она смотрела на высокого смеющегося, немного робкого, как ребенок, парня. Затем вдруг обвила его шею руками и зарыдала:

— О! Мой сын! Мой сын!..

Послышалось чье-то смущенное покашливание. За спиной Мулуда Хадиджа увидела Камеля.

— Я пошел, — сказал он. — Халти Хадиджа, счастье вашему дому!

— Нет, нет, останься с нами. Неужели ты не выпьешь даже чашки чая?

Дрожа от радости, Хадиджа вернулась в сопровождении двоих молодых людей. Хадиджа забыла предупредить заранее Малику, чтобы та ушла, ведь девушке неприлично показываться молодому, да еще холостому мужчине. Акила с дочерью были безмерно поражены. Мулуд бросился к Акиле, заливавшейся слезами радости. И только тогда заметил свою юную сестренку:

¹ У а д а — праздник (араб.).

² А Н О — Армия национального освобождения.

— Малика! — воскликнул он. — Сестричка, как ты выросла и какая же ты красивая!

Малика весело щебетала, целуя брата. Появился Мокран, с опухшими от сна глазами.

Радостные расспросы! Взволнованные объятия! Лишь через несколько минут все вспомнили наконец о Камеле, который впервые переступил порог их дома. Его начали поздравлять, благословлять, как будто это он вернул им Мулуда. Смущенного Камеля усадили вместе со всеми мужчинами за мейду, уставленную сладостями. Он старался не поднимать глаз, как и полагается молодому человеку, почитающему обычаи, но удержаться было трудно, и он все же поглядывал иногда украдкой на красавицу Малику. Та вскоре покраснелась и убежала.

— А где же Файза? — воскликнул вдруг Мулуд, вырвавшись из объятий родных и ища обеспокоенным взглядом свою сестру.

Файза уже несколько минут стояла неподвижно в глубине двора, наблюдая за всем происходящим. Не находя слов, брат и сестра долгое время молча смотрели друг на друга. Файза не протянула к нему рук, лишь глаза ее лихорадочно заблестели. То ли от слез, то ли просто от волнения — этого Мулуд не понял, только отметил про себя: «Какая она высокая! Скуластая, смуглая — истинная азиатка!»

Мулуд и Файза вновь обрели друг друга, слились в каком-то дружеском сообществе, укрывшись за высоким забором, который скрывал от других одни и те же заветные мечты, одинаковое стремление идти своим жизненным путем.

Мулуд рассказывал о своем ранении, о больницах, о великой стране, которую ему довелось повидать, о своих там знакомствах. Мать с беспокойством перебила его:

— А в той стране, где ты был, мой сын, какие люди? Такие же, как и мы?

— Конечно, мама! — Удивившись странному вопросу, Мулуд принялся рассказывать: — Отзывчивые, веселые, дружелюбные, с развитым чувством долга, словом, такие же, как и мы.

— А это правда, что они неверующие? — снова спросила Хадиджа.

— Почему тебя это тревожит, мама?

Хадиджа лукаво подмигнула Файзе, и обе они расхохотались. Заметив недоумение на лице Мулуда, Файза в нескольких словах объяснила причину опасений его матери. Мулуд высмеял ученые споры женщин и успокоил мать. Его веру, сказал

он, не могут пошатнуть ни приверженцы христианства, ни атеисты.

— Но ведь и у них, — добавил он, — не все неверующие. Там есть последователи самых разных религий, в том числе и мусульмане! По пятницам, я сам видел, они ходят в мечеть, и я знаю, что они соблюдают пост и не едят свинину...

Вся семья слушала его, затаив дыхание. Мулуд говорил спокойно, но с такой убежденностью, что никто не осмеливался прервать его. Он изменился до неузнаваемости. В глазах у него появилась уверенность. В движениях — сдержанная сила. Видно было, что он в ладу с другими и с самим собой. Рядом с сыном Мокран вдруг ощутил себя усталым стариком. А ведь, казалось бы, он должен был чувствовать себя сильнее, ибо Аллах вернул ему сына — таким, каким он всегда мечтал его видеть. Трудно иногда понять человека! Мокран радовался, что сын вернулся домой живым и невредимым. Но сердце подсказывало ему, что у него по-прежнему есть основания для опасения. Мулуд рожден для иной жизни. Он сидит рядом, смеется, что-то доказывает своим родным, но он не такой, как они, — славный, доброжелательный, но... чужой. Мокран едва ли не сожалел о том маленьком мальчике с затравленным, диким взглядом и такими неторопливыми движениями, как будто впереди у него целая вечность. Перед ним стоял мужчина, который нашел ответы на все свои вопросы и знает, что ему делать.

Вот уже целый месяц, как Мулуд жил дома, — а ему все не надоедало играть со своим маленьким братом Адилом и сестренкой Ханией. Детишки вечно спорили, кому из них сидеть у него на плечах. Мулуд повидался со всеми своими друзьями в деревне. Встретился и со старым Рабахом, за которого он писал письма во время войны. Он был рад увидаться с одним из командиров, с которым он вместе сражался в партизанском отряде. Си-Тахару было около сорока лет, он отличался энергичным характером и вполне современными взглядами. Он с гордостью носил свой мундир. Армия была его призванием, и перед ним лежало славное будущее. Он собирался учиться, чтобы продвинуться по службе. В ряды партизан Си-Тахар пришел хотя и отважным, но неграмотным воином. Там он научился читать и писать, и теперь перед ним были открыты все дороги. Рядом с Мулудом он чувствовал себя еще моложе и деятельнее.

И вот Тахар получил назначение на важный пост, ему пред-

стояло уехать в другой район страны. Мулуд горячо поздравил его с вполне заслуженным повышением. Си-Тахар показался ему странно озабоченным. В конце концов он открыл Мулуду свое сердце:

— Видишь ли, я хотел бы поговорить с тобой об одном деле. Я намерен просить руки твоей сестры Файзы. Разумеется, я пойду к твоему отцу! Но прежде мне хотелось поговорить с тобой.

Мулуд весь похолодел. Ему удалось скрыть свое удивление за натянутой улыбкой.

— Но ведь ей всего пятнадцать лет! На вид она старше, но...

— Знаю! — прервал его Тахар. — Я и не собираюсь жениться на ней прямо сейчас. Можно справить помолвку, а свадьбу — через два года! Тем временем я все устрою, приготовлю дом... Я готов согласиться на любой выкуп, который потребует твой отец! На моем новом посту мне нужно, чтобы рядом со мной была женщина образованная. Такая, как твоя сестра.

Мулуд слушал его, какое-то жаркое чувство, вероятно всего гнев, затопляло его сердце. Замысел друга показался ему нелепым, даже оскорбительным.

— Да ведь ты женат! У тебя двое детей. Пока ты сражался в горах, твоя жена жила в нищете и все время ждала тебя...

Си-Тахар тряхнул головой, как будто стараясь отогнать неприятные мысли, которые породили доводы Мулуда. Он сердито сказал:

— Да! Да! Но ведь она бедная, неграмотная крестьянка. Отец женил меня семнадцати лет. Ему, видишь ли, не терпелось иметь внуков. А я у него единственный сын. Я ее никогда не любил. Имею же я теперь право переделать свою жизнь!

Он эгоистично настаивал на своем решении, пытаясь рассеять сомнения друга.

— Во всяком случае, сейчас она ни в чем не нуждается! Я помогаю и ей, и детям. Они живут у тестя. Вот увидишь, он быстро найдет ей другого мужа! А твой отец меня поймет...

Он явно хотел сказать: «У твоего-то отца две жены. Он меня поймет скорее, чем ты, мой мальчик».

Мулуд долго раздумывал об этом человеке. Совесть его была спокойна: а как же, ведь он посылает деньги жене и ребятишкам... Теперь он «на виду», и ему требуется красивый цветок, чтобы потешить свое тщеславие. А почему бы ему не помочь «бедной крестьянке» приспособиться к новым условиям его жизни? Почему бы и ей, вместе с детьми, не воспользоваться выпавшими на его долю благами и не разделить честь

его нового назначения? Почему он считает, что мужчина имеет право выбирать все лучшее, а все, что ему не нравится, отбрасывать? Еще вчера он и сам был неграмотным, а сегодня, дорвавшись до власти, чувствует себя важной особой! Подавай ему юную девственницу!

Мулуд молча встал, раздумывая над тайнами человеческой психологии, однако он все-таки обещал Тахару поговорить с отцом.

По дороге домой он продолжал напряженно размышлять. И весь вечер, пока Файза вместе с другими женщинами готовила ужин, он не спускал с нее глаз. Малика подтрунивала над старшей сестрой, а та только смеялась над ее шутками. Ханья напевала, баюкая куклу. Адил непрестанно повторял: «Хада! Хада!»¹ и, опьяненный узнаванием все новых слов, наполнял дом радостными криками.

«В конце концов, ей даже, может, будет лестно, что на ней остановил свое внимание такой человек, как Си-Тахар? — думал Мулуд. — Женщин ведь трудно понять. А вдруг Файза изменилась за эти годы? Она выросла среди женщин, для которых судьба предначертала один путь: замужество, рождение детей, смерть... Может быть, она обрадуется, что станет важной дамой? Ей ведь не хуже других известно положение Тахара. Став его женой, она уедет из ненавистой ей деревни. Кроме всего прочего, он и мужчина хоть куда! У него тонкие, победительного вида усики, голубые глаза с густыми черными ресницами. Взгляд так и светится. Пожалуй, лучше прежде всего поговорить с ней самой!» Обычно вечерами по пятницам Си-Мокран отправлялся на джемаа, где вместе с другими мужчинами вел нескончаемые споры на политические и философские темы. Женщины укладывали спать детей и, болтая между собой, занимались штопкой и починкой одежды. Мулуд предпочитал проводить это время в обществе Файзы. Им было хорошо вдвоем. Они любили говорить о книгах. Молодой человек рассказывал о своих приключениях. Малика посмеивалась над их неистощимыми беседами: «На словах-то Мулуд с Файзой готовы весь мир перевернуть, да только руки у них никак не доходят до дела...» Но в тот вечер Мулуд порывался узнать мнение Файзы по поводу волновавшего его вопроса. Его нетерпение не укрылось от ласкового внимания любящей сестры. Она хорошо его знала и решила расспросить, отчего он так мрачен сегодня.

— Мулуд! Ты сегодня какой-то странный. Беспокоишься,

¹ Вот это! (араб.)

что все нет вызова, который тебе должны прислать из Алжира?

Молодой человек улыбнулся. Проницательность Файзы не обманывала ее, она одна угадала, что он чем-то встревожен.

— Нет. Я прекрасно знаю, что его пришлют только в конце месяца, а значит, впереди у меня целых две недели, есть еще время подумать об этом.

Она встрепелась, едва удерживаясь от смеха:

— Ясно! Мы уже надоели тебе! Тут для тебя чересчур тихое местечко. Наши заботы представляются тебе слишком мелкими! Мосье снова рвется в бой!

Он хмурился, даже не улыбнулся ей в ответ. Она ласково придвинулась к нему.

— Прости, пожалуйста. Я не хотела тебя обидеть, брат. Думала развеселить немного, так что не сердись.

Он взял девушку за руки и спросил в упор:

— Ты знаешь Си-Тахара?

— Конечно! Он же приходил к нам обедать вместе с тобой.

А в чем дело?

— Так вот! Он хочет жениться на тебе!

Файза молча смотрела на него, и он поспешил добавить:

— Не сейчас! Через два года... Он получил новое назначение... Он просил меня поговорить с отцом, но я решил сначала узнать твое мнение.

Тут только он заметил суровый взгляд девушки. Глаза ее превратились в узкие черные щелочки. Она вдруг стала похожа на разгневанную Хадиджу.

— А ты? — взорвалась она. — Ты уже готов меня бросить на произвол судьбы? Ты, видимо, никогда не принимал меня всерьез, а мои мечты казались тебе детскими бреднями...

— Что ты говоришь?!

— Молчи уж лучше! Вот почему ты такой взъерошенный! Все ждал, что я запрыгаю от радости! Начал с такой подготовки. Пошутил бы, и мы вместе посмеялись бы... — И со слезами в голосе прибавила: — На этого человека я ничуть не сержусь, а вот на тебя обижена; ты мне не доверяешь!

Она вскочила, стараясь подавить слезы, и хотела броситься к дверям, но Мулуд успел схватить ее за руку. Он все смеялся, смеялся и никак не мог остановиться.

— Ах ты, маленькая дикарка! Ничуть я в тебе не сомневался! — воскликнул Мулуд. — Поди сюда... Ну-ка, утри слезы. Да у тебя и платка-то с собой нет! Как же так, а еще собираешься учиться в большом городе! Конечно же, ты будешь учиться, моя девочка, — сказал он, погладив волосы сестры. — Даю тебе

слово! Улыбнись же! Этому самовлюбленному болвану нечего и мечтать о тебе.

Он дернул ее за косы и подхватил на руки.

— А ну, нескладеха, дай-ка я тебя подкину, как мешок с картошкой!

Файза отбивалась, требовала, чтобы он отпустил ее. На шум прибежали женщины. Глазам их открылось забавное зрелище: на полу валялась груда газет, журналов и книг и посреди всего этого беспорядка весело возились брат с сестрой.

— Они с ума сошли! — кричала Акила. — Играют как маленькие, это в их-то возрасте!

Но женщин тут же заразила безудержная веселость молодых людей. Мулуд прижимал к себе обеих сестер, обещая рассказать им удивительную историю, как в те далекие времена, когда они были еще маленькими.

В глубине души он хорошо знал, как ему поступить. Он возьмет Файзу с собой в Алжир. Определит ее в школу, даже если вся семья будет против!

Несколько дней спустя Тахар пришел к ним в дом. Мокран был очень с ним любезен. Он сказал, что его дочь слишком молода для замужества. Очень может быть, что она и через два года не научится вести хозяйство. Времена изменились! И потом, сначала ему хотелось бы женить старшего сына. Что же касается дочери, то у нее еще есть время, чтобы хорошенько подготовиться к роли жены.

В этом разговоре Си-Мокран проявил себя тонким дипломатом.

— Вы человек умный и волевой, Си-Тахар, — сказал он. — За плечами у вас славное прошлое, а впереди многообещающее будущее. Как бы я был счастлив, будь у меня дочь постарше, более достойная вас! Файза не умеет готовить, домашняя работа у нее не ладится, к тому же она совсем еще ребенок!

Он говорил так красноречиво, что Си-Тахар вышел из его дома чрезвычайно довольный собой. Ни на одно мгновение не усомнился он в искренности собеседника, столь ловко сумевшего не задеть его тщеславия. Он так и остался при убеждении, что отец впрямь считает Файзу плохой хозяйкой, не достойной такого человека, как он! Мало того, Си-Мокран посоветовал ему взять с собой жену с детьми. Он говорил о ней с необыкновенным теплом, и слова его все еще раздавались в ушах Си-Тахара: «Человеку, который отважно сражался во имя родины, не пристало уклоняться от исполнения своего долга. Он должен быть предан своей супруге и детям, как самой родине, и не имеет права создавать новую семью на развалинах старой».

Потом стало известно, что Си-Тахар взял с собой жену и обоих ребятишек. Это очень обрадовало Си-Мокрана. «Никогда не следует разуваться в людях», — с удовлетворением думал он.

Однако новость о предложении, сделанном Файзе, тут же распространилась по всей деревне, лишний раз подтвердив совершенство деревенского «беспроволочного телеграфа».

Вот уж когда Малика досыта поиздевалась над сестрой:

— Как бы я была горда, если бы посватались ко мне! — гримасничала она.

Файза знала о тайной слабости своей сестры к красавцу Камелю и насмешливо отвечала:

— А ты продолжай вертеть хвостом, как сейчас, и все деревенские старики — твои, слетятся к тебе, как коршуны!

— Старики? — возмутилась девушка и тут же залилась рынцем. — У меня будет молодой муж с черными, прекрасными, как у газели, глазами, с кудрявой головою...

— И со шрамом на правой щеке, как у пирата! — запела ей в тон Файза, завершая портрет Камеля. Устыдившись, что выдала свою заветную тайну, Малика спрятала лицо и убежала.

Новая бомба взорвалась в семействе Си-Мокрана. Традиции предков снова оказались под угрозой. Мулуд сказал, что собирается взять с собой в город Файзу. Что она будет учиться! А люди-то что подумают? И так уже на девочек, которые ходят в школу, смотрят косо. Хорошо еще, что отцы вовремя забирают их и велят, чтобы они ходили в чадре, обозначая таким образом предел своим уступкам. Но посылать куда-то учиться? Нет, нет, Мулуд, верно, не в себе! Си-Мокран был решительно против. Но в Хадидже снова пробудился воинственный пыл, как генерал, взвешивала она все «за» и «против», разрабатывала стратегию и, наконец, ввела в бой тяжелую артиллерию:

— Выдавай замуж Малику! Она более пригодна для такой жизни, как наша! Но Файза! Учиться — ее единственное желание. И ведь она будет в городе не одна, а с братом! Неужели он недостойн своего отца и не сумеет защитить честь своей сестры! Пойми, что если ты ее не отпустишь, она не переживет этого, бросится в колодец.

Состоялся семейный совет. В нем участвовали отец, Акила, которая только молча слушала всех, уткнувшись лицом в ладони, дядя Юсеф, две тетки и, наконец, Карим, самый ревностный защитник двоюродной сестры. Разрешение было все-

таки получено. Но при одном условии: на все праздники девушка должна будет приезжать домой. И в заключение отец заявил: «Провалишься на экзаменах, клянусь предками, я заберу тебя домой и выдам замуж за кого пожелаю».

Мулуд уехал в Алжир, где получил должность в министерстве. Файзе исполнилось пятнадцать лет, и выхлопотать для нее место в лицее было нелегко. Но молодой человек добился все же, чтобы ей разрешили сдать экзамены экстерном, заранее уверенный в ее успехе.

Затем Мулуд вернулся в деревню. Его родители пожелали собственными глазами увидеть такую школу, где ученикам можно «спать и учиться». Хадиджа тоже отправилась с ними. Ей хотелось посмотреть город и увидеть квартиру, где будет жить сын.

Все они поехали вместе с Файзой, взволнованной предстоящими переменами. За всю свою жизнь Хадиджа не видела ничего, кроме дома своих родителей на юге да дома мужа, который она покидала впервые. И она, не переставая, задавала вопросы с присущей ей детской наивностью. «Смотрите, какие машины! — воскликнула она, обращаясь к сыну и мужу. — А какие высокие дома, белые и большие, чуть не до самого неба...» Ее поражали магазины, открытые для всех смертных! И у Файзы, как и у Хадиджи, кружилась голова от удивления. Как, должно быть, счастливы люди, живущие в этом мире, думали они в упоении. А как быстро шли прохожие! Казалось, все они торопятся к какой-то заветной цели. Они так заняты, что у них не хватает времени для свершения великих дел! Нечего даже познакомиться или потолковать друг с другом. Обе женщины обменивались своими впечатлениями, а мужчины посмеивались над ними.

Но вот они добрались до квартиры Мулуда. Тут женщин ожидал неприятный сюрприз. «Как! Лететь куда-то вверх в дьявольской клетке!» В лифте Файза старалась унять бешеный стук сердца, полная решимости как можно скорее приспособиться к жизни в большом городе. Хадиджа же вся взмокла под покрывалом от всех этих обрушившихся на нее переживаний.

Новое жилище Мулуда привело их всех в восторг. Гостиная была заставлена стульями и столами самой разнообразной формы. Посреди комнаты — большой стол, на нем — ваза с цветами, тут же рядом — второй, похожий на мейду, а вокруг него — мягкие кресла. И всюду на стенах — полки с книгами! Книги стояли везде, с гордым видом хозяев. Хадиджа безмолвно разглядывала необычное для нее убранство комнаты. Окон-

чательно поразила ее кухня. Всплеснув руками, она оглядывалась в такой растерянности, как будто увидела вдруг, что небо упало в море. Мулуд открывал холодильник, объяснял, как он работает, показывал продукты. Он зажег плиту, и самое удивительное — он даже не закоптил себе руки, как обычно бывает, когда огонь разводят с помощью жаровни. А кровати! А простыни! Такие тонкие, такие белые, такие свежие. Женщины поглаживали дрожащими пальцами белоснежное белье.

Файза вышла на просторный балкон и стала смотреть на город, простершийся у ее ног. Далеко внизу синело море, которое она видела в первый раз, и казалось, будто это само небо обнимает дома. Восхищенным глазам девушки Алжир предстал во всем своем великолепии, подобно кокетливой красавице, пустившей в ход свои чары, чтобы покорить всех. «Посмотри на меня! — нашептывал он ей. — Посмотри на мои зеленые сады, мои белокаменные дома, большие и маленькие, причудливо прекрасные и горделивые, посмотри на холмы, ревниво оберегающие меня от завистливых взоров, и на море цвета радости и надежды. Аллах слил во мне красоты вселенной! Открой навстречу мне свои чувства, вдохни полной грудью мои ароматы. Ты никогда не устанешь восторгаться мною, каждый день будешь открывать во мне все новые и новые черты. Я — это все города мира. Я — это все!»

И Файза, остолебнев от счастья, отвечала: «Да! Да! Я чувствую тебя. Я всегда знала, что рождена для тебя! Твой грохот, твои камни, твоя сталь, шум моторов твоих машин, сверкание твоих огней, твои тротуары, асфальт твоих дорог — как давно они призывают меня... И вот я — здесь, я — твоя!»

То были сказочно прекрасные дни для родных Мулуда. Он возил их на пляж, и хотя купаться было уже холодно, женщинам приятно было ступать по тончайшему песку, который напоминал Хадидже муку, из которой она готовила кускус, приятно было обливаться морской водой. Потом они посетили зоологический сад, увидели в центре города овечью легендами касбу¹, прекрасную, точно принцесса далеких времен.

Файза успешно сдала экзамены. Брат купил ей все необходимое, и девушка почувствовала себя королевой. Она и не подозревала, насколько скромнен был ее новый гардероб. Белые батники, тонкие нейлоновые комбинации. Панталоны вызвали дружный хохот обеих женщин, а две плиссированные юбки темно-синего цвета вполне приличной длины для будущей лицистки тем не менее заставили отца нахмурить брови: они по-

¹ К а с б а — старая часть города.

казались ему чересчур короткими. Но когда он увидел в городе других женщин в еще более коротких платьях, ему пришлось смириться. Он понял, что юбки его дочери мало чем отличаются от привычной гандуры.

Наконец однажды утром девушка взяла в руки маленький чемоданчик и вместе с отцом и братом отправилась в лицей. В сердце ее робость смешивалась с надеждой. Директриса была женой одного из друзей Мулуда, поэтому встретила она их очень приветливо, а не просто с привычной профессиональной любезностью. Она отнеслась ко всей семье с истинно дружеским вниманием, Файза же сразу завоевала ее симпатию. Матеры этой дамы, а главное, ее безукоризненная арабская речь окончательно убедили Си-Мокрана в достоинствах лицея.

Родители возвращались домой с таким чувством, что не только их семье, но и всему обществу предстоят большие перемены. Си-Мокран сжимал руку Хадиджи в своей. Еще давным-давно, услышав первый крик Мулуда, он предугадал, что мальчик будет жить в городе. У него был дар провидца, он мог предсказать судьбу всех своих близких. И это его предвидение сбылось! А теперь и Файза покинула деревню. И, очевидно, навсегда. Вот к чему привело чрезмерное пристрастие к книгам. Мокран с горечью думал о том, что ее подстерегают коварные сети мира. Файзе и Мулуду — обоим им суждены страдания, но в этих страданиях они найдут и утешение. Хадиджа такая же, как они, только родилась в другое время! И хотя сейчас она грустна, она найдет утешение в своих детях. Файза больше похожа на нее, чем на смирную Акилу. Мокран подумал о Малике, Хании и Адиле... Какой-то тайный голос подсказал ему, что эти-то вырастут и будут жить в деревне.

Перед ним самым стояли новые задачи. Надо было поднимать свои земли. Во время войны все было реквизировано или оказалось в запустении. Пора уже браться за работу, думал Мокран. Ему самому хватит миндальных, инжирных и оливковых садов. Пшеничные же поля он решил продать Хосину, который вскоре станет главой семьи, ибо его отец аль-Хаджи-аль-Тажер доживает, видимо, последние дни. Хосин давно уже мечтал расширить свои скудные владения, расположенные рядом с землями Мокрана. А Мокран твердо решил все продать, чтобы заниматься только садами, тогда у него будут деньги и он сумеет по-современному организовать работу на своих двадцати гектарах. Пройдет время, он постареет, сил у него не станет, и тогда Адил продолжит дело своего отца...

А там, в сердце большого города, подобно хризалиде, выходящей из своего шелкового кокона, Файза расправляла крылья. Она все шире открывала свои удивленные, очарованные глаза: новые подруги, преподаватели, жизнь в интернате, предметы, которые она изучала, — все это опьяняло ее, показывая неограниченные возможности разума. Прошел год. Праздники она проводила с братом, а на каникулы ездила к родным. Преподаватели лицея не переставали удивляться ее обширным не по возрасту познаниям. Файза много читала, и у нее была поразительная память. В арабском языке она превзошла всех в классе, чему немало способствовали уроки отца. Подружки поддразнивали ее, любовно называя «профессоршей».

Стремительно — так ей по крайней мере казалось — промелькнуло еще несколько лет, Мулуд помогал Файзе готовить математику и английский, заставляя ее часами заниматься предметами, представлявшими для нее некоторую трудность. Он вкладывал в это весь пыл Пигмалиона. Казалось, у него не было ни друзей, ни личной жизни. Все свое время он отдавал сестре, не откликаясь ни на какие заманчивые приглашения. Иногда она спрашивала его, ходит ли он куда-нибудь, встречается ли с друзьями. Он неизменно отвечал:

— Не беспокойся, сестричка! Меня каждый вечер куда-нибудь приглашают друзья, но воскресенье принадлежит только тебе!

Файза настолько привязалась к брату, что содрогалась при одной только мысли, что может лишиться этой поддержки. Ее преследовали суеверные страхи, она опасалась какого-нибудь несчастия, подстроенного злыми духами.

Это не мешало ей с неизменным успехом, один за другим, сдавать экзамены.

Все ее помыслы были сосредоточены на занятиях, только из разговоров с подругами она узнавала о политических событиях. То было время пустых словопрений. Каждые полгода происходила смена министров, обстановка казалась неустойчивой, и это вызывало самые разноречивые толки. Все новые и новые лица мелькали на страницах газет и на экранах телевизоров. Девушки со смехом говорили, что так, пожалуй, все двенадцать миллионов алжирцев по очереди станут «деятелями».

Тысяча девятьсот шестьдесят пятый год отмечен был знаменательными событиями: в стране нормализовалось политическое положение, престиж семьи Си-Мокрана неизмеримо возрос, Файза сдала экзамены на аттестат, а Малика стала женой Камеля.

Люди были поражены переменами в политической жизни. Словопрениям наступил конец. В стране установилось спокойствие, предвещающая эру серьезного и вдумчивого труда во всех областях.

Успех Файзы в этом году ознаменовал нечто чрезвычайно важное. В деревне готовились к пышному празднеству.

Малика и Камель полюбили друг друга в тот самый день, когда после долгих лет отсутствия вернулся наконец Мулуд. Для семьи их любовь не составляла никакой тайны, родные посмеивались, но предпочитали подождать еще несколько лет, когда девушка повзрослеет.

За несколько дней до свадьбы старухи, которые обычно занимались этим делом, начали обходить дом за домом, приглашая гостей от имени родных жениха и невесты. Хадиджа клялась, что эта свадьба надолго останется в памяти деревенских жителей. И к чести ее надо сказать, что ни один человек не усомнился в правдивости ее предсказаний.

Свадебные приготовления производили постоянный фурор, и это неудивительно — ведь Камель занимал важный пост, а Малика принадлежала к одному из старинных родов. Женщины, получившие приглашение на это празднество, теребили своих мужей. Всем им, естественно, хотелось быть самыми красивыми и самыми нарядными. На свадьбе должны были собраться «сливки» деревенского общества во главе с самыми почтенными матронами. И женщины одалживали драгоценности, посылая за ними мужей и сыновей в другие деревни к своим родственникам.

На перекрестках толпились ребяташки. Именно они придавали торжествам красочный вид веселого гулянья. И сами они были подобиями праздничных фонариков. Крича во всю глотку, гонялись друг за другом, шныряли между женщинами в разноцветных покрывалах.

На пороге гостей приветствовали пронзительными криками «ю-ю!». Затем их опрыскивали водой, настоянной на апельсиновых цветах, и приглашали во двор.

Накануне церемонии невесту водили в хаммам. Это было не менее торжественное событие, чем сама свадьба. Малику сопровождали подруги и пожилые родственницы, которым надлежало следить за тем, чтобы все приготовления соответствовали ритуалу. Невесту мыли, растирали, голову ей красили хной. Так ее готовили для свадьбы, где она должна была предстать гладкой и белой, как алебастр, благоухающей, как роза, томной и нежной, как взгляд газели. Последнюю ночь перед свадьбой невеста проводила с подружками, девушки танцевали

и пели. Это было как бы ее прощанием со своей девической жизнью.

И вот наступил торжественный момент. Малика восседала на стуле. Лицо ее было целиком скрыто покрывалом, шитым золотом. Она была недвижима. Позор на ее голову, если она посмеет встать или заговорить! Ей разрешалось лишь едва заметно шевелиться под покрывалом, не привлекая к себе внимания. Невесте нельзя ни улыбаться, ни кашлять, даже вздохов, упаси боже, не должно быть слышно! Для бедной Малики, всегда такой подвижной и живой, это была истинная пытка. В своих золотых мечтах о свадьбе она вряд ли предполагала, что ей будет так трудно выдержать это испытание. Сидя позади сестры, Файза перехватывала взгляды женщин — они с жадностью разглядывали одеяние невесты: роскошную гандуру огненного цвета с богатым шитьем, золотые браслеты на ногах в виде змей. В этот торжественный момент они разговаривали между собой очень тихо, хотя это и давалось им нелегко. Вероятно, им вспоминалось время, когда сами они выходили замуж. Ничто так не может взволновать женщину, даже самую суровую, как свадьба или рождение.

Согласно обычаю, рядом с Маликой сидели две женщины, лишь недавно вышедшие замуж. Но вот начался показ одежд. Молодые женщины меняли платья чуть ли не каждый час: кто кого перещеголяет. Присутствовавшие на празднике свекрови стали просто ангелами, в этот день они признавали за своими невестками и красоту, и кротость. Считалось, что чем больше у женщины нарядов, тем богаче и почтеннее ее семья. Файзу забавляли замечания, которые слышались со всех сторон:

— Ты видела сегодня наряды невесты? Как ты думаешь, сколько их? — спросила одна женщина.

Ответ не заставил себя ждать. Грозная Хадиджа отрезала:

— Ей хватит менять их до седых волос! Деревня видела все вещи, которые составляют ее приданое.

Другая женщина небрежно проронила:

— Ну да, приданое как приданое, ничего особенного.

Бессмертная супруга Си-Тажера, несмотря на годы, по-прежнему была остра на язык.

— Ты говоришь, ничего особенного? — вскинулась она. — Йа Аллах! Пять гандур, шитых серебром, и пять — золотом! А ты хоть раз в жизни видела корсаж, украшенный золотыми луидорами? Так вот, смотри и любуйся! А наволочки, а вышитые покрывала из Константины!

Другая женщина заметила вполголоса, чтобы ее не слышали те, кому не следует:

— Деревня, видать, тоже стала «цивилизованная»! Подумать только — все из Константины! А вы знаете, сколько там стоит вышивка? Дороже редко бывает, но и лучше — тоже! Везет же некоторым!

Тут вмешалась почтенная старушка, призывая всех к согласию и миру в этот благословенный день. Свадьба обычно развязывает злые языки. Дабы отвратить сглаз, старушка посоветовала Акиле разбросать у порога дома и во дворе соль. Сатана тотчас убежит. Акила, под одобрительные взгляды других женщин, взяла соль и последовала ее совету. Тем временем детишки сновали среди женщин, создавая ужасающий беспорядок. Одна из матерей, потеряв терпение, наградила своего отпрыска подзатыльником, другая, опасливо подбирая подол нарядного платья, кричала, что малышей следует вывести. Но те уже бросились на кухню, привлеченные дурманящими запахами самых разнообразных кушаний. Вскоре возле каждой группы женщин появилась мейда, а на ней мясо и кускус с изюмом и дольками яиц. Что и говорить, в этом семействе умеют готовить! Гости ели руками, подхватывая одним пальцем кускус, а другими — куски мяса и торопливо отправляя все это в рот. Кое у кого оказались и ложки...

Краска на губах размазалась от соуса, лица превратились в раскрашенные маски. Модницы жеманничали, едва прикасаясь к блюдам, что считалось признаком благовоспитанности. Файза заметила, что некоторые женщины ухитрились припрятать под платком мясо или миндальное печенье. Затем все это перекочевывало на их пышную грудь. Ах, эти глубокие вырезы гандуры и широкие кисейные рукава, собранные на плечах! Сколько всяких лакомств вмещают они! Впрочем, это предусмотрено программой праздника, женщины заботятся таким образом о родственниках, оставшихся дома.

Но вот наконец мейды убрали, чтобы освободить место женскому оркестру. Оркестрантки-«фкиретт» вместе со своими тамбуринами и дербуками¹ расположились неподалеку от новобрачной. Она встала, поддерживаемая двумя родственницами, которые сняли с ее лица покрывало, увенчанное острокопечным головным убором, и, словно куклу, выставили на всеобщее обозрение. Закрыв глаза, Малика стояла неподвижно, будто спала глубоким сном. Она была прекрасна в переливах бархата, шелка и драгоценностей. Белизна ее пухлых рук подчеркивалась блеском нарядов. Женщины восторгались овалом ее лица, маленьким прямым носиком. Своими округлыми фор-

¹ Дербуки — национальные музыкальные инструменты (араб.).

мами Малика отвечала издавна установленным канонам женской красоты. Она заслужила одобрение даже самых взыскательных кумушек. При виде невестки мать Камеля преисполнилась такой гордости, такого трепетного восхищения, что издала самый долгий, самый чистый и самый волнующий крик торжества из тех, что доводилось слышать в этом году жителям деревни. Женщины, дети и даже старый тополь, который рос во дворе, затрепетали от волнения.

Погруженная в свои мечты, Малика поняла тайный смысл этого посланья, и волна счастья затопила ее юную грудь. В ликующих криках матери она почувствовала ту же любовь, которая наполнит ее самое при рождении сына. Акила смотрела на дочь, затем она перевела взгляд на Файзу, ее глаза затуманились печалью и по щекам заструились слезы. Все женщины думали, что это слезы радости, одна Файза поняла немой укор, который в них содержался. Она выпрямилась и попыталась изобразить на своем лице радостную улыбку, ни в коем случае никто не должен был заметить ее печаль: это было бы истолковано как проявление зависти. Файза бесконечно радовалась за сестру, зная, что исполнилось наконец самое ее заветное желание.

Ма Хадиджа не пропускала ни слова из того, что говорилось вокруг. Она все слышала и бросала резкие реплики, когда того требовала необходимость, для добрых же, приветливых слов у нее всегда находилась сияющая улыбка. Она стояла среди женщин с видом гордой предводительницы.

Но вот все разговоры смолкли. Хор из пяти женщин затянул протяжную мелодию. На площадку вышли мать Камеля и Акила. Старая женщина скользила неторопливо и величественно, не сводя глаз с невестки, как будто прославляя ее красоту. Акила робела и переступала с ноги на ногу, трепеща, как испуганная горлица. Вскоре их сменили другие женщины. В искусных руках тамбурины звенели все неистовей. Танцовщицы осыпали банкнотами, которые они складывали затем в стоявший перед оркестром медный сосуд.

— Да встань же ты, ради Аллаха, Фатима! Станцуй в честь твоей сестры Малики!

Одна из певиц, богатая вдова, тут же начала импровизировать. Она делала это для каждой танцовщицы, особенно если та была красавицей или женой какого-нибудь важного лица.

О, Фатима, дорогая!
О, цветок родимого края!
Всем на радость ты расцвела,
И тебе пусть звучит хвала.
Ты и песня и смех,
Ты любовь и успех.

Не зная, досадовать ей или смеяться, Фатима, потупив глаза, вышла на середину двора. Она взмахнула красным платочком, и по губам ее скользнула легкая улыбка. Затем, сдвинув ноги, Фатима поплыла, покачивая бедрами в такт музыке. Она неузнаваемо изменилась. На ее раскрасневшемся лице, казалось, запечатлелась безграничная любовь. Взволнованные женщины потянулись к ней, точно к богине. Они засовывали ей деньги за пояс и даже за корсаж. Сквозь полуопущенные веки Фатима зорко следила за дарительницами. Ведь в свое время она должна будет отблагодарить их всех точно так же. Старинный обычай жертвовать деньги давал возможность расплатиться с оркестром и возместить расходы на свадьбу. Вместо того чтобы делать подарки, чаще всего ненужные, а то и обременительные для молодых супругов, гости дарили деньги. Семья запоминала эти дары, чтобы впоследствии, когда представится удобный случай, проявить не меньшую щедрость.

Пока женщины танцевали, мужчины сидели в празднично украшенной кофейне. Жениха окружала молодежь. Лишь вечером, закутанный в белый бурнус, он отправился домой. Его провожали до самой двери друзья. В честь жениха они палили из ружей. Наконец, подталкиваемый старухами, он вошел в спальню, приготовленную для новобрачных.

Отец привез невесту из своего дома на коне, оседланном им самим. Задыхаясь от жары и волнения, в плотном покрывале, Малика изо всех сил держалась за отца.

К тому времени большинство гостей уже разошлось. Остались только близкие, родные. Тетки и матери дожидались, пока вынесут сорочку новобрачной — неопровержимое свидетельство ее целомудрия.

Вопреки обычаям, Камель не вернулся к друзьям в кофейню. Остаток ночи он провел с Маликой. Выкинул только окровавленную сорочку и захлопнул дверь перед носом у недовольных его поведением старух. Им не оставалось ничего другого, как продолжать свои песни и танцы.

Файза с отвращением следила за женщинами, которые торчали у спальни новобрачных. «Зачем играть на нервах у молодых? Они и без того взвинчены!» И она поклялась, что никогда не пойдет сама на подобное унижение, лучше уж уедет куда-нибудь вместе со своим будущим мужем! Стояла она в стороне от всех. Никакого опыта в любви у нее, естественно, не было, однако она будто знала все наперед. И уж конечно, догадывалась о том, что происходило сейчас между Маликой и Камелем... Странное чувство, но ей казалось, будто с самого

детства ей знакомо то таинство, о котором на свадьбах говорят лишь намеками. Женщины же поглядывали на нее с лукавой улыбкой, потешаясь над ее возмущенным видом.

— Дочь моя! — заявила тетя Айша. — Так выходят замуж девушки из хороших семей!

И она от души рассмеялась, как будто сказала нечто остроумное. Файзе было невозможно переносить высокомерие самодовольных, заплывших жиром матрон, позволявших себе снисходительно разговаривать с девушками. Она взяла книгу и укрылась в доме Рабахов.

После праздника в семье Си-Мокрана воцарилось уныние. Даже веселый смех Хании и Адила не мог развеять всеобщую печаль. Всем не хватало веселья и жизнерадостности Малики. Зато Мулуд, когда приезжал в гости к родителям, вел себя как шаловливый мальчишка и все время играл с Адилем.

Файза тосковала. Видя свою смеющуюся, счастливую сестру, она невольно задумалась: уж не упустила ли она чего-то важного, может быть, самого важного в жизни. Однако стоило Файзе вспомнить о занятиях, как тоска рассеивалась, и ей не терпелось поскорее вернуться в Алжир. Отец относился к ней ласково, с оттенком почтительности, так же, впрочем, как и к Мулуду. Хадиджа весело журила ее, как в былые времена; Файза по-прежнему оставалась для нее маленькой девочкой. Акила, молчаливая и отрешенная, смотрела на свою дочь, как на больную. Так бывает, когда человек поражен тяжким недугом, и окружающие скрывают от него свою озабоченность под напускным безразличием. Файза искала уединения и считала дни, оставшиеся до конца каникул.

Мулуд пробовал поговорить с ней о будущем, на все его вопросы она отвечала спокойно, но не без упрямства.

— Я стану врачом, буду жить в Алжире. Я полюбила его всей душой, сразу же, с первой минуты. Сама я тихая, но люблю шум, движение... Может, это оттого, что внутри у меня вечная тишина, а мне хочется, чтобы вокруг меня что-то двигалось, грохотало. В деревню я никогда не вернусь!

Последние слова она произнесла с особенной силой. Голос у нее был хриплый, глуховатый, с первого впечатления даже неприятный, но на самом деле отнюдь не лишенный обаяния.

— Странная ты у меня! — сказал Мулуд. — Как можно отречься от места, где ты родилась?

— Я и не отрекаюсь! Я горжусь своей деревней, своими

родными. Но жить хочу в городе. Я и сама не знаю почему. Но теперь я уже взрослая и сделала свой выбор!

Голос ее задрожал, в нем почувствовалась горечь. А Мулуд при слове «взрослая» рассмеялся. Файза обиделась и спросила, чему он смеется.

— Как же, по-твоему, становятся взрослыми?

— Не знаю. Или, подожди, по-моему, взрослыми становятся тогда, когда начинают ощущать жизнь как неразрывное целое! Предположим даже, что в прошлом мы поступали глупо, это все равно составляет неотъемлемую часть нас самих. Не знаю, понятно ли я объясняю...

Файза попросила его высказаться откровенно. Ей нравились такие беседы с братом, позволявшие ей глубже заглянуть в душу Мулуда.

— Когда я был маленьким, — снова заговорил молодой человек, — я всеми силами, помнится, ненавидел отца! Да. Я в первый раз говорю тебе об этом, потому что мне хочется, чтобы ты яснее поняла мою мысль... Я ничем не выдавал своей ненависти и все-таки терпеть его не мог за то, что он взял себе другую жену. Я был тогда слишком мал, но все равно чувствовал отчаянье матери. Из слов окружающих я понял, что он хочет другого сына. Значит, я был для него плох! Он предал меня!

Молодой человек вдруг умолк, словно испугавшись, что зашел так далеко в своей исповеди, или же удивившись силе своих детских чувств. Файза прошептала:

— Твоя мать согласилась...

Он молча смотрел на сестру и, казалось, даже не слышал ее слов: так глубоко ушел он в воспоминания.

— Со мной творилось что-то ужасное. Я всей душой желал ему смерти, надеялся, что у него никогда не будет сыновей! Это отвратительно, я знаю. Вторая его жена умерла. Я никак не мог понять, куда вдруг подевалась эта женщина, она была так добра ко мне... И все-таки я был рад, что отец несчастен! Значит, небо вняло моим мольбам! Вот какие мысли мелькали у меня в голове, пока я сидел, уткнувшись в книги! Потом появилась твоя мать, родилась ты. И все вдруг переменялось для меня. Я так полюбил тебя, сестренка, что забыл все свои обиды на отца. Твоя маленькая ручка, которую я держал в своей руке, твой доверчивый взгляд, когда я рассказывал тебе какую-нибудь сказку, примиряли меня с прошлым. Я начал думать, что если бы отец не был таким упрямым, то тебя, наверное, не было бы на свете. Ты спасла меня от одиночества... И я повзрослел, когда осознал, что эта ненависть к отцу была

неотъемлемой частью моего существования. Я никогда не сожалел об этом! И не поворачивался спиной к ошибкам, которые совершал в прошлом. Вот как я стал взрослым...

Она вздохнула:

— Ты хочешь сказать, что надо уважать прошлое?

— Да! Но надо уметь и смеяться! Нельзя принимать чересчур близко к сердцу события, которые так или иначе повлияли на нас. Надо относиться к ним с юмором — это и есть мудрость. А ты, сестренка, сдается мне, ненавидишь нашу деревню из-за тягостных тебе обычаев. Ты все принимаешь всерьез и не умеешь смеяться. И видишь свое счастье только в бегстве.

— Нет! — неуверенно сказала она, даже не удивясь тому, что он в нескольких словах так верно описал ее состояние. А он продолжал, обращаясь как бы к самому себе:

— Возможно, что судьба занесет тебя в дальние, не похожие на здешние места края. Но где бы ты ни была, полностью быть самой собою ты сможешь только в своей деревне. Какие бы широкие, даже необъятные горизонты ни открывались перед нами, мы не в силах отрешиться от своего детства. Я счастлив всякий раз, когда возвращаюсь сюда. Брожу по улицам, встречаюсь со своими друзьями, с отцом, с двумя своими матерями, с малышами. И набираюсь сил для возвращения в город. Не забывай нашей прекрасной белой деревни, здесь твои корни!

Файза задумалась над словами брата. Трудно отрицать благородство его помыслов. Но ведь он мужчина! — думала она. — Ему-то легко говорить о величии души, тогда как ей все время приходится бороться! Малейшая оплошность может свести все ее усилия на нет. Ведь что сказал отец: «Провалишься на экзаменах — выдам тебя замуж за кого пожелаю. Надо мной и так уже все соседи смеются! Их можно понять — ты первая из наших девушек уехала учиться. Так докажи, на что ты способна...» Этих слов она ни на миг не могла забыть. Они вечной угрозой отдавались у нее в ушах! И она целиком ушла в занятия, отклоняя все приглашения подруг на вечеринки. Она не могла себе позволить быть такой же беспечной, как они. Ей было страшно оступиться. У соблазна, как известно, голос Цирцеи, но она не внимала ему. Заткнув уши, она, не разгибаясь, сидела над книгами, одержимая одним стремлением — добиться осуществления своей мечты.

Время от времени к Файзе сватались приятели брата. Но всем им девушка неизменно велела передавать одно и то же: когда кончу учиться. Будущее рисовалось ей в радужном свете,

но ей надо было прежде всего достичь своей цели в жизни, иначе всем мечтам о свободе и независимости конец, и потому она не щадила ни сил, ни времени.

Достаточно того, что у нее есть Мулуд, который относится к ней с нежной заботливостью, и есть учеба, сулящая ей освобождение. Уж чего-чего, а сильных чувств, отваги и надежд ей хватает с избытком!

А там, в белой деревне, миндальные, инжирные и оливковые деревья расцветали пышным цветом...

Двадцать четыре года! Файза на четвертом курсе медицинского факультета. На радость своим преподавателям и родным, она преодолевает все препятствия. В университет она поступила, как будто постриглась в монахини, и продолжала учебу все так же спокойно и сосредоточенно. Все постигала сама, шла вперед, не останавливаясь, будто ее ждало сказочное сокровище. Среди студентов у нее были приятели, но друзей не было. Большинство девушек, с которыми она поступила на первый курс, вышли замуж или были помолвлены, хотя, конечно, продолжали учиться. С молодыми людьми у Файзы были хорошие отношения, но никакой фамильярности с ними она себе не позволяла. Так что, в сущности, она была одинокой. Неплохо сложенная и достаточно красивая, она тем не менее считала себя не слишком привлекательной. На нее не сразу обращали внимание, и среди молодых людей у нее было не так много поклонников. И даже самых постоянных отпугивала ее холодная сдержанность. Может, она не такая, как все? А может, в этом виновата ее упрямая гордыня?

Родные потеряли всякую надежду выдать ее замуж. Их приводило в отчаяние и затянувшееся безбрачие Мулуда. Да что с ними в конце концов такое? Отец, не выдержав, сказал как-то Мулуду:

— Сын, если у тебя есть женщина, пусть даже европейка, — вздохнул он, — привези ее к нам, чтобы и мы тоже порадовались твоему счастью. Времена изменились, изменился и наш взгляд на все...

Мулуд весело рассмеялся и заверил отца, что у него нет никого на примете, тем более чужестранки! Между тем в глубине души молодой человек был тронут словами отца... Ему вдруг вспомнилась его первая любовь... Он был тогда еще студентом... До сих пор он бесконечно благодарен той, что не стала смеяться над его неловкостью. Той, что сумела научить его любви.

Никогда Мулуд не забудет этой радостной, беззаботной девушки, которая принимала и дарила наслаждение с подкупающей щедростью...

Впоследствии он узнал другие объятия, другие мгновения счастья, но всегда испытывал признательность к той, первой.

Файза торопливо записывала лекцию. В первый раз за все время учебы ей не терпелось бежать домой. Она не переставая думала о своем разговоре с братом, который открыл ей свою тайну.

— Друзья приглашали меня на все праздники, чтобы познакомиться кто с родной, кто с двоюродной сестрою, — рассказал ей Мулуд. — И каждый раз я досадовал, не на других — на себя! На свою нерешительность... Ты знаешь Фуада? Он ведь несколько раз приходил сюда. Когда умерла его бедная мать, я зашел к его отцу, чтобы выразить свое соболезнование. Его отец — старый, почтенный господин, бывший преподаватель, теперь на пенсии. Фуад женился, поэтому с отцом живет только его сестра, которая ушла из лица, чтобы ухаживать за больной матерью. Вот так я и познакомился с Яминой. Девушка она очень простая, милая и добрая, не похожая на всех тех, с кем меня до сих пор знакомили. Я стал к ним захаживать, мы подружались, сблизились...

Файза сначала очень изумилась: «Неужели Мулуд, с его высокими идеями, женится на девушке без диплома?» Она была уверена, что ему может понравиться только очень умная и вполне самостоятельная девушка.

— Она так и не доучилась? Сколько же ей лет?

— Сколько и тебе, сестренка! Почему ты так удивилась? А-а, понимаю. Но ты ошибаешься. Эдакие блистательные девицы с дипломами в карманах совсем не в моем вкусе... Сколько я их повидал! По правде говоря, я их даже слегка побаиваюсь, им ведь не надо поддержки, они сами себе опора.

Девушка, пораженная этим неожиданным признанием, спросила:

— А как же я? Почему же ты поощрял меня в моих увлечениях?

— Тебя-то? — живо откликнулся он. — Ну, прежде всего потому, что ты сама кинулась в омут и заплывала так далеко, что мне не оставалось ничего другого, кроме как учить тебя плавать — иначе ты бы утонула.

Файза любила слушать брата. Он умел говорить образно и убедительно. Мулуд продолжал:

— Ты у меня ни на кого не похожа, сестренка! И я уверен, сумеешь стать идеальной женой. Потому что ты прежде всего настоящий человек. Ты сможешь правильно поставить себя в семье, не показывая своего превосходства над мужем, если он окажется менее образованным, чем ты. Ты будешь скромной и любящей, лишь бы он был достоин твоей мечты, а я знаю, что ты ценишь прежде всего мудрость сердца, не мудрость ума. Если хочешь знать, я искал такую женщину, как ты, но не нашел, а может быть, просто не заметил! Многие образованные девицы угнетают меня своими «знаниями». А ведь я только хочу, чтобы жена у меня была скромная, умная и сильная...

Сестру и брата объединяла взаимная привязанность, взаимное восхищение. Их души стремились к идеалу. И в дружбе, и в любви они были одинаково требовательными, ничто среднее их не устраивало. Волею судеб эти два существа были связаны братскими узами, исключавшими какие-либо другие. Что поделаешь, в мире нет ничего совершенного, кроме самого бога.

— Итак, завтра мы принимаем гостей, — заявил Мулуд. — Я пригласил господина Фодила и его детей: Фуада с женой и Ямину. Придется тебе продемонстрировать им свои кулинарные таланты!

— Боже мой, отведи их в ресторан! — испуганно взмолилась Файза. — Когда ты приглашал своих приятелей, я еще как-то справлялась, но тут ведь совсем другое дело.

Он посмеялся над ее смятением, потом успокоил:

— После Лаллы Хадиджи ты самая лучшая повариха во всем Алжире! Сделай что-нибудь простое. Они придут посмотреть на жемчужину семейства Мокрана, а кроме того, отец Ямины хочет составить себе более ясное представление о будущем семейном очаге своей дочери.

И вот, засучив рукава, девушка принялась наводить порядок в квартире. Она начищала медные украшения, расставляла по вазам цветы, то и дело бегала к плите. В своем стремлении не ударить в грязь лицом Файза напоминала Хадиджу. Она то пробовала шорбу из фрика¹ с курицей, то заглядывала в кастрюлю, где тушилось мясо в аппетитном миндальном соусе. Ей так хотелось блеснуть своим умением ради брата!

И вот наконец гости уселись за стол. Все пришли в восторг от кулинарного искусства Файзы. Файза была в красном

¹ Фрик — зеленая толченая пшеница.

платье, которое очень ей шло. Это был подарок Мулуда ко дню ее рождения. Тяжелые черные волосы были собраны на затылке бархатной лентой, ее непроницаемое лицо излучало спокойную красоту сфинкса. Она тайком разглядывала свою будущую невестку. Ямина показала ей милой и красивой. Золотистые волосы и большие светло-карие глаза делали ее похожей на куколку. И однако в ней угадывалось что-то незаурядное. Вопросительное выражение лица придавало ей необычайно юный и простодушный вид. Рядом с ней Файза чувствовала себя тяжеловесной и неуклюжей. Ее приводила в восхищение беспечная женственность Ямины, ее живость. Руки у нее были тонкие, ноги — стройные, в голосе ее слышались заразительно веселые нотки. Файза отметила про себя и ее несомненный ум. В обсуждение интеллектуальных проблем она вносила женскую интуицию, однако практической сметки ей, по-видимому, не хватало. И это вполне понятно, думала Файза, ведь она с малых лет привыкла к постоянной о себе заботе. Ей неизвестно, тяжелые цепи косных обычаев. Отец не мог на нее надеяться. Она выросла в роскоши и любви. Ее брат Фуад, как и она, держался просто и свободно. Их взаимоотношения с отцом удивляли и очаровывали Файзу. Чувствовалось, что всех троих связывает нежная дружба, они беседовали, как добрые друзья. Файза представляла себе свою семью. Когда говорил Си-Мокран, она не смела поднять глаз. О своей воле он уведомлял ее через Хадиджу или Мулуда... О! Даже теперь, двадцати четырех лет от роду, она ни за что не осмелилась бы, подобно Ямине, обвить руками шею отца и ласково взлохматить ему волосы, приговаривая: «Наш милый папа!» О великий Аллах! Она даже вздрогнула, представив себе на месте отца Ямины важного и сурового Си-Мокрана с седой бородой.

С ними ей было хорошо. На красивом лице Си-Фодила отражался неподдельный интерес, когда он расспрашивал Файзу о занятиях. Она заметила удивление в глазах гостей, когда они впервые услышали ее хриловатый голос. Файза уже привыкла к этому, зная, что потом ее голос начинает очаровывать людей, убаюкивает их непривычно низкими нотами, а сначала она даже стыдилась своего голоса. Ей было приятно чувствовать на себе взгляд светло-карих глаз Ямины, в котором смешивались любопытство и восхищение.

Однако в центре внимания оказалась жена Фуада. Она едва прикасалась к кушаньям и тоном маленькой девочки жаловалась, что не выносит соусов. Файзу забавлял снобизм молодой женщины. «Бедняжка! — с усмешкой думала она. — Мори не

мори себя голодом, тебе не удастся избавиться от жира». Мулуд заранее предупредил сестру, что Нора порой бывает невыносима, хотя и забавна. А ей сдавалось, что это вечно ноющее существо не столько забавно, сколько нагоняет скуку. Нора безапелляционно высказывалась на любую тему: с одинаковой легкостью рассуждала и о стиле мебели, и о дороговизне. Она наизусть знала, сколько стоят овощи, платья, мебель. Голова ее была забита цифрами. Си-Фодил и Яминна посмеивались над ней, видимо, не принимая ее всерьез. Что до ее мужа, то он пыжился показать себя главой семьи. Возвышал голос, возражал жене, глядя ей прямо в глаза. Но несмотря на это ясно было, что он у нее «под каблуком». Иногда она начинала какую-нибудь фразу со слов: «Мой муж сказал...» И все понимали, что тем самым она предостерегала мужа не лезть не в свое дело.

Кофе они пили в гостиной, все чувствовали себя свободно и радостно. Нора хорошо рассчитанными жестами старалась привлечь к себе внимание мужчин. Глядя на нее, можно было подумать, что она пьяна, хотя на столе не было ничего, кроме минеральной воды и кофе. Всею виной, вероятно, были соусы Файзы. Ни с того, ни с сего Нора вдруг заговорила о своем отце, богатом коммерсante, о братьях, занимавших высокие посты в столице. Ее муж посмеивался, а она все повышала голос, как будто обращалась к глухим. Затем она атаковала Мулуда, вперила в него взгляд и понесла невесть что. А он, казалось, слушал ее с одобрением, по глазам его, во всяком случае, никогда нельзя было понять, смеется он или вправду заинтересован.

Стремясь предупредить малейшее желание гостей, Файза приносила одним пепельницы, других угощала пирожными, отвечала, когда ее спрашивали, и молчала, если никто не интересовался ее мнением. Она была как бы воплощением идеальной мусульманской хозяйки, принимающей у себя гостей. Скромная, предупредительная, услужливая, молчаливая. На нее смотрели с признательностью, даже капризная Нора и та соблаговолила поблагодарить ее улыбкой за то, что она все время держалась в тени.

— Вы сумели достать молоко? — ни к селу, ни к городу воскликнула Нора в то время, когда мужчины говорили о футболе. Все кругом никак не могли понять, в чем дело. А Нора рассерженно продолжала: — Чего ж тут непонятного? Достать не только молоко, но и масло теперь проблема. Знаете, что мне сказал мой бакалейщик: «Этого теперь не ввозят, мадам!» Только это и слышишь, когда чего-нибудь нет!

Си-Фодил сказал примирительным тоном:

— Неужели нигде не могла достать, дочь моя? Даже из-под прилавка.

— Нигде не могла. Тут уж всякое терпение лопнет. Добро бы еще речь шла о предметах роскоши. А вот когда речь идет о картошке с луком — просто слов нет! Все они заладили одно и то же: «Этого теперь не ввозят», даже воды из-под крана и той не достанешь!

— Придется тебе пить нефть! Говорят, что это очень полезно! — громко выпалила Ямина.

Столь неожиданный выпад вызвал всеобщий смех, даже Нора развеселилась. Мулуд с улыбкой погрозил Ямине и сказал, что грешно насмехаться над самыми ценными ресурсами страны. Но девушка лукаво добавила:

— Прошу прощения, мой дорогой борец за правду! Я только хочу, чтобы Нора смирилась с отсутствием молока...

И тут Нора неожиданно для всех обиделась:

— Для тебя это, может быть, и не так важно, а у меня дети. Все теперь руководствуются меркантильными соображениями. Надоело разыгрывать из себя аскетов. Торговля есть торговля, и тут нечего мудрствовать.

— Да ты настоящая социалистка! — весело вернул Фуад.

Она пожала плечами. Си-Фодил стал вспоминать о духе самопожертвования, который в былые времена поднимал людей на подвиги, о самоотверженности представителей молодого поколения — борцов за освобождение. Теперь же малейшее затруднение вызывает только досаду. Си-Фодил с удрученным видом говорил о нетерпении, порожденном отсутствием дисциплины и чувства долга. Сетовал, что утрачено то, что он называл «основой основ» человеческой жизни: уверенность и выдержка, оба эти качества заменила неистовая жажда обладания, приобретения. Мулуд, напротив, в самых простых словах доказывал, что в обществе как раз свершается коренная перемена. По мере того, как экономический контроль переходит в руки государства, утверждается и экономическая независимость. Сейчас необходимо экспериментальным путем разработать практические методы перестройки. Даже в самых фундаментальных трудах нет неоспоримых рецептов. Лучший учитель — повседневный опыт, при условии, разумеется, что знаешь, чего добиваешься. Мулуд придерживался мнения, что на всех стратегически важных пунктах экономики должны находиться политики, творцы созидательных идей, основанных, естественно, на определенной идеологии, им должны помогать

образованные люди, специалисты в разных областях, осуществляющие практическую работу — но не наоборот!

— Управление должно быть за политиками, не за технократами, — заявил он. — Национальная и народная солидарность — могучий идеологический стимул...

Нора, раздосадованная тем, что перестала быть в центре всеобщего внимания, резким тоном перебила рассуждения молодого человека:

— Столько ученых слов — и все из-за нехватки молока! Зачем попусту сотрясать воздух? Громкие речи остаются речами, картофеля все равно нет.

Тут впервые за весь вечер в разговор вступила Файза. Она не могла больше молчать, — и к черту всякую вежливость!

— То, что говорит мой брат, имеет тем не менее достаточно ясный смысл для народа, с которым до сих пор никто не считался. Теперь ему хоть объясняют происходящее в словах куда менее пустых и бессодержательных, чем, например, «адвокат» или же «врач», «вилла», «генеральный директор», которые глупцы произносят так, словно обсасывают конфетки! (Тут надо сказать, что все эти слова не раз употреблялись Норой.)

Окружающие застыли от удивления... А радостно засверкавшие глаза Ямины, казалось, говорили: «Остановись, мгновенье!» Нора побледнела от столь неожиданного, прямого и грубого выпада «черномазой дылды», как она называла про себя Файзу.

— Что это на вас нашло? — пробормотала Нора. — Лучше уж внушать зависть, чем жалость! Все, что вы только что перечислили, мне хорошо знакомо. Для меня это не просто слова.

— Глядя на вас, этого не скажешь! — возразила Файза. — Ведь вы все время поете.

Видя, как раздуваются ноздри сестры, Мулуд хотел было вмешаться и своевременно притушить страсти, но хитрая Ямина не хотела, чтобы Файза слезла со своего боевого коня.

— О, Файза, — проговорила она удивленным тоном, — ты так хорошо говорила. Особенно по поводу так называемых «значительных лиц»...

Отец знал пристрастие Ямины к спорам и попытался остановить ее многозначительным взглядом. Но она с простодушным видом тряхнула светлыми кудряшками и продолжала своим зеонким голосом:

— Не так давно я присутствовала на банкете в честь помолвки одной моей подруги. Ты помнишь, Нора, мы вместе с тобой были у мадам Х? Там было много весьма элегантных женщин. Одна из них, совсем незнакомая мне, села рядом.

Спросила, кто я такая и кто мой отец. Я прямо сказала: он на пенсии, уже не работает! Она разочарованно протянула: «А-а!» — и отвернулась от меня. Потом я услышала, как она спросила, показав на молодую женщину напротив нас: «Кто эта дама?» Ее соседка услужливо шепнула: «Это жена господина Такого-то...» Уж не знаю, как ей удалось, только к концу банкета эта женщина хихикала вместе с мадам Такой-то.

История эта позабавила всех, кроме Норы, которая обиженно поджала губы, но постаралась скрыть свою досаду. Однако Ямину не так-то легко было остановить. Как истая горожанка, она вместе со своей невесткой принимала участие в светских приемах и благодаря своей острой наблюдательности могла с блеском показать эту сторону жизни большого города. Она уверяла, что в некоторых домах на званые обеды приглашают только людей, которые могут оказаться «полезными». Она рассказала об одном чисто женском сборище. Супругу какого-то значительного лица окружили дамы, обычные посетительницы светских раутов. Она же несла чепуху об обитающих якобы в их доме привидениях. Лица всех собравшихся выражали попеременно то ужас, то восхищение ее отвагой. Мало того, каждая из дам спешила рассказать о своем опыте общения с духами. А ведь все это были женщины умные, и однако ни у одной из них не хватило смелости возразить молодой женщине. Когда она наклонялась, хозяйка дома тотчас хватала подушку, чтобы подложить ей за спину. Потом заговорили о детях. И сразу же какая-то дура принялась расхваливать детей той самой дамы, какие они-де красивые, умные, смелые, ни у кого таких нет!

— В конце концов, — рассказывала Ямина, — я не выдержала и ушла: противно было смотреть, как все пыжаты, стараясь угодить какой-то безмозглой гордячке.

Мулуд молвил притворно сокрушенно:

— Я вижу, из тебя получится скверная помощница мужу в установлении «деловых контактов». Насколько я понимаю, наше семейство обречено ходить в гости только к людям здравомыслящим...

Фуад, который, по всей видимости, имел уже кое-какой горький опыт в такого рода вещах, тяжело вздохнул:

— Тебе повезло, мой друг! По крайней мере, вас будут окружать друзья, на которых можно положиться!

— Вот именно, — подхватила Ямина. — А что касается дамы, о которой я вам рассказывала... Так вот, я снова встретила ее на днях. Мужа ее куда-то перевели, с понижением, и теперь уже никто не относится к ней с прежним подбостра-

стием. Бедняжка так томилась во время приема, устроенного Норой. На этот раз она мне даже показалась симпатичной, и я проговорила с ней весь вечер... Зато другие, не теряя времени даром, обхаживали очередную избранницу судьбы...

Тут Си-Фодил заявил назидательным тоном:

— Каков же вывод? Мой дорогой Мулуд, с моей дочерью, да и, насколько я понял, с Файзой ты обречен влечить монашеское существование. Бескорыстие по нынешним временам редкостная добродетель, благодаря ему придется тебе сидеть в четырех стенах!

— Ну уж нет! — воскликнула Ямина. — Я люблю гулять, ходить в гости... И забавно, и поучительно.

На лице Норы появилась хорошо заученная улыбка высокомерного превосходства. Чтобы разрядить обстановку и снова «подбодрить» Нору, Мулуд заговорил о подготовке к предстоящей свадьбе.

— Мои родители приедут на следующей неделе! Надеюсь, вы примете их в доме Си-Фодила.

Ему хорошо известна была любовь Норы к устройству всякого рода празднеств. Она и в самом деле обрадовалась возложенной на нее роли и сразу же забыла о своих обидах.

— Свадьбу будем праздновать у меня! — закричала она. — Я все устрою! Ямина, твое платье уже готово, — добавила она, и глаза ее заблестели.

— Знаешь, нам хотелось бы ограничиться одними родными... без чужих.

— Ладно! Я уже притерпелась к вашим аскетическим идеям, но ведь свадьба-то бывает один раз в жизни!

Всех примирила перспектива предстоящего события. Нора, в общем-то неплохая женщина, снова принялась болтать без умолку...

То, что потом Файза узнала от Ямины, помогло ей понять характер Норы, побудило относиться к ней с большей снисходительностью.

Еще в детстве Нора испытала на себе последствия бесконечных родительских ссор. Она оказалась между двух огней: с одной стороны — мать, властная, спесивая, эгоистичная, с другой — слабовольный отец, который не оказывал ни малейшего сопротивления своей жене, заботясь лишь о собственных удобствах. Училась Нора неважно, с ленцой, и мало-помалу стала копией своей матери. У нее не было других забот, кроме как о себе, и постепенно она превратилась в эгоцентричную, пустую женщину. Она тратила безумные деньги в институтах красоты. Прилагала чудовищные усилия, чтобы похудеть. Голодная диет-

та и вовсе испортила ее характер. Файзе ни разу еще не доводилось сталкиваться с такого рода женщиной — типичным порождением нашего времени. Она знала деревенских женщин — работающих, веселых, или же кумушек, довольных собственной судьбой. Ее подруги по факультету были очень милы, кокетливы, держали себя непринужденно, но ведь она их как следует не знала. Близких подруг у Файзы не было. Знакомство с Яминой открыло ей радость веселых дружеских бесед. Она часто навещала невесту своего брата, виделась там и с Норой, однако случайные встречи не сблизили их — они держались вежливо, но на расстоянии. Нора инстинктивно опасалась сумрачной Файзы. А та постепенно стала лучше понимать Нору. Комплекс неполноценности, которым страдала супруга Фуада, проявлялся в вызывающей агрессивности. Любой ценой стремясь привлечь к себе внимание, она не страшилась показаться даже отталкивающей. «Что поделаешь, такая уж я есть», — оправдывалась Нора. Поначалу Фуад считал, что его супруга — женщина с характером, но потом понял, что, если у нее и есть характер, то самый скверный, взбалмошный и легкомысленный. Невоспитанность жены рассорила его с лучшими друзьями. Иногда, правда, он делал слабые попытки взбунтоваться, но каждый раз терпел неудачу: она имела над ним непонятную власть. К счастью, дети ценили его нежность к ним, его ласковую твердость, все это восполняло в какой-то мере промахи матери. Ямина знала, что Нора сумела «придавить каблуком» ее брата. Подобно страусу, он прятал голову на груди детей, стараясь забыть свои супружеские неприятности. Си-Фодил давно решил не вмешиваться в личную жизнь своих детей и с тайной грустью следил за бурными событиями в семействе сына. Вот почему Ямина так обрадовалась, когда Файза сумела сбить спесь с Норы. Она успела смириться с дурным характером невестки, но все-таки не могла не возмущаться ее манерностью. Только любовь к брату заставляла ее молчать. А Файза забавлялась, подмечая в Ямине черты Малики: живость ума, чувство юмора и отзывчивость. Ямина страстно любила музыку, еще в детстве научилась играть на пианино. Поддавшись очарованию Ямины, Файза до бесконечности готова была слушать ее пламенные речи о Бахе и его произведениях для органа, о Бетховене и его сонатах для фортепьяно. Файза плохо знала музыку, и Ямина с упоением играла для нее мазурки Шопена и особенно свои любимые ноктюрны. Общий интерес к музыке и книгам сблизил девушек.

Весть о предстоящей женитьбе Мулуда всколыхнула дом Си-Мокрана, родных охватило радостное волнение.

Свадьбу сыграли в Алжире довольно скромно, без автомобильных гудков и ритуальной демонстрации приданого невесты. Однако Ма Хадиджа настояла на том, чтобы ее невестка непременно приехала в деревню отпраздновать это событие, как положено обычаем, в кругу женщин. Ей во что бы то ни стало хотелось похвалиться деревенским кумушкам красивой, стройной невесткой: она такая светлолицая, изящная, разве что только чуточку худая... Но что поделаешь, современной молодежи это нравится!

Ямина быстро приспособилась и к домашней обстановке, и к родным Мулуда, можно было подумать, что она сама здесь родилась. Глядя на нее, Хадиджа ворковала:

— Голубка ты моя! Ах, как я горжусь своим сыном! Йа Аллах!..

Акила и та забыла свойственную ей сдержанность и неустанно восторгалась шелковистыми волосами, маленькими белыми ручками Ямины. Но особенно поразила женщин косметика Ямины — как у настоящей кинозвезды. Точно восторженные школьницы, они диву давались, перебирая, разинув рот от восхищения, ее кисточки и тени для глаз всевозможных оттенков. Сами они пользовались только сурьмой и губы красили ореховой шелухой, неудивительно, что их привела в восторг косметическая палитра прекрасной горожанки. Когда же Ямина предстала перед женщинами с чуть заметными румянами на щеках, с зеленоватыми блестящими тенями на веках и подведенными специальным карандашом глазами, послышалось единодушное «ах!» и наступило благоговейное молчание. Губы ее были похожи на нежный лепесток розы: Ямина положила на них почти бесцветную помаду. Женщины просто остолбенели от изумления. У Малики к этому времени было уже двое детей, но она сохранила всю свою непосредственность. Она тут же попробовала сделать себе точно такой грим, как у Ямины, и так старательно разрисовала себя, что стала похожа на клоуна. А когда женщины дружно расхохотались, Малика разобиделась.

Безоблачное небо, соловьиная песнь, тихий говор ручья. Привычная радостная картина для семейства Мокрана и для всей деревни. На школьных дворах — теперь их было два — резвятся стайки детворы. Больница пополнилась тремя современными строениями. В верхней части деревни открылась новая кофейня с горделивой вывеской «Аль Фат» — «Победа» в честь палестинских братьев, чья борьба воодушевляет

местных жителей. Возвращаясь с полей, феллахи добродушно подталкивают друг друга, слышатся приветствия в разных концах маленьких улочек, в лавках, на залитых солнцем террасах. Это и есть конец сказки, спросите вы? Пожалуй, нет. Жизнь в деревне продолжается, и каждый день несет с собой что-то новое, неизведанное, таит в себе зародыш грядущих столкновений.

Враг, сеющий смерть и убивающий надежду, исчез; с войной, оружием, убийствами покончено. Когда бюрократическая волокита, автобус, который ушел перед носом, или просто плохое настроение портят людям жизнь, стоит только вспомнить о том, что было «прежде», — и снова возвращается светлая улыбка.

Файза, само собой разумеется, была неразлучна с молодой четой. Мулуд нарадоваться не мог на их дружбу с Яминой. Файза сопровождала молодых супругов в кино, в рестораны. Ямина решила во что бы то ни стало выманить Файзу из ее раковины, подстраивала встречи с молодыми людьми — друзьями Мулуда или холостыми двоюродными братьями Норы. Та тоже незаметно втянулась в эту игру. Как всякой женщине, ей хотелось приобщить Файзу к «супружеским радостям». По воскресеньям в хорошую погоду они отправлялись на побережье, где у Фуада был маленький домик. Целый день они купались или играли в карты с друзьями хозяев. Файза ничего не смыслила в тонкостях карточной игры и предпочитала уединяться на террасе с книгой.

Однако жена одного из братьев Норы ухитрилась и там догнать ее своими вопросами. Зозо (полное ее имя было Зохра) не отходила от девушки и по всякому поводу спрашивала ее мнение. Свою симпатию к Файзе она неумело пыталась скрыть под непрерывной болтовней. Женщины с утра отправлялись на пляж в махровых халатах, они тащили с собой зонт от солнца и сумки, набитые тубиками с кремом и маслом для загара. И каждый раз Зозо непременно подходила к Файзе и спрашивала:

— Ну как? Идет? (Имелся в виду купальник.)

— Да, — отвечала Файза.

— Ты не находишь, что он тесноват?

Бросив рассеянный взгляд, девушка отвечала:

— Нет.

— Посмотри хорошенько! — настаивала Зозо.

Файза снова поднимала глаза. Чересчур глубокий вырез ка-

зался ей неприличным. Купальник и впрямь был тесноват для полной женщины. Но Файза повторяла, что купальник ей идет, понимая, что от нее не ждут ничего, кроме комплиментов.

На пляже Зозо просила намазать ей спину кремом. Файза с мученическим выражением лица соглашалась. Прикосновение к холодной, мокрой коже было ей неприятно. Закрыв глаза, она принималась за работу, вознаграждаемая благодарными вздохами Зозо. Ямина бегала по песку, легкая и тоненькая, как девочка, ее длинные золотистые волосы рассыпались по спине. Смотреть на нее было одно удовольствие. Она похожа на гейшу, думала Файза. Брат с гордостью кричал:

— Восточная миниатюра!

— А зубы-то какие! — лукаво говорила Файза. Мулуд награждал ее тумакom. Он хорошо знал манию сестры. Она, словно барышник, прежде всего смотрела на зубы. Здоровые зубы, по ее мнению, свидетельствовали о хорошем происхождении и даже о врожденном благородстве. Плохие зубы говорят о злом и нетерпимом характере, а возможно, и о комплексе неполноценности. Мулуд вздыхал с облегчением: Ямина, к счастью, отвечала критерию хорошего происхождения. Так, в веселых шутках и забавах, проходили дни отдыха. В конце концов Зозо перестала раздражать Файзу. Она была не кокеткой, а просто недалекого ума женщиной, которой хотелось нравиться окружающим. Несмотря на холодность Файзы, она под тем или иным предлогом ловко втиралась в общество Ямины и ее золовки. Все три скоро стали подругами. Зозо не переносила властолюбия Норы и стремилась сблизиться с Файзой, чувствуя, что той удалось каким-то образом одержать верх над супругой Фуада. Нора нежилась на солнце, втайне завидуя естественному загару Файзы. От природы смуглая, сестра Мулуда за один солнечный день загорала так, что ее прекрасное тело отливало медью древних статуй.

Файза любила море. Сладостная дрожь пробегала по ее телу, когда она входила в воду, ныряла и, проплыв немного, останавливалась. Плавное колышание моря, забеленного пенными гребешками, наполняло ее ощущением свободы, ощущением согласия с окружающим миром и самой собой.

Весь июль Файза провела у брата, все вместе они часто ездили на море, затем до конца лета она уехала к родным в деревню.

Прошел еще год, заполненный встречами с братом и Яминой, практикой в больнице и экзаменами. Она упорно продолжала следовать избранным ею путем, чутко присматриваясь к новым веяниям.

После провозглашения независимости во всех слоях населения происходили глубокие перемены. Взять хотя бы ее! С какой легкостью приспособилась она ко всем новшествам. А если оглянуться на других, то заметно, что даже самые суровые нравы смягчились. Чем объяснить это? Ну, очевидно, не последнюю роль в нынешних переменах сыграла кочевая жизнь их предков, привыкших в прошлом к постоянной смене местожительства. Да и алжирская эмиграция в годы колониализма была примером такого рода инстинктивной, естественной адаптации. А может, причиной тому — наследственный инстинкт пастуха, перегонявшего стада овец на летние пастбища в горы, бродячего торговца или, наконец, туземца, попавшего в зависимость от захватчика и поневоле научившегося приспособливаться, чтобы скрыть свое унижение. Хотя не исключено, что по всем этим причинам, вместе взятым, алжирец с радостью отзывается на каждое веление века и готов на любые безрассудства. Файза наблюдала, как люди стремились к подлинному возрождению своей культуры. А некоторые бессознательно начинали подражать при этом Западу, и в результате все у них получалось «стилизированным»: национальные костюмы, язык, дома и даже праздники. «Что поделаешь, приходится жить в ногу со временем», — пытались оправдываться они. И... праздновали рождество! «Это международный праздник для всех детей земли!» — говорили они, забывая в суматохе праздники собственной религии. (Тогда другие спокойно замечали, что рождество считается священным почитанием рождения Сидна Аиссы¹ и, следовательно, не имеет никакого смысла для мусульманской семьи. Слыханное ли дело, чтобы христиане, например, торжественно справляли праздник Мулуда²? Если же такое вдруг случится, то это можно будет считать чудесным союзом человечества вокруг посланцев господ бога! Но пока что все это утопия. И только движение хиппи стремится к иной жизни и уже сейчас пытается установить истинное братство на земле.)

Люди здравомыслящие старались тем временем без лишнего шума примирить как-то свою веру с современным образом жизни, они учили детей гордиться родным языком и древними обычаями страны...

И вот, вопреки бытующим противоречиям, девушка стремилась найти свой путь в жизни. Файза твердо знала одно: ни за что на свете она никому не позволит относиться к себе как

¹ Иисуса Христа (араб.).

² Рождение пророка Мухаммеда.

к существу низшего порядка, ибо отныне женщина играет такую же важную роль в жизни страны, как и мужчина. И это, думалось ей, благодаря настойчивой устремленности всех женщин. Независимость так называемого слабого пола проявлялась теперь во всем.

Она много думала над судьбою, выпавшей на долю женщины со дня сотворения мира. Теперь ее эмансипацию можно считать делом решенным во всех областях общественной жизни в большинстве стран земного шара. Остановить этого уже нельзя. Всюду женщины овладевают профессиями мужчин, имеют равные с ними права, любая из них может стать адвокатом, врачом-дантистом, судьей, инженером, архитектором, генеральным директором и даже государственным деятелем... «Какое имеет значение, — думала Файза с высокомерием той, кому неведома еще любовь, — если, добившись свободы, женщина потеряет свою возвышенность и ей перестанут поклоняться? Мужчина и женщина станут равными во всем, отныне и речи не может быть об «избраннице», есть два свободных существа, которые избирают друг друга...» И хотя пока еще женщины, окружавшие Файзу, не достигли такого положения, ее это не смущало: ведь все только начинается!

Пророк Мухаммед призывал мужчину одинаково относиться ко всем своим супругам, следуя законам чести и справедливости. «Начнем с того, что будем придерживаться этих законов хотя бы в работе и в жалованье, которое платят мужчине и женщине!» — запальчиво кричала девушка во время споров с Мулудом и Яминой. Мулуд пытался урезонить ее, невозмутимо повторяя свои излюбленные слова: «О женщина! Дай нам спокойно построить дом!.. А уж потом мы позаботимся о том, чем заполнить его...»

Но вот все изменилось в жизни Файзы. Каким-то таинственным силам не угодно, видимо, было бесстрашие девушки. Никому не дано уйти от загадочных предначертаний судьбы...

Как-то вечером Мулуд решил сходить куда-нибудь с двумя своими женщинами: Ямина, естественно, заслуживала, чтобы ее носили на руках, просто потому, что она Ямина, Файза же много работала и нуждалась в передышке. Он спросил их, куда они хотят пойти поужинать. Они молчали, а он только посмеивался над их нерешительностью.

— Ах, эти женщины! Кто их разберет? Жалуются на то, что мужчины подавляют и притесняют их, но стоит только предоставить им свободу, и они тут же теряются!

Это был камешек в огород сестры, потому что его жене нравилось мужское покровительство, под защитой Мулуда она чувствовала себя куда увереннее.

— Откровенно говоря, я не знаю ресторанов, — сказала Файза.

— А я, я знаю, — радостно закричала Ямина, прыгая вокруг них. — Пошли в тот симпатичный ресторанчик, где мы были в первый раз, помнишь, Мулуд? Файзе там понравится, я уверена.

И Ямина с таким упоением предалась воспоминаниям, что Мулуд с Файзой, не выдержав, расхохотались.

Ресторан помещался в большом подвале. Стены нижнего зала были выбелены, потолок опирался на толстые коричневые балки.

Вдоль длинных перил лестницы, которая вела в верхний зал, висели портреты Че Гевары, Джоан Баез и Анджели Дэвис. Столы были покрыты скатертями в красную и белую клетку, деревенского вида. Так и казалось, будто за стеною простираются зеленые поля. Кухня в ресторане, однако, была итальянская. Посетители состояли в основном из кудлатых мужчин и женщин, смахивавших на хиппи. Но были там и мужчины с тонкими черными усами, в темных элегантных костюмах, с величественной осанкой: казалось, они явились сюда продолжить какое-то министерское заседание.

Ямина, веселая, возбужденная, щебетала без умолку. Файза оглядывалась по сторонам, с удовольствием вдыхая букет ароматов, доносившихся из кухни. Мулуд вдруг поднял руку, приветствуя группу мужчин, сидевших неподалеку от них.

— Гляди-ка, — шепнул он жене. — Файсал снова объявился.

— Бывший жених Гании? — спросила Ямина.

Эта Гания, объяснила Ямина, была дочерью одного из сослуживцев Мулуда. Несколько месяцев назад была объявлена ее помолвка. А потом прошел слух о ее расторжении. Файза сидела спиной к бывшему жениху и не могла его видеть.

— Почему же они расторгли помолвку? — спросила Файза.

— Как всегда, поссорились из-за какой-то глупости! Эти избалованные девицы считают, что им все дозволено! Ты ведь знала Ганию, она училась в университете. Девушка, бесспорно, красивая, но слишком высокого о себе мнения и такая ветреная... Файсал — любимчик всех девушек и мечта всех матерей: очень хорош собой, из прекрасной семьи, инженер. Он был с Мулудом в Советском Союзе.

Мулуду не оставалось ничего другого, как безропотно слу-

шать веселую болтовню своих спутниц. Ямина принялась злословить:

— Как-то одна учительница-европейка сказала мне: «Неужели мой муж, он получил образование в Европе, может довольствоваться какой-нибудь местной дикаркой, толстой и волосатой?» А потом выяснилось, что этот человек, неисправимый волокита, обманывал ее с собственной прислугой — молоденькой, свеженькой, розовощекой деревенской девчонкой шестнадцати лет. Он и сейчас продолжает жить с ней.

— Ах ты, сплетница! — не выдержал Мулуд. — Прекратите этот разговор! Как бы тебя не услышали мои друзья за соседним столиком!

Но ведь известно: только про волка речь зашла, а он тут как тут. Файсал уже стоял рядом и хлопал Мулуда по плечу.

— И ты пожаловал в нашу берлогу!

— Да вот, решил вывести в свет своих женщин! — ответил Мулуд, представляя ему сестру. Ямина с Файсалом были уже знакомы раньше и весело приветствовали друг друга. А Файзу вдруг охватило странное чувство. Она не могла оторвать взгляда от лица Файсала. И он глядел на нее не отрываясь, казалось, они знают друг друга целую вечность. Файсал заговорщически улыбнулся. Улыбался он как-то необычно, одним краем рта. Мулуд подвинулся и посадил его рядом с собой. Они заговорили о работе. Файза ощущала удивительное для самой себя спокойствие, какое обычно охватывает путешественника, когда после долгого пути он достигает наконец своей цели. К этому спокойствию примешивалась и радость. Она продолжала глядеть на Файсала, который обменивался шутками с Мулудом, и вдруг поняла, что это его она ждала столько лет. Он явился в облике завязтого покорителя сердец. И она уже заранее смирилась со всем, что могло ее ожидать, даже с горькими слезами. Благодаря своей женской интуиции Ямина сразу догадалась, что с ней происходит. Файза как-то сразу стала взрослой женщиной, лицо ее смягчилось, просветлело. Наружно она оставалась безмятежной, но эту безмятежность опровергало биение жилки на шее.

Файсал встал, собираясь вернуться к своим друзьям. Он снова улыбнулся краешком рта. И Файза ответила ему красноречивой улыбкой. В волнении она не заметила его протянутой руки.

Все это не ускользнуло от глаз проницательного Мулуда. Его догадка получила окончательное подтверждение, когда позвонил Файсал и пригласил их всех к себе на день рождения. Мало-помалу Файсал стал своим у них в доме. Мулуд беспо-

коился по вполне понятной причине: слава соблазнителя, укрепившаяся за его приятелем, не могла не встревожить человека, любящего свою сестру. Но ведь решать предстоит ей самой, думал Мулуд. Ему любопытно было узнать, как его смелая сестра выдержит это испытание.

Файсал каждый день встречал ее у больницы. И она всякий раз радовалась при виде его высокой фигуры. Ее поражала его красота: тонкий благородный нос, четкие очертания губ, темно-русые взлохмаченные волосы и прямой, добрый взгляд светлых глаз, которые как бы отказывались замечать зло. А гордая, с вызовом, посадка его головы! Файза считала его намного красивее себя. В другие времена, — думала она, — Файсал был бы знатным сеньором, гордым воином, властвующим над средиземноморскими странами. Такой у него, во всяком случае, вид. Они любили бродить вдвоем по улицам, в гуще толпы. Прохожие не могли оторвать глаз от этой странной, до неприличия счастливой пары. Встречи доставляли обоим такую глубокую радость, что им не нужны были ни бурные выражения чувств, ни громкие слова.

Но приближались каникулы. Файза чувствовала печаль при одной мысли о возвращении в деревню. Обязательства перед семьей стали теперь ей в тягость. Она ненавидела все, что хоть на день разлучало ее с Файсалом. А впереди целых два месяца нестерпимой пытки. Файсал, однако, был более благоразумен и уговаривал ее потерпеть. «Через месяц, — говорил он, — я вместе с моим братом и Мулудом приеду к твоему отцу, чтобы просить твоей руки в соответствии с нашими обычаями...»

Ему известна была репутация сурового Си-Мокрана, и он не хотел заранее настораживать его. Они договорились с Файзой, что поженятся до конца лета.

Файсал потерял родителей еще во время войны и жил со своим старшим братом, известным окулистом. У того была жена и трое детей. Файза уже познакомилась с семьей своего будущего мужа. Си-Ахмед, с которым она вместе работала в больнице, казался двойником младшего брата, но был на десять лет старше. Седеющие волосы и высокий рост придавали ему особое благородство. Файза ему понравилась, и он искренне радовался намерению своего брата; что до его жены Салимы, то она принадлежала к тому же типу женщин, что Ямина и Малика. Подвижная и жизнерадостная, она была резкой противоположностью своему мужу, человеку спокойному и уравновешенному, очень наблюдательному и хорошо разбирающемся в людях. Салима и трое ребятишек порхали по до-

му, точно бабочки. Они были очаровательны. Файсал смело мог гордиться такой семьей.

Файза с Мулудом только вздыхали, воображая себе, что будет, когда соберутся вместе Хадиджа, Малика, Ямина и Салима. В деревне наверняка начнется революция! Оставалась, правда, благоразумная Акила, но для нее была уготована роль доброжелательной зрительницы. Тут надо сказать, что и Норе передалась заразительная веселость трех женщин. Общение с Яминой, умевшей находить во всем смешное, с непоседливой Салимой и насмешницей Файзой подтачивало себялюбие Норы. Задорное подтрунивание молодых женщин шло ей только на пользу. А их поездки на пляж вместе с Зозо, «великим спецом по купальникам», заставляли забывать обо всем на свете! Смех излечивает от многих недугов!

Файзе оставалось до отъезда всего два дня. Один из них она хотела провести с Файсалом, в надежде, что это поможет ей скоротать долгий месяц разлуки. Они поехали к морю, на виллу брата Файсала, которая в это время — было еще только начало июля — стояла пустой.

Они бродили босиком по песку, и волны плескались у их ног. Молодой человек целовал Файзу с таким самозабвением, как будто ему грозила опасность лишиться ее, словно он терял ее навсегда.

— Я знаю, нам предстоит долгая разлука, — сказала она, — но ведь мы расстаемся не навеки!..

— Молчи! — тихонько отозвался он. — Я хочу оставить себе память о тебе.

Они блуждали, держась за руки, потом вдруг останавливались и припадали друг к другу: как утоляют жажду из живительного источника. Их следы то терялись в песке, то снова и снова тянулись в две цепочки. Файза думала о том, как ей повезло в жизни: исполнилась ее заветная мечта — она учится, у нее такой замечательный брат, как Мулуд, две любящих матери. А Файсал явился как будто из волшебной сказки. Благородство, свойственное их предкам, сочетается в нем с веселой непринужденностью, характерной для дней нынешних! Ее завлекал контраст их тел. Она смуглая — как юноша с гор, а он такой светлый, чуть не прозрачный: кажется, будто можно видеть мускулы под его кожей.

Время, один за другим, уносило памятные часы счастья. Неприятная тревога заставляла их откладывать разлуку. Пытаясь оттянуть решительную минуту, они даже спрятали часы в коробку. Упрямо не желая видеть заката солнца, они смотрели только друг на друга. Глаза их потемнели, дыхание стало горячим.

Файза, охваченная самозабвением, была странно трогательна. Файсал не мог отвести глаз от этой девушки, совсем не похожей на других. И взгляд у нее не такой, какой обычно бывает в подобных случаях, — ничего не обещает. Ей, вероятно, следовало бы напустить на себя томность, попытаться выразить любовь жестами. Но она, по-видимому, ничего не понимает в великой игре обольщения, с детских лет известной всем женщинам... Своей сдержанностью Файза бросает вызов общепринятым правилам. И на него она смотрит спокойно и уверенно, — как и в самый первый раз. По какому, интересно, праву она поменяла их роли? Она глядит в упор сама, тогда как принято, чтобы так глядели на нее. Лицо ее пылает страстью, ноздри раздуваются — это лицо мужчины, а не женщины. В ней есть что-то от льва, готового к прыжку и заранее уверенного в своей победе. И в то же время она дышит юной свежестью.

Файсал почувствовал, что его желание преображается в ее собственное, еще более сильное. Все ее существо будто зывало к нему: возьми меня! Его взгляд погрузился в ее взгляд. Все наоборот: ей полагается быть добычей, а она ловец.

Файсал принес себя в дар. Файза приняла этот дар. День уже клонился к концу, когда они очнулись. Файза чувствовала, что ноги у нее ледяные, но все тело жарко пылало от объятий Файсала. Небо побледнело, все кругом стихло, даже плеск волн, казалось, удалился от них.

В машине Файсал читал стихи Поля Элюара:

Встала она на вѣках моих,
Косы с моими смешав волосами,
Форму рук моих приняла,
Цвет моих глаз вобрала
И растворилась в моей тени,
Как брошенный в небо камень.

Всегда у нее открыты глаза,
Они не дают мне спать.
Грезит она среди белого дня,
Она заставляет меня смеяться,
Смеяться, и плакать, и говорить,
Хоть нечего мне сказать¹.

Файза продолжала, словами поэта воспевая свою любовь к Файсалу:

Без тебя
Подгнивает солнце полей,
Засыпает солнце лесов,
Умирает тело небес,
Нависает глухая ночь...

¹ Здесь и далее перевод стихов М. Ваксмахера.

Молодой человек просил дочитать до конца, хотя и так знал эти строки наизусть.

— Нет, — сказала она, — конец слишком печален, а я сегодня счастлива!

В отцовском доме царило всеобщее веселье. Файза привезла хорошую новость: Ямина на четвертом месяце беременности. Грянуло громкое «ю-ю!» Хадиджи. Годы не охладили ее горячую кровь. В свои пятьдесят с лишком она сохраняла прямую, величественную осанку и живость. Крашенные хной волосы обрамляли по-прежнему прекрасное лицо. Только морщинки на шее выдавали ее возраст, но в глазах, как и всегда, сверкали огоньки. Мало изменилась и Акила. Только стала еще глубже вздыхать, когда смотрела на старшую дочь. От нее не укрылись перемены, происшедшие в Файзе... Прежде всего новая прическа: тяжелые волосы, которые раньше Файза собирала узлом на затылке, теперь свободно спадают на плечи. Тело облегает хорошо сшитое яркое, цветастое платье. Смеется она не тихо, как прежде, а во весь голос. Никакой сдержанности в жестах после пребывания в городе! А походка! Безошибочный инстинкт матери и женщины подсказывал Акиле, что ее дочь побывала в объятиях мужчины. Что-то неуловимое меняется в девушке, познавшей мужскую ласку. А мать, как многие неразговорчивые люди, обладала даром острой наблюдательности. Ее вдруг охватил гнев:

— Ну, а ты, дочь моя! Когда же ты-то наконец решишься выйти замуж, как и все? Или ты дожидаясь свадьбы Адила?

Вспышка матери больно задела Файзу, и она резко ответила:

— Когда решусь, тогда и узнаешь!

— Узнаю? — передразнила Акила свою дочь. — С тобой я никогда ничего не знала! Ты хочешь быть не такой, как все женщины. Ну что ж, скоро ты состаришься и будешь нянчить чужих детей. Стать доктором, конечно, хорошо, но подумай, как это грустно — быть яловой коровой.

Яловыми коровами в деревне называли старых дев-вековух. Файза вдруг рассмеялась, всю злость ее как рукой сняло.

— Успокойся, мамочка! Ты успеешь понанчить моих ребятшек, обещаю тебе, что они еще помучают тебя и Ма Хадиджу!

При этих словах Акила смягчилась. Ведь раньше Файза из себя выходила при одном только упоминании о замужестве. «Слава Аллаху! Значит, у нее есть кто-то на примете, раз она так говорит!» — обрадовалась мать.

Сидя в прохладной тени, они стали мирно обсуждать последние деревенские новости. Старый Хаджи-аль-Тажер умер, а два месяца спустя за ним последовала его супруга. Что до их сына, «хитреца», то он купил у Си-Мокрана участок пшеничного поля, присоединив его к владениям своего отца. Так что теперь он самый богатый землевладелец в округе, что не мешает ему прикидываться бедняком. Живет, как и раньше, в скудости, словно боится, что завтра ему нечего будет есть. А у Си-Мокрана осталось двадцать гектаров садов. Этого вполне хватает на жизнь всей семье.

Тут женщины вспомнили Си-Тажера. Тот хоть жил на широкую ногу, не то что его сын, и поесть любил, и одевался как принц.

Старый колдун, который выжег когда-то крестик на пальце Хадиджи, все еще жил у кладбищенских ворот. Разум его немного помутился, — прямой и тощий, старик с устремленным куда-то вдаль взглядом бродил по улицам, нашептывая какие-то таинственные заклинания. И взрослые и дети, завидя его, опасливо сторонились. Добрые души приносили ему еду: еще бы, ведь он все равно что живой памятник, хранитель древних традиций. Оставалось и несколько простаков, которые по-прежнему верили в его «пророчества» и продолжали ходить к нему.

Вечером пришли Камель с Маликой и Карим, который стал директором школы, и двоюродный брат Камеля, неумный сын тети Айши, приводивший всю семью в отчаяние своими женитьбами. Многоженство теперь было «не в чести». Мужчины, как правило, редко держали сразу двух или трех жен в доме, зато разводились с необыкновенной легкостью.

Малика располнела, ее веселое личико было в задорных ямочках. Она больше не прикрывалась чадрой. Такова была воля ее мужа, одержимого желанием преобразовать деревню. Камель решил подшутить над «доктором»:

— Ну как, «тбиба»? Какие новости в столице?

— Хорошие! — в тон ему отвечала Файза. — А у тебя, мой дорогой братец мэр? Как идут дела?

Ей доставляло удовольствие щекотать тщеславие «ответственного работника». Своей прирожденной честностью и самоотверженным отношением к работе Камель добился того, что его снова избрали главой деревенской мэрии. С присущей ему откровенностью и обезоруживающей непосредственностью он сказал Файзе:

— Неплохо! Совсем неплохо! Ну, разумеется, с учетом недостатков в материалах и так далее. Результаты, во всяком

случае, налицо: открыты вторая школа и центр по охране материнства и младенчества, построены новые дома, проведено электричество. А нашим все мало! Они отведали хорошей жизни и теперь подавай им всего поскорее и побольше! Как подумаешь, что до независимости здесь царило средневековье!..

Молчавший до тех пор Жамель перебил его с досадой:

— О! Говори сколько угодно, а вот я считаю, что положение у нас плачевное! Сам не знаю, чего я тут торчу. Если бы, по примеру других, я использовал кое-какие «лазейки», я уже давно нашел бы себе место в Алжире!

Родные слушали его с понимающей улыбкой. Жамель не переставал ворчать со времени провозглашения независимости. Он был в партизанах и по возвращении рассчитывал занять какое-нибудь теплое местечко. Но тут выяснилось, что у некоторых из тех, кто сражался с ним рядом, есть еще и дипломы. Он и раньше-то любил поворчать, все ему не нравилось, а теперь, когда ему пришлось приспособливаться к новым условиям, он стал совсем нытиком, всем завидовал. Камелю хорошо знакома была «песенка» Жамеля, и он начал урезонивать его, как упрямого ребенка:

— Ты неправ, Жамель! Вот что я тебе скажу откровенно. И пусть Файза нас рассудит. Она у нас образованная и во многом разбирается лучше нас. Мы с тобой ровесники! Вместе были в маки. Ты ведь едва умеешь читать. Самому-то тебе на это наплевать, а вот другие...

Камель с заговорщическим видом наклонился к Жамелю и, улыбаясь, добавил:

— Признайся, учеником ты был никудышным. Только и думал что о потасовках... Вот ты жалуешься, а ведь, если говорить правду, тебе повезло в жизни. Отец (мир его душе!) оставил тебе землю. Ты выстроил два дома и теперь сдаешь их за хорошие деньги. Ты даже не пытаешься устроиться, как другие, на бесплатные курсы арабского и французского. Однако тебе принадлежит место на общем собрании. Чего же ты хочешь? Чтобы тебя назначили министром?

Женщины приснули, а Жамель проворчал:

— Я справился бы не хуже этих тупоголовых политиканов!

— Ну да, конечно! — поддел его Камель. — Пойми наконец, что мало быть просто храбрым воином! А ты, честно говоря, не выполнил до конца свой долг перед родиной. Это не мешает тебе, впрочем, притязать на высокую должность, с которой тебе не справиться.

Услышав эту суровую отповедь, Жамель опустил голову.

— Опротивело мне здесь! Все равно уеду из деревни!

В голосе его прозвучало такое отчаяние, что Файза вздрогнула. Она как будто услышала отзвук своих прежних мук.

— О! Я тебя хорошо понимаю, Жамель! — с участием склонилась она к двоюродному брату. — И все-таки подумай хорошенько. Здесь у тебя свой дом. Ты дышишь чистым воздухом, окружен уважением людей, живущих бок о бок с тобой с самого детства. Знал бы ты, как одиноко бывает иногда в городе. Многие семьи ютятся в лачугах, у них нет работы, и они горько жалеют о том, что уехали из деревни, привлеченные городскими миражами. Молодежь там теряет уважение к родителям!..

Карим с удивлением прервал ее:

— Вот уж не ожидал от тебя, Файза, подобных слов! Ты же так рвалась в город!

Девушка глубоко задумалась, словно не зная, что сказать. В самом деле, почему она вдруг так заговорила? Неужели она изменилась под влиянием любви? Файза сама не понимала, что толкнуло ее откликнуться на крик отчаяния Жамеля. Ей показалось, что он очень нуждается в ее поддержке, и она прошептала:

— А Манубия ничем не может тебе помочь?

— Что? — послышались со всех сторон удивленные возгласы и смех.

— Ты словно с луны свалилась! — сказала Малика. — Манубия — это уже старинная история. С тех пор была Фатма, после нее Жамиля, а последняя и самая лучшая из них — Зубида. Бедняжка убежала к своим родителям... А все из-за его сестер!

Файза повернулась к покрасневшему Жамелю:

— Жамель, ты сменил уже четыре жены? — И добавила, обращаясь к Ма Хадидже: — Он, видно, тоже заболел «четверной болезнью».

— «Четверной болезнью?» — недоуменно переспросили все.

Наградив Файзу тумаком, Ма Хадиджа сказала:

— Йа Аллах! Эта девушка ничего не забывает! Так говорили о мужчинах, которые брали себе четырех жен...

Акила затряслась от смеха; она и вправду слышала от Хадиджи это выражение. Хадиджа вкладывала в него свое презрение к мужчинам, которые женились снова и снова, пытаясь доказать свою мужественность. Над их домом тоже проносились бури. Глядя на сияющее лицо Хадиджи, Акила думала о том, что только благодаря отваге этой женщины она живет сейчас спокойно.

Жамель устал быть посмешищем в глазах родных, и особенно двоюродной сестры. Он поднял голову, и его яростный

вид заставил вдруг всех умолкнуть. Взглянув на Файзу, Жамель стал рассказывать для нее одной. Из его слов выяснилось, что ни одна из жен не могла ужиться с его сестрами — через месяц уходила. Вторая жена к тому же еще не хотела жить вдали от деревни (дом Жамеля стоял на отлете). Та же история и с третьей. Что до четвертой, то она устала от постоянных ссор с золовками и сказала, что хочет жить вдвоем с мужем, в отдельном доме. Жамель избил ее, и она убежала к своим родителям. Теперь ни один отец в деревне не хочет отдавать ему свою дочь...

— Не везет же мне! — вздыхал он. — Все двери закрыты передо мной...

Файза смотрела на этого мужчину, не стыдившегося своей слабости и неспособного самостоятельно найти решение. Он продолжал ждать спасения от сестер.

— Мои сестры — несчастные женщины, — продолжал Жамель. — Я не имею права их оставлять! Старшая в разводе, а младшую никто так и не посватал! Я для них единственная опора!

— Хватит причитать, мой сын! — обрушилась на него неукротимая Хадиджа. — Твои сестры действуют тихой сапой, знаю я их! Ах, если бы твоя бедная мать (мир ее душе!) была жива! Хорошая была женщина. Справедливая, добрая и веселая, уж она-то никогда, бывало, не упустит случая посмеяться и пошутить. Все ее любили в деревне! Жаль только, что она родила на свет двух злобных гадюк!

Жамель сидел с видом побитой собаки, и Хадиджа, ткнув в него пальцем, со смехом сказала:

— До чего же ты похож на свою старшую сестру, такой же зануда, как она! Странно, что вы ничего не унаследовали от матери, только у тебя, пожалуй, такое же доброе сердце. А вот чувства юмора ни у кого из вас нет. Вы смахиваете скорее на бабушку с отцовской стороны, она была сварливая и злая на язык, а перед сыном прикидывалась этакой овечкой. Совсем как твои сестры. Да простит меня Аллах! Но если она (мир ее душе) сейчас слышит меня, то должна знать, что я говорю правду!

Файза заговорила решительно, но в то же время мягко, стараясь не обидеть двоюродного брата:

— А почему бы тебе не отселить сестер, ведь у тебя два дома! Ты будешь заботиться о них, навещать их время от времени. Пора бы тебе обзавестись детьми. Если ты и впредь будешь позволять своим сестрам ездить на тебе верхом, то совсем озлобишься и ни одна женщина не захочет с тобой жить...

Жамель задумался над ее советом, зная, что все хотят ему добра. Никто и не думает восстанавливать его против сестер.

Он сказал:

— Ты права! И потом, честно говоря, я устал все время мять жен! А Зубиду я люблю! Она такая ласковая, умная и...

Камель захлопал вдруг в ладоши и весело закричал:

— Браво! Вот наконец решение, достойное мужчины! Забери назад жену, поживи отдельно от сестер, тогда и правительство перестанешь во всем винить. А ведь послушать тебя, именно на нем лежит ответственность за твои семейные дела.

Тут Камель заговорил о качествах, необходимых каждому настоящему алжирцу. Он никогда не забывал о своем долге активного борца и бдительного комиссара. С подлинным жаром говорил он о сыновьях страны...

— А какое место ты отводишь дочерям в своих великолепных планах? — насмешливо спросила Файза, остановив увлекшегося оратора.

— Пусть сидят дома, воспитывают детей и ухаживают за мужьями, — поспешил радостно вставить Жамель.

Файза внимательно посмотрела на обоих мужчин. Ее глаза горели гордым блеском. Затем она улыбнулась и, тут же посерьезнев, сказала:

— Думаю, что мужчины в конце концов поймут, как глупо держать своих подруг взаперти. Не хочу оскорблять ваше мужское достоинство, но должна прямо сказать, что ненавижу угнетение во всех его формах.

Мужчины, выслушав ее, призадумались и не спешили с ответом. Карим потирал свои красивые, сильные руки. В нем угадывалась благородная натура, его молодое сердце все еще хранило верность романтическим мечтам юности. Глаза его лучились добротой. Жизнь его, на первый взгляд, протекала в мире и спокойствии: работа в школе, дома — энергичная, любящая мать. Сестры его вышли замуж, но сам он упорно не женился. Возвратясь в конце войны из города, он еще больше подружился с Си-Мокраном, дядя любил советоваться с ним по любому поводу. Си-Мокран делился своими мыслями с племянником Каримом куда охотнее, чем с Мулудом. Карим походил на своего деда шейха Мулуда — такой же точно орлиный нос, угольно-черные густые брови и выразительные зеленые глаза. Такое же удивительное сходство в осанке и непринужденных, исполненных достоинства манерах. Сталкиваясь с Каримом неожиданно, Си-Мокран невольно вздрагивал. «Вылитый дед», — вздыхал он.

Впервые за весь этот вечер Карим вступил в разговор.

— О каком угнетении ты говоришь? Можно подумать, наши женщины сидят в клетках, будто дикие звери! Законы защищают и почитают их...

— А как быть с религией, с заветами Корана? Ты твердишь о свободе, забывая, что мы мусульмане, — вмешался Жамель, скосив на Файзу свои лукавые, крестьянски хитрые глазки.

— Я человек верующий, но считаю, что фанатизм — самое значительное препятствие на пути развития человечества...

Карим снова взял слово. Он не кривил душой ни перед самим собой, ни перед другими. Цельная натура, он никогда не задумывался над проблемой женской эмансипации. Он гордился своей страной, и для него это было важнее всех патетических всплесков.

— Тебе не кажется, что если религию приспособить к условиям развития нашей страны, то это и будет осуществлением нашей мечты о новом, лучшем мире?

Все мужчины поддерживали его. Малика вязала, слушая их. Хадиджа с Акилой ждали развязки этого странного спора. У них было такое ощущение, будто мир перевернулся. Еще бы, мужчины обсуждают с женщинами политические вопросы! А Файза! Подумать только, с какой смелостью отстаивает она свою точку зрения!

— Отчасти ты прав! Но многие, к сожалению, используют это рассуждение в демагогических целях! Мужчины заняты схоластическими спорами, в лучшем случае обсуждают смысл того или иного завета. И все это за спиной женщин! Слышал ли ты когда-нибудь, чтобы женщины участвовали в толковании религиозного закона? Скажи, Карим, с тех пор как написан Коран, их мнения кто-нибудь спрашивал? Нет! Все диспуты происходят в кругу мужчин. Только не говори мне, что вы и без нас знаете, чего нам надо!

Жамель усмотрел в ее словах богохульство.

— Сестра! Аллах все знает!

Файза в азарте выпалила:

— Он тоже был мужчиной!

Наступило тяжелое молчание. Все были потрясены и возмущены. Однако странное оцепенение на какое-то время лишило их дара речи. Наконец Акила решилась вымолвить:

— Счастье, что здесь нет твоего отца!

Файза, почувствовав, чтохватила через край, продолжала более сдержанно, как бы стараясь смягчить впечатление от своих резких слов:

— Взять хотя бы многоженство! Почему оно все еще встречается у нас? И какое это смешное противоречие: с одной

стороны — европейские обычаи, с другой — мусульманские. Удостоверение о браке, как у французов, а в нем записаны все четыре жены и целая орава ребятишек! Право в любое время прогнать жену, трижды повторив: «Ты мне больше не жена!» — излюбленное заклинание мужчин, их «Сезам, откройся!». А вот женщина не имеет права пользоваться этим заклинанием. Если бы по крайней мере и она могла сказать злому супругу: «Ты мне больше не муж!»

Девушка трижды повторила эти слова, причем таким тоном, что женщины не смогли удержаться от смеха, зато мужчины с мрачным видом покачали головами, как бы выражая сомнение, в здравом ли она рассудке. Жамель воздел руки к небу, призывая его в свидетели своей правоты.

— О, Аллах! Если когда-нибудь женщина осмелится сказать мне подобное, придушу, как крысу! — Тут Жамель скорчил гримасу и продолжал: — Вы, женщины, — болтливые сороки. Но стоит только мужчине (он сделал ударение на этом слове) пригрозить вам палкой, как вы тут же заголосите: «Йа баба! Йа баба!..» Сказать, конечно, можно что угодно! Но, по счастью, у нас в стране есть настоящие мужчины! Они сумели одолеть чужеземцев, сумеют и вас, женщин, обуздать!

Все от души веселились, слушая разглагольствования Жамеля. Какой бы гордый вид он ни напускал на себя, всем было известно, что он боялся как огня своих грозных сестер.

Файза, однако, продолжала твердить свое:

— Во всяком случае, все это жестоко и несправедливо! Знали бы вы, что мне приходится видеть в больнице! Ужас! Мужья бросают больных жен и женятся на других, помоложе. Молодые жены выгоняют старых. Матери умоляют хоть на несколько дней оставить в больнице выздоровевших детишек, потому что дома нечего есть. Все это только подтверждает вред многоженства.

Родные смотрели на нее, удивляясь ее горячности.

— Тебя и на свете-то не было бы, если б твой отец не женился второй раз, — сказала Акила. — Разве у нас не дружная семья?

— Конечно! Но только потому, что на страже ее интересов стоит Ма Хадиджа. Если б не она, то неизвестно еще, сколько бы в этом доме было сейчас жен и детей! А окажись среди жен какая-нибудь помоложе да похитрее вас, она сумела бы выжить вас всех отсюда. Слава Аллаху, есть, конечно, среди мужчин и умные, и справедливые! Но сколько женщин выгнали на улицу, три раза повторив одну короткую фразу! А сколько приходится мучиться с соперницами просто потому, что им

некуда уйти! На разведенную смотрят, как на прокаженную, хуже ее никого нет! Разводов теперь тьма, семьи распадаются, дети становятся преступниками, а мужчины знай себе посиживают в кофейне!..

Ма Хадиджа восхищенно воскликнула:

— Умница ты моя! Тебе следовало бы стать адвокатом! Ты так хорошо защищаешь своих сестер!..

Камель проворчал:

— Вот до чего доводят книги! Им дали возможность учиться, а теперь они, видите ли, хотят перетряхнуть весь мир! Стыдно!

К этому он добавил, что, хотя ему как мужчине обидно это признавать, в картине, которую нарисовала девушка, к сожалению, много верного. Семья как ячейка общества и в самом деле приходит в упадок.

Тут Малика отложила свое вязанье и с лукаво горящими глазами торопливо заговорила, едва сдерживая охвативший ее энтузиазм:

— Файза! У меня идея! Что, если нам организовать свой партизанский отряд! Устроим женскую революцию!

Камель раскрыл глаза от удивления, он как будто впервые в жизни увидел свою жену:

— Вот тебе и раз! Сидит себе, помалкивает и вдруг такую бомбу решила подложить под нас!

— Кстати, о бомбах! Уж будьте уверены, мы их подкинем во все махкама¹, — с улыбкой ответила Малика.

— Как же так! Ты хочешь оставить своего бедного мужа? Нет, я тоже пойду с тобой. Кто знает, может, вам понадобится мужчина, знающий партизанские тропы, — подхватил Камель.

Но Малика сердито замахала руками:

— Нет, нет! Ты останешься дома с детьми, а то еще, не ровен час, тебя умыкнут какие-нибудь «сестры».

Она положила руки на колени и попыталась развить свое смелое предложение:

— Женщины покинут семейный очаг, всюду появятся листовки с такими лозунгами: «СТАРЫМ ЖЕНЩИНАМ ЗАПРЕЩАЕТСЯ УБИРАТЬ В ДОМЕ И ГОТОВИТЬ ЕДУ ДЛЯ МУЖЧИН», «ДА ЗДРАВСТВУЕТ ФРОНТ ЖЕНСКОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ». Женщины будут устраивать засады на мужчин... О! То-то славная будет война!..

Жамель мечтательно погладил подбородок и сказал:

— Я заранее готов предать своих братьев! — А потом доба-

¹ Махкама — суд (араб.).

вил таким же восторженным тоном, что и Малика:— О! До чего же хорошо будет пленникам в горах!

— А какие же требования вы собираетесь предъявить, отважные воительницы? — спросил Карим.

Малика задумалась, сморщив переносицу, затем обратила взгляд к Файзе, как бы взывая о помощи, но сестра с улыбкой покачала головой, и Малика поняла, что ей остается рассчитывать только на себя. Ма Хадиджа подбодрила ее:

— А ну-ка, дочь моя, говори!

— Так вот! Прежде всего мы потребуем отмены многоженства! — начала Малика, но тут же великодушно добавила:— В отличие от других стран мы разрешим двоеженство. Но только в тех случаях, если первая жена окажется неизлечимо больной или слабоумной или же у нее не будет детей. Причем мужчина обязан будет представить медицинское свидетельство... Что же касается развода, то он будет разрешаться лишь после пяти лет совместной жизни и не менее чем через три года после того, как супруги разойдутся. Дети должны оставаться с матерью, за исключением, опять-таки, тех случаев, когда мать умственно неполноценна, ведет беспутный образ жизни и тому подобное. Муж обязан обеспечивать жену и детей, регулярно выплачивать определенную сумму под угрозой тюремного заключения и конфискации всего имущества. Само собой разумеется, для работающих женщин мы потребуем равноправия с мужчинами как в работе, так и в оплате их труда... И пусть образованные женщины подумают обо всем остальном.

Изумлению присутствующих не было предела. Что и говорить, дочери Си-Мокрана последовательны в своих идеях! «Кто бы мог подумать, что веселая Малика вынашивает такие серьезные мысли?» — восхищенно присвистнул Камель.

Карим захлопал в ладоши, не обращая внимания на гневный взгляд Жамеля, который терпеть не мог того, что называл «женскими бреднями».

В тот вечер Файза долго не могла заснуть, раздумывая над словами сестры. Малика предстала вдруг перед ней совсем в ином свете. Файза и не подозревала, что ее младшая сестра способна на глубокие размышления. Оказывается, она скрывает свои мысли под веселыми шутками. В этом она напоминает тетю Айшу, которая производила на всех впечатление взбалмошной, болтливой, легкомысленной женщины. Люди удивлялись, когда на лицо ее набегала тень, приписывали это пустячному недомоганию. Малика тоже с давних пор старалась казаться открытой, беззаботной и простосердечной, Файза вынуждена была признать, что никогда не принимала всерьез

свою капризную красавицу сестру. Вот и сегодня она как будто говорила в шутку. Где же истина? В таком характере, думала Файза, нелегко разобраться. Малика похожа на сказочный блуждающий огонек, который порхает вокруг людей, стараясь не опалить их своим жгучим пламенем. Сама Файза отнюдь не такая скрытная: ее негодование, радость или волнение всегда прорываются наружу. И она очень отзывчива и наблюдательна. От нее не укрывается печаль, которая затуманивает иногда взгляд Малики.

Файза думала о том, что в женщинах пробуждается самосознание. Они все чаще осуждают некоторые несправедливые обычаи. Прежде были оккупанты. И женщины помалкивали, целиком отдаваясь семейным делам. Теперь у них появилась надежда на какие-то перемены. Они чувствовали, что не все ладно в существующих порядках. Если кому-нибудь из них, по счастливой случайности, достается честный, любящий муж, то такая женщина еще может избежать столкновения с противоречивой действительностью. Но если кому-нибудь не повезет, то тут уж ничего не остается, кроме как биться головой о глухие стены обычаев.

Файза снова и снова обдумывала слова Малики. Несмотря на свое личное благополучие, та, видно, хорошо понимала правоту сестры, которая справедливо нападала на законы, придуманные мужчинами якобы в защиту женщин. Женщины должны были держаться в определенных «границах», ни одна из них, под страхом жестокого оскорбления, не смела появляться на улице без мужа. Ни у кого из них не было права думать, высказывать свое мнение и даже защищаться от нападок. Женщина была только орудием для производства детей либо игрушкой, которую бросали, как только она надоедала. Считалось, что она не способна к умственной деятельности. Врач? Инженер? Куда ей — ведь она женщина!.. Религия, культура, государство, само небо и даже дети... — все ее осуждали. Она носит брюки? Наоборот, обнажает ноги? Курит? Позор ей! Как смеет эта тварь нарушать привычное течение жизни мужчины! Покушаться на его интересы. Ведь она всего-навсего иждивенка, записанная в документах мужчины...

Тут молодая девушка задумалась над зависимостью женщины от мужчины. Ее мать Акила, со своим суровым характером, не может одобрить поведение дочери. Она — одна из тех женщин, что полностью подчинены мужу. Такие, как она, выходят замуж, устраивают свой домашний очаг и через несколько лет отдаляются от родной семьи. Они становятся как бы частью своих мужей, вырабатывая в себе странную психологию

ческую мимирию, неукоснительно блюдут «честь» своих мужей. Эти женщины превращаются в строгих, властных свекровей, которые стоят на страже семьи, забывая о том, как страдали сами от жестокости свекра, притеснений свекрови и всевозможных подвохов, которые им чинило целое войско родственников мужа... К счастью, есть и такие женщины, как Ма Хадиджа, искренние, великодушные, вечно молодые сердцем.

Случается, однако, что именно им достаются заносчивые, злобные невестки, которые все свои силы сосредоточивают на борьбе против матери мужа!

«Так ли надо строить свою жизнь?» — думала Файза. Подобная вражда приводит к многочисленным разводам с трагическими последствиями для детей. И вина за все это ложится в конечном счете на мужчину: мужа, брата, сына, судью — творца законов...

К счастью, есть в мире немеркнущий свет, несущий тихую радость, доступную лишь простым душам и ребятишкам. В тот день Файза вместе с Адилем возвращалась от Малики. Оба были веселы и довольны. Файза открыла наконец сестре свою заветную тайну. Она ласково гладила Адилу по волосам.

Малика, как человек практичный, сразу решила, что Мулуд и его друзья останутся у нее. Дом большой, со всеми удобствами, а кроме того, не преминула она сказать, «не годится молодой девушке спать под одной крышей с нареченным». Файза шла медленно, вдыхая знакомые запахи деревенских улиц. Взглянув на брата, она предложила:

— Пойдем к ручью!

— К тому, что рядом с кладбищем? — боязливо спросил Адил. — Там живет колдун...

Он имел в виду старого талеба-филина. Сестра поспешила рассеять опасения мальчика.

— Как! — воскликнула она, прижав Адилу к себе. — Неужели ты боишься его? Он же такой безобидный человек! А ну-ка, пошли, погода хорошая, и мы с тобой отлично погуляем!

Мальчик согласился, довольный тем, что сестра взяла его за руку.

Привычные картины... Вверху высится больница, виднеется черепичная крыша школы. С соседних улочек доносится запах жареного — там бродит торговец оладьями.

Здоровый, жизнерадостный дух, которым веяло в деревне, вселял в Файзу бодрость. Далеко внизу, за деревней, прости-

рается кладбище. Оно похоже на большой зеленый сад, а могильные плиты напоминают белые скамеечки. Тут же струится ручеек. Деревенские жители часто приходят сюда подышать свежим воздухом, предаться воспоминаниям в уединении, а немые свидетели, мертвецы, слушают их тихие речи.

После провозглашения независимости в деревне многое изменилось. Стало больше новых домов, появился даже кино-театр, куда стекались по воскресеньям и четвергам мальчишки и мужчины. Один только Си-Мокран как будто прирос к цинновкам в мечети! Он и дом-то не пожелал сменить на новый: ведь это жилище его предков! Семья по-прежнему собиралась в квадратном дворике. И все же Си-Мокран пошел на некоторые уступки новым веяниям: на месте старого амбара построил ванную, а вместо колодца выкопал красивый круглый бассейн с фонтаном. Детвора плескалась в свое удовольствие. Девушка была уверена, что Файсалу понравится ее родная деревня. Она стала вспоминать их прогулки по Алжиру, их объяснения, слова, которые он ей нашептывал:

— Говори! Говори, не умолкая! Я люблю твой голос. Твой взгляд мне понравился сразу. Но окончательно покорила меня твой голос. Мальчишка с гор, маленький строптивый дикарь...

Едва заметная улыбка тронула ее губы, и в этот самый момент она вдруг увидела колдуна. Он принял ее улыбку на свой счет и тоже улыбнулся ей своим беззубым ртом. Адил юркнул за спину сестры. Она же приветливо махнула колдуну рукой...

Филин долго провожал ее взглядом. Файза улыбалась солнцу, а Адил, крепко держа ее за руку, прыгал, ударяя ногой в воображаемый мяч.

Время шло. Каждый день Файза навещала родных, весело болтала со своими двумя мамами, играла с Ханией и Адилем. Но с приближением конца месяца она начала проявлять нетерпение. Наконец, в одно прекрасное утро, почтальон принес письмо от Мулуда. Брат писал, что прибудет через пять дней — вместе с двоими своими друзьями. Дело было в субботу, и девушка, не удержавшись, громко воскликнула: «В четверг они будут здесь!..»

Отец любопытствовал, с кем это приезжает его сын. Потупив глаза, девушка отвечала, что это друзья Мулуда, она с ними знакома. «Видимо, эти горожане хотят отдохнуть», — решил Си-Мокран. К тому же их деревня славилась своими коврами и гончарными изделиями.

Файза усиленно хлопотала по дому, стараясь устроить все как можно лучше. Во дворе она решила поставить несколько стульев и стол, какие у них в деревне плели специально для ту-

ристов. Можно было подумать, она ждет к себе в гости самого президента! Все спрашивали друг друга, что случилось с Файзой. А той недоставало изворотливости и хитрости, чтобы скрыть свои чувства — поэтому родным нетрудно было догадаться о том, что в ее жизни надвигаются перемены. К тому же Хадиджа была не из тех женщин, что теряются в пустых догадках, она всегда шла напролом.

— Сядь-ка рядом со мной, — сказала она однажды. — А теперь расскажи, что это за мужчины, которые приедут вместе с Мулудом, и почему ты ради них готова весь дом перевернуть вверх дном?

Файза не выдержала хитрого взгляда Ма Хадиджи и покраснела. Она устремила глаза на ее руки, словно ища у них поддержки. А Хадиджа, постукивая по бокам своими длинными темными пальцами, прошептала:

— Говори, ручеек! Может, один из них и есть тот, кого ты ждешь с таким нетерпением?

Молодая девушка не могла сдержаться. Она бросилась в объятия Хадиджи и с пылающим лицом стала описывать ей улыбку Файсала, его смеющиеся глаза... голос... походку... Сбивчиво, путанно рассказывала Файза об их любви и мечтах, о скорой свадьбе. Долго лился поток несвязных слов, пока наконец в глазах Хадиджи она не увидела отражение своей любви.

— Это не человек, а бог!.. — вздохнула Хадиджа. — Настоящий бог, твой Файсал.

— О! Подожди! Подожди, ма, ты сама увидишь!..

Она бросилась к себе в комнату, схватила книгу стихов Поля Элюара, нашла заложенную между страниц фотографию и, вернувшись обратно, торжествующе протянула ее Хадидже, которая пристально посмотрела на юношу с девушкой: они держались за руки и, казалось, призывали ее в свидетели своего сказочного счастья.

На фотографии Хадиджа увидела совсем другую Файзу: на ней было короткое платье, смело открывавшее длинные смуглые ноги. Голова ее склонилась на плечо Файсала. А этот взгляд! Ликующий взгляд свободной женщины!

— Красивый! Такой же, как Мулуд, — тихо промолвила Хадиджа. — И видно, что человек благородный.

Она вернула Файзе снимок.

— Когда вы собираетесь играть свадьбу?

— Очень скоро, ма! Файсал сказал, что мы поженимся до конца каникул! Он уже все приготовил, вначале мы будем жить у его брата Си-Ахмеда, вила у него огромная, больше,

чем наш дом! Мы решили устроить свадьбу как можно проще, пригласим только родных и детей: моих братьев и сестер, детей Малики, племянников Файсала. Нам хочется, чтобы вокруг нас было полно малышей и чтобы они резвились, смеялись, тогда свадьба будет веселая!

Хадидже удалось наконец вставить слово:

— Но мы не успеем ничего приготовить, дочь моя!

— Успеете! Неужели вам не хватит недели, чтобы напечь всего? Мы так спешим... На другой день после свадьбы мы уедем на пароходе. Ты только представь себе, ма! Моя первая поездка за границу. Первое плавание! Свадебное путешествие! — мечтательно сказала она.

Хадиджа воскликнула:

— Какое путешествие? Что за глупости? Уехать на другой день после свадьбы!

— Да, да! Файсал так хочет, он мне сказал. Мы будем совсем одни. Целый месяц. Он мне покажет Валенсию, апельсиновые деревья в цвету. Майорку — остров мечты. И Андалусию, суровую и трагическую...

Хадиджа ничего не понимала! Она с трудом попевала за Файзой, тщетно пыталась разобраться в путанице ее волшебных сновидений. Внезапно ее радость прорвалась в громких криках «ю-ю!». Файза улыбнулась: эта несносная Хадиджа нашла способ прервать ее нескончаемую болтовню и на свой лад благословить ее любовь. Запрокинув голову, Файза рассмеялась. Ее радостный смех привлек Акилу. Подбежав, она стала терпеливо ждать, пока обе женщины угомонятся.

— Я хочу сказать. Я хочу сказать тебе, что твоя дочь выходит замуж! Мужчины, которых мы ждем, приедут просить ее руки, вот!

Акила залилась румянцем. Наконец-то ее старшая дочь выходит замуж. Она обняла ее. Щека матери прижалась к горячей, упругой щеке дочери.

В четверг утром Си-Мокран надел великолепную белую джеллабу, расправил складки черного бурнуса, наброшенного на плечи, и закрутил на голове тонкий шелк тюрбана. Сегодня великий день в его жизни: он увидит будущего мужа своей дочери. Хадиджа все рассказала ему, и он был очень взволнован, даже сердце колотилось сильнее обычного. К свадьбе Мулуда или Малики он готовился куда спокойнее.

«Чего это вдруг у меня так нервы расходились, ведь это уже третья свадьба в нашем доме! А я волнуюсь, как женщина. Пойду, пожалуй, помолюсь».

Файза нарядила детей и прибрала в доме. Оставалось только ждать.

Прошло несколько часов. Отец вернулся домой. Они наскоро пообедали, прислушиваясь к малейшему шороху на улице. Время как будто остановилось! Что могло случиться в Алжире? Пора бы им уже приехать! До города не больше двух с половиной часов езды на машине. Смутная тревога овладела Файзой. Ее взгляд задерживался то на вазе с цветами, то на новом галстуке Адила, то на заботливо уложенных кудряшках Хании. Накануне Хадиджа с Акилой ходили в хаммам, а сегодня обе они надели нарядные гандуры. Дом замер в тревожном ожидании.

И вдруг послышались яростные удары в дверь. На пороге показался Мулуд. Вид у него был странный, растерзанный, на голове — повязка. В каком-то забытии он протянул к сестре руки:

— Моя бедная Файза!.. Несчастный случай... Он в больнице...

Файза молнией ринулась к белому зданию, стоявшему, как ей теперь казалось, где-то на самом краю света. Люди смотрели вслед обезумевшей девушке, расталкивавшей на пути детей и стариков. Трагическая весть уже облетела всю деревню.

И вот наконец она стоит в дверях палаты. Все тихо. Только в висках у нее слышатся глухие удары. Перед ней на больничной койке покоится тот, кто ей дороже самой жизни. Файсал с величайшим трудом поднимает голову, протягивает руки. Глаза его не отрываются от нее. На лице появляется такая знакомая, нежная, чуть насмешливая улыбка, сразу же покорившая ее в тот далекий вечер их первой встречи. Взгляд его, казалось, говорил: «Я дождался тебя, я сумел оттянуть приход смерти, чтобы только увидеть тебя, мой маленький строптивец!» Губы его дрогнули, собираясь назвать ее имя. И в это самое мгновение Файсал откинулся навзничь, руки его навеки застыли в пустоте.

Файза закрыла ему глаза, набросила простыню и села подле него. Волосы ее упали на бездыханную грудь Файсала. Не понимая, что говорит, она шептала: «Я люблю тебя... Люблю тебя». Отныне она не могла думать ни о чем, кроме смерти, неумолимой, неотвратимой смерти! Скорбь придавила ее тяжелой глыбой. Ни шороха, ни звука. Мир разверзся перед ней мрачной, бездонной пропастью! Она падает. Неудержимо падает в бездну одиночества. Все существо ее окаменело. Перед ней лежал уже не человек, ее возлюбленный, а лишь пустая скорлупа. А ей-то мнилось, будто он навеки ее. О! Эта зыб-

кость, смутность, неуверенность, превратившие господа бога в жестокого создателя жестокого мира. Ей хотелось помолиться, но она поняла, что всевышний ничем не может ей помочь, и отвернулась от него.

На плечо ее опустилась чья-то рука. Подняв голову, Файза увидела Мулуда и еще какого-то мужчину, это был Файсал, только на десять лет старше! Но нет! У него нет ни победного блеска в глазах, ни насмешливой улыбки. Она в последний раз обратила свой взгляд к покойному. «Нет, это уже не Файсал, это одеревеневшее тело, эта застывшая маска не имеют с ним ничего общего». Тот, настоящий Файсал, ласкавший ее горячими руками и шептавший ей безумные слова, которые до сих пор еще звучат в ее ушах, перевоплотился в другое существо, то, что зародилось в ее чреве...

Файза медленно пошла домой. Ступая босыми ногами по земле, она постепенно приходила в себя. Казалось, будто прикосновение к земле возвратило ей утраченные силы.

Завтра Файсала похоронят на кладбище за деревней, там отныне будет его место. Ей хотелось, чтобы и после смерти он был рядом.

В толпе на улице Файза заметила колдуна. Поравнявшись с ним, она слегка замедлила шаг. Он чуть заметно улыбнулся ей. Не почудилось ли это ей? Но его глаза смотрят на нее с удивительно ласковым выражением. Файза выпрямилась и пошла дальше. Все кругом, может быть, и улыбка старого колдуна, казалось, нашептывало ей: «Ты пыталась бежать! И вот возвратилась! Не слишком ли многого ты хотела сразу?.. Свобода... Учение... Вечная любовь!.. Твоя любовь останется здесь, ее похоронят в земле твоей деревни, и ты вернешься к нам на веки вечные!»

Вскоре из Алжира приехали Салима, Ямина, Нора, Си-Фодил и Фуад. Желание Файзы было исполнено, Файсала решили похоронить на деревенском кладбище. Жители деревни молча следовали к месту погребения... И на этот раз им, как обычно, было известно все, до мельчайших подробностей. Молодая девушка вызвала всеобщую тревогу и удивление своим кажущимся безразличием, она ко всему была безучастна, в ней даже не чувствовалось скорби. Хадиджа проводила с ней целые дни. Файза перестала быть звонким ручейком, она сделалась рекой, скованной немой отчаянью.

Полоса света пересекала потолок наискось и скользила по стене. Файза лежала на своей кровати, положив руку на живот. Она улыбалась солнечным лучам. Мысли во множестве тес-

нились в ее голове. Через месяц после смерти Файсала у нее появилась резкая слабость и головокружение. Мулуд с Яминой решили, что это сказываются тяжелые переживания. Но сама Файза подумала другое. В душе ее проснулась надежда: «О, господи! Неужели это правда? Ты так жестоко покарал меня! Оставь же мне хоть эту радость! Боже мой, сын Файсала!»

Файза даже не задумывалась над грозящим ей позором, а ведь она принадлежала к семье со строгими традиционными взглядами. Безмерно счастливая, она поглаживала свой живот. Ямина должна родить через два месяца, а она?.. Файза сосчитала: через пять месяцев! В конце марта или в начале апреля. Ее сын родится под знаком Овна, как и его отец! Она дрожала от радости, усматривая в этом совпадении благодное предопределение судьбы.

Ямина первая догадалась о том, что она в положении.

Как-то вечером, перед сном, Мулуд с удовлетворением сказал жене:

— Файза как будто бы воспряла духом! У нее снова появился интерес к занятиям.

— Она уже не та, что была! — заметила Ямина. — Я благословляю небо за то, что ты был так снисходителен в начале их любви и закрывал глаза на их прогулки.

Мулуд взглянул на жену и с живостью спросил:

— Почему ты так говоришь?.. Ты думаешь...

— Я уверена, — сказала она, опуская глаза, — совершенно уверена!

Мулуд как безумный схватил жену за руку:

— Ты хочешь сказать, что они были близки? Ну и что! Я рад за нее, по крайней мере, она познала любовь! Но неужели?.. Она тебе что-нибудь сказала?

Ямина вздрогнула, увидев, как взволнован муж. Она ни разу не видела его в таком состоянии и пожалела, что слишком далеко зашла в своих предположениях. Хотя что тут тянуть? Ведь рано или поздно правда все равно выплывет наружу.

— Она ничего мне не говорила. Но я наблюдательна, как все женщины, и слишком люблю Файзу, чтобы не заметить кое-каких признаков... Этот внезапный интерес к детскому приданому, которое я готовлю, а главное, радость, которой она вся так и светится — как в первое время их знакомства с Файсалом... Она ждет ребенка, Мулуд! И мы должны ей помочь!

Закрыв лицо руками, Мулуд горько зарыдал. Впервые с того далекого дня, когда еще мальчиком он увидел, как его отец

вошел в спальню Уарды, а мать осталась одна во дворе. Лицо женщины, залитое слезами в бледных лучах луны, — он не забыл его, и теперь испытывал такое же точно бессилие, как тогда... Ямину возмутили слезы мужа, и она воскликнула в ярости:

— В чем ее преступление? Пойми же, что именно теперь она больше всего нуждается в твоей любви и защите! Они любили друг друга, должны были пожениться! Все родные об этом знают! Она ведь не какая-нибудь вертихвостка. Нет, тысячу раз нет! Файза вела себя как святая. Благоразумие ее было поразительно, целеустремленность не знала пределов. Файсал разбудил в ней человека. Знаешь, Мулуд, если бы не эта надежда, твоя сестра очерствела бы, стала равнодушной эгоисткой! После смерти Файсала она была ужасна: не плакала и даже на могилу к нему не ходила. В ребенке — ее спасение!

Муж Ямины пришел наконец в себя. Он протянул руки жене. Она прижалась к нему и вздохнула с облегчением:

— Значит, ты ее по-настоящему любишь. Мы защитим Файзу вместе с ее маленьким Файсалом.

Ямина ласково погладила мужа по щеке и с грустью сказала:

— Я всегда знала, что это самая большая любовь в твоей жизни...

Он вздрогнул, словно внезапно очнулся от сна.

— Что ты такое говоришь?

— Тсс!

Она прижала палец к губам мужа и заговорила непривычным для нее глухим, низким голосом. Ямина, такая легкая и беззаботная, вся вдруг как-то отяжелела.

— Я сразу это почувствовала, как только ты в первый раз заговорил со мной о сестре, ты весь дрожал, а имя ее ты проносил с таким видом, как будто вдыхал аромат розы. И глаза у тебя так сверкали, что во мне даже шевельнулась ревность. Лишь потом, когда я познакомилась с ней, я все поняла. Мало-помалу я стала относиться к ней с таким же обожанием, как и ты, твоя болезнь, если так можно сказать, оказалась инфекционной. В Файзе есть что-то от сатаны — ее можно только любить или ненавидеть. От нее словно исходит запах серы. Противостоять ей невозможно, как и твоей матери. Они очень похожи друг на друга! Или покоряют своими чарами, или же вселяют тревогу, — и тогда от них хочется бежать! Надо сделать все, чтобы она была счастлива! Иначе у нас в семье никогда не будет мира.

Благодаря своей проницательной жене Мулуд освободился от противоречивых чувств. Видимо, она права. Ко всему, что касается Файзы, он и впрямь относится по-особому. Но ведь она как бы его творение... Он стал воскрешать в памяти минувшее. Все годы, пока он сражался в маки и пока он учился в СССР, он только и мечтал увидиться снова с Файзой. В голове его все слилось в одно неразрывное целое: родина, его родители, Файза... И вот наконец он увидел ее во дворе, уже взрослую, с огненным взглядом. С какой настойчивостью стремился он удержать ее около себя и привить ей вкус к занятиям! Не хотел ли он окончательно привязать ее к себе? А может быть, в этом проявлялось бессознательное желание отомстить отцу, который отравил ему детство, отнять у него дочь, привив ей любовь к книгам. Нет, нет, дело не только в этом. Он, как некий волшебник, создал Файзу, воплотил в ней свой идеал совершенства... а ее любовь к Файсалу? Честно сказать, вначале эта любовь вызывала в нем раздражение. Не ревность ли? Нет, ведь как старший брат он должен был заботиться о счастье своей сестры. В его чувствах нет ничего, решительно ничего двусмысленного. Любил ли он ее? Да, конечно! Больше всех на свете! Больше, чем даже Хадиджу? Нет!.. Да!.. Больше всех, больше всех!

Когда он почувствовал в себе достаточно сил сказать сестре, что сумеет защитить ее от всех бед, Файза улыбнулась в ответ:

— Я вернусь в деревню.

Она решила закончить свою практику в деревенской больнице, там ведь так мало врачей.

— Даже если вся семья, весь мир отвернется от меня, я все равно буду со своим ребенком жить в деревне! — сказала она.

У Ямины родилась дочь, и Си-Мокран со своими двумя супругами приехал к ним в Алжир. Файза никогда не забудет, в какое смятение пришли родные, увидев ее живот... А уж об отце и говорить нечего! Он долго смотрел на нее, лицо его было бледно, борода слегка дрожала, но он нашел в себе мужество спросить:

— Можешь ли ты продолжать свои занятия в таком состоянии, дочь моя?

Родственники онемели от изумления, а Файза спокойно ответила:

— Спасибо, отец. Теперь мне гораздо лучше.

Ни одной слезинки не пролила она над Файсалом, а тут заплакала, целуя руки отца. После стольких лет они наконец поняли друг друга...

Царапая себе лицо, Акила заголосила:

— Аллах! Какой стыд! В нашей семье — и вдруг такое!

Услышав это, Си-Мокран велел вывести ее из комнаты. Хадиджа осторожно взяла мать Файзы за плечи, а вслед за ними выскользнули и Мулуд с женой.

Никто так и не узнал, о чем говорили тогда отец с дочерью, небывалый блеск в глазах Си-Мокрана и его оживленный вид совсем озадачили родных. Казалось, он помолодел и стал еще более решительным. Видно, мир и в самом деле изменился! Еще вчера она была бы отвергнутой всеми, по настоянию муфтия¹ ее могли бы даже вычеркнуть из фамильной книжки, а не то могли бы прогнать, как грешницу, или убить! Сегодня же ей уготовано было не только прощение, но и защита.

Отец будущего ребенка Файзы покоем на кладбище около белой деревни, а неисправимый Си-Мокран уже принялся мечтать: «Ах, если бы у нее был сын!» У него было такое чувство, как будто бог покарал его через Файзу. Как человек благочестивый, много видевший и размышлявший, он спокойно отнесся к положению своей дочери. И тем самым явил истинное смирение перед лицом Аллаха. Ибо все предначертано заранее!

Время шло, как бесконечная процессия с разноцветными знаменами. В этом году только и разговоров было что об аграрной революции. Стало быть, Файза по-прежнему шла в ногу со значительными событиями в стране! В то время как семейство Мокрана понемногу привыкало к тому, что произошло с его старшей дочерью, десятая годовщина независимости Алжира принесла в деревню новые надежды. Всюду проходили митинги, разъяснялся смысл грядущих реформ... Аграрная революция, которая была одной из целей вооруженной борьбы, положила конец бесконтрольной эксплуатации и системе ипольщины. Справедливый раздел земли должен был обеспечить крестьян с их семьями всем необходимым для жизни. Владения же помещиков подлежали конфискации, с возмещением убытков. Разнопольное ведение хозяйства было несовместимо ни с раздробленностью, ни со слишком крупными размерами земельных угодий. Говорили, что будет поощряться кооперативное движение, основанное на принципе взаимопомощи. Новые декреты открыли новую эру для бедняков-феллахов и безземельных крестьян. Разумеется, и в гостиных, в кофейнях

¹ Муфтий — духовный глава мусульман.

шли ожесточенные споры. Каждый на свой лад истолковывал события. Некоторые не понимали или не хотели понять веле-ний времени. Обстановка в стране странным образом напо-минала первые дни вооруженной борьбы, когда одни пред-сказывали, что горстка восставших неизбежно потерпит неуда-чу, столкнувшись с могуществом колониальной державы, а другие же, наоборот, верили в их торжество. Однако в день провозглашения независимости и те и другие оказались в числе манифестантов на улицах!

Немало людей, особенно из хорошо обеспеченных слоев, предсказывали неудачу аграрной революции. Они кричали о привязанности «арабов» к земле, «врожденной», с пафосом добавляли они. И тут же начинали твердить о трудностях, с которыми сталкивались комитеты самоуправления, а также о недостатке координации в действиях всевозможных нацио-нальных обществ, возникших в разных уголках страны.

Несмотря на всю эту неразбериху, налицо был один нема-ловажный результат: одиннадцать миллионов алжирцев вздох-нули с облегчением, у большинства впервые появилась на-дежда, зато другие тревожились и злобствовались.

Обеспокоенный Си-Мокран поехал к своему сыну за разъяс-нениями. Доводы Камеля казались ему недостаточно убеди-тельными.

— Мой сын, — сказал он, — после провозглашения независи-мости мне стало ясно, что ты собираешься жить в городе, и я продал большую часть своих земель. У меня осталось всего двадцать гектаров садов. Неужели у меня их отнимут? А ведь я их обрабатываю сам, хотя мне и помогают батраки. Но ведь, клянусь Аллахом, они никогда в жизни не жаловались на меня!

Мулуд успокоил его:

— Тебе нечего опасаться, отец! Реформа будет направлена против крупных земельных собственников, которые владеют землей, а живут от нее вдали. Это люди свободных профессий или те, кто, занимая высокий пост, пользуется сверх того и до-ходами от земель, приобретенных порой почти даром до или после провозглашения независимости. А ты живешь на своей земле, обрабатываешь ее, как все крестьяне. Живи себе спокой-но. Пусть проверяют. Бояться тебе нечего!

И добавил:

— Зато Хосину сейчас, вероятно, не спится! Он скупил у те-бя земли и стал одним из самых крупных собственников во всей округе! Уж его-то затронет реформа. Сам того не желая, ты сыграл с ним хорошую шутку!..

Си-Мокран покраснел. Он не любил делать зло людям. Но

разве мог он тогда предвидеть такой поворот событий? Выходит, он перехитрил Хосина. Старый хаджи, который при жизни так ловчил, стремясь расширить свои владения, должно быть, перевернется, бедняга, в своей могиле.

Тут, по своему обыкновению, вмешалась Файза.

— Как же так, Мулуд! — сказала она со смехом. — Ты нарушил свой долг. Президент что говорит? Прежде чем вступать в такого рода дискуссии, надо сначала спросить: «Ты за или против аграрной революции?» А ты этого не сделал.

Мулуд сложил руки на груди, делая вид, что просит прощения, а Ямина весело подхватила:

— Позор хапугам и спекулянтам, которые хотят служить и вашим и нашим, чтобы урвать себе побольше!

Си-Мокран уставился на сноху, точно впервые увидел ее, и прошептал в бороду:

— О, женщины, женщины!..

Не обращая внимания на лукавый взгляд мужа, Ямина заявила, что ничего не смыслит в земельных вопросах, так как в ее семье не было ни одного землевладельца, и вынуждена признаться, что никогда не страдала ни от голода, ни от холода. Более того, обожает комфорт во всех его видах! Но, добавила тут же она, оплаченный честно заработанными деньгами! Ее возмущают стоны и причитания людей привилегированных, недовольных тем или иным решением правительства. Они глухи и слепы к несчастьям других, и однако не стыдятся критиковать все подряд и распространять гнусные слухи! Ямина так и кипела от негодования. Файза хохотала во все горло.

— Можешь смеяться сколько угодно! — не унималась Ямина. — На некоторых просто противно смотреть. Критиковать, конечно, можно, но по делу! Встречаются какие-то неувязки, реформа, может быть, плохо подготовлена или вообще преждевременна. Но ведь верно говорят, что, не разбив яиц, яичницу не сделаешь. Все эти нытики ведут себя попросту непристойно...

Мулуд знал, кого она имеет в виду, — в первую очередь отца Норы. У него были огромные земельные владения, но большую часть времени он проводил за границей, занимаясь «импортно-экспортными делами», как высокопарно именовал он свою деятельность.

Теперь же он постоянно плакался на свою жизнь. Послушать его, так он до того обнищал, что ему и сигарет-то не на что купить.

Как только Ямина замолчала, Си-Мокран спросил Файзу, собирается ли она приехать к ним на лето вместе с маленьким

Файсалом. Ему обязательно надо пожить в деревне, с нежностью сказал Си-Мокран.

— Я собираюсь вернуться окончательно. Моя просьба удовлетворена. Практику я закончу в нашей больнице...

Маленький Файсал и его двоюродная сестра Мунира играли в манеже, поставленном посреди гостиной. Они были почти ровесники. Мальчик напоминал своего отца; такие же глаза, такие же темно-русые волосы, та же ласковая усмешка.

Си-Ахмед часто навещал своего племянника и каждый раз радовался, обнаружив в его детском личике сходство с погибшим братом. В этот день он был очень печален, его огорчала предстоящая разлука с Файзой и мальчиком.

— Мне будет ужасно недоставать моего маленького племянника...

— Ничего, ты наведишь нас вместе с Салимой и детишками, а мы будем приезжать в Алжир на праздники!

— А я! — чуть не рыдая, сказала Ямина.

Она наклонилась к ребятишкам и, глядя на них сквозь слезы, сказала:

— Я так привыкла к этому херувиму, и Мунира будет скучать без него.

Файза заметила, что у нее скоро будет другой ребенок. Ямина была беременна. Мулуд с женой нервно ходили по комнате, Си-Ахмед, напротив, успокоился и стал прощаться. Мулуд то и дело поглядывал на мать, а та и не пыталась скрыть свое ликование. Несколько дней назад Хадиджа приехала в Алжир, чтобы помочь Файзе в сборах. Она, как родная мать, любила ее всем сердцем и рада была малейшему предлогу, лишь бы побыть с ней вместе. Файза догадывалась, отчего так светятся глаза Хадиджи: она радовалась тому, что Файза возвращается в деревню. Мулуд вдруг подошел к манежу, взял дочь и посадил ее на колени Хадиджи.

— Мы решили доверить ее тебе, — сказал он.

— Мне?

Ямина опустила перед свекровью на колени и тихонько сказала:

— Файза уезжает, без нее нам будет так скучно! Оставайтесь у нас. Вы с Мунирой можете спать в одной комнате. Я жду второго ребенка, и мне хочется, чтобы мои дети росли с бабушкой!..

Хадиджа прижала девочку к груди. Сердце ее растаяло. Это было бы просто замечательно — растить детей Мулуда, прижиматься огрубелой щекой к их нежным личикам. Вернуть себе годы, когда Мулуд был маленьким. «Я постарела, — думала

Хадиджа. — Дети Акилы выросли, Си-Мокран весь погружен в свои молитвы. Мы уже давно спим врозь. Прошное давно забыто, осталось только позаботиться о детях и о собственном покое. Пусть с ним остается Акила. Конечно, ей будет грустно расставаться со мной. Но что делать?» Хадиджа задумалась. Она всегда знала, что когда-нибудь покинет этот дом! Ласточка улетает от зимы, а она — от своей старости. Она любила молодежь. Но какое место отведут ей Мулуд и Ямина?.. Трудно решиться... А они ждали решительного ответа. Мулуд не отрывал глаз от матери. Ямина ласково улыбалась свекрови. Файза смотрела в окно на простиравшийся внизу город. То, что происходило в комнате, ее как будто совершенно не интересовало. Файсал с Мунирой весело лопотали.

Наконец Хадиджа очнулась от глубокого раздумья. В ней снова вспыхнуло пламя молодости. Всем сердцем устремилась она к Файзе, словно желая поделиться с ней каким-то радостным откровением. Затем глаза ее снова остановились на Мулуде. Ее горделивый вид, лукавый, непокорный взгляд предвещали нечто совершенно неожиданное.

— Дети мои, я тронута вашим предложением! Вы хотите, чтобы я жила с вами. Слава Аллаху! Лучшего утешения в старости и пожелать нельзя. Я счастлива, что вы меня любите, особенно ты, дорогая невестка! Но у меня нет выбора, вернее, в глубине души я давно его сделала: буду жить с Файзой!

Услышав свое имя, Файза вздрогнула и, вся обратившись в слух, отвернулась от окна.

— Она нуждается во мне, а я — в ней! К тому же, — с хитрым видом продолжала Хадиджа, — Файза обещала послать меня в Мекку, посмотрим, как она держит свои обещания!

Обвив ее шею дрожащими руками, Файза прошептала: «Мама, ты неисправима!» Ямина весело рассмеялась, пытаясь скрыть свое разочарование, а Мулуд сделал вид, что надулся:

— Ладно! Никто меня не любит! Оставайся со своей Файзой!

Все три женщины принялись его утешать, добиваясь, чтобы он улыбнулся. Они обнимали, целовали его, точно маленького мальчика... Так судьба даровала каждому из них свою долю.

С тех пор, как погиб Файсал, в Файзе погас внутренний огонь, который придавал ей красоту. Но надо было жить. Жить спокойно и деятельно. Гордость не позволяла ей поддаваться слабости. Личная трагедия не должна заслонять чужих страданий, считала она. Жизнь ее целиком была заполнена работой в больнице, поездками в соседние мешты¹ и воспита-

¹ Мешта — маленькая деревня (араб.)

нием сына. Мальчик не причинял особого беспокойства. Крепкий и сильный, он всегда был весел, как все здоровые дети, и неистощим на проказы. Ходить он начал до года. Ма Хадиджа, которую он называл «мама Дида», смеялась над проделками мальчика и с удивительным терпением и находчивостью обучала его говорить и играла с ним в разные игры. Он бегал за ней по той самой белокаменной вилле, где некогда жила «румиа» Мариель. Странные порой случаются вещи. Колесо судьбы вращалось медленно и неотвратно. Вчерашние дети вырастают, и теперь уже другие хризалиды открывают глаза навстречу жизни. Знойная пустыня снова и снова вызывает неупокоимую жажду.

Жители деревни уважали и любили Файзу. Они поняли, что маленький Файсал — сын «чужака», похороненного на их кладбище. Даже неумолимое «общественное мнение» было расстроено странной судьбой одной из дочерей деревни и проявляло великодушное понимание. Си-Мокран, Акила, Малика, Карим, Камель, Жамель и все другие родные всячески пытались выразить свою любовь к Файзе, Хадидже и сыну Файсала... Только их троих не касались толки и пересуды, которые продолжали идти своим нескончаемым чередом.

Вскоре после возвращения Файзы старый филин зашел однажды в больницу, чем поверг в замешательство местных жителей. Никогда в жизни талеб не обращался за помощью в это белое здание! Санитары сначала прогнали его, приняв за попрошайку. Но Файза из окна увидела старика, который жестами пытался что-то объяснить окружающим его людям. Она побежала к нему. Талеб послушно позволил осмотреть себя. Файза обнаружила у него крайнее истощение. По всей видимости, он уже много дней ничего не ел. Она поместила его в отдельную палату. Но старик не желал принимать никаких лекарств. В безумном бреде он выкрикивал какие-то несвязные слова. Файза держала его горячую, морщинистую руку. Вдруг в его глубоко запавших глазах вспыхнул таинственный свет, он выпрямился и отчетливо произнес: «Хадиджа!.. Хадиджа!.. Но ты, ты — Файза... Не плачь больше! Тебя ждет великое счастье!.. Великое... Только не уезжай из деревни... Поклянись!..»

Его окрепший голос умолял Файзу. Приказывал ей. Поддавшись его магнетической силе, она поклялась. Старик улыбнулся и тихо закрыл глаза.

Почему он звал Хадиджу? И откуда знал, как ее зовут? Ведь Файза никогда раньше с ним не разговаривала. Она пыта-

лась разгадать эту тайну, понять, что привело к ней этого старого дервиша, колдуна. Но к чему это? Не литературе разбираться в подобных вещах!..

В деревне уже привыкли видеть, как по пятницам, в один и тот же час, дождь ли, ветер ли, эта высокая молодая женщина с зажатой под мышкой книгой медленно идет по направлению к кладбищу. Идет со счастливым видом, как будто на любовное свидание. Она всегда садится возле могилы «чужака». Открывает книгу, всегда одну и ту же. Читает или погружается в мечты. Файзу называют в деревне «тбиба», а иногда «невеста погибшего чужака».

Прислонившись спиной к холодному камню надгробия, она читает конец стихотворения, который Файсал так хотел услышать в тот вечер, когда они возвращались с пляжа, и который ей помешал прочитать какой-то суеверный страх. Теперь слова эти уже не страшат ее, ибо всегда и всюду следуют за ней. Может, это и есть счастье? То самое, великое, предсказанное талемом?..

Без тебя...

А у птиц лишь одна дорога,
Свинцовая неподвижность
Среди обнаженных ветвей,
Ибо там, за концом этой ночи,
Обнаружится ночь конца,
Жестокая ночь ночей.

Землю холод проймет до дна,
До корней, до костей проймет.
Будет ночь, только ночь одна
Без бессонницы и без сна,
Без намека на свет дневной, —
Воплощение смертной вражды,
Горя, ненависти и беды.

Вот что будет к концу этой ночи,
Раз ни проблеска нет надежды,
Значит, и страха нет.



Роже Дорсанвиль

Роже Дорсанвиль (род. в 1911 г.) — поэт, новеллист, романист. Вынужден был эмигрировать со своей родины — Гаити. Долгие годы живет в Африке, последнее время в Сенегале, является директором крупнейшей изда-

тельской фирмы «Ле Нувель Эдисон Африкэн». Автор сборника рассказов «Люди Дакара», выпущенного в свет издательством «Ле Нувель Эдисон Африкэн» в 1978 году. Публикуемые рассказы взяты из этого сборника.

ПЯТЬ МОЛИТВ МОСЬЕ Ф.

Мосье Ф. открыл глаза в комнате, еще заполненной благоговениями: курильница погасла и остыла лишь на рассвете, перед восходом солнца. Так каждый вечер благоуханные клубы дыма уносили его во сне в царство грез, о которых утром он ничего не помнил, кроме того, что был счастлив, а почему — он и сам не знал.

Во всяком случае, он забыл кошмары, когда ему снилось, что он бежал, задыхаясь, с подведенным от ужаса животом, от разных «дядюшек» с их страшными гримасами, и от других преследователей, — типичные кошмары голодного ребенка. И ему уже не снилось, что он стоит на месте, не в силах сделать и шага, и отчаяние давит его многотонным грузом, а он стоит, порой совершенно голый и всегда беззащитный перед возмущенной, злобной толпой, — кошмары, вызванные бобами, сырым тестом, прогорклым маслом, — тяжелой пищей с холодацкого стола мелкого служащего. Мосье Ф., слава Аллаху, больше не побежит ни от кого и ни перед кем не будет стоять голый и парализованный. Ни в сновидениях, ни наяву. Отныне он будет есть досыта до конца своих дней, даже если придется прожить еще целый век, и будет всегда носить тончайшие бубу¹ из легкого кашемира, и он уже научился ужинать прозрачными супами и бульонами, пирожными и фруктовыми муссами, которые так хорошо сочетаются с позолоченными курильницами для благовоний.

¹ Бубу — легкая одежда, доходящая до колен.

Итак, мосье Ф. проснулся, как каждое утро, с первым дыханием ветерка, с первым шелестом пышных штор, с первой розой своего вьющегося розария, самой розовой розой, показавшей в окно свой глазок, с первой песней пепельных сорок, что гнездились в его парке. Мосье Ф. охотно рассказывал, что он просыпается без будильника или каких-либо других приспособлений; он хвастался этим, как особым талантом, и все его выслушивали в благоговейном молчании. Еще бы! Когда ты стал мосье Ф. ...Впрочем, все прекрасно знали, что задолго до пробуждения мосье Ф. в спальне бесшумно появлялся его лакей, привязанный к нему, как гриот к царьку в былые времена, с той лишь разницей, что этот гриот никогда не пел¹. Немой лакей каждое утро бесшумно распахивал створки окон и раздвигал шторы, чтобы его «патрона» разбудили первый ветерок, первая птица и первая роза. Только тогда мосье Ф. вскакивал на ноги «по-военному», как он говорил, потому что любил употреблять емкие выражения, хотя в данном случае это выражение ничего не содержало, ибо не имело ничего общего с действительностью. Мосье Ф. никогда не служил в армии, но все же должен был знать, что даже полицейский в казарме просыпается от звуков трубы. Вскочив на ноги, мосье Ф. быстро входил в дневной ритм: он поспешно здоровался с богом, затем с «Солнцем» — своей утренней газетой, проглатывал скромную чашечку кофе со сливками и хлебец «шоколека» с маслом и погружался в людскую суету.

Беседы с богом давались ему без особого труда, но и не приносили особой пользы, ибо мосье Ф. не ждал от них озарений разума и не искал в них разумных причин для своих повседневных действий. Он просто знал, что если в час молитвы «суба»² не усядется по-турецки на баранью шкуру, перебирая четки, и не совершит затем нужное число поклонов, возглашая: «Аллах велик!» — то весь день потом будет ощущать уколы совести и чувствовать себя неудовлетворенным. Вот почему, дабы избежать этого неудобства, он смиренно проводил каждое утро освежающие четверть часа в детских беседах с богом.

Перед этим он принимал душ с мылом, ибо был из тех пожилых людей, еще не стариков, которые достигли такого благосостояния, что все его называли «дядюшка», а титул «дядюшки» к чему-то обязывает! Итак, он был из тех «дядюшек», которые не обращаются к богу нечистым ртом, не совершив

¹ Гриот — певец-сказитель, обычно бродячий, но иногда живущий у какого-нибудь вождя или царька, чтобы воспевать его «подвиги».

² «Суба» (утро), «тисбар» (день), «такуссан» (вечер), «тимисс» (сумерки) — слова языка волоф, обозначающие мусульманские молитвы.

омовения и не пропитав свой молитвенный бубу ароматами из курильницы. Впрочем, у мосье Ф. эту процедуру вполне заменяли сожженные за ночь благовония.

В то самое утро мосье Ф. находился в ванной, когда замигала сигнальная лампочка телефона. У него был, — а как же иначе? — телефонный аппарат на туалетном столике в ванной, и еще один — в спальней, возле кровати, и третий — на буфете в столовой, и четвертый, такой же безмолвный, на журнальном столике в гостиной. Лишь пятый, шумный страж, подавал сигнал тревоги в дежурном помещении, где все слуги давно выучились снимать трубку, говорить «алло» и направлять самому мосье Ф. мигающие световые сигналы вместо пронзительных звонков. Итак, мосье Ф. благопристойно завернулся в махровое полотенце и поднял трубку.

— Алло! — сказал он.

И услышал раскаты голоса злого духа, предвестника бед, который заговорил на правильном французском языке, но с ужасающим произношением:

— С вуми гувурит агента...

— Слушаю вас, мосье Аньелли.

Мосье Аньелли был явно польщен, что его сразу узнали. Увы, он ошибался! Узнали не его, а его бесподобный выговор, который мы не будем дальше воспроизводить.

— А, вы меня узнали? — Последовал смущенный смешок. — Вы меня слушаете, мосье Ф.?

— Я только это и делаю, мосье Аньелли.

— Я звоню, чтобы вам сказать... гм...

— Что вы хотите мне сказать, мосье Аньелли?

Голос мосье Ф. был по-прежнему вежливым, но в нем уже чувствовались грозные нотки, и Аньелли их уловил.

Дело в том, что был так называемый «Контракт Аньелли», точнее — контракт между мосье Ф., выступавшим от лица узкой избранной группы, и далекими итальянцами, которых представлял мосье Аньелли. По этому контракту последние обязались доставить большую партию томатной пасты к точно определенной дате, еще точнее — ровно через пять дней, с возможным опозданием только в двадцать четыре часа, и ни на час больше, под страхом расторжения контракта и взыскания всевозможных убытков. Так вот, мосье Аньелли звонил, чтобы сообщить о забастовке грузчиков в итальянских портах.

Мосье Ф. отреагировал на это с неожиданной для богобоязненного человека яростью и непредвиденной для воспитанного бизнесмена грубостью. Он заорал:

— Вы что там, рехнулись?

Мосье Аньелли ждал каких угодно слов от этих «африканцев», но только не таких откровенных и грубых. Он слабо хихикнул, надеясь подчеркнуть этим смешком невоспитанность собеседника, и проговорил извиняющимся тоном:

— Но послушайте, мосье Ф., вы же понимаете... забастовка!..

— Плевать мне на вашу забастовку! — заорал мосье Ф.

Потому что речь шла о таком куше! Сто двадцать миллионов, самая крупная томатная операция из всех, задуманных в Африке! И рассчитанная с точностью до трех-четырех дней, когда запасы томатной пасты иссякнут и хозяйки забегают, как растревоженные муравьи. Тут не должно быть никаких промахов.

— Я вам говорил, Аньелли, в этом деле недопустимы никакие ошибки. Никакие задержки.

В кои-то веки группа африканских дельцов опередила — захватила врасплох, «без штанов», как со смехом сказал один из них, — всех этих воротил из «МП», «СКП», «РР» и других нахальных спекулянтов продуктами; в кои-то веки они выхватили у них из-под носа важную информацию, обсчитали их, обыграли, объегорили и теперь могли, наконец, повыдергать у них из хвостов перышки!.. Сорок миллионов прибыли. На одном только дельце. Они все так радовались, хотя и боялись, не доверяли до последнего момента этому белому партнеру, наверняка расисту, как и все они там, в Италии, и наверняка связанному, как все они там, со старыми монополиями. И вот тебе на, такая подножка! Забастовка, видите ли! Мосье Ф. не ожидал чего-нибудь подобного.

Забастовка! Он не верил в нее ни на сантиметр.

— Аньелли, — сказал мосье Ф., — я говорю: «нет». Мы с этим не согласимся. Аньелли, вы рискуете своей карьерой, а ваша компания потеряет здесь свой патент...

— Но, мосье, поверьте, все это так... О, боже! Подождите, мне звонят из Милана. Не вешайте трубку, подождите...

Мосье Ф. ждал, долго ждал. Но как долго? Минуту? Пять? Десять? Это была вечность. Мыло высыхало на его теле и щипало кожу: с ума можно сойти! Полотенце развязалось, он подхватил его одной рукой, но все равно остался почти голым перед лицом создателя — какой срам! Проклятый день, хорошо же он начинался...

Наконец послышался голос Аньелли. Не то чтобы очень-очень радостный, но все же более бодрый.

— Так вот, мосье Ф. Поскольку в северных портах ничего погрузить невозможно, моя компания в этот момент загружает

вагоны железной дороги на Катану, в Сицилии. Рельсы — паром — рельсы... Вы меня слушаете?

Мосье Ф. слушал, но ни звуком не выдавал своего облегчения.

— Сейчас наш корабль уже отплыл в Катану, но для большей уверенности мы ведем переговоры, чтобы зафрахтовать еще одно судно в Катане, вы меня слышите? И мы ведем также переговоры о закупке большой партии... вы слышите?... очень большой партии здесь же на месте, в Катане... вы меня понимаете? Просто чудо, в самой Катане оказалась огромная партия пасты, да, да, томат...

Мосье Ф. тотчас же разразился душераздирающим кашлем, который оборвал Аньелли и заставил его умолкнуть. Затем, почти в отчаянии, мосье Ф. сказал:

— Я вас понял, мосье Аньелли, в самой Катане крупная партия удобрений...

Мосье Аньелли на другом конце провода не стал себя спрашивать, не сошел ли мосье Ф. с ума. Он не совсем понял слово «удобрения» и отнес его на счет плохого произношения, а может быть, судорожного кашля мосье Ф., а потому продолжал:

— Таким образом, если все пройдет гладко, мы опоздаем самое большее на сорок восемь часов...

— Никаких сорока восьми, мосье Аньелли. Самое большее — двадцать четыре. Перечитайте ваш контракт, вы сами его подписали. Двадцать четыре. И ни часу больше.

— Но послушайте, мосье Ф., будьте благоразумны. У вас в запасе будет десять — двенадцать дней. Вы меня понимаете? Двенадцать, а может быть, все пятнадцать дней до прибытия новой партии. Я хорошо информирован, мосье Ф., мне за это платят. Один или два дня для вашей операции не имеют значения. Вам обеспечено почти пятнадцать дней полной монополии. За эти пятнадцать дней не будет ни одной банки с томат...

— Что? Что? О чем вы говорите?

— Я говорю, мосье, ни одной банки...

— Мосье А-нье-лли! Что вы знаете о десяти или пятнадцати днях? Вы кто, владелец плантации? Агроном? Или, может быть, вам ведомы пути и помыслы всевышнего творца? Или фазы луны?

На другом конце провода мосье Аньелли сказал себе: «Ну все, бедняга тронулся. Забастовка его угробила. Сто двадцать миллионеров, — этого он не переживет!»

Однако мосье Ф. продолжал с железной логикой:

— Откуда вы знаете, какая выпадет роса, мосье Аньелли? Вы ее измерили? А мы все это сделали, и мы говорим вам:

двадцать четыре и ни часу больше! Двадцать четыре часа, ибо позже этой точной даты вносить наши удобрения будет поздно, мосье Аньелли... Вы меня понимаете? Точная дата, понимаете? Удобрения по телефону, мосье Аньелли, понимаете? По телефону: удобрения. Мы заказали вам партию удобрений к определенной дате, основанной на наших точных расчетах, а потому...

На другом конце провода мосье Аньелли больше не слушал. Он задыхался от смеха. «Вот это штука!» Он хлопал себя по пяткам, бил кулаком по животу. «Вот это штука! Ну, старый хитрец!» Он попытался перевести дух, чтобы сказать: «Да, понял: удобрения», но вместо этого смог лишь выговорить: «Удоб... удоб...» — и снова скорчился от смеха. Настала очередь мосье Ф. спросить себя, не сошел ли с ума его белый партнер.

— Мосье Аньелли! — вскричал он.

Но Аньелли, обессилев от смеха, бросил трубку.

И тогда мосье Ф. низверг в безмолвный и отныне бесполезный аппарат поток такой отвратительной ругани, такой бешеной брани, какой в фешенебельных кварталах Дакара еще не слыхивала ни одна ванная, облицованная синей плиткой.

Мосье Ф. спустился по полукругу ступеней с террасы со всей быстротой, какую допускал подобранный нервной рукою бубу. Он даже не удостоил взглядом искрящуюся струю воды, вылетающую из поднятого вверх шланга в руках внимательно-го поливальщика, даже не взглянул на радужные фонтанчики на газонах и не уделил и секунды внимания даже голубому квадрату бассейна, который использовался лишь изредка приезжавшими в гости племянниками, но зато постоянно служил знаком высшего общественного отличия.

Шофер и слуга, привыкшие сразу понимать значение подобной невнимательности, бросились бегом: слуга, подобострастно согнувшись, — к передней дверце, а шофер, с обеспокоенной гримасой, — к задней дверце, перед которой всякий раз по утрам разыгрывалась одна и та же церемония: шофер вытягивался перед распахнутой дверцей, прижимая фуражку к груди, а мосье Ф. величественно занимал свое место. Это была даже не церемония, а своего рода игра, которой мосье Ф. предавался только в уединении своего парка, ибо считал, что подобного рода скромность компенсирует роскошь его сверкающего «мерседеса» и его царственных бубу. Но на сей раз только слуга поспел на свое место вовремя, а шофер совершенно зазря вытягивался перед задней дверцей. Не говоря ни слова, мосье Ф. обогнул машину и сел за руль, заставив слугу в панике вы-

скочить и пересесть на заднее сиденье, в то время как захваченный врасплох шофер неловко обежал машину и бросился на переднее сиденье рядом с хозяином, причем его фуражка полетела на землю и, увы, прямо под колеса «мерседеса», тут же соравшегося с места.

Мосье Ф. хорошо водил машину и, бывая в раздраженном состоянии, любил садиться за руль. Нет ничего лучше напряженного давления извне, если все кипит внутри. Это добровольное подчинение строгим правилам игры вошло у него в привычку еще в те времена, когда ему приходилось мчаться по гораздо более опасным, крутым и извилистым дорогам жизни. Он рано научился уступать, когда нужно, возвращаться обходными путями, проникать во все свободные «щели», где бы они ни находились, и стремиться к цели напрямик. Все это ему удавалось. И теперь, когда он садился за руль, это было проявлением тайного мазохизма и стремления к освобождению от повседневных пут. Это было единственной возможностью ощутить тяжесть закона, зависимости от окружающих, и порой он в этом, может быть бессознательно, нуждался, чтобы утвердиться в своей исключительности, особенно сейчас, когда он превратился в некий символ, в языческого идола, утыканного со всех сторон стрелами восклицательных знаков.

Однако сегодня он сам сел за руль по другим соображениям. Слишком долго было бы объяснять шоферу все зигзаги его маршрута. Ибо он ехал не к себе в министерство, а к своим компаньонам, в их фирмы, кабинеты, или к их любовницам, где бы они ни находились, потому что надо было принимать безотлагательные решения.

И еще ему надо было захватить врасплох этого предателя Аньелли, вытащить его из любой норы, если он вздумает прятаться. Ему надо было отделаться от всех возможных посетителей, отменить все свидания и обосновать свою штаб-квартиру в министерстве торговли, откуда серии телефонных звонков протянут незримую паутину по всему городу и даже через море.

Он так и сделал. К полудню, когда настал час молитвы «тисбар», проглотив кое-как чашку кофе с орехами кола и сырым маниоком, заботливо облупленным для него слугою, в этот святой час он сидел за столом и нервно барабанил по нему пальцами, ожидая звонка из Милана. И само собой разумеется, душой и телом был бесконечно далек от бухарского коврика, спрятанного в одном из отделений сейфа на тот случай, если молитвенный час застанет его в рабочем кабинете.

Молитвы «такуссан» и «тимисс» пришлось пропустить из-за

тех же неотложных забот и хлопот. Но все же к трем часам мосье Ф. смог вернуться к себе, дабы освежиться, переодеться, а также чтобы подкрепиться, — не из горшка с кускусом, как в спокойные дни, а за столом, бараньей котлетой.

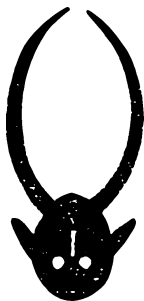
Сердце мосье Ф. разрывалось: душа жаждала общения с богом, но телефон звонил, звонил, а потом час молитвы проходил или час молитвы еще не наступал, да и как в покое и мире с собой перебирать бесконечные четки в этот день из всех дней? Бог милостив, и он поймет. Мосье Ф. с самого утра то и дело издавал отчаянные призывы, вроде: «Защити меня, господи!», «Будь со мной в сей час сражения!», перемежая их с восхвалениями: «Ты велик, о господи!», «Нет бога, кроме Аллаха!». Но эти обычные острые приправы сегодня лишены были ритуального соуса, и он надеялся только, что бог простит его, а завтра, да, завтра, он искупит свою вину самыми долгими молитвами. А пока, чтобы умиловить Аллаха, мосье Ф. раздавал через своего шофера милостыню всем нищим и талебам-сборщикам на всех перекрестках, где они оставались перед красным сигналом. Он говорил: «Подавай!» — и шофер вынимал из кармана медные и никелевые монетки и подавал, мысленно ведя счет своим богоугодным тратам. Хозяин частенько забывал его «компенсировать». Но когда компенсировал, то сразу крупной синей бумажкой, и это с лихвой покрывало другие дни без компенсаций. Аллах велик!

Час молитвы «гуева» совпал с самым напряженным часом переговоров в этот день из всех дней. В восемь вечера мосье Ф. сидел в Лагоне, в компании трех своих местных партнеров, а также — Аньелли, Попоньи и Веделли, причем последний был их специальным «томатным» курьером, всего час назад сошел на берег, и теперь все они радовались самым последним превосходным новостям — именно в этот час зафрахтованное судно готовилось сняться с якоря в Катане. Хозяином этой импровизированной тайной вечера был Аньелли, и он решил пригласить всех этих господ в ресторан в Лагоне, на побережье, можно сказать, прямо напротив Италии и воображаемой Катаны, а главное — их корабли, трюмы которого ломились от банок с томатной пастой, — лучшего места невозможно было придумать! И все эти господа навалились на дары моря, заглатывая их с помощью душистого винца «трамипер», а затем на сочные филейные бифштексы «турнедо», сопровождаемые густым «нюн-сен-жорж» урожая 1953 года. О, стыд и позор! О, запретные радости души и желудка!

Возвратившись домой в полночь, мосье Ф. пробрался к себе на цыпочках, надеясь избежать встречи со слишком бдитель-

ной первой женой, ибо по дороге заглянул к своей любимице, самой младшей из жен, рухнул как был на кровать и поплыл на облаках благовоний, поскольку решил, что негоже беседовать с богом, когда от тебя разит, как от последнего неверного. Он уже спал, когда лакей разул его. Однако эта заботливость не избавила мосье Ф. от томатных кошмаров. Заветный поезд сошел с рельсов и рассыпал по всей итальянской равнине банки с пастой, покрыл все кроваво-красным ковром, и люди сбегались в ужасе и кричали: «Сколько крови! Сколько крови!» Но над всей этой кровью для макарон-спагетти издевательски ревел громкоговоритель:

— Замолчите, болваны! Это удобрения, удобрения, удобрения!



ДИЕЙНАБА И ЛЮБОВЬ

I

Все это уложилось в два диалога и в два письма. Да, это правда, но говорить так было бы неправильно. Жизнь нельзя разыграть в два диалога, однако два диалога могут вместить в себя все элементы жизни, участь двух живых существ и вознести их к лучезарному горизонту или погрузить в серый туман — как уж будет уготовано судьбой. Так случилось с двумя письмами и с двумя диалогами — между Диейнабой и мною.

Диейнаба — младшая сестра моей жены. Я старше ее на пятнадцать лет, а моя жена Асту, когда я на ней женился, была старше Диейнабы на восемь лет. Моя жена умерла, и хотя теперь в это трудно поверить, но именно она создала всю эту сложную ситуацию, когда, познакомившись со мной, ввела в наш круг и Диейнабу.

Асту не пошла дальше средней школы, но и это было уже немало для старшей дочери из семьи неграмотных: обретенная страной независимость и наш новый стиль жизни, поощряющий честолюбие дочерей народа, вынесли ее на поверхность. Границы возможного, пожалуй, еще не были четко очерчены для этих девушек, но каждая из горожанок мечтала уйти от старого идеала матерей-кухарок, безликих, безымянных и покорных традициям. Их влекла работа в государственных учреждениях, манила карьера преподавательниц. На этом пути средняя школа и колледж были необходимыми этапами, через которые многие девушки стремились пройти. Мое появление на ниве просвещения, с моими университетскими дипломами и моей репутацией, стало для них еще одним притягательным магнитом. Разумеется, я и не мечтал увлечь за собой всех на свете, однако наиболее юные ученицы сразу подпали под мое влияние. Я открывал путь их честолюбию, представляя собой как бы образцовую модель. Наша скромная «трехкомнатная ячейка» в учебном центре охотно принимала многочисленную родню, а на своем стареньком «ситроене» я возил из школы в школу целые стайки щебечущих девиц.

Как перед всеми избранныками, окончившими школу и вступившими в брак, перед нами с Асту тоже встала проблема семейного гнезда, какого-то своего дома, но мы намеренно ограничили свой выбор и остановились на этой квартирке в учебном центре в пригороде Медины, — не столько из-за удобств, сколько из желания зажить новой жизнью в новых условиях. Нам с Асту не пришлось ни о чем спорить, все было очень просто. Учебный центр есть учебный центр, и таким он останется. Что касается прочего, то наша дверь была всегда широко открыта. Мы уступчиво — в меру наших скромных средств — выполняли докучливые требования традиций, принимая до известной степени символическое участие в похоронах и ритуальных праздниках, и каждый день садились есть вокруг большого горшка на шесть-семь порций, ибо знали, что к нашему рису всегда протянется не меньше рук.

Диейнаба быстро выделилась из стайки других ребятшек. Подвижная, быстрая, с резвыми ногами и широко открытыми сияющими глазами, она в десять лет стремилась навстречу своему будущему, не ведая сомнений, унижительных комплексов или каких-то традиционных пут. Она ворчала на своих родичей за то, что они с первых дней застряли у нас и не думали уезжать, она клялась, что ни за что не вернется к грязным ведрам и сырости жалкой кухоньки и к ежедневным «рукопашным» — это ее собственное выражение — на 26-й улице. Переезд

в наш центр был для нее шагом вперед, шагом к порядку и чистоте, в ее понимании, и она не желала отступать. В десять лет у Диейнабы уже проявилось нечто заставлявшее Асту со смехом говорить, что она «пойдет далеко».

Да, она пошла далеко, если учесть, что от Медины до Нью-Йорка в самом деле не близко! И все время была вместе с нами, в нашем кругу. Учебный центр, Нью-Йорк, Дакар и наконец Вашингтон, куда меня назначили секретарем посольства, — она всюду следовала за нами. Но одного влияния нашего круга было бы недостаточно, если бы не особые качества Диейнабы. Окончить среднюю школу, а затем получить диплом бакалавра у нас не так-то просто: для этого требуется упорство и жестокий труд. Диейнаба ничего не испугалась и решила заранее, что после колледжа будет учиться дальше, чтобы стать психологом-ориентатором¹.

Почему она избрала столь необычную профессию? На подобный вопрос она отвечала уклончивой улыбкой. Однако мы без всяких вопросов согласились с ее выбором. Диейнаба попыталась объяснить:

— Все наши дети стремятся протиснуться в узкую дверь: через книжные знания, знакомства, дипломы... Надо уметь их рассортировать и рассортировать быстро, определить истинные призвания и направить по истинному пути... Можно быть счастливым на всех уровнях общества, не так ли?.. Ну что значит диплом, если жизнь не гармонична, если приходится заниматься не своим делом, без настоящего призвания?.. У нас адвокаты уже не занимаются правом, и, что еще хуже, врачи не занимаются медициной. Это же безобразие, дорогостоящий брак, бесцельная растрата знаний. А ведь Африке так не хватает талантов, примененных в нужном месте, в единственном месте, где они могли бы приносить наибольшую пользу. Нам нужны... (иногда, забегаая вперед, она говорила: «нас должно быть...») тысячи психологов-ориентаторов. А сколько их сейчас в Африке? Сколько «нас» в Сенегале?

Асту смеялась над этим «нас». Диейнаба не смущалась. Я ее слушал. Мы ее слушали. Я выдвигал возражения, она противопоставляла свои доводы, и ее убежденность только крепла.

— Это очень опасно, — говорил я. — Представляешь, какие могут быть ошибки, какие несправедливости! Доверить отбор элиты технократам?..

¹ То есть психологом, который, на основании изучения пациента и ряда тестов, ориентирует его в выборе профессии, карьеры и так далее.

— Я — технократ? — Диейнаба подпрыгивала от возмущения. — Нет, дядюшка Ибра, тут нужно слушаться сердца.

Какое-то время мы обдумывали ее ответ. «Слушаться сердца». Потом, словно чтобы увериться самой, она спрашивала:

— Ведь правда, главное — сердце?

Я трусливо отвечал:

— Да, Диейна.

Но пока не осмеливался открыть ее невинным глазам правду о человеке, совсем не таком уж прекрасном и совершенном.

Диейнаба! Я видел, как рос этот цветок, как из десятилетней девчонки она превращалась в голенастого подростка, потом — в эту девушку, о которой я всерьез говорил, что она «самая прекрасная на свете», — с шелковой черной кожей, с ослепительными зубами в фиолетовых, из-за традиционной та-туировки, деснах, с прожекторами зрачков, сверкающих из озер голубоватого молока.

Родители подкинули нам гадкого утенка, а мы помогли господу богу создать из него шедевр.

— Она стала вашей дочерью и будет такой, какой вы захотите, — говорили нам ее отец и мать. — Иншаллах! Если бог позволит.

Их вера в бога была более чем понятна, но их вера в меня волновала и возвышала и накладывала суровые обязательства. Они беспокоились, глядя на эту девушку, не похожую ни на кого из их окружения, и успокаивались только при мысли, что в новом мире, который она избрала, с ней рядом «дядюшка», избравший тот же мир, что и она. Она навещала их на 26-й улице, врывалась, как вихрь, со звонким смехом. Ее нежность к старикам, без лукавой иронии, ее ироническое лукавство в отношениях с голопузой ребятней почему-то напоминали отца и матери меня, их зятя.

— Она вылитый ваш портрет, — говорили они.

— Ну нет! — возражал я со смехом. — Ведь я не умею стряпать.

Потому что по праздничным дням Диейнаба подбирала юбку до колен, надевала передник, головной платок и священнодействовала среди женщин в кухне, которая уже не была такой ветхой и жалкой, как прежде. Она разрезала баранину, жарила цыплят, размешивала деревянной ложкой соус «гомбо», ее любимое блюдо, и распевала во весь голос модные песенки или веселила всех забавными историями, жертвами которых обычно становились ненавидимые ею с детства соседи. Женщины хохотали, а я говорил старику отцу:

— Вот видите, она на меня не похожа. Я никогда не умел так смешить людей.

Накануне нашего отъезда в Вашингтон весь квартал вокруг 26-й улицы словно облачился в траур. Здесь даже самые скромные семьи еще до Независимости привыкли провожать своих сыновей и дочерей, уезжавших на учебу за море. Привыкли, но все же каждый раз это была хирургическая операция. Наши родичи теряли сразу троих, и такая операция для их чувств была слишком жестокой.

В тоске они проводили нас троих. И сегодня при одной лишь мысли о том, как через два года к ним вернулась Асту в свинцовом гробу, как равнодушные, грубые руки носильщиков подняли ее и понесли быстро-быстро на наше печальное, страшное кладбище, — при одной этой мысли я теряю дар речи от горького чувства неизгладимой вины. Но потом, несмотря на протесты всей семьи, несмотря на страх, воцарившийся на 26-й улице перед этим Вашингтоном, откуда прибыл зловещий груз, Диейнаба все равно уехала вместе со мной. Ей оставалось еще два года до диплома, и теперь я считал себя вдвойне обязанным опекать ее, — ради живых, кто оставался здесь, и ради мертвой Асту. Моя свояченица вернулась в свое нью-йоркское общежитие, а я — к своим обязанностям в Вашингтоне. Как говорится, надо было жить.

Вам известны теперь все элементы двух диалогов, составляющих эту историю, кроме одного: Диейнаба привязалась ко мне еще больше и совсем по-другому, чем к «дядюшке», хотя и продолжала называть меня «дядя Ибра» или «дядюшка». Многим это покажется естественным, и меня могут спросить: «В чем же здесь проблема?» А проблема заключалась в том, что сам я действительно считал себя ее «дядюшкой», по-прежнему был как бы отцом голенастой девчонки, которую частенько бранил, а недавно еще и порол при случае. И то, что она уже превратилась в ослепительную красавицу, ничего не меняло. Вместо ростков страсти в душе моей зрела гордость за нее, духовное удовлетворение, какого я не испытывал с тех пор, как превратился в профессионального политика. После того как она сама избрала свой путь, я вел ее, с тревогой думая о том дне, когда мне придется взять ее за плечи и повернуть лицом к жизни, чтобы в жизнь вступил не просто дипломированный специалист, не просто миссионер, полный рвения, веры (или иллюзий?), а человек. И для этого я держал про запас пару «очков», чтобы она разглядела сквозь них истинную реальность. Все это полностью исключало для меня всякие мысли о сексе и прочих милых вещах, из которых в основном складывается то, что называют обычно любовью.

Она, со своей стороны, держала себя с добродетельностью, до известной степени даже наводившей на меня страх. Это была настоящая весталка, которая не признавала ничего вульгарного, ничего легкомысленного, ничего тщеславного. Она испытывала отвращение от атмосферы пансионата, где она жила, и классных аудиторий, где юнцы и девицы превозносили сексуальную свободу как некое откровение. Она проходила практику в гарлемском госпитале, и там однажды утром разразилась настоящая буря, когда один из консультантов обнаружил, что какая-то девушка восемнадцати лет все еще девственница! Слух об этом разнесся по всем коридорам, и все медсестры и санитары бросились посмотреть на этот феномен. «Девственница! Представляете? Девственница!» — вскрикивали они в изумлении, и голоса их разносились, как звуки тамтама. Диейнаба рассказала нам об этом во время своего следующего приезда на уик-энд. Ее это вовсе не позабавило.

— Что бы они подумали обо мне, если бы знали? Наверное, решили, что пора изгнать из меня дьявола.

Она стремилась изгнать из своей жизни другое — «рукопашные схватки». Это было все то же ее забавное выражение, напомнившее нам, что именно из-за этих «рукопашных» еще ребенком она покинула свой дом и переселилась к нам. Она была сыта этим по горло. Может быть, то, что она тогда видела и испытала, но о чем никогда не говорила, эти вещи, знакомые всем детям 26-й улицы, и объясняли суровую сдержанность и стеснительность ее ранней юности.

— Пора бы тебе обзавестись возлюбленным, — говорил я ей.

— Возлюбленным? Эти типы, у которых всегда полон рот слюней? Нет, у меня о любви другое представление.

— Но должна же ты когда-нибудь полюбить, как все люди!

— Я люблю, я буду любить, но почему, как все люди? Пока я не знаю, кому отдать пыл моей души.

Асту смеялась.

— Ты — пылкая натура?

Но я не смеялся. Она пылко и преданно любила нас, но сейчас она говорила совсем о другом.

II

Это случилось однажды рождественским вечером у меня в Вашингтоне. Со дня смерти Асту прошел уже год.

Диейнаба приехала ко мне на новогодние каникулы. Каждый раз, когда она появлялась на несколько дней, она

переворачивала всю квартиру вверх дном, прибирала, полировала, короче, разыгрывала из себя ворчливую хозяйку дома, а потом я слышал, как она гремит в кухне кастрюлями, принимаясь за готовку «наших, туземных блюд».

Наша туземная кухня! Я видел немало иностранцев, гордых своими кулинарными рецептами, всегда готовых ими поделиться и с волнением ожидающих от гостя одобрения. Но, кроме того, я видел негра из Южной Африки, который среди северных холодов сидел перед миской вареной кукурузы с кусочком жареной курицы, я видел евреев в баре-митцва и всякий раз думал об этом кулинарном патриотизме изгнанников или обездоленных, когда заходила речь о «нашей туземной кухне», которую можно понять и принять только среди наших песчаных пейзажей, и больше нигде. Диейнаба наполняла квартиру ароматами пряностей, купленных на открытом рынке в Гарлеме и ругательски ругалась, что эти северные варвары так и не поднялись до настоящей копченой рыбы и до соуса «йет», придающих неповторимый вкус нашим «трапезам». А потом она садилась напротив меня и с беспокойством спрашивала, как заботливая хозяйка:

— Ну как, соли не слишком много? Вкусно?

— Да, Диейна, очень вкусно.

Но кусок застревал у меня в горле при воспоминании об Асту. И какое имело значение, сколько соли сыпала Диейнаба, — чуть-чуть больше или чуть-чуть меньше? Она предлагала мне не просто блюдо, а символ, самый совершенный символ высокого счастья любить, заполняла этим счастьем наш третий этаж кирпичного дома, всю нашу квартиру над узким прямоугольником газона, сейчас белого от снега, но зазеленеющего, когда вернутся теплые дни.

Но затем нами овладевало разлитое повсюду рождественское настроение, и она устремлялась в магазины, покупала стеклянные игрушки, искусственный снег для нашей искусственной елки, декоративные поленья для нашего декоративного камина и со смехом рассылала поздравительные открытки во все стороны света. Мы принимали друзей, ходили на концерты, спектакли, разыгрывали роль беспечных гостей на всяких вечеринках, но в тот вечер остались дома одни и не знали, чем себя занять. Разве что почитать перед камином, в котором электрический камин воспроизводил костер из наших декоративных поленьев, распространяя мягкое тепло. По радио пел Перри Комо, снаружи угадывался густой снег, потому что все шумы улицы звучали приглушенно, машин становилось все меньше, и движение постепенно замирало. Мы словно плыли

в ладье или качались в колыбели; мыслей не было, и тела не было: я не чувствовал ни головной боли, ни пищеварения — ничего; у меня не было ни печени, ни поясницы — моих старых врагов-мучителей. Я читал. А что читать в таком блаженном состоянии, в такой пустоте, когда не чувствуешь самого себя? Конечно, Агату Кристи.

Внезапно Диейнаба прервала молчание громким возгласом:

— Я счастлива, счастлива!.. Дядюшка Ибра, — продолжала она, захлопнув свою книгу. — Дядя Ибра, я абсолютно счастлива. Никогда еще в жизни мне не было так хорошо.

Я знал почему: закрытая комната, уютная, теплая, мое молчание и приглушенная песня любви по радио, — все дышало благополучием, безопасностью, словно в материнском лоне, словно мы еще не родились и, может быть, нам вовсе не нужно появляться на свет, покидать этот инкубатор, ибо здесь был рай и вечное блаженство. Но за этими стенами была ночь и были ночные бродяги, люди с их свирепой алчностью, жертвы и убийцы. Истинный покой мог быть только покоем воина, никогда не забывающего о борьбе, и для которого его священная война — необходимый элемент мира. А моя воительница забыла обо всем, забылась в этом мгновении, как нерожденное дитя в чреве матери.

«Протяни я сейчас ей руку, — подумал я, — она бы осыпала ее поцелуями, как руку святого или божества. Но ведь я же ничего не создал, я только сделал это мгновение возможным».

Однако надо было что-то отвечать; надо было либо протянуть ей руку или встать, распахнуть окно и впустить в комнату холод и все звуки ночи. Я протянул руку. Она схватила ее, затем гибким движением выскользнула из своего кресла, бросилась ко мне, упала передо мной на колени, обхватила меня обеими руками, уронила голову мне на грудь и тихо заплакала.

— Дядя Ибра, — повторила она, всхлипывая. — Дядя Ибра!

— Что, Диейнаба?

— Не отсылай меня, ладно? Я хочу быть с тобой...

Я мог встать, оттолкнуть ее; я мог открыть окно, сделать музыку громче и начать высказывать всякие банальности. Я ничего не сказал, остался сидеть неподвижно, обратив всю нежность моей души на это раненое существо. Она заснула у меня на груди, как ребенок.

Зато на завтра я был вознагражден за все ее пением. Едва я проснулся, она впорхнула ко мне в комнату с чашкой кофе.

Так она делала каждое утро, но в это особое утро она смеялась, пела и кружилась.

— Все осталось, как было! — щебетала она. — Все осталось. Я проснулась утром такая же счастливая, как вчера... Посмотри на снег, дядя Ибра, посмотри на снег на крышах и на деревьях, посмотри на снежные кружева!..

Она распевала это, как песенку. И так продолжалось до самого ее отъезда: всю неделю она смеялась, пела и кружилась. Каждый вечер я изобретал предлоги, чтобы не оставаться дома; она ничего не говорила и повсюду следовала за мной, радостно болтая; счастье распирало ее, окружало ее словно ореолом. И это было так странно в Вашингтоне, с его узкими тротуарами, с улицами, которые никуда не ведут, в нашем узком, ограниченном условностями социальном кругу, это было так странно в зимнем Вашингтоне, — счастливая негритянка! Я с беспокойством наблюдал за ней, опасаясь, что она не выдержит, сломается, но до самого отхода поезда, который увозил ее в Нью-Йорк, она повторяла:

— Я счастлива!

И говорила немыслимые вещи, произносила фразы, вроде: «Я запаслась счастьем впрок». Или еще: «Я буду теперь работать и работать, как одержимая!» И еще обещала: «Я буду писать тебе каждый день, нет, три раза в неделю, нет, два раза... Я, наверное, сумасшедшая?» И с тревогой спрашивала:

— До пасхи, дядя Ибра? До пасхи, да?

Я ничего не обещал, но она сама решила безоговорочно:

— Значит, до пасхи.

Из окна вагона она снова крикнула: «До пасхи!» И, подождав меня знаком, тихо добавила, когда колеса уже покатились:

— Я не знала, что можно быть такой счастливой.

И крикнула на прощанье:

— Я пришлю тебе пластинку!

Пластинку я получил: это была идиотская песенка о счастье любить. И письма я получал с каждой почтой, все напичканные возвышенной галиматеей. Наконец однажды я ей написал: «Когда же ты решишься подарить все это счастье какому-нибудь влюбленному?» «Но я люблю, люблю, — ответила она. — Только любовь может дать такое возвышенное счастье. Мне теперь все легко, все удается, я работаю, зубрю, как рекордсменка, и уже обогнала весь наш курс...» И все ее письма кончались одним припевом: «До пасхи, до пасхи...»

Как принять столь высокий дар? Под пасху я просто сбежал, хотя письмо Диейнабы и настигло меня в последнюю минуту. Оно бы остановило меня, если бы не моя решимость и все мои представления о красоте, добре и справедливости не сделали меня глухим и бесчувственным. «Я так мечтала, — писала она, — вновь увидеть весной лицо моего счастья и сменить мою сестру, память...»

К чему цитировать все это, если меня не остановило ни благородство ее чувств, ни великолепие почерка? Я был уверен в своей непогрешимости и бежал от беды. Наверное, я был безумен. Если так, я безумен и сейчас.

Я провел в Канаде десять жалких, несчастных дней, страдая от угрызений совести, и в Вашингтон вернулся, полный тревоги. То, что ожидало меня у входа, в моем почтовом ящике, походило на фантасмагорию.

Письмо на трех страницах, покрытых нервными, почти истерическими каракулями. Глаза мои бежали вдоль строчек, спотыкаясь, и мне приходилось то и дело начинать с начала, чтобы проникнуть в смысл.

«Десять дней, — писала она, — десять дней невыносимого мрака... Вся радость ушла... жизнь приостановилась... Отказаться от счастья... что такое счастье?.. Три месяца, начиная с декабря, жить стремлением к вершине, вытягиваясь вверх, поднимая на руках свое сердце... Три месяца радости... три месяца детской счастливой радости, а потом — этот удар: ты не захотел меня... ты уехал... Ледяное одиночество... Я приняла приглашение, одно-единственное, это было вчера, измученная ожиданием... Мне вдруг захотелось смеяться, как все другие, танцевать, как другие, принимать жизнь, как другие, я выпила стаканчик, только один, это было вчера, меня чуть не изнасиловали, это был, как они называют «мики-фин», вино со снотворным, вот что мне налили... И когда я проснулась в задранном платье с разорванным лифчиком, я, твоя Диейнаба!.. Это было на вечеринке у Мери, они называют это «дележка», почему, я не знаю, нас было восемь человек, Ральф из Ганы, Мери и я, и другие, белые и черные, все студенты. И вот Ральф, когда он увидел из своего угла, что я засыпаю, когда он увидел, что меня уносят, он все понял, и он вступился, и он сказал: «Нет, этого вы с ней не сделаете, только не с ней». Он дрался с ними, он грозил позвать полицию, он схватил телефон, они его вырвали, а он повторял: «Нет, только не с ней!» Мери пришлось свернуть свою вечеринку; они унесли с собой свои на-

питки, свои сэндвичи, свои пластинки и свою марихуану. Когда я проснулась в разгромленной комнате, в разорванном платье, я подумала... Дядюшка Ибра, я твоя бедная девочка, подумала... Но Ральф остался вместе с Жослиной, высокой спокойной еврейкой; они столько часов сидели и стерегли меня! А Мери ушла с остальными. Когда я проснулась, я начала рыдать, как сумасшедшая, я была сумасшедшая, я ощупывала свою голову, чувствовала свою голову... Тогда Ральф и Жослина взяли меня каждый за руку и сказали: ничего не случилось, Ральф дрался из-за тебя. «Ничего не случилось», — повторял Ральф, и Жослина улыбалась; потом Ральф встал на колени, не выпуская мою руку и назвал меня своей маленькой сестренкой и сказал: «Я напишу дядюшке Ибра». Я закричала: «Нет!», а он все повторял: «Ничего не случилось». Но, дядя Ибра, я скажу тебе все: чтобы вернуться домой, мне пришлось взять в шкафу у Мери трусики, потому что мои с меня сорвали. Ральф не сказал мне кто, да это и не важно. Мне пришлось еще позаимствовать у Мери свитер, совсем коротенький, смешной свитер. Я сказала Ральфу: «Ибра будет любить тебя, как младшего брата...» Я ему сказала: «Теперь ты мой брат, а Жослина — моя сестра». И они проводили меня до такси...»

А подписалась она так: «Все еще (чудом!) твоя Диейнаба».

Я не мог представить себе сцену этого почти изнасилования, но ясно увидел лицо Диейнабы в момент пробуждения: ее изумленные глаза, ее мгновенный ужас, ее прекрасное искаженное болью лицо. Не медля ни секунды, не взглянув даже на часы, — было десять вечера, — я схватил телефонную трубку и вызвал Нью-Йорк, общежитие Диейнабы. Она ответила почти сразу.

— Ибра! — голос ее прозвучал как крик.

— Ты можешь приехать?

— Сейчас же. Я выеду одиннадцатичасовым поездом.

— А твои вещи?

— Мой чемодан сложен и застегнут еще вчера. Я уже объявила, что уезжаю.

— Я тебя буду ждать на вокзале.

— Спасибо, дядя Ибра.

— Вызови такси по телефону. И не выходи, пока машина не подойдет.

Она тихонько рассмеялась и облегченно вздохнула.

— Сейчас только десять часов, Ибра, ничего не бойся, я скоро буду с тобой. И еще одно, дядя Ибра. Ты меня слышишь, Ибра?

— Да, Диейна.

— Дом, пусть твой дом будет таким, каким я его оставила, о каком я мечтала три месяца. Ты меня слышишь? Закрытые окна, огонь в камине...

— Огонь в мае?

— Декоративные поленья, дядя Ибра, чтобы был только вид. И еще (я представил себе, как она улыбается) и еще Перри Комо.

— А больше ничего, Диейнаба?

— Я скажу тебе, но сначала скажи ты: «Да, моя дорогая!» Ну, скажи, скажи: «Да, моя дорогая!»

— Да, моя дорогая, все, что ты захочешь.

Я был потрясен, и глаза мои были полны слез, — это после двадцати лет без единой слезинки! Ночь простирала между нами километры непроницаемых теней, но казалось, я вижу звезду — лампочку в телефонной кабине, заливающую призрачным светом высокую девушку, Диейну, мою обузу.

— Я хочу обнять тебя, заснуть на твоих коленях, и чтобы ты меня никуда больше не отпускал.

И пришел час сказать, и никакой иной ответ был невозможен, и я сказал:

— Да, моя дорогая. — И добавил: — Не забудь про такси!

Она рассмеялась тремя счастливыми нотками и ответила:

— Да, мой дорогой.

Я ни о чем не мечтал и не сопротивлялся: Диейнаба летела ко мне; я возьму ее за плечи и осторожно, ласково поверну лицом к жизни.

Я готовил комнату, как она просила, и повторял про себя слова из ее письма, присланного десять дней назад: «...сменить мою сестру, воспоминания...» С ужасом думал я об ожидающем ее разочаровании. Ничто не повторяется в прежнем виде, никакая встреча не оправдывает всех надежд; с декабря мир постарел на четыре месяца. Я и она уже не те — телом и душой; все постарело. Сколько страстей увяло, сколько новых чувств пробудилось, сколько было смертей и преступлений! Даже эта комната, разве она осталась прежней? Могла ли она быть прежней? Календарь на стене изменился. Недоставало снега на улице, недоставало рождественской елки и нежного перезвона мерцающих елочных игрушек. Ничто не было таким же, как вчера, даже этот маленький столик, — в декабре он был пуст, а сегодня надо накрыть на нем импровизированный ужин для моей путешественницы.

Я приготовил ее комнату, сменил простыни, отыскал одеяла. Эти маленькие хлопоты не давали мне задуматься, и в то же время позволяли измерить всю глубину моей нежности, от-

ныне бесконечной; меня поразило, что каждое мое движение было подобно ободряющей ласке, словно передо мною было живое существо. Я не придумывал заранее, как мне ее принять; я только знал, что ей надо погрузиться в доброту поистине безмерную, ибо она этого ждала и надеялась на это.

В душе я считал минуты, хотя глаза мои лишь время от времени рассеянно обращались к настенным часам. Длинная секундная стрелка бесшумно и плавно вращалась, как тонкий, таинственный палец. Там, далеко за стенами, поезд мчался сквозь ночь, мчался ко мне сам по себе; я воображал станции на этом давно знакомом пути, слышал гнусавые голоса дежурных, объявляющих Трентон-Нью-Джерси, Уилмингтон-Далавар, а затем еще ближе — Балтимор-Мериленд, — и тогда мне нужно будет запереть за собой дверь, бросив последний взгляд на покойное убежище, к которому стремилась надежда, и вывести из гаража машину, превращавшуюся, помимо меня, в ладью Тристана.

С непокрытой головой, под куполом тугих косичек, маленьких змеек, связанных за хвосты, она предстала передо мной в раме вагонной двери, легкая и высокая, несмотря на то, что на ногах у нее были только сандалии. В светло-зеленом демисезонном пальто, с легким серо-зеленым чемоданчиком в руке, — такой вырвалась из нью-йоркской тюрьмы эта подраженная птица. «Мой чемодан сложен еще вчера», — сказала она. Неужели она сидела у телефона и ждала целых два дня, с чемоданом у ног?

Я про себя поклялся впредь оставлять ей ключи от своей квартиры. «Отныне не будет ни долгих ожиданий, ни бессонных ночей, — говорил я себе. — Каждому из нас нужен выход, дверь, каждый имеет право на бегство, пока не захочет остановиться».

Я боялся, что она разрыдается. Как же мы мало знаем людей! Она молча поцеловала меня в щеку и сразу взяла за руку. В машине она прижалась ко мне, отыскивая место для своей головы под моим правым плечом; я вел одной рукой; мы ехали молча.

Дома, едва сбросив пальто и разложив свой легкий багаж у себя в комнате, она сразу прошла в гостиную. Нашла она там свою сестру, воспоминания? Все было таким же, как в ту декабрьскую ночь, — насколько мне это удалось.

— Хочешь есть? — спросил я, указывая на поднос на маленьком столике.

Она отрицательно покачала головой, а когда я поставил пластинку, заулыбалась и пробормотала:

— Перри Комо!

Я сел, и она сразу упала к моим ногам, как большой, подкошенный серпом цветок, опустив голову мне на колени. И только тогда тихонько заплакала. Много позже, проводив Диейнабу до ее комнаты, я приказал:

— Спи! Спи подольше!

— А ты не уйдешь на службу, пока я не проснусь?

— Не уйду, Диейна, обещаю. Я принесу тебе завтрак в постель.

— Спасибо, дядя Ибра.

— Спи спокойно.

На следующее утро около девяти часов она появилась в гостиной, где я сидел уже одетый для выхода в город.

За полчаса до этого я отнес ей завтрак, но она еще спала. Ее похудевшие щеки, ее губы, слегка помятые подушкой, ее спокойные веки, ее неподвижное длинное тело под складками одеяла создавали образ таинственный и волнующий. Ну почему такое существо должно было бороться? Что это за закон неизбежной борьбы? Двадцать тысяч лет всевозможных цивилизаций, а человек так и не может обрести мир; двадцать тысяч лет, и каждая цивилизация заканчивается существами хрупкими или изуродованными, жестокими или преследуемыми. Некоторые сдаются на полпути. Но разве это выход? Сколько людей в этом городе однажды вечером открывают газ и уходят на цыпочках, уходят навсегда. Но мы, африканцы, не кончаем самоубийством; мы чертовски упрямы и предпочитаем смотреть этой жизни в лицо, вот так, без причины, а может быть, по единственной причине: потому что мы «есть», и самоубийство не сотрет самого главного — факта нашего существования.

— Дядя Ибра!

Широко открытые глаза Диейнабы были устремлены на меня.

— Дядя Ибра, ты меня напугал. Лоб твой в морщинах, брови нахмурены. Ты на меня сердисься?

Какой-то детский лепет!

— Нет, Диейнаба, я думал о другом. Я рад, что ты здесь, у меня.

— Правда? А я вдруг так испугалась.

Отбросив одеяло, она выскочила из постели.

— О-ля-ля! — засмеялся я, отворачиваясь. — Ну-ка, надень живо халат!

Смешавшись, она подхватила одеяло и набросила его на плечи, придерживая на груди слегка дрожащей рукой.

— Почему ты мне это сказал?

Она смотрела на меня внимательно и немного тревожно: у нее было лицо ребенка, который повинуется, но не понимает и ждет разъяснений.

— Потому что ты уже слишком взрослая, чтобы прыгать в одной ночной рубашонке перед дядей Иброй.

Я постарался произнести это самым легким тоном, и дружески потрепал ее по щеке, но она была обескуражена.

— Ну, полно, — сказал я. — Я тебя не браню. Можешь бросить это одеяло, сойдет и так.

Она тотчас разжала руку, одеяло упало, и она снова заулыбалась.

— Спасибо за завтрак, — сказала она. — Я в самом деле проголодалась.

Когда она потом вышла в гостиную, я стоял у окна, широко распахнутого на сияющий день и на деревья, где белки гонялись друг за другом среди новорожденных почек. «Я мечтала вновь увидеть весной лицо моего счастья...» Помнит ли она эту фразу? Она вошла в халатике и встала у окна рядом со мной, взяв меня под руку. Как и я, она смотрела на нежные почки. «Я мечтала вновь увидеть весной...» Не из-за этих ли слов она провела ладонью вниз по моей руке и переплела свои пальцы с моими?

— Это весна, — сказал я, чтобы что-то сказать.

— Это весна, — повторила она, как эхо.

— Все изменилось, — сказал я неловко.

Она не ответила, и минута прошла в молчании.

— Ибра! — сказала она.

Никогда еще она не называла меня вот так, просто по имени.

Это ее «Ибра», короткое и четкое, казалось, изменило не только ее голос, но и всю ее личность. Я повернулся к ней, пораженный. Она снова была той девочкой, которая смотрела на меня из постели внимательными глазами, набросив на плечи одеяло, как плащ нищенки. Ее глаза отметили перемену во мне, но никогда еще она не смотрела на меня так настороженно и недоверчиво.

Затем она спохватилась и поправилась.

— Дядя Ибра, — сказала она, — морщины на лбу и нахмуренные брови сегодня утром — это из-за меня?

— Пойди-ка сюда, — сказал я. — Нагнись, выгляни наружу! Я обнял ее за плечи.

— Видишь эту толпу? Сколько их? Сколько их во всем городе? А во всем мире? Сколько тысяч, миллионов? Среди них

лишь несколько богачей и очень много бедняков, лишь несколько мудрецов, остальные — слепые; лишь несколько счастливых, остальные — неудачники, и у каждого своя судьба, которая ведет его к успеху или катастрофе. Добиться успеха в этой жизни могут только те, кто однажды решился взглянуть правде в лицо и соразмерить свои силы со своими желаниями.

— Что ты хочешь сказать, дядя Ибра?

— Что пора перестать спасаться бегством, Диейна. У тебя есть то, чего нет у миллионов людей в этом городе. Ты сама такая, какой хотели бы стать миллионы женщин в этом городе. Посмотри на себя: ты самая прекрасная, ты царский подарок; еще два месяца, и перед тобой откроется карьера, о которой ты мечтала, которую сама избрала. От чего же ты убегаешь? Вся жизнь — это твое призвание, весь мир — твой сад; протяни только руку, и все живое вокруг придет принять пищу из твоих ладоней.

Голова ее медленно опустилась, подбородок лег на скрещенные руки. Я уже не мог разглядеть ее лицо.

— Эта ничтожная проблема с начала и до конца состряпана их моралью: это чисто, а это нечисто, это добродетель, а это грех, — надо встать выше! Полюби, и вся проблема для тебя будет сразу разрешена навсегда, и ты ни о чем не пожалеешь. Надо выполнить предназначение жизни, и тогда в твоей жизни не останется места для угрызений совести.

Она повернулась спиной к окну, я плохо видел ее черты, лишь отсвет снаружи играл на ее щеке, но ее изумленные глаза, ее рот, полуоткрытый на недоговоренном слове, все ее тело, обнаженное под тонкой ночной сорочкой в разрезе распахнутого халата с небрежно завязанным поясом, — все в ней, казалось, кричало: «А для чего же я здесь?»

— Нет! — воскликнул я, словно она произнесла эти слова вслух, и, сам того не замечая, затопал ногами. — Нет! Это было бы не преодолением, а признанием своей слабости. Хватит убежать от жизни. Я сам стал для тебя частицей твоего бегства.

И тогда тихонько, но отчетливо, спокойно глядя мне в глаза, она проговорила:

— А если ты ошибаешься, Ибра?

Она заставила меня перейти к обороне.

— То есть как это?

— А если на самом деле, если на самом деле ты был для меня не символом бегства, а моей любовью?

— Любовь, Асту? Что такое любовь? Нарыв в душе, средоточие наших грез, наших страхов и главное — страха перед жизнью! И вот тогда мы все это связываем в узел и в отчая-

нии возлагаем эту ношу на одно существо, которое становится нашим пленником.

— Ты назвал меня Асту и, может быть, ты описал мне Асту?

— Диейнаба!

— Ты описал Асту, а не меня.

Она была прямо и жестока, и не остановилась, пока не высказала все. Я не стану описывать ее колебания, ее паузы, ее вспышки гнева, ее лицо и ее слезы. Все это можно понять из ее слов, которые я постараюсь восстановить, из ее монолога, произнесенного на одном дыхании, в необоримом стремлении прорвать, наконец, все плотины, смести все преграды. Она не вызывала меня на бой; она была все той же девочкой, которая прибежала ко мне в отчаянии, чувствуя, что борется за свою жизнь. Она боролась со мной, но не против меня.

— Ты думаешь, я никогда не размышляла обо всех этих вещах? Ведь это мое место, меня этому учили. Что такое любовь? Так легко говорить об этом с презрением, я услышала в твоих словах презрение: «нарыв в душе». Да, это так, и нам от этого не уйти. Ты сказал, средоточие наших страхов, наших неврозов, всего отрицательного! Да, это средоточие нашего честолюбия, наших надежд, наших жадных устремлений, нашей агрессивности. Но разве нет в любви также потребности дарить, оберегать, сопровождать? Неужели стремление вырваться из одиночества, стремление к другому существу — всего лишь эгоизм и страх? Разве не означает оно мужества и готовности принять на себя всю тяжесть ответственности? Ты вспомнил Асту. Почему? Твой нарыв в душе, средоточием чего он был в те времена, что вобрал он в себя из твоих разочарований революционера, превратившегося в чиновника?

Я смотрел на нее, не веря своим ушам.

— Но почему именно Асту, эта чудная, изящная, но слабая девушка, нежная и неуверенная, почему она? На кого она была похожа, что напоминала тебе? Ты сам это знаешь? Почему именно Асту, а не Марема, эта яркая бабочка, к которой она тебя так ревновала? Чем особенным была она для тебя, что олицетворяла, в отличие от Маремы? Твой клан, твоё племя? Жених выбирает невесту из места, что поближе. Все, кто любит, стремятся к тому же: к объединению и утверждению своих желаний, своих чаяний, порой откровенных, а порой скрытых глубоко в подсознании: один хочет быть утешенным, другой играть роль большого человека, третий мечтает, чтобы им восхищались здесь, ибо жизнь его не удалась в другом месте; или, скажем, ты любишь его, потому что

у него больше нет никого на свете, и вовсе не из жалости, и потому, что она боготворит тебя, и тебе ничего не остается, как принимать божественные почести от того, кто тебя обожает. Да, это может быть, как ты сам сказал, тяжелой ношей, которую мы возлагаем на другого человека. Но может быть и другим: из всех этих кусочков, осколков, противоположностей, если их собрать, может родиться нечто подобное цветку. Моя любовь — как подсолнечник... Нет, я не буду плакать!

Что означают твои слова, что ты не можешь меня любить или «как я могу тебя любить?» Тебе тридцать пять лет, но и мне не восемь лет, а двадцать. Ты обращаешься со мною, как с больной. Я — больная? Скорее больны те, кто, как Мери, отдаются первым встречным. Я же избрала наилучшее — теплый дом вокруг человека, который был для меня всегда как могучий дуб с тенистой листвой... Нет, я не стану плакать, и не смотри на меня так. Потому что мне нужно все сказать, а я боюсь. Я всегда любила твой смех, любила, когда ты смотрел на меня смеющимися глазами, когда ты надо мной подшучивал и расспрашивал о моих маленьких заботах. Вот тогда, однажды, когда ты на меня ворчал и сердился, я придумала «дядю Ибру». Мы почти всегда оставались одни за завтраком. Асту уже не ходила на службу. Мы завтракали, сидя друг против друга, в молчании или говорили какие-то слова, которые ничего не значили, но это было не важно, а потом шли вместе до ворот, а иногда, если тебе было по пути, ты меня подвозил на машине до школы, и каждый раз на прощание я тебе подставляла щеку и говорила: «До свидания, дядя Ибра», и ты отвечал: «До свидания, Диейна», и смешно это говорить, но я уносила твой голос с собой на весь день. Нет, я не сошла с ума, я хочу только, чтобы ты знал: я люблю тебя бесконечно и неизлечимо с тех лет, когда научилась любить. Все самое дорогое в душе моей всегда было только для тебя. И для Асту, ибо она была частью тебя. Но Асту умерла, и ты остался моим единственным пленником. Говорят, можно любить по-разному; для меня нет различий. Была твоя щека, будут твои руки, я не хочу никого другого, никого, — неужели нужно об этом кричать? Я никогда не ревновала тебя к Асту. Я ждала, я перевоплощалась в Асту, зная, что когда-нибудь ты возьмешь меня второй женой.

— Второй женой, тебя, Диейна? Никогда в жизни!

— Никогда в жизни? Что ты знаешь о нас? Меня не продал тебе, Ибра, выживший из ума отец. Я сама выбрала мужчину и его первую жену. Моей любви уже десять лет. Но ты, ты всегда рассматривал меня под микроскопом, как забавное

существо. Пока Асту была жива, ты часто беспокоился из-за моих чувств к тебе, я это видела. Любить тебя было бы ненормально, потому что ты был мужем моей сестры и ты был старше меня. А разве нормальнее любить какого-нибудь молодого прохвоста, чужака, незнакомца? Чего вы тогда добивались? Что нужно, чтобы стать нормальной девушкой? Пить виски? Спать с кем попало на этих «дележках»? Я люблю тебя. Ты говоришь, я бегу от жизни, когда бегу к твоему дому, потому что я бегу, стремлюсь к этому дому. Но кем я должна быть? Валькирией? Амазонкой? Пассионарией? Кому нужна амазонка в наш век? Какие передо мною цели? Учиться, постигать, преподавать, воспитывать и направлять подростков. Анализировать механизм человеческой личности, чтобы понимать и показывать механизм этого извращенного звериного общества. Живя в твоём доме, я могу все, нет ничего для меня невозможного. Но если я останусь в пустыне, я пропала: моей любви слишком много лет. Я не стремилась тебя любить, но в то же время никогда, ни в один сознательный миг моей жизни не боролась с этой любовью. А должна я была бороться? Моя любовь никогда не была эгоистичной. Я только с радостью принимала свою судьбу, связанную с тобой. С Асту или без Асту. Когда Асту заболела, я жила рядом с тобой, когда она умерла, жила тобой одним, и жизнь моя стала неотделимой от твоей, — это так естественно! Разве это безумие? Неужели я сумасшедшая, Ибра, лишь потому, что всю жизнь люблю только одного человека?..

Да, я знаю, меня, наверное, слишком ранило все то скотство, которое окружает меня в Нью-Йорке, но, может быть, тому была причина. Ты знаешь, что такое быть красивой женщиной? С пятнадцати лет не было ни одного мужчины, старого или молодого, негра, белого или китайца, который бы не смотрел на меня с вожделением. Я научилась различать лицо похоти по неискренним глазам, по блудливым взглядам исподтишка. Все мужчины одинаковы, кроме Фарра Ибра; может быть, поэтому я люблю Фарра Ибра.

Я бросила бы эту школу в первые же недели, если бы тебя не было здесь, — за четыреста километров, но всегда на другом конце телефона, в конце каждой недели, в конце каждого письма, отосланного накануне. Но, скажи, разве я досаждала тебе своим присутствием, докучала своими заботами? Тебе пришлось лечить меня от неврозов? Когда я приезжала сюда, я всегда замечала следы, оставленные твоими женщинами. Одну я, во всяком случае, знаю, эту Нэнси. Я устраивала тебе

сцены? Корчилась от отвращения? Однажды я украла гребень Нэнси, если только это не был гребень Марджори, черепаховый гребень, который валялся в моей комнате, и я до сих пор причесываюсь им без ревности и без горечи.

Диейнаба заколебалась.

— Правда, в этом можно усмотреть желание перевоплотиться в нее, встать на ее место. Мы, психологи, здорово умеем перевоплощаться.

Она рассмеялась.

— Нет, Ибра, я совершенно нормальна, за исключением только одного пунктика: я не могу представить, чтобы кто-то из этих подлых мальчишек схватил меня, и я бы согласилась, нет, это невозможно!

А как ты говорил мне: «Найди себе возлюбленного». Какого возлюбленного? Эти типы способны только измазать тебя слюнями и соплями. Они взбадривают себя киношками, танцуйками, пьянками, плюют тебе в душу и отворачиваются. И для этого есть девицы, девки-плевательницы, но только не я. Да, есть и такие. Я их не осуждаю, но я вижу. Они идут с кем попало, они устраивают из этого целый спектакль, они отдаются с громкими криками, а потом широко открывают глаза и видят рядом незнакомого человека, абсолютного чужака. Им становится стыдно, и чтобы это скрыть, они принимаются кричать еще громче. От позора к позору, от стыда к стыду, они создают свою теорию: главное, это загореться на миг, и опять гореть, даже когда уже все прогорело. А остальное, говорят они, это общественные условности, придуманные стариками. И они по-своему правы. Но я считаю, я так чувствую, что отдаваться — это отдавать себя, Ибра, это священный акт страсти. Я никогда не отдавала себя, я жду человека, которого люблю. И когда я бежала сюда после этого... этого эксперимента, я бежала к человеку, которого не переставала любить ни на миг, к средоточию всей моей нежности, к нарыву моей души. Я всегда жила для тебя, я ждала, и мне показалось, что день настал. Когда ты говорил мне: «Уступи им», мне было очень больно, потому что ты не понимал: я не могла уступить им то, что принадлежало не мне, а тебе, но тебя это не заботило. Когда ты спрашивал: «Ну, кто твой возлюбленный?», я принимала это, как шутку, но каждый раз для меня это было подобно удару, и я говорила себе: «Он не чувствует того, что чувствую я».

Если бы я могла, я бы тебе отомстила: отдалась какому-нибудь типу, первому встречному, а потом пришла бы к тебе и сказала: «Ну вот, дело сделано», но я не могла, не смогла

бы, потому что стремилась слиться только с тобой. С другим? Объятия другого, другой рядом со мной в постели, — нет, я бы не смогла! И все же во мне не было желания сказать тебе, Ибра: «Возьми меня!» Что-то мешало мне, наверное, инстинкт этого тела, которому надо прожить жизнь, наверное, общая атмосфера, пример других. Я только пробуждалась к чему-то новому. Я была безмерно счастлива с тобой, и не было нужды предлагать тебе мое тело, но было это тело, которое я могла предложить, и все вы внушили мне, что это почти что мой долг, но некому было его предложить, ибо поистине мне казалось, что во всей вселенной для меня не осталось ни одного мужчины, кроме тебя.

Я приехала тогда на рождественские каникулы. Мы так веселились, ты помнишь? Ради меня на целых две недели ты изгнал своих Нэнси и своих Марджори; мы ходили в театры, на приемы; дух рождества царил всюду, я была такой легкой-легкой и все время чувствовала твою ободряющую руку; когда мы возвращались сюда по вечерам или когда гости расходились, тихий дом замыкал нас в волшебный круг; я не думала и не заботилась, что было за этой дверью, — мир кончался за пределами нашего теплого гнезда. Да, я была эгоисткой, мир продолжал жить вокруг: разбивались самолеты, людям резали глотки, миллионы несчастных оставались без крова, в Палестине, в Европе, катастрофы, революции... И все ураганы сезона еще не пронесли над нами, но все это оставалось за этой дверью, и ты сам, бессознательно становясь моим сообщником или подчиняясь моему внушению, никогда со мной об этом не говорил; ты разделил свою жизнь на две части: одна была для работы, другая — для меня; ты не говорил со мной даже о Дакаре, даже о наших родителях. Сколько раз, как бы ни было поздно, я просила тебя: «Ну, еще минутку!», и нежная музыка наполняла вечер, как песня моего собственного сердца.

Когда пластинка кончалась, ты стряхивал очарование и говорил: «Спокойной ночи». Но мне вовсе не хотелось оставаться одной и слушать твой проигрыватель: без тебя это был только шум. Ты говорил: «Спокойной ночи», а я слышала: «Спокойной ночи, дорогая», но ты говорил: «Спокойной ночи, Диейна». Ты провожал меня до моей комнаты и уходил к себе. В своей постели я чувствовала себя так одиноко, но потом приходила мысль, что ты совсем рядом, за перегородкой. Однажды я постучала согнутым пальцем: ток, ток, ток, но ты не понял, что я тебя зову, и ночь опять погрузилась в безмолвие; если бы ты мне ответил, я бы, наверное, набралась храбрости

и сказала: «Позволь мне прийти к тебе»; это желание мучило меня каждый вечер, но вовсе не для... для... а просто чтобы заснуть рядом с тобой, но я ни разу не осмелилась, потому что боялась услышать твой сухой отказ: «Нет, Диейна!», ибо ты ответил бы только так, сухо и резко, ты, который для того, чтобы сказать мне «нет», всегда подыскивал какие-нибудь смягчающие слова.

И вот наступил тот вечер, ты знаешь какой. Перед тем, как я закричала: «Я счастлива, счастлива!», я бросила читать и смотрела на тебя уже десять минут, четверть часа, все смотрела. Ты не был очень красив, по правде, совсем некрасив тогда: погруженный в свое чтение, ты ни разу не взглянул на меня, сидел нахмуренный, словно медведь, и держал книгу обеими руками, не как легкий предмет, а как воин держит щит. И вдруг мне захотелось оказаться в твоих руках, я думаю, первый раз в жизни во мне вспыхнуло желание, то, что все называют желанием, и пришло решение: быть твоею женой! Пересечь вместе с тобой эту границу, и тело мое было благо-словенно, и страхи рассеялись, — как же я ничего не понимала раньше! И тогда я бросилась к тебе, повторяя: «Не отпускай меня!», и слезы мои были слезами счастья, вознесенного на нестерпимую высоту.

И все же я счастлива, что ты не сделал меня своей женой в тот вечер, я уехала, так и не став твоей женой, и жила все эти месяцы, с декабря, в радости ожидания и надежды, словно готовясь к настоящему счастью, словно мы были обручены, и все мои мысли были о грядущих пасхальных каникулах. Ты не можешь представить, какие это были месяцы. Я работала, как чемпионка, обгоняла программу, опережала все рабочие графики; наша директриса не верила своим глазам, думала, что при поступлении неправильно определили мои способности: «Надо заново провести все тесты, — говорила она. — Ваш уровень развития, наверное, не менее ста пятидесяти, и мы должны составить для вас специальную программу». Я смеялась про себя. «Специальная программа! Если бы вы знали!» Я просто мчалась к пасхальным каникулам, перепрыгивая через лекции и дни: я хотела скорее стать твоей женой; я думала, ты поймешь по моим письмам, как я стремилась к этому дню, к этой ночи. А потом пришло твое письмо, где ты извещал о своем отъезде под каким-то предлогом. Это была катастрофа. Могла ли я простить тебя? Прощу ли когда-нибудь? Ибо, даже отказывая, ты должен был позволить мне приехать, поехать с тобой, не оставлять меня одну, зная, что для меня это — ночь. Как ты мог не знать, что оставляешь меня в ночи? Ты бежал,

как вождь, бросивший свое оружие и предавший своих воинов врагам. Ты не мог не знать, на что обрекал меня в отчаянии моего поражения: на безумие, потому что уже считал меня сумасшедшей, на самоубийство или на самые жестокие испытания. Но у меня не было сил ненавидеть тебя. Я влачила сквозь дни, ничего не замечая, потом получила твою телеграмму из Монреаля, потом — два письма. В первом ты писал обо всем, что угодно, но не о себе и не обо мне; второе было еще более пустым — о выставке, как она все изменила, как теперь танцуют и как едят. И однажды вечером я сдалась, уступила перед заговором, который окружал меня в университете. «Да брось ты, пойдем с нами, у нас компания, все свои ребята!» А наутро я проснулась в ужасном доме, растрепанная, истерзанная, ты знаешь, в каком состоянии, и думаешь, я пожалела себя? Нет, не себя, клянусь, я представила твои скорбные глаза, твое лицо, искаженное болью: ведь я боялась худшего, но я не говорила себе: «Бедная Диейнаба!», а говорила: «Бедный Ибра, у тебя все украли!» Первое слово, которое я выкрикнула, как мне сказали, было «Ибра!». «Я убью себя, я убью себя, — говорила я. — Ибра!» И тогда Ральф встал на колени и начал меня успокаивать. Ральф и Жослина. И я поцеловала Ральфа в щеку и сказала ему... не «Спасибо, ты спас меня», а «Ибра будет любить тебя, как младшего брата».

А после я отгородилась от всех, от всего, ничего не видя и не слыша, не желая ничего ни от кого, я сложила мой чемодан и стала ждать: если бы у меня был ключ от твоего дома, я уехала бы сразу. Я не думала ни о чем другом и жила только ради одного: принадлежать тебе, чтобы не было больше опасности, чтобы ни жизнь, ни смерть не могли у меня этого отнять. Я хотела быть твоей женой сразу же, как только сойду с поезда; я думала, ты это знаешь, и только из-за моей усталости ты сказал мне вчера: «Спи!» Я заснула, говоря себе, что ты прав, из-за моей усталости; но сегодня утром я увидела твои нахмуренные брови. Я летела к тебе, твоя жена, твоя жена, Ибра, извечно твоя жена, твоя сестра и твое дитя, тебе надо было только открыть мне объятия, позволить приникнуть к тебе и нежно, ласково научить меня всему, чего я еще не знаю. В тот миг не нужно было говорить никаких слов, даже самых простых слов... но ты отодвинулся и сказал: «Прикройся, прикрой свои груди», ты обращался со мной, как с бесстыдной девкой, но ведь я никогда тебя не стыдилась, Ибра, когда я с тобой, мне нечего стыдиться, ты единственный мужчина на земле, перед которым я могу быть обнаженной и не думать

об этом. Дядя Ибра, есть ли на свете любовь больше моей?

— Нет любви прекраснее твоей, Диейна, и я смущен до глубины души. Ведь я никто, Диейна, во мне нет ничего, что можно было б так любить, и, как ребенок — своему божеству, мне хочется сказать: «Я недостойн, я недостойн...» Видишь, я плачу, а я не плакал двадцать лет, даже когда умерла Асту, и даже раньше, когда умерла моя мать, и я никто и ничто. Чтобы принять то, что ты мне предлагаешь, надо быть богом.

— Если бы ты был богом, я бы тебя не любила. Я не люблю бога.

IV

Теперь, когда она высказала все, Диейнаба молчала, как адвокат, который произнес свою защитительную речь и с волнением ожидает приговора. Глаза ее были устремлены на меня. Я боялся совершить ложный шаг, ведь тогда ее признание ляжет на меня новым грузом. Все, что она говорила, и как она говорила, и отдельные ее слова, — все граничило с истерией. Но в одном она была права: мы все этим страдали. Однако Диейнаба имела над всеми нами преимущество: ее профессия приучила ее к анализу, она старалась объективно анализировать свои чувства, и даже когда она бессознательно ошибалась в каких-то важных деталях, способность к анализу спасала ее от настоящего психологического срыва.

Мало того: эта исповедь помогла ей освободиться от внутреннего напряжения; она должна была противопоставить меня себе, а для этого — отделить меня от себя и себя от меня; с переслоением личностей было покончено. Она освободилась от меня, хотя сама еще этого не сознавала; сейчас нужно было выиграть время.

— Возьми этот ключ, — сказал я. — Мой дом теперь твой дом; тебе не придется больше ждать, когда ты захочешь прийти сюда, и здесь никогда больше не будет следов разных Нэнси или Марджори; я женюсь на тебе, когда ты захочешь, только при одном маленьком условии...

— Каком условии, дядя Ибра?

— Подожди еще немного. До июля. И если ты не раздумашь...

— Я раздумаю? Вся моя жизнь прошла в ожидании одного тебя.

— Если ты не раздумаешь до июля, я тебя встречу. А пока давай договоримся: ведь не все же они там в университете прогнили насквозь. Ты должна найти себе подходящую компанию для веселья. Возьми хотя бы Ральфа! У него должны быть хорошие друзья. Я напишу ему, чтобы поблагодарить за тебя, и попрошу позаботиться о тебе. Ведь есть же театры, спектакли, приличные дансинги, надо жить по своему возрасту. И Ральф будет с тобой.

После этого я принялся наставлять Диейнабу. Объяснил ей, что в Нью-Йорке одинокая девушка не может позволить себе невинных развлечений. Невинность там только провоцирует нападение. Стоит вспомнить, что делается на автостоянках на Риверсайд-Драйв или на Парк-стрит: в каждой машине парочки, как сардинки, и даже без всякой маскировки, — полная свобода «новоявленных адептов».

Мне пришлось решить самому: Диейнаба не будет моей женой. Я принял это решение не ради себя — чтобы вновь не погрузиться в зыбучие пески чувств, — и не ради Диейнабы, — я не уверен, что для нее это будет лучшим выходом, — а ради нового общества, которое предстоит построить, а для этого надо разбить старые идеалы. На набожности завтрашний мир не построишь. Нужно было, чтобы Диейнаба вышла наконец из убежища, куда ее на каждом шагу, при каждом столкновении, при малейшей угрозе загоняет слепая жажда счастья. Завтра уже наступает, завтра — это мир Ральфа и Диейнабы, и нельзя допустить, чтобы она вступила в него с завязанными глазами.

Но ко всему этому примешивалась наша личная проблема, и я не знал, как ее разрешить.

— Если твое сердце, — сказал я, — обратится к другому...

— Не говори так!

— Однако я должен сказать. Если твое сердце подскажет: люби! Скажи себе: «С этого мгновения и до конца моих дней слова «катастрофа» и «ужасное испытание» навсегда изгнаны из моей жизни». А я, пока живу, буду рядом. Любую брешь я заделаю. (Это были решительные слова: как раз такие, какие нужно!) Пока ты будешь нуждаться во мне, я буду для тебя могучим деревом с тенистой листвой. Иди, живи, как ты захочешь, но только живи. Как бы ни была велика твоя боль или потеря, возвращайся и скажи: «Дядя Ибра, мне плохо!» И если когда-нибудь ты снова скажешь мне, как сегодня: «Возьми меня в жены», тем лучше, даже если я буду твоим пятым или шестым мужем. Ты меня поняла? Сбрось все свои оковы. Если

ты принесешь мне в своем чреве ребенка от другого, он будет моим ребенком.

Хорошо ли я сказал? Но это единственное, что у меня было в то мгновение, в странном смещении еще не рожденного света и бездонных вод, когда я играл роль бога, готового сотворить свет и сушу, передо мной возникла одна опасная истина: я любил всеми силами души и, может быть, всю жизнь этот большой темный цветок, который склонился к моим ногам, изливая в слезах свое облегчение.

— Дядя Ибра, ты разбил все мои цепи. Ты мне показал их, ты к ним прикоснулся, и их больше нет. Ты плачешь?

Я не плакал; просто искал за экраном моих век и моих ладоней образ умершей.

— Как ты узнал, что я была такой пленницей?

— Наверное, потому, что я очень любил Асту.

Она поднялась. Повернувшись ко мне, она медленно затянула пояс своего халата.

Но ведь я обещал себе: я возьму ее за плечи и поверну лицом к жизни!

— Ты уедешь завтра.

Ее пальцы, завязывавшие пояс узлом, задрожали, руки бесильно опустились.

— Хорошо, Ибра.

Она повернулась ко мне спиной и направилась к своей комнате. На этом новом пути она еще не походила — совсем не походила! — на амазонку. Шла, понутив голову, опустив слегка плечи, и, казалось, считала на ходу поблекшие цветы ковра. Машинально опустила она левую руку в карман халата, нащупала там ключ. Обернулась. Между нами было шесть метров, заполненных неподвижными предметами, мертвыми и ненужными для нашего немого диалога, но этот маленький металлический ключ, сверкнувший в ее пальцах, внезапно превратился в символ и стал нашим судьей. Если она мне его протянет, вопросительно глядя мне в глаза, значит, она еще надеется, что я изменю свое решение; если просто положит на стол, значит, она войдет в новую пустыню одна, и может быть, как мой враг; но ее пальцы сжали ключ, она подняла на меня глаза, и во взгляде ее было согласие.

— До июля, — сказала она, улыбаясь.

Было третье мая, часы показывали полдень.

В четыре часа она мне позвонила.

— Ты пообедала? — сразу спросил я.

У меня была такая привычка — всегда начинать с чего-нибудь обыденного, простого, «чтобы отвести от себя стрелы»,

говорила Асту, «чтобы спрятаться», иронизировала нетерпеливая Диейнаба.

На этот раз она рассмеялась и ответила счастливым голосом:

— Да, я пообедала, пообедала, пообедала!

И после короткой паузы:

— Дядя Ибра, ты меня слышишь?

— Слышу, Диейна.

— Дядя Ибра, я никуда не поеду.

Тяжкий груз упал с моих плеч, я даже не представлял себе, как он был тяжел! С внезапной легкостью и опьянением я пробормотал:

— Почему, Диейна?

— Мне полюбилась тюрьма, в которой ты — тюремный сторож.

— Нет никакой тюрьмы, Диейна, — сказал я, рассмеявшись в свою очередь, потому что почувствовал, что сам в этот миг освободился из тюрьмы. — И никогда больше не будет. Мы распахнем все тюремные двери в июле, в Дакаре.

Я повесил трубку. Улыбающееся лицо Асту парило над моим столом в голубоватом неоновом свете, а рядом с ним — лицо Диейнабы в такой же рамке.

Вот так это было! Всего, конечно, не скажешь — сразу, на всю жизнь. Но мне пришлось пройти долгий путь со множеством поворотов и отступлений, прежде чем я нашел Диейнабу в самом сердце простых и насущных вещей, где она ждала меня всегда.

Перевод с французского Ф. Мендельсона



Сада Веннде Ндиай

Сада Веинде Ндиай (род. в 1939 г.) — сенегальский писатель, автор сборников рассказов «Русалка», «Шага и цветок».

Рассказ «Русалка» переведен из одноименной книги, опубликованной издательством «Ле Нувель Эдиссон Африкэн», Дакар — Абиджан, 1975.

РУСАЛКА

Тефесс — это пристань. И не какая-нибудь особенная, вовсе нет, самая что ни на есть обыкновенная, каких тысячи на любом побережье. Проведите пальцем по карте Сенегала, начиная сверху, с севера. После Зеленого мыса африканский материк, утомленный борьбой с океаном, перестает призывать своих сыновей из далекой Америки и благосклонно подставляет свой бок волнам, которые беспрестанно набегают на него, перекатываясь друг через друга, и тихим шепотом рассказывают бесконечные истории о дочерях океана, океанидах. Тефесс у нас, кроме того, это квартал людей моря, бесстрашных и нервных лебу, неутомимых рыбаков, чьи пестрые лодки с арабскими и французскими надписями лежат вдоль всего побережья, всегда готовые устремиться навстречу волнам в поисках рыбы жен, этого великого хитреца, сверкающего как зеркало и капризного как женщина, который в тот далекий день, когда всемогущий творец даровал ему водное царство, вообразил, будто может избежать участи всего живого, несмотря на то, что именно ему известный владыка поручил открыть пророку Ионе, что ничто на свете не свершается помимо его божественной воли.

Тефесс — густонаселенный квартал, деловой и кипучий, где праздность неведома людям. Домá там, правда, иной раз старые и ветхие, но кошельки у жителей туго набиты. Мужчины, женщины, дети — все занимаются тут какой-либо торговлей на самых разных уровнях, но всегда связанной с рыбной ловлей. Здесь ноги тонут в морском песке, если только не цепляются за бесчисленные сети, разложенные для просушки на солнце прямо на улицах, где не умолкают звонкие крики детворы. Сразу после полудня над большими очагами вздымаются гигантские клубы горького дыма: это женщины начинают коптить йябой — сочную маленькую рыбешку, у которой десять раз по десять тысяч костей и которая сыграла уже тысячи злых шуток с неосторожными обжорами. Клубы дыма свиваются в одно сплошное облако и затягивают почти

весь город. И тогда горожане, охочие до жена, однако не омочившие ни разу ног в соленой воде, хотя бы до лодыжек, брезгливо затыкают носы и моргают слезящимися глазами. А ведь эта особенная горькая дымка — верный признак того, что море было щедро и цены на рыбу будут самые низкие. Это признак того, что в Тefессе сердца людей полны радости.

Сентюлеен фёле.
Усталые, но довольные,
Прямо к веселому берегу
Правят все рыбаки.

Жислеен гааньи нале.
Все море они обыскали,
Усталые, но довольные,
Прямо к веселому берегу
Богатый везут улов.

Жааджеф йеен гоорньее.
Усталые, но довольные,
Прямо к веселому берегу
Летит их громкая песня.

Но в Тefессе сердца лишь вздрагивают в ритме всплескивающих волн. Сердца тех, кто в море, хранят среди всяких забот и хлопот, хранят в глубине сокровища любви. Здесь любят так же, как в любом другом уголке земли. И когда утихают волны, океан напевает всем вечную песнь влюбленных.

Все знают, конечно, немало историй о большой, настоящей любви — и прекрасных историй! Можно, правда, не знать какую-нибудь особенную, но таких немного. Зато историю любви Сейнабу знают почти все жители Тefесса.

Люди, привыкшие верить в чудеса, прежде всего вопрошали друг друга: кто же она, эта Сейнабу, Набу, — да человек ли она? Эти волосы цвета меда, которые, если она расплетает косы, искрящимся водопадом ниспадают до талии, а талию можно обхватить двумя ладонями, этот тонко очерченный нос с трепетными ноздрями, словно всегда ловящими ветер морских просторов, этот сочный рот с алыми губами, которые никак не могут скрыть от восхищенных взглядов сверкающую белизну зубов, эта гордая посадка головы, эта гибкая шея, эти твердые дерзкие груди, эти волнующие бедра, стройные ноги, узкие руки и эти пальчики, которые страшно пожать, — а вдруг раздавишь? — и все озаренное непереносимым сиянием огромных глаз, струящимся из-под густых ресниц цвета старой хны.

Откуда у нее все это?.. Многие утверждали, что Набу — дочь дьяволицы, которую подкинули славной Йай Асту вместо

ее девятого ребенка, когда она родила его на тридцать седьмом году своей спокойной и безмятежной супружеской жизни. Ибо дьявол, как говорят, стремится сблизиться с человеком, чтобы уберечься от льва Гаинде¹, для которого самая сладкая добыча — лесные дьяволята, а они, на свою беду, неспособны увидеть царя саванны. Вот почему им нужен сын человеческий, — только он может защитить их от льва Гаинде, как волшебный амулет.

Разумеется, можно придерживаться прямо противоположного мнения, однако следует признать, что в чудесно изваянных чертах Набу было нечто, заставлявшее трепетать самые чувствительные струны гитары человеческой души. А когда Набу шла, — а она почти все время была в движении, — легкий шаг ее напоминал грациозную гибкую поступь газели в саванне.

В девятнадцать лет Сейнабу Тхиав все еще выглядела четырнадцатилетней девочкой. Тело ее отказывалось подчиняться времени, хотя возраст ее, по нашим меркам, был уже вполне зрелым. Единственная дочь, появившаяся вслед за восемью братьями, гордостью их отца, Набу была любимицей матери, возносившей хвалы небесам за этот запоздалый дар. Она ни в чем не испытывала недостатка. Были у нее всевозможные наряды: бубу, тяжелые, длинные и легкие, обрезанные ниже колен, роскошные накидки из Мали или из селений ндиаго, платья всех цветов и фасонов, сандалии, туфли, — всякая обувь, ожерелья, серьги, самые разные украшения и драгоценности, — все дарил ей отец, давно уже достигший богатства, предприимчивая мать и любящие братья, чье умение ловко орудовать сетями и леской у многих вызывало лютую зависть. Однако все эти дорогие наряды и безделушки, похоже, больше лежали в сундуках и шкафах вместо того, чтобы украшать тело Набу, которое, впрочем, нисколько в этом не нуждалось, — так щедро одарила его сама природа!

— Набу! — окликали ее.

А она уже промелькнула, как молния, и осталось только облачко мелкого песка, взметенное ее маленькими ногами.

— Набу!

А в глазах лишь смутный летящий силуэт ее легкой, небрежно повязанной накидки.

— Набу!

А в ушах только отзвук ее серебристого смеха.

— Набу!

¹ Гаинде — лев, персонаж сенегальского фольклора.

И невольно жмуришься, ослепленный ее улыбкой.

Когда Сейнабу, чье мимолетное появление подстерегали все юноши Тефесса, уставала мелькать тут и там, она уходила на пристань своим легким, упругим шагом. Там у нее был свой уголок, свое царство, вдалеке от рыбацких причалов. Там она растягивалась на животе лицом к морю и долгими часами следила за капризной игрой волн, тихонько что-то напевая. Она похожа была на сирену, которая устала шалить и забавляться среди людей и теперь ждала, чтобы перед нею снова открылась дверь в подводный трепетный мир, где она родилась. И все веселило ее: странный излом прибоя, лодка, взлетающая на волнах, как пробка, озорные порывы ветра, неловкость прохожего, окаченного брызгами, — все вызывало серебристый смех.

Необычное поведение Набу обескураживало многих. Бывало, какой-нибудь достаточно смелый юноша решался вступить на песчаный пляж, где отдыхала сирена Тефесса.

— Добрый вечер, Набу!

— Добрый вечер. Смотри, какая чудесная ракушка!

Так она отвечала, не поворачивая даже головы. И продолжала вертеть в маленьких ручках восхитившую ее створку.

А в другой раз она спрашивала, словно во сне:

— Какие лодки уже вернулись?

— Но послушай, Набу, ты опять не была в субботу на нашей вечеринке. А я так надеялся, что ты придешь. Весь вечер прождал тебя.

Сейнабу поднималась одним движением, не обращая внимания на белый песок, прилипший к ее телу, и переходила на другое место или делала вид, что собирается домой, чтобы после ухода юноши снова вернуться на свое излюбленное ложе, тихонько напевая:

Гееджа н'гала риирее
Гееджа н'гала риирее
Айяй геедж мааджоор
Саалааа.

Геедж — это море. И этот ритмичный мотив передает дыхание волн, музыку моря. Он говорит о его гневе, о его ярости, о его безумии, когда море похищает храбреца, которого ждали вечером на берегу, но он не вернулся.

Море вздыхает, дышит,
Море кипит, клокочет
И с добычей расстаться не хочет.
Саалааа!

И все же его почитают, ибо это же самое море — мать-кор-милица, и его волшебные волны стирают следы любых злодеяний.

Но не только в сердцах юношей вызывала Набу смятение. Славная Йай Асту не находила себе места от беспокойства. Она так мечтала выдать свою единственную дочь замуж, устроить ей пышную свадьбу! И вот ее Сейнабу, самая красивая, самая грациозная из всех девушек Тефесса, — да что там Тефесса — всего города! — не могла найти себе мужа! Может быть, потому, что не искала? И она в самом деле не искала, даже наоборот. А может быть, потому, что многие опасались ее, этой девушки, считая ее русалкой? Да, тут было и то, и другое, — все вместе.

Единственные женихи, официально сватавшие ее, были из числа пожилых мужчин, уже под пятьдесят, настоящих морских волков, проникших во многие тайны моря и магических знаний. Ибо для того, чтобы жениться на Набу, русалке, не опасаясь гнева и мести гееджа, нужно было... да, нужно было отличаться от обычных смертных. И отец Набу, аль-Хаджи Ибрахим Тхиау, это твердо знал. А потому он страшился своею волей выдать Набу замуж, хотя многие из тех, кто просил руки его дочери, были в его глазах людьми достойными во всех отношениях.

— Моя маленькая Сейнабу, ты уже взрослая, и тебе нужен муж. Нравится тебе Малик Диоп? — вопрошала мать.

Но в ответ Набу разражалась слезами, и Йай Асту спешила ее утешить, хотя ей так хотелось заполучить в дом зятя. Что делать? Столь нежную душу нельзя ранить, — она того не заслужила.

И все же однажды ночью Йай Асту надоело рассказывать дочери волшебные сказки, и она спросила:

— Набу, сердце мое, почему ты не скажешь мне имя человека, которого любишь?

— Я всех люблю, мамочка... Почему я должна кого-то любить, а кого-то оттолкнуть?

Можно представить себе, как смутилась славная женщина.

— Да, Набу, но в этом деле ты должна сделать выбор, иначе никак нельзя. Можно ценить и почитать всех, но сердцем любить только одного — ты меня понимаешь? Неужели ты хочешь, чтобы я умерла, так и не подержав на руках своего внучонка?

— Но ведь трое моих братьев уже женаты. И у каждого есть жена и дети.

— Это правда, Набу, но я больше всего хочу побаюкать дитя моей единственной дочери. Вспомни: ведь я ждала тебя

целых тридцать семь лет! Подумай хорошенько: неужели твое сердце никогда не билось сильнее при виде какого-нибудь одного мужчины или юноши?

Сейнабу молчала. Долгое время она прислушивалась к далекому шороху волн, а потом закашлялась и проговорила слабым голосом:

— Может быть, он еще вернется...

Сердце Йай Асту дрогнуло, славная женщина чуть не подпрыгнула. Тысячи вопросов — все об одном и том же — закружились в ее голове. Но какие выбрать слова? Йай Асту боялась, что неловким вопросом только заставит Сейнабу замкнуться. Она предпочла промолчать — может, Набу сама что-нибудь скажет? Йай Асту ласково улыбнулась дочери, поднявшей на нее сверкающие от слез глаза. Сейнабу сразу опустила голову. Минуты тянулись медленно, медленно.

— Ты знаешь, Набу, — решила наконец Йай Асту, — мы с отцом очень за тебя беспокоимся. И твои братья тоже.

— Потому что для вас тоже я не человек, а русалка?

Набу спросила это каким-то особенным тоном и ослепительно улыбнулась. Йай Асту вся затряслась, кровь бросилась ей в лицо, жарко стиснула виски.

— Не говори так, сердце мое, я совсем этого не думаю, а твой отец, ты знаешь, святой человек; он никогда не будет прислушиваться к сплетням, порожденным языческим духом.

— Но ты забываешь, мама, что я тоже учила Коран, — возразила Набу. — И в святой книге часто упоминается имя дьявола, и всегда оно связано с именем человека.

— Конечно, Набу, конечно... Но между ними пропасть. А самое главное, это что мы не верим всем этим рассказам: их могла породить только черная зависть! И больше всего на свете мы хотим, чтобы эти злые языки умолкли. Однако ты должна нам помочь.

Сейнабу уперлась ладонями в циновку, одним движением приподнялась и села чуть дальше. Но лишь для того, чтобы тотчас снова лечь, опустив голову на вытянутые ноги матери.

Йай Асту этого не ожидала. Она думала, что обидела свою любимицу, и наклонилась к ней, желая прижать к своей груди, и едва не ударилась лицом о голову Набу. Облегченно вздохнув, Йай Асту ласковой рукой принялась гладить шелковистые волосы дочери. Лишь через четверть часа она решила задать вопрос, который ее мучил:

— Набу моя, кто же должен вернуться?

Сейнабу зарыдала. Йай Асту тоже плакала, уткнувшись лицом в промокшие от слез волосы своего дитяти.

Снаружи вечерние голоса людей постепенно затихали, а голос моря, словно приветствуя луну, восходившую в наполовину затянутом тучами небе, с каждой минутой становился все громче.

— Набу, ты спишь?

Девушка не ответила.

— Ступай к себе, Набу, ладно? Отец вот-вот вернется.

Но только еще через четверть часа Сейнабу поднялась и, не сказав ни слова, ушла в свою комнатушку.

На другой день с раннего утра Сейнабу, как обычно, подметала двор, весело распевая, и глаза ее искрились от радости. На лице ее не было и следов вчерашнего горя.

Йай Асту в ту ночь почти не спала, мучимая зловещими кошмарами, и теперь при виде дочери от удивления разинула рот. Ей казалось, что вчера она кое-что поняла, но вот Сейнабу перед ней, такая же загадочная и неуловимая, и, видимо, то решение, к которому они пришли с мужем, было далеко от истины.

В ту ночь аль-Хаджи Ибрахим Тхиав и Йай Асту прежде чем смежить глаза долго обсуждали каждое слово Сейнабу, а особенно ту короткую фразу, которую она обронила в трудном разговоре с матерью: «Может быть, он еще вернется...» Кто вернется? Откуда? Надо было перебрать в памяти всех молодых людей, уехавших из Тефесса за последние три года в большие города или еще куда-нибудь. Ибо рыбаки тоже покидают родину, либо из-за того, что им становится слишком тесно, либо потому, что иностранные траулеры слишком усердно прочесывают наши территориальные воды во имя международной дружбы, либо потому, что жен, явно зараженный туристической лихорадкой, охватившей в последнее время всю страну, просто-напросто решил осмотреть другие районы побережья. Они перебирали имена одно за другим: Бабакар-угрюмец, Лейе-весельчак, Серинь-бесстрашный, Алассан-богобоязненный... Разумеется, в этот список не входили юноши безграмотные, невоспитанные или дурного поведения. И наконец, близкие отношения Сейнабу с Мбеней, дочерью имама, позволили им разрешить загадку: Сейнабу Тхиав несомненно поджидала ее брата Иссу.

Этот юноша, высокий и храбрый, ловкий и вежливый, однажды, три года назад, решил переселиться южнее, на зеленые берега Казаманса, в рай тропических зарослей.

— Ну что ж, — сказал аль-Хаджи Ибрахим Тхиав. — Исса Идуай мне как сын родной, а семья его — из самых уважаемых.

День завершался спокойно и монотонно. Отзвенели на берегу голоса рыбаков, вытаскивавших на песок свои лодки, стихли призывные крики торговков и звонкая трескотня хозяек, приходивших за дарами моря. Сокхна Бинету продала все двадцать семь кульков с арахисом, которые принесла в плоской корзине на голове. Она возблагодарила всемогущего за такую удачу и неверным шагом побрела к своему жилищу, где ее ждал слепой муж и шесть ее отпрысков: два мальчика и четыре девочки.

Этого момента давно ждала Сейнабу Тхив в своем излюбленном уголке пляжа. В серых сумерках, пронизанных охристыми лучами, она легко различила ковыляющую походку старухи, а главное — эту плоскую корзину у нее на голове. Время от времени, когда налетали порывы ветра, Сокхна Бинету живо поднимала руку, чтобы удержать свою жалкую переносную лавчонку.

Их дороги всегда пересекались у входа в жилой квартал, позади «дамба», этих шатких плетеных башен, похожих на гигантские мокрые корзины, где среди тающего льда хранилась рыба, предназначенная на вывоз: до утра она будет лежать здесь, пока ее не погрузят на грязные грузовики, окутанные дымом и тошнотворной вонью.

— Добрый вечер, тетушка, мирно ли у тебя на душе?

— Мирно, всегда мирно, Набу. А ты, у тебя был хороший день?

— Да, слава богу, довольно хороший.

— Ты знаешь, вчера минут через пять после твоего ухода приходит твоя мать. Она принесла много риса, большой бубу и тысячу франков, — все это послал твой отец. Видишь, теперь у нас всего вдоволь. У нас в Тефессе все помогают друг другу, а твоя семья даже слишком щедра. А ты все не унимаешься, делаешь глупости...

— Если я приношу тебе то, что принадлежит тебе, разве это глупости? Неужели я должна уйти из этого мира, потому что даже ты отказываешь мне в счастье после того, что совершилось по воле божьей?

— Полно, полно, не говори так. Ты уже взрослая девушка, тебе самой нужны одежды и деньги. А ты ходишь почти голая и слишком балуешь наших детей.

Несколько минут они шли рядом в молчании.

— Да, ты тоже отказываешь мне в счастье, — повторила Набу, словно очнувшись от глубокой задумчивости.

— Нет, дитя мое, ты же знаешь: я люблю тебя всеми силами моего разбитого сердца. Без тебя это бедное сердце, наверное, давно бы уже остановилось.

— А в чем ты хочешь, чтобы я находила счастье, если ты запретишь приносить тебе хоть немного радости? Для меня ничего другого не существует.

— Ты так добра, Набу... Ах, если бы я могла вырвать Ламину у моря! Ах, жестокое море!..

Жестокое море!

Он уплыл однажды, ее Ламин, с улыбкой на устах и с радостью в сердце. С радостью, оттого, что сможет заработать, заработать и взять себе жену, взять Сейнабу, русалку, которой боялись все юноши. Как они виделись? Да так же, как все молодые люди. Очень просто. На празднике дня рождения однажды утром, на пляже однажды после полудня, на вечерней службе однажды вечером, в сновидениях однажды ночью.

Жестокое море!

Ночь, облака, ветер, буря и слепой дикий вихрь, уносящий жизнь.

Жестокое море!

Он уплыл, Ламин, оставив на берегу заплаканную мать, слепого отца, для которого был единственной верной опорой, своих братьев и сестер, и еще — Сейнабу, русалку. Ее тоже оставил он на берегу. Да. И нет. Он унес с собой ее сердце. И поэтому каждый день Сейнабу ожидала на берегу возвращения своего сердца, чьи стоны и горькие жалобы доносил до нее ропот волн.

Море вздыхает, дышит,
Море кипит, клокочет
И с добычей расстаться не хочет.
Саалааа!

И, сидя одна в своем уголке на пляже, Набу улыбалась волнам, смеялась и пересыпала в ладонях песок и ракушки.

Сокхна Бинету наконец заметила, что Сейнабу плачет. Она пожалела о своих слишком суровых словах. Костлявая рука ее крепко обхватила гладкое плечо девушки. И в глубине еще юной ночи удивительный поток чувств объединил эти два существа, эти две души, которые разделял только возраст.

— Полно, Набу моя, тебе уже пора домой.

— Нет, пока не навещу больного.

— Аблайя? Но ведь он теперь здоров. Просто голова болела. Ступай, и доброй тебе ночи.

— Доброй ночи, тетушка. Скажи Аблайю, что я зайду завтра. Тем более, завтра моя очередь стирать.

— Ах, Набу, неужели ты никогда не повзрослеешь?

— Доброй ночи, тетушка.

— Мир тебе и мир твоей душе.

Ночь была тиха, комары почти все исчезли. Море, геедж, катило вечно шелестящие волны, а луна с небес прислушивалась к голосам рассказчиков, собравшихся кружками на своих дворах. С порога дома Йай Асту окликнула Сейнабу, чей звонкий смех украшал все вечерние посиделки. Девушка живо вскочила и в несколько легких прыжков очутилась рядом с матерью. Как и в прошлый вечер, Йай Асту села на циновку посреди комнаты и привлекла дочь к себе.

— Сейнабу!

— Да, мама.

— Сейнабу, мы с отцом вчера вечером долго говорили о тебе.

— Я знаю.

Йай Асту широко открыла глаза от безмерного удивления. Она не решилась задать вопрос, откуда ее дочь знает, что они о ней говорили. Спустя несколько минут она продолжила:

— Мы не хотим навязывать тебе мужа и не собираемся оспаривать твой выбор. Мы только просим тебя сказать нам, кого ты избрала, чтобы принять все предосторожности. Главное — узнать, будет ли ваш брак счастливым, совпадают ли ваши созвездия...

— И будет ли мой муж тоже сыном моря, не так ли? — горько спросила Сейнабу.

— Ну что ты, Набу моя, не огорчай меня сверх меры. Твой муж будет нашим сыном. Открой нам только имя того, кого ты ждешь. И мы будем молить бога, чтобы вы были счастливы.

— Хорошо, тогда выдайте меня за Аблая.

— Какого Аблая? — воскликнула Йай Асту, невольно подскочив. — Кто этот Аблай?

— Сын Сокхны Бинету.

Ошеломленная Йай Асту воздела глаза к потолку, словно там было начертано имя этого семнадцатилетнего юнца, младшего брата Ламина, погибшего в море. Тяжелое молчание повисло в комнате. Славная женщина думала, что, хотя дочь ее не русалка, морские духи наверняка лишили ее разума. Нежное сердце ее содрогнулось, и горечь наполнила душу безутешной матери.

— Но послушай, Набу моя, Аблай всего лишь ребенок. Ты сама не знаешь, что говоришь.

Сейнабу зарыдала. Йай Асту тоже зарыдала. Лишь через несколько долгих минут девушка вздохнула и сказала:

— Мапочка, дорогая, разве ты не знаешь, что Аблай — брат Ламина?

Так вот, значит, в чем дело! Темная завеса тайны упала, и трагическая истина предстала перед глазами матери в ослепительном свете. Вот что означают ее безумные блуждания по улицам, ее безразличие ко всем ухаживаниям влюбленных, ее одинокие вечера на пустынном берегу, и вся эта еда, продукты, одежды, которые она относилась Сокхне Бинету и ее детям! Все это выступило из тьмы, как силуэты лодок на песке при первых утренних лучах.

— Только двумя путями я могу соединиться с Ламином, — продолжала Сейнабу. — А я должна с ним соединиться, мамочка, дорогая. Это свадьба с Аблайем или... свадьба с морем.

Последние слова она произнесла почти весело, с улыбкой на устах.

Йай Асту содрогнулась с головы до ног. Вместе с дочерью ступила она на зыбкую почву, где бездонные пропасти и жестокие чудовища подстерегали их каждый неверный шаг.

— За тетушкой Сокхной совсем некому ухаживать, ее дочери слишком малы. Я чувствую, что могу любить только полностью, до конца, или совсем не любить. Ламин для меня Ламин, но это также тетушка Сокхна, это дядюшка Джибрил, это его братья, его сестры, это их радость и их горе. Без этой семьи мне нет счастья. Понимаешь меня, мамочка, дорогая?

— Да, Набу моя. Я только думаю о молодом Аблайе.

— Разве не сказано в священной книге, что первая жена пророка была на сорок лет старше его?

— Поистине это так, но Аблай еще ребенок, не забывай. А кроме того, он из касты рабов.

— Разве он не из касты людей, мама, милая?

— Да, конечно.

Славная женщина тяжело вздохнула.

— Ты помнишь, мамочка, как тяжело я болела? Лет пять-шесть назад?

— Как могу я забыть? Набу, мы тогда уже все отчаялись...

Сейнабу промолчала. Йай Асту ждала, что она еще что-нибудь добавит. Но Сейнабу молчала. И внезапно ответ пришел, словно вспышка молнии, но не от дочери, а из тьмы материнской памяти. Шесть лет!.. Шесть лет назад ушел Ламин в море... Навсегда... Навсегда... «Может быть, он еще вернется?» Ламин не вернется. Из этих темных глубин никто не возвращается.

О, жестокое море! Жестокое море! Жестокое море!

Гееджа н'гала риирее
Гееджа н'гала риире
Аййй геедж мааджоор
Саалааа.

Жестокое море!

Ты вздыхаешь и дышишь,
Кипишь и kloкочешь
И с добычей расстаться не хочешь.
И ты хлещешь, как молния,
Грома дочь,
Что в саванне спаленной
Сражает сквозь ночь,
О, жестокое море!

— Хорошо, — сказала Йай Асту. — Я поговорю с твоим отцом, Набу моя.

День шел за днем, месяц за месяцем, год за годом... Необратимое время неумоимо перебирало свои бесконечные четки, отмечая через неравные промежутки события, созданные из радостей и горестей человеческих.

Пролетело два года. И однажды в сумерках имам перед внушительной толпой произнес священные слова, соединившие узами брака Сейнабу, русалку, и Аблайя, младшего брата Ламина. Ей был двадцать один год, а ему — девятнадцать. Невероятное событие, неслыханная история за всю историю Тефесса!

А потом появился ребенок. Чудо, а не ребенок! И разлет бровей, и вырез ноздрей, и линия губ — все в нем напоминало Ламину. Даже глаза, даже уши. Все, кроме прядей волос цвета меда, которые он унаследовал от матери.

Сокхна Бинету плакала не переставая, Йай Асту плакала слезами Сокхны Бинету, Набу боролась с пожиравшей ее лихорадкой. Аблай сходил с ума. И однажды ночью смерть низринулась с высоты, как орел, как молния, и сразила Сейнабу Тхив, русалку. Успокоила ее навсегда. Маленькому Ламину было восемь дней. К Сокхне Бинету вернулся ее сын. Йай Асту получила своего внука. Набу обрела свое сердце. Аблай вступил в настоящую жизнь.

Жестокое море! .

Перевод с французского Ф. Мендельсона



ЗАПАХ ЛУКА

ПЕГГИ АППИА И ЕЕ ГЕРОИ

В литературе Ганы появилось еще одно имя — Пегги Аппиа. Она вошла в литературу незаметно, без шума, толков и ажиотажа, которые нередко возникают вокруг нового имени.

Робким новичком, однако, она себя не чувствует: за четыре года творческой работы у нее вышли три повести — «Запах лука», «Подарок Ммоатиа», «День поминовения», а также сборник сказок (Аппиа — филолог по образованию). У молодой писательницы есть достаточный жизненный и профессиональный опыт, накопилось много наблюдений и впечатлений, что позволяет ей спокойно и основательно работать. Есть у нее, как и у большинства литераторов, свои излюбленные темы, круг постоянных привязанностей, героев.

Персонажи всех книг Аппиа — деревенские жители. Правда, показывает она не такую уж «глубинку», отрезанную от цивилизации и не тронутую ветром перемен. Деревушка, где происходит действие повести «Запах лука», находится недалеко от большого города и связана с ним

хорошей дорогой, по которой на автобусе езды часа два, а на такси (примета времени: крестьяне возвращаются из города с покупками на такси) еще меньше. Есть в деревне и другие блага: почта, телефон, новая школа, магазин. Словом, это не богом забытый уголок, но — хочется еще раз подчеркнуть — все же это деревня.

Африканская деревня, несмотря на внешние перемены, продолжает жить по законам и обычаям предков. Неторопливый, размеренный ход жизни, почитание старейшин и вождя общины, дух солидарности и симпатии, — вот, пожалуй, наиболее характерные черты африканской деревни. Не случайно для многих политологов традиционная община представляется фундаментом, базой, на которой Африка должна строить свое будущее.

В африканском городе жизнь, конечно, иная: большие фабрики, кинотеатры, рестораны, другой, более учащенный пульс жизни, иные отношения между людьми. Молодежь частенько убегает в город — хочется глотнуть свежего, как ей кажется, воз-

духа, посмотреть, как живут люди. А люди пожилые, устав от городской суеты, наоборот, возвращаются в родные деревни.

О городе Пегги Аппиа пишет мало и только в тех случаях, когда он задевает — прямо или косвенно — жизнь деревни. И почти всегда город становится символом отрицательного: алчности и духовной пустоты, безразличия и неуважения к человеческой личности и жизни. Город, полагает писательница, калечит людей нравственно и физически.

Можно ли в таком случае говорить, что автор совсем не хочет замечать здоровых сил города, ростков нового? Давать однозначный ответ, думается, было бы преждевременно. Правильнее полагать, что Пегги Аппиа умышленно фиксирует внимание читателей на язвах капиталистического города, чтобы на этом фоне еще привлекательнее выглядели ее герои — деревенские жители.

Герои выписаны молодой писательницей очень тщательно — индивидуализирована и их речь, и портрет, и поступки. Повесть «Запах лука» — это серия новелл о событиях в африканской деревне, о событиях далеко не выдающихся, но для героев очень важных.

В центре повести — Кваку Хоумпам. На одной из первых страниц Пегги Аппиа говорит о своем герое, что тот обнаружил, «как приятно, оказывается, без-

дельничать». Автор лукавит. Кваку Хоумпам совсем не бездельник, все дни его заполнены до отказа большими и малыми делами, каждое из которых не терпит отлагательства: надо провернуть, как идут дела на плантации, постоять за прилавком своей лавчонки, поговорить со своими сверстниками, деревенскими стариками, а их беседы степенны и обстоятельны.

Кваку Хоумпам, чье присутствие, как запах лука, ощущается на протяжении всей повести, становится знаменитостью: благодаря ему раскрыто преступление, волновавшее всю округу, и пойманы преступники, долгое время водившие за нос городскую полицию. Как видим, деревенский детектив и здесь берет верх и, испытав миг торжества, героем возвращается в родные края.

Чистая и прозрачная повесть Пегги Аппиа об африканской деревне и ее людях замыкается очень лиричным авторским эпилогом. «Рассказ, — говорит автор, — это тот же ковер: когда его заканчиваешь, нужно обрезать нити. Но сюжетная нить и потом будет ткать свой узор, ей нет ни конца, ни начала... Ведь жизнь идет своим чередом: один опускает ношу, другой ее принимает и несет дальше».

Пожелаем же Пегги Аппиа написать новые главы из жизни ее героев.

Евг. Суровцев

Деревня раскинулась на пригорке по обе стороны дороги, которая спускается к речушке и убегает вдаль. С веранд своих домов жителям видно всех, кто приближается к деревне, но, конечно, самый лучший наблюдательный пункт — двор Кваку Хоумпама. Дом его стоит под горкой, как раз здесь водители грузовиков и легковых автомобилей переключают скорость, чтобы одолеть подъем. Дверь с веранды ведет в лавку, и здесь, в кресле-качалке, сидит день-деньской с трубкой в зубах Кваку, то и дело поглядывает на дорогу, играет с приятелями в шашки, калякает о том о сем, попивая из большой бочки прохладное пальмовое вино, которым он торгует.

Кваку родился здесь, и вырос, и прожил всю свою жизнь, как прожили его отец и дед. Ему принадлежат несколько плантаций, где он выращивает бобы какао, на них работают его дети от первого брака, его племянники и племянницы. Первая жена Кваку (да упокоит господь ее душу) умерла несколько лет назад, а его нынешняя жена, Акоса, — женщина еще молодая и на редкость энергичная. Она училась в школе; и в город за товарами для лавки ездит не Кваку, а она. Акоса присматривает и за плантациями, она же определила своих детей в хорошие школы. Живут дети в городе у тетки, домой приезжают только на каникулы. Кваку гордится детьми, но не вмешивается в их воспитание, зачем ему лишние хлопоты, ведь за обучение платит жена, и одежду им она покупает, а денег почти никогда не просит, разве что на башмаки или доктору. Что и говорить, жена у него всем на зависть, Кваку ею не нахвалится.

Когда-то он тоже работал на земле. Мальчишкой ходил с матерью сажать батат, полол его; когда подрос, корчевал пни и расчищал землю, чтобы посадить деревья какао, а потом косил сорняки, иначе бы они заглушили молодые деревца. В лесу, который начинается сразу за деревней, он знает каждую тропинку. Раньше он частенько охотился ночами и до сих пор любит иногда достать с чердака свое старое ружье, разобрать его и смазать.

Теперь он может позволить себе не работать и неожиданно обнаружил, как приятно, оказывается, бездельничать. Предположим, зовут его племянники с собой на плантацию. Он сокрушенно вздыхает и говорит:

— А лавка как же? На кого ее оставить? Нет, вы уж ступайте, а я дома останусь. И вообще хватит, пора вам обходиться без меня. Умру я, кому все достанется? Вам. Учитесь хозяйничать.

Но вот чудеса: чуть на какой плантации что неладно, он бедо точно нюхом чувствует. Сейчас же туда помчится, и четыре-пять миль ему нипочем, отчитает лентя, пригрозит расправой соседу, который задумал отхватить у него кусок земли, прогонит лесозаготовителей, которые воруют или портят его деревья. Поэтому в семье Кваку уважают и даже боятся. Ходят слухи, что у него есть джу-джу¹, а может, ему обо всем сообщают ммотиа².

На самом-то деле ни джу-джу, ни ммотиа тут ни при чем, просто у Кваку всегда ушки на макушке, а глаза зорче, чем у ястреба. Он любит поговорить, но и слушать умеет, и к тому же мастер незаметно выведать у собеседника все, что ему надо. Без Кваку не обходится ни одно событие в деревне. Его зовут улаживать все семейные распри. В споре он видит дальше своих противников на несколько ходов вперед, и пусть он трижды неправ, нипочем в этом не признается. За всю свою жизнь он ни в одной сделке не потерпел убытку, ему всегда сопутствует удача. И, конечно, односельчане чтут Кваку Хоум-пама.

Так скажите по совести, разве не заслужил он права сидеть весь день на веранде и наблюдать за тем, что происходит в мире?

2. СТАРИКИ, ПРОЧЬ С ДОРОГИ!

За несколько лет до того, как начаться нашей повести, решено было построить в деревне почту. И, конечно, первым прознал об этом Кваку. Машина с геодезистами въехала в деревню, остановилась возле его дома, и шофер спросил, а где у них ахенфи³. Кваку с достоинством поднялся со своего кресла-качалки и повел их на деревенскую площадь. Показав ахенфи, которая стояла слева от дороги, он хотел было немедленно идти к вождю, чтобы обо всем ему рассказать, но геодезисты его задержали.

— Погоди, нам не ахенфи нужна, а дом напротив, где жил покойный Квази Тум.

— А, понятно, дом матушки Мансы.

И Кваку подвел их к развалюхе на том конце площади. Геодезисты достали свои инструменты и принялись делать отметки. Кваку стоял рядом и глядел во все глаза.

— Скажите, пожалуйста, вы откуда? И что сейчас делаете!

¹ Дж у - д жу — амулет, талисман.

² М м о т и а — духи, гномики.

³ А х е н ф и — хижина совета старейшин.

— Производим привязку, — объяснил старший из геодезистов.

— Домишко снесут, а на его месте вам построят почту, проведут телефон.

— А куда же денется матушка Манса?

— Кто?

— Матушка Манса, она же в этом доме живет.

Геодезист пожал плечами.

— Почему я знаю. Наверно, переедет к родственникам, — сказал он. — Дом-то продали.

— Надо ей рассказать, — решил Кваку и кинулся искать матушку Мансу. Во дворе ее не было, там рылись в земле тощие неухоженные куры да стояла под навесом молоденькая девушка, которая присматривала за матушкой Мансой. Кваку вбежал в дом. На пороге комнатенки, которая одна только и имела хоть сколько-то жилой вид, сидела матушка Манса. От старости она почти ослепла и узнала Кваку по голосу.

— Доброе утро, матушка, — заговорил он. — Я слышал, ты переезжаешь? Значит, родные решили наконец взять тебя к себе?

— Это ты, Кваку Хоумпам? Давненько ко мне не заглядывал, да и дети твои мой двор обходят, забыли старуху... С чего ты взял, что я переезжаю? Кто такую чепуху придумал?

— Да там за воротами люди метки какие-то ставят, они и сказали: мол, дом твой снесут и построят на его месте почту.

— Почту? Да ты что? В первый раз слышу. Нет, никуда я отсюда не поеду, шутка ли такой старухе с насиженного места сниматься! Так что зря они там со своими метками стараются.

Кваку вернулся к геодезистам и доложил:

— Матушка Манса никуда переезжать не собирается.

— А мне-то что, ну и пусть не собирается, — сказал геодезист. — Мне велено произвести обмер, я и обмеряю, остальное не мое дело. — И продолжал ставить свои отметки.

Вечером, когда народ вернулся с работы, вся деревня уже знала, что у них собираются строить почту и потому матушку Мансу выселяют из дому. Почти все у нее перебивали, и старуха от сочувствия односельчан просто расцвела. Кто-то принес ей десяток яиц, кто-то — кусок козлятины. Девушка сварила мясо на костре, и весь вечер, пока народ судачил с матушкой об ее отъезде, старуха все жевала и жевала его своим беззубым ртом. «Никуда я, конечно, не поеду, — думала она, — перепутали они все». Но какая разница — сбежались к ней, жалеют, успокаивают, она и рада.

Однако никто ничего не перепутал. Старухин дом стоял в самом центре деревни, на площади, ее племянникам предложили за него хорошую цену, они и согласились его продать. Сами они в деревне жить не собирались, а дом все равно скоро от старости развалится. Бабку они уговорят переехать к ним, ей и знать незачем, что дом сломают. Недели через две они приехали к матушке Мансе и стали рассказывать, что подыскали ей жилье в городе, хватит ей тут одной-одинешеньке мыкаться, у них об ней сердце изболелось, наконец-то она будет жить с ними, правда, не совсем с ними, но рядом, у одной старушки, эта старушка будет за матушкой присматривать.

Кваку издали увидел новенький блестящий «опель» матушкиных родственников. Вот он проехал мимо его дома, взвывая мотором, и остановился на площади, возле двора матушки Мансы. Кваку сейчас же побежал туда. Вот как случилось, что он стал свидетелем важного события в истории деревни — встречи матушки Мансы с ее племянниками и племянницами.

Церемония приветствий заняла чуть не полчаса. Стулья пришлось взять у соседей, и их владелец, горя любопытством узнать, зачем же приехали старухины родственники, принес также кувшин прохладительного питья и принялся потчевать гостей. Но вот наконец обсудили последнего внука, и молодые люди перешли к цели своего приезда.

— Тетенька, милая, ты уже совсем состарилась, мы просто извелись от беспокойства и решили: переезжай-ка ты к нам, будешь жить с нашей старой приятельницей по соседству, мы уже все устроили. Ты будешь у нас на глазах, и внуки к тебе каждый день приходить будут.

Матушка Манса заполыхала гневом.

— Чтобы я уехала из родной деревни, бросила родной дом и жила у чужих людей в городе?! Ну уж нет, дорогие детки, этому не бывать! Сколько лет вы обо мне не вспоминали, а теперь гоните меня умирать на чужбину! Вот вам мое слово: здесь я прожила свой век, здесь и умру, когда господь призывает мою душу. Ишь чего надумали! Я ведь вас насквозь вижу: хотите дом мой снести, вон даже рабочих прислали, а меня и не спросили. Жила я без вас столько лет и дальше проживу. Езжайте, откуда приехали, дайте мне умереть спокойно.

— Тетенька, голубушка, да ведь мы дом-то продали. На той неделе приедут его сносить, будут строить почту. Ничего не поделаешь, придется тебе жить с нами.

Матушка Манса совсем разъярилась.

— Еще чего не хватало — почту! Это мой дом, я в нем про-

жила жизнь, в нем и умру. Хватит, больше я ваших глупостей слушать не желаю.

Она встала и двинулась к крыльцу, даже не взглянув на племянников, поднялась по ступенькам да как хлопнет за собой дверью.

Во дворе матушки Мансы собралось к тому времени полдеревни — все те, у кого был досуг вникать в чужие дела и обсуждать их. Разгорелся великий спор. Почти все доказывали друг другу, что нельзя такую древнюю старуху выживать из дому, у ее родственников, что же, совести совсем нет? Жила деревня отродясь без почты и еще столько же проживет, над ними не каплет.

Кваку слушал односельчан и помалкивал. Наконец они выговорились, и тогда стали приводить свои доводы матушкины племянники. Ведь деревня у них глухая, никакой связи с миром нет, а построят им почту, проведут телефон — и молодежь перестанет рваться в город, деревня начнет расти, будет процветать торговля. «А ведь они, пожалуй, правы», — подумал Кваку.

— Пусть строят свою почту где-нибудь еще, что им, места другого нет? — возмущалась какая-то женщина.

— Да ведь здесь удобней всего, это же самый центр деревни, — доказывали племянники.

Матушка Манса так больше из дому и не показалась, пришлось им уехать ни с чем. Один из племянников сказал остальным, Кваку сам слышал: «Пришлем на той неделе бульдозер. Снесут развалюху, она к нам волей-неволей переберется. Разве такой древней старухе с нами тягаться?» Они сели в свой шикарный автомобиль и укатили, и деревня тут же угомонилась, но ненадолго: как только Кваку пересказал односельчанам, что собираются делать племянники, все буквально заклокотали от гнева и снова бросились к матушке Мансе.

Доложили о случившемся вождю деревни, Нана Абабио Четвертому, и он велел старейшинам собраться на площади под священным деревом: надо все хорошенько обмозговать.

Был вечер, в домах горели масляные лампы, ущербная луна светила слабо, но все-таки добраться до деревенской площади при ее свете было можно. Представим же читателям тех, кто сидит сейчас под священным деревом и обсуждает происшедшее с матушкой Мансой, вспоминает ее жизнь, перечисляет членов ее семьи, возмущается неслыханной черствостью ее племянников и племянниц.

Нана Абабио Четвертый — глубокий старик, он воевал еще с Англией за свободу ашанти. Его сестра всего на несколько

лет моложе, зовут ее Нана Ама Гиата Вторая, и что бы у местных женщин ни случилось, она всегда им поможет и рассудит; всех деревенских ребятишек до единого знает по именам. Нана Ама и матушка Манса — старинные подруги. Когда вождь и его сестра узнали, как обошлась с бедной старухой ее родня, они пришли в негодование. Правда, еще больше они возмутились тем, что ни геодезисты, ни матушкины родственники не посетили сначала ахенфи. Разве в прежние времена такое было мыслимо?

Сидят здесь и приближенные вождя, среди них жрец Иао Афрам, почти такой же старый, как вождь, с лысой, без единого волоска головой. В его памяти хранятся самые разнообразные сведения, касающиеся прошлого деревни и каждой ее семьи.

Почти все жители деревни — крестьяне, хотя в последние годы сюда переселилось несколько человек из города. С Кваку Хоумпамом пришли его друзья — Осеи Кваку и Кодуо Овусу, среди местных жителей они самые богатые. Осеи Кваку разводит скот, он делает своему стаду прививки против укусов мухи це-це, и благодаря заботам пастуха-фулани¹ его ферма процветает. Однако односельчане не спешат следовать его примеру, им еще в детстве внушили, что разводить скот в лесистой местности — пустая затея, убытков не оберешься. Что касается Кодуо Овусу, он всю жизнь выращивал бобы какао, однако в последнее время начал сажать овощи и возит продавать их в город на собственном грузовике.

Квази Эффа и Кофи Осеи сидят рядом с четырьмя братьями Аманква; их семьи живут здесь с незапамятных времен, и всех их кормит земля.

Уже глубокая ночь, а совет все заседает... Наконец один из старейшин сделал какой-то знак молодому человеку, который стоял, прислонившись к дереву, и тот исчез. Минут через десять он вернулся с большим кувшином пальмового вина, его налили в калebas и пустили по кругу. Беседа оживилась еще больше. Прошел час, другой, и народ начал потихоньку разбредаться, кое-кто сидя клевал носом — всем пора было на покой. Что делать, совет так и не придумал, решили подождать и поглядеть, что будет. Бог милостив, ничего дурного он не допустит.

Утром Кваку рассказал о ночном совещании жене, и она до глубины души возмутилась.

— Эх вы, мужчины! Только языком болтать и умеете, разве

¹ Фулани — народность Африки.

от вас чего путного дождешься? У матушки Мансы дом незаконно отнимают, а вы сидите, ушами хлопаєте. Я бы сама этим делом занялась, да мне в город сегодня надо, в лавке тушенка кончается и молоко, да еще детям кое-что из одежды посмотреть хочу. Кофи нужно новую форму, Ама Серваа тоже из всех платьев выросла, ходить в школу не в чем. Дай мне денег на продукты и хоть сколько-нибудь на детей, а то все я да я, привык на мне выезжать, совесть надо иметь.

Кваку старался не вступать в споры с женой. Без нее он был как без рук, на ней все хозяйство держалось, и если бы не она, ему самому пришлось бы ездить по делам в город, а он эти поездки ох как не любил; конечно, когда урожай какао продан и в кармане завелись денежки, навеститься в город даже приятно, а так это все ни к чему, одна морока.

Кваку пошел к себе в комнату, отпер сундучок, который стоял под кроватью, и достал жене деньги. Они договорились, сколько чего купить и почем, Акоса завернула деньги в платок и обвязала его вокруг пояса. В это время у ворот просигналил едущий в город грузовик, она подхватила сумки, вышла на улицу, села в кабину, и машина тронулась.

3. ПОЧТУ ПОСТРОИЛИ

Через несколько дней к матушке Мансе зашел в гости ее старинный приятель. Они долго о чем-то толковали, потом она развязала узелок на своем шарфе и что-то передала ему из рук в руки. А утром в деревню въехал «мерседес-бенц» и остановился прямо у ворот матушки Мансы. Из машины вылез матушкин приятель и еще какой-то мужчина помоложе. Оба они скрылись в доме.

Когда Кваку пришел к матушке поздороваться и справиться о ее здоровье, на крылечке сидела та самая молоденькая девушка и что-то толкла в ступе. Она улыбнулась Кваку, но с места не двинулась: матушка строго-настрого запретила пускать в дом посторонних.

Сама она рассказывала что-то молодому человеку, а тот время от времени делал пометки в блокноте, который лежал у него на коленях. Он просидел в доме около часу и потом уехал, и никто так и не узнал, кто этот молодой человек и зачем приезжал к матушке. Через несколько дней он появился опять и привез с собой чернильную подушечку для снятия отпечатков пальцев и какой-то документ в несколько страниц. Матушка Манса намочила большой палец в чернилах и из всех сил прижала его к последней странице. Приятель матушки

поставил рядом свою подпись. Молодой человек исчез, и больше его в деревне не видели.

Когда через несколько дней рано утром на дороге появился бульдозер, первым его увидел Кваку. Вот бульдозер с рычаньем прополз по мосту, следом за ним в деревню въехал грузовик; в кузове сидели рабочие с лопатами и ломami.

— Приехали ломать старый дом, — сообщили они.

Кваку понял, что нельзя терять ни минуты. Он кинулся к матушке Мансе, крича:

— Эй, люди, скорей, на помощь! У матушки Мансы дом ломают!

Взрослые все уже ушли на работу в поле, поэтому на крик сбежались старики и дети — смотреть, что же теперь будет.

В дверях показалась матушка Манса, увидела толпу, услышала крики Кваку и рев машин.

— Только через мой труп! — заявила она.

Рабочие растерялись.

— Нам сказали, в доме никто не живет, — говорили они. — Кто эта старуха?

— Это матушка Манса, — отвечали им. — Это ее дом.

Бульдозерист велел мастеру еще раз прочесть инструкцию.

— Дом тот самый, никакой ошибки нет, — сказал он. — Тут все ясно написано. Будем действовать согласно инструкции. Может, старуха с ума сошла? Уведите ее отсюда и пожитки унесите, — обратился он к собравшимся. — Кто она и что тут делает — потом разберемся. Что же вы так плохо заботитесь о своих стариках, разве можно их оставлять без присмотра? — И он велел бульдозеристу сносить сарай, а остальные рабочие пусть пока выносят из дому старухины вещи. Но матушка Манса не испугалась. В ней закипела воинственная кровь ее предков. С ее уст хлынул поток таких проклятий, что собравшаяся толпа притихла. Она призвала все кары небесные на головы тех, кто посмеет тронуть ее дом, но вдруг силы изменили ей, она покачнулась, к ней бросились поддержать, но не успели, она упала на крыльцо, и когда ее подняли, была уже мертва.

Народ в ужасе умолк. Бульдозерист выключил двигатель и вытер лоб. Рабочие побрели к грузовику, что-то про себя бормоча. Теперь никто из них не смел даже приблизиться к развалюхе. Толпа расступилась, и машины уехали.

Весть о смерти матушки Мансы быстро разнеслась по округе. Родственники старухи, которые уже много лет не бывали в деревне, приехали ее хоронить. Явились и ее городские племянники и племянницы, все были в траурных оранжевых одеждах, и все горько плакали. Ехали они сюда не без опаски —

бог знает, какая встреча их здесь ждет, но хотя приняли их довольно холодно, дело все-таки обошлось без скандала — примирительница-смерть смягчила гнев матушкиных односельчан. Похороны устроили торжественные, собралась вся деревня. Нана Абабио то сидел в тени навеса, то плясал под звуки барабанов. Нана Ама пожертвовала большую сумму, чтобы устроить по-друге такие пышные похороны и поминки. Она тоже плясала и плакала, не осушая глаз. А народ все подходил и подходил...

Старенький дом опустел, девушка, которая приглядывала за матушкой Мансой, ушла жить к родным. Через положенное время в деревню съехались матушкины родственники, чтобы поделить наследство, но тут появился матушкин приятель с тем самым молодым человеком из города. К великому изумлению семьи он сообщил, что матушка Манса оставила завещание. О таких штуках в здешних краях и не слыхивали. Молодой человек начал читать документ, и лица у родственников вытянулись. Они-то считали, что их тетка выжила из ума, а здесь в каждом слове чувствовались мудрость, характер и умение постоять за себя.

Из завещания явствовало, что дом принадлежит не племянникам и племянницам, а самой матушке Мансе, равно как и несколько делянок, на которых трудились ее родственники из соседней деревни. Своим городским племянникам и племянницам она завещала по экземпляру Библии каждому в на-дежде, что чтение святой книги наставит их на путь истинный и научит почитать старших. Землю она передала во владение родственников, которые ее обрабатывали. Остальное имущество должно было перейти Нана Ама и девушке, которая за ней ухаживала. Кроме того, в завещании указывалось, где зарыты семейные сокровища.

Адвокат велел немедленно принести совковую лопату и кирку. Пол в комнате матушки Мансы полили водой и начали копать в том месте, где была ее кровать. Родные стояли вокруг и заворуженно глядели, как растет яма. Наконец показалось то, чего они искали, — старый железный ларь с проржавевшей крышкой. Сходили за известью и керосином и кое-как сняли крышку. Под ней лежало что-то завернутое в полуистлевшую кожу и ткань. Когда все это развернули, то увидели шкатулку, и в ней — золотые монеты, золотые кольца, серьги, браслет, агатовое ожерелье, амулеты из кожи — бурые от старости и будто припорошенные пылью, все в трещинах. Адвокат бережно взял шкатулку в руки и попросил привести Нана Ама и девушку, чтобы разделить между ними сокровище. Обычно такая процедура занимает много времени, но тут все

решилось в минуту: девушка была молода, и Нана Ама знала, чего ей хочется больше всего на свете, поэтому она отдала ей золотые украшения, и девушка просто онемела от восторга, а себе взяла ларь, ожерелье, золотые монеты и талисманы. Остальное имущество тоже поделили между ними без споров. Адвокату в завещании поручалось продать дом.

Племянники и племянницы уехали смертельно разобитые, позабыв сообщить, что деньги за дом они уже получили. Как они уладили этот вопрос с адвокатом, неизвестно.

Время шло, а деревня так по-прежнему и жила без почты. И вот примерно через год после смерти матушки Мансы здесь снова появился бульдозер, но бульдозерист был уже другой. Старый заброшенный домишко не стал сопротивляться, стены его покорно рухнули в яму, где когда-то были спрятаны богатства матушки Мансы. Вырыли котлован, заложили фундамент, и скоро поднялось здание почты — небольшое, хорошенькое, как игрушка, оштукатуренное и выкрашенное белой краской, с квартирой для почтмейстера.

Устроили торжественную церемонию открытия, приехало какое-то важное лицо из города и произнесло длинную речь по-английски о приобщении сельской местности к достижениям прогресса. Представитель отдела социального обеспечения перевел эту речь, деревенские вежливо похлопали. Потом лимузины укатили, и все вернулись к своим делам и заботам. В квартире окнами во двор поселился почтмейстер с семьей, и скоро деревня уже не могла себе представить, как это можно жить без почты.

Еще через год провели телефон. По краям деревни стали расти новые дома, дорогу покрыли гудроном.

Кваку Хоумпам целыми днями наблюдал, как монтеры тянут телефонный кабель, и под конец решил, что и сам справится с их работой не хуже. Один из рабочих показал ему, как проверяют линию и определяют неисправности и как можно подслушать разговор. Они с Кваку не раз пили вместе пальмовое вино и крепко подружились. Когда монтеры закончили работу и собрались уезжать, половины инструментов почему-то не оказалось на месте. Уж их искали, искали, но обнаружить пропажу так и не удалось, а тут темнеть начало, монтеры уехали без инструментов, да так, видно, о них и забыли.

Где находятся пропавшие инструменты, знал только Кваку Хоумпам. Они лежали в его комнате, в старом сундучке, на котором сживал его приятель — монтер, попивая пальмовое вино. «Ничего, пусть лежат, — думал Кваку, — когда-нибудь пригодятся».

4. ВОДОПРОВОД И ОРКЕСТР

Первые несколько дней после открытия в здании почты было не протолкаться. Из соседних деревень приезжали просто посмотреть, что это такое, покупали для виду несколько марок. Такой же интерес вызвал телефон. Кваку решил установить аппарат у себя в лавке; провели телефон также в школу и в дома двух местных богачей, остальные ходили звонить на почту. Почтмейстера звали Квегир Брюс, он был уже немолод и до приезда в деревню работал телеграфистом. Теперь, заняв столь высокий пост, он решил не ударить в грязь лицом. Маленьких детей у него не было, а единственная дочь Фаустина, которой он страшно гордился, училась в городской школе. Иногда она приезжала к родителям на каникулы, но при первой же возможности удирала в город к подружкам.

Работой Квегир Брюс был не так чтобы перегружен, поэтому с удовольствием объяснял всем интересующимся, как устроен телефон. Одним из первых к нему пришел звонить учитель закона божьего Джон Эйджимен, он хотел поговорить со священником. Ради такого случая учитель облачился в порывевший от старости черный парадный костюм, в руках у него был огромный, сплошь исписанный конверт. Где-то в уголке он нашел нужный ему телефон. Обсудили все приходские новости, и Квегир Брюс соединил его с городом. Учитель орал так громко, будто боялся, что священник на таком расстоянии его не услышит.

Сначала деревенские ходили на почту звонить своим родственникам и друзьям просто так, ради забавы, но скоро обнаружили, что телефон — штука не только занятная, но и полезная: вместо того, чтобы ехать в город и тратить целый день, позвони по телефону и выяснишь все за пять — десять минут.

Квегир Брюс все старался развести вокруг здания почты сад, но деревенские овцы, козы и куры решительно этому противились. Он даже обнес свои насаждения прочной бамбуковой оградой, но ничего не помогло, выжили лишь самые неприхотливые растения — несколько вечнозеленых кустиков, ярко-красная бугенвиллея да дикий виноград, который вырос сам по себе и завил остатки забора и стену здания.

Как только появилась почта, деревня стала расти. Выстроили себе дома на окраине несколько пожилых супружеских пар и кое-кто помоложе, те, у кого были легковые машины и грузовики, — они считали, что в деревне жить дешевле, здесь можно самим выращивать овощи и фрукты. В школе стало учиться больше детей, поговаривали даже о том, что надо превратить

ее из начальной в среднюю. Время летит быстро, даже в деревне. Да, многое изменилось, не менялся только старый вождь, разве вот кожа еще туже обтянула его череп да глаза почти перестали видеть. Кое-кто из его приближенных умер, и трудно было найти им замену. И все-таки и Нана Абабио, и его сестра по-прежнему вникали во все деревенские дела и по-прежнему разбирали все споры и тяжбы.

Испокон веков деревня брала воду из речушки у подножия холма. Речушка не пересыхала даже в самую жаркую пору, и пока жителей было немного, вода была довольно чистая. Но теперь деревня разрослась, в речке не только стирали, но и без конца мыли машины. Нужно было как-то решать вопрос с водой. В других деревнях есть водопровод, а они что, хуже? Надо и им тоже провести. Нана Абабио собрал совет, и решили хлопотать о водопроводе. В город направили делегацию, куда вошли Квегир Брюс, Осей Кваку и Кодуо Оаусу — те самые богачи, у которых был дома телефон, жрец Иао Афрам и, конечно же, Кваку Хоумпам. Делегация знала все ходы и выходы, ее проинструктировали новоселы, которые работали в отделе социального обеспечения и водоснабжения. Часть расходов жители брали на себя. Кваку возглавил комиссию по проведению воды в деревню, и скоро невдалеке от его лавки на бетонной площадке появилась водоразборная колонка.

Со своей веранды Кваку наблюдал, как люди приходят за водой, как девушки полощут белье, бегают друг за дружкой, брызгаются. По дороге к колонке почти все останавливались поболтать с Кваку, покупали у него банку консервов, керосин, свечи. Торговля пошла живее, и Кваку пришлось приспособить под лавку еще одну комнату. Жена его следила за тем, чтобы в товарах не было недостатка, и даже начала торговать тканями — раньше-то она ходила с ними по дворам.

Помогать Кваку приехал один из его городских племянников; он учился в школе, но полностью всей премудрости не одолел. Парнишка сразу понял, что дядю не обсчитаешь, с ним этот номер не пройдет, и под началом такой умелой наставницы, как Акоса, начал проявлять поистине замечательные способности к торговле. Кваку при помощнике стало гораздо вольготнее, он мог теперь когда угодно оставить лавку и идти беседовать с вождем. Однако надолго он не отлучался, потому что сцены, которые разыгрывались перед ахенфи, были далеко не столь интересны и познавательны.

Звали племянника Иао Поку. Он очень любил музыку и сам недурно играл на гитаре. Водворившись в деревне, он стал выявлять местные таланты, и скоро под его руководством был

создан небольшой ансамбль гитаристов, который собирался вечерами на краю деревни под большим деревом. Местная молодежь приходила их послушать, частенько танцевали. Музыканты отлично сыгрались, репертуар их все расширялся, теперь им уже не стыдно было перенести свои выступления на деревенскую площадь. Слава ансамбля даже начала затмевать славу музыкантов вождя, ребят постоянно приглашали играть на похоронах.

Ясное дело, вы не видели всех чад и домочадцев Кваку, но знайте: семья у него большая. Двор просторный, комнат в доме много, и ни одна не пустует. Кухня в углу двора тоже огромная, и над очагом всегда что-то шипит и булькает. Самый старший член семьи — тетка Кваку, она перебралась к ним жить, когда ее мужа убило в поле молнией. Почти все дети Кваку от первой жены живут отдельно, они построили себе дома поближе к плантациям, чтобы не так далеко ходить, или отделились от отца, потому что их собственное семейство сильно разрослось. Только один сын пока остается при отце и работает на ближней плантации вместе со своим двоюродным братом. У брата тоже большая семья и две жены, и все живут здесь же. Одна из комнат в доме по праву принадлежит сыну их бывшего раба Кодво Фому. Кодво — местный сапожник, у него с полдюжины детей, мал мала меньше, и все — точная копия Кваку: похожи на хозяина дома куда больше, чем его собственные дети, и тоже зовут его «нана». Живут в доме и другие родственники, столь отдаленные, что степень родства определить иной раз затруднительно. Словом, семейство у Кваку большое и шумное, и он отдыхает от него, сидя на веранде перед домом, где его не так допекают крики детей и болтовня женщин.

5. ПОТЕРЯННЫЙ АМУЛЕТ

Дороги стали лучше, и движение на них усилилось. Усилилось движение — начались несчастные случаи. Подвыпившие шоферы заводили перебранки, и не всякий раз удавалось их утихомирить. Нет-нет и покражи случались, а вора поди-ка сыщи. До ближайшего полицейского поста дорога дальняя, а деревня растет, и тут ясно стало, что необходим свой полицейский пост.

Полицейский пост построили внизу под холмом, недалеко от речки. До той поры деревенские радовались всем усовершенствованиям и новым постройкам, но вот полицейский

пост... От такого новшества было немножко не по себе. Деревенское житье-бытье и полиция — как это совместить? Ведь сколько они себя помнят, управлялись же они со своими делами сами. Сельчане все поглядывали на новостройку и выжидали. Но вот закончили строительство поста, а позади него поставили домик. Подвели к посту телефон, и наконец однажды утром подкатил фургон с семьей и пожитками полицейского. Он приехал с подмогой — надо было разгрузить и расставить по местам мебель в его служебном кабинете. Оттого и получилось, что только на склоне дня, когда фургон с помощниками уехал восвояси, сельчане смогли толком разглядеть полицейского.

Кваку Хоумпам отправился к посту. Заглянул в дверь; видит, над столом склонился плотный сержант в синей форме. Полицейский почувствовал, что у двери кто-то стоит, и оглянулся. Кваку увидел широкое лицо, глубокие ритуальные надрезы — значит, с севера. Толстый, добродушный, средних лет. Кваку облегченно вздохнул.

— Я — Кваку Хоумпам, — сказал он. — Добро пожаловать в нашу деревню!

Сержант улыбнулся.

— А я Адаму Лафия, — ответил он. — Завтра открою свою контору, вот привожу тут все в порядок.

— Из города прибыли? — спросил Кваку.

— Из города, но я много где побывал и людей повидал немало.

— Надеюсь, вам понравится наша деревня. Я так думаю. хлопот особых тут не предвидится.

— Люблю тихие местечки. Уж больно много в городе суеты: сделал дело — плохо, не сделал — еще хуже, и за все ты в ответе, за все с тебя спрос. Вы, деревенские, даже не представляете, как вам повезло, что живете вы вдали от центра.

— Кончите тут устраиваться, заходите — мой дом на взгорке стоит, позади лавки. — Кваку показал, где его дом. — Выпьем с вами пальмового.

— Кончу дела, зайду. Спасибо за приглашение, — ответил Адаму и снова принялся за свои бумаги.

Прошло немного времени, и Кваку уже с полным правом говорил о своем «друге-полицейском». Адаму и вправду полюбилась его веранда: он частенько сюда заглядывал — посидеть, выпить винца. Отсюда, с веранды, видно было всех приезжих и пришельцев, кто бы ни появился в деревне, да и дверь полицейского поста была в поле зрения. К тому же он вскоре обнаружил, что Кваку всегда в курсе всех деревенских событий. По-

рассказать Кваку любил, и друг ему не препятствовал, напротив, сидит себе да слушает, и постепенно он много чего узнал о своих подопечных: и какая у кого семья, и какой характер, и какие у кого заботы. Это помогало ему в работе, а поскольку он неплохо разбирался в людях, все шло у него как по маслу. Иногда Адаму приходил к Кваку со своими сыновьями: Салифу и Али, а дочка Мариама оставалась дома — помогать матери. Мальчиков записали в деревенскую школу, и скоро они знали про местные дела столько же, а может, даже и больше, чем их отец.

С прибытием Адаму Лафия люди начали припоминать все старые раздоры: давно забытые мелкие пропажи, стычки из-за границ земельных участков, споры из-за женщин. Всем хотелось поглядеть на нового полицейского, познакомиться с ним, вот они и шли к нему со своими жалобами. Перво-наперво он всех записывал в книгу. Однажды, выслушав долгий рассказ о краже, он спросил, когда это случилось; оказалось, что история эта десятилетней давности. Человек, на которого пало подозрение, давно умер, а к ответу теперь хотели призвать его племянника. Адаму откинулся в кресле и вытер лоб.

— Знаете что, ашанти, — сказал он, — я тут столько рассказней наслушался, что прямо голова кругом идет. Нельзя так много болтать. Есть у вас серьезное дело — приходите. Нет — держите свои дрязги при себе. Может, вы считаете, я для того сюда приехал, чтобы решать все ваши семейные неурядицы? — Он с силой захлопнул книгу и положил на стол ручку. — Явитесь еще раз ко мне с ерундовой жалобой, я вас в город отправлю, увидите, как там с вами обойдутся. Здесь-то я всегда к вашим услугам, а в городе народ занятой. Там вы насидитесь, наждетесь, наплачетесь; пожалеете, что поехали.

Вечером он обсудил этот вопрос со своим другом.

— Мы так просто не забываем, — пояснил Кваку. — Старые ссоры умирают медленно. Подожди, скоро разберешься, что старое, а что новое.

— Сдается мне, я сумею пресечь ваши свары еще до того, как разберусь, — с улыбкой заметил Адаму.

Но он не сказал Кваку, как он намеревается это сделать. А подходящий случай подвернулся очень скоро.

Квази Эффа, местный земледелец, не так давно взял себе новую жену. Первая его жена была совсем нестарая, и у него было от нее уже пятеро детей. Младшенькому, Кофи Асему, еще трех лет не минуло.

Как-то вечером, когда женщины сидели на маленькой рыночной площади, какой-то водитель остановил свой грузовик,

чтобы полакомиться жареным подорожником. Вытаскивая деньги из заднего кармана, он обронил на дорогу свой амулет — красный, кожаный, с мехом; и когда прыгнул обратно в кабину своего грузовика, тот остался лежать в пыли под одним из столов. Игравший поблизости Кофи Асем тут же сцапал это сокровище и принялся с ним забавляться. Когда мать привела его домой, он крепко сжимал амулет в кулачке.

Под вечер, слоняясь по двору, малыш забрел в комнату новой жены отца и так загляделся на себя в зеркальце, что сам не заметил, как сунул амулет под подушку, да и забыл его там.

Ночью, повернувшись во сне на другой бок, молодая жена почувствовала под подушкой что-то твердое. Она вытащила находку, поднесла к стоявшей на полке масляной плошке и ужаснулась. Сердце ее наполнилось гневом на первую жену; все ясно, решила она, это первая жена подложила ей джу-джу, чтобы сделать ее бесплодной или наслать на нее еще какую-нибудь порчу. Она закричала, завизжала, и скоро весь дом был на ногах. Муж еще и не добежал до комнаты молодой жены, а женщины уже колошматили друг дружку почем зря, пришлось растаскивать их в разные стороны — лишь тогда молодая жена поведала о своей находке. Муж взял амулет и начал его разглядывать. Амулет откуда-то с севера, решил он, а может, купил кто-то в передвижной лавке. У первой его жены не могло быть такого амулета, она всю жизнь прожила здесь. Он разослал женщин по их комнатам, утром он в этом происшествии разберется.

Утро ничего нового не прибавило. А на Кофи Асема, который пытался отобрать амулет у отца и кричал, что это его игрушка, никто и внимания не обращал. Мать дала ему хорошего шлепка, а бабушка, глядя, как он пытается завладеть амулетом, даже растревожилась.

— Эй, Кофи Асем! — крикнула она ему. — Уж не думаешь ли ты, что стал взрослым мужчиной и тебе требуется джу-джу?

Поскольку семейство не могло разрешить спора, послали за Кваку Хоумпамом. Он явился, все выслушал, задал уйму вопросов, но найти виновного было невозможно. Когда все договорились до хрипоты и зашли в полный тупик, он удалился домой. Однако вторая жена не унималась. Вечером она отправилась в родительский дом, начала все рассказывать, да так и не могла остановиться. Она поклялась отомстить семейству первой жены. Брат ее сказал, что поразмыслит, чем ей можно помочь. Неделью спустя брат отправился в полицейский пост к сержанту Лафия. Он обвинил племянника первой жены в краже запасной шины от грузовика, да еще привел с собой

свидетеля, который поклялся, что видел эту шину в комнате племянника.

Вот и подвернулся случай, которого так ждал сержант Лафиа. Он позвонил в город и условился, что обе стороны — и истец, и обвиняемый — будут доставлены в городскую полицию. И еще кое о чем условился.

Брат молодой жены торжествовал, и они с сестрой стали готовиться к поездке в город. Первая жена тоже решила сопровождать своего племянника, а Кваку Хоумпама попросила поехать с ними. Но сперва Кваку отправился повидать Адаму Лафия и после этого визита сказал первой жене, что очень жаль, но ему сообщили, что у него что-то неладно на дальней плантации и весь день он пробудет там.

Адаму Лафия привел своих подопечных прямехонько в центральный городской участок и усадил их на свободную скамью. Затем он скрылся в какой-то комнате, а вернувшись, объявил, что сейчас все заняты и придется подождать. Он пока что займется другими делами, когда нужно будет, он за ними придет. Так они просидели целый день. Время от времени они справлялись, когда же будет разбираться их дело, но каждый раз им говорили, что инспектор, который должен их выслушать, занят или куда-то ушел. Стало темнеть, и им сказали, чтобы они пришли завтра. Три дня, с раннего утра и до позднего вечера, проторчали они в полиции. Обоим мужчинам не терпелось вернуться домой — ведь дел-то сколько! Сначала они друг с другом не разговаривали, но тянулся час за часом, и они объединились в своих жалобах на полицию. На третий день Адаму Лафия провел их в одну из комнат и какой-то полицейский чин спросил, что у них за дело.

— Конечно, такие случаи расследуются не в один час, — сказал он. — Необходимо собрать все доказательства, потом назначим суд, а вам надо уже сейчас подыскивать адвокатов, хотя они и стоят уйм денег.

Истец и ответчик в панике уставились друг на друга: это сколько же еще дней они попусту потратят? У них и так уже хозяйство в забросе!

— Пока еще не завели дела, ты можешь отказаться от своего иска... но, конечно, тебе виднее, решай сам, — с улыбкой сказал истцу Адаму Лафия.

На том все и сошлись. Даже жены, видя, во что это может обойтись: и деньги приготавливай, и работу бросай, забыли до поры до времени о своей ссоре.

Вернувшись в деревню, они долго еще жаловались всем на городскую полицию. На полицию жаловались, но, как и на-

деялся Адаму Лафия, больше его по пустякам не тревожили. В тот день, под вечер, он, как всегда, отправился к Кваку Хоумпаму — выпить пальмового винца и поблагодарить за сведения, которые помогли ему докопаться до сути дела и действовать сообразно. А наутро Адаму вернулся к своим обычным делам: проверял права, расследовал дорожные происшествия и выполнял всякие другие обязанности, которые положено выполнять полицейскому в деревне.

И никто больше не ломал себе голову, откуда взялся амулет. Лишь в дальнем северном краю, на пустынной дороге, клял судьбу один шофер: потерял он свой амулет, и вот, пожалуйста, — резина на переднем колесе полетела, поставил запаску, и ее тут же проколол. Добраться бы скорее до Болганги — там он купит себе другой амулет взамен прежнего.

6. РОМАНТИЧЕСКИЕ ЭКЗАМЕНЫ

В дальнем конце деревни, там, где дома кончались, посреди большого двора, стояла деревенская школа, которой управлял старший учитель Кодво Твам. Окруженная тенистыми деревьями, с большой спортивной площадкой, школа была одна из лучших в округе. Сам Кодво Твам преподавал еще в старой школе, в ту пору, когда за образование надо было сражаться и, чтоб научиться читать и писать, мальчишки вышагивали каждый день по многу миль. Он был очень строг, но родители и учителя относились к нему с большим уважением, и на школьные порядки никто не жаловался. Казалось, он был лично заинтересован в каждом своем ученике и проявлял к ребятам столько внимания, что многие именитые горожане, прошедшие когда-то через его руки, ласково называли его «наш наставник». Школьный двор всегда содержался в чистоте, поскольку стрижка газонов вменялась в наказание нерадивым и дерзким ученикам. За школой, на косогоре, расположился сад и огород: наука земледелия входила в школьную программу. Дом «наставника» Твама стоял напротив школы, через дорогу, а по соседству с ним — дом Джона Эйджимена, учителя закона божьего, и вечерами они частенько сидели вдвоем — обсуждали сельские новости, или отправлялись в деревенскую церквушку — разобраться с приходскими делами.

Церковь была построена из бетонных блоков, деревянная обшивка внутри попортилась, роспись стерлась. Вид у церквушки был такой, будто ее в свое время недостроили, а с той поры все вообще пришло в полное запустение. Крыша, однако, не протекала, и скамьи были крепкие. По воскресеньям она бы-

ла битком набита. Сельчане всё хотели расписать свою церковь, да руки не доходили. Ну ладно, пусть неказистая, так собрать бы хоть деньги на покупку органа и сшить стихари для хора, который по вечерам, дважды в неделю, в ведро ли, в дождь, собирался на спевки. Хор был замечательный, и господу богу, должно быть, приятны были песнопения, возносящиеся каждое воскресное утро.

На праздники для тех, кто не сумел втиснуться внутрь, строили снаружи навесы и ставили под ними скамьи. Время от времени из города приезжал ософо¹ — служить службу, крестить младенцев, причащать прихожан. Но у ософо было много таких церквушек на попечении, он не мог приезжать часто. Классы воскресной школы вели школьные учителя, а по вечерам, раз в неделю, самые набожные члены общины собирались читать и изучать Библию. Порой Кваку сожалел, что не умеет читать, а то бы он принял более активное участие в толкованиях, но все равно он приходил, слушал и раздумывал над библейскими притчами.

Как-то вечером он стоял на мостике возле полицейского поста и смотрел на стремительно проносящийся под аркой поток — после вчерашнего ливня вода в речке заметно прибывала. Вот в Библии рассказывается, думал он, как работник уронил топор, а Илия молитвой поднял его на поверхность воды. Интересно, а ософо тоже так может, размышлял Кваку. Или, к примеру, колдун, что живет в дальней деревне и славится всякими чудесами? И куда же, интересно, подевались все пророки? Где они теперь? Даже барабаны смолкли и не шлют теперь через леса и поля вести от деревни к деревне. Конечно, на похоронах они звучат по-прежнему, и старые барабанщики вроде бы такие же искусники, как и были, а все-таки что-то уж не то, пыла, что ли, не хватает в игре.

По реке быстро плыла против течения змея. Кваку нагнулся за камнем, но змея уже доплыла до берега и скользнула в кусты, так что камень он швырнуть не успел. Он бросил его на прежнее место и пошел к полицейскому посту. Адаму Лафиа был занят — он ужинал. Тогда Кваку побрел вверх по косогору, к своей собственной веранде. Жена была в лавке, но, увидев его, вышла к нему, и они посидели, поговорили про то, какие предстоят работы на плантациях, и про деревенские дела, и про детей.

Как-то днем Кваку сидел на веранде в качалке и покуривал трубку. Кончились уроки в школе, ребятишки шумно вы́сыпа-

¹ Ософо — священник.

ли на улицу и побежали в разные стороны. Детишки из их семейства, прежде чем пойти домой переодеться, вежливо здоровались с Кваку. Девочки, прямо в школьной форме, побежали к водопроводной колонке. Один из школьных учителей зашел в лавку купить спичек и керосина для лампы, захватив с собой для этой цели бутылку из-под пива. Он приветствовал Акосу и Кваку.

— Как дела? — спросили они его.

— Ничего, только нам по-прежнему не хватает двух учителей. Впрочем, завтра приезжает новая учительница, будет жить рядом с вами, в доме у Асанта. Опыта никакого, но хоть получила специальное образование.

— Ну, мы ее, конечно, увидим, — сказала Акоса. — А как насчет новой средней школы?

— Ее решили строить в Бонсуа, на главной дороге. Там недалеко перекресток, до него около мили, не больше, и автобусная остановка, так что дети смогут ездить в школу на автобусе.

Долго ждать Кваку и Акосе не пришлось — новая учительница пришла в лавку в день своего приезда. Она сказала, что хочет познакомиться с деревней и прежде всего заглянула в лавку. Будь Кваку помоложе, он бы присвистнул от восторга, потому что Абена Ахофе оказалась красавицей. Короткое форменное платье эффектно облегалo ее фигуру, волосы были красиво заплетены. Косметику она не употребляла, а ее красивые черные глаза уж и подавно не нуждались ни в каком подмазывании. Она завела разговор с Акосой, стала расспрашивать ее про деревню, где ей взять то да это, и есть ли тут хорошая портниха, и кто ей самой шьет платья. Кваку хотел было присоединиться к разговору, но учительница не обратила на него никакого внимания, поэтому он сел в сторонке и молча слушал. Акоса выложила перед ней самые красивые ткани и готовые вещи, и они пустились в обсуждение цен. Как только она получит первую зарплату, пообещала Абена, она придет и купит что-нибудь, и спросила, нельзя ли будет заплатить в рассрочку. В конце концов она купила две коробки молока и пошла к себе готовить ужин. Позднее она вышла с ведром, но кто-то из девочек взял у нее ведро, наполнил его водой и, водрузив на голову, отнес в комнату новой учительницы.

— Славная девушка, — сказала Акоса. — Наверно, хорошая учительница, и дети ее полюбят. Только надо ей быть поосторожнее — уж больно она хорошенькая. А ты как считаешь?

И Акоса улыбнулась Кваку и пошла в дом готовить ужин.

По правде, Кваку считал, что Абена — красавица. Мало того, она очаровательна. Прежде он всегда с удовольствием провожал взглядом своих молодых односельчанок, но последние годы что-то перестал обращать на них внимание. Однако стоило теперь Абене появиться на улице, как он глаз с нее не сводил и всеми способами заманивал ее в лавку. Он никогда с ней не торговался, хотя и сильно сомневался, замечает ли она, что пользуется неограниченными льготами. Абена была обаятельна, вежлива... и холодна.

Между тем еще один мужчина в лавке заинтересовался Абеной. Иао Поку в присутствии дяди всегда держался на заднем плане. Но смотреть-то он мог и делал это со все возрастающим энтузиазмом. Кваку и понятия не имел, что в его отсутствие, когда покупателей обслуживал Иао Поку, Абена зачастую медлила уходить и болтала с Иао о том о сем. От ее застенчивости и молчаливости не оставалось и следа.

Акоса, конечно, заметила, что девушка нравится Иао, но ей и невдомек было, какие планы строит Кваку. Она предложила Абене вступить в местную женскую лигу, и вскоре у них вошло в привычку ходить туда вместе. Они нравились друг другу, и в конце концов крепко подружились. Акоса, наверно, была лет на пятнадцать старше учительницы, однако она скоро пришла к заключению, что ее новая подруга — очень разумная и практичная девушка; по всему было видно, что работает она с удовольствием, а дома получила хорошее воспитание. Иной раз, когда Акоса уезжала в город или по поручению Кваку отлучалась куда-то, Абена приходила в лавку одна. Если это случилось вечером, когда Иао уходил на репетицию оркестра, Кваку старался занять ее разговором, но она не задерживалась.

Кваку и Акоса поженились много лет назад по старому племенному обычаю, и хотя оба теперь исправно посещали церковь, им, как, впрочем, и большинству их односельчан, и в голову не приходило обвенчаться по церковному обряду. Им и так жилось неплохо. У многих мужчин в деревне было две, а то и больше жен, и Кваку тоже мог бы взять себе еще одну жену, но почему-то он об этом никогда не думал. Акоса устраивала его во всех отношениях, а ссор в доме он не хотел. Абена заставила его призадуматься. Как она шла по улице в своей короткой юбочке! Похоже, не такая уж и недотрога. И ни одного парня возле не видать. Вот это девушка!

Однажды вечером, когда Кваку куда-то ушел, а Иао, облокотившись на прилавок, читал книгу, в лавку вошла Абена. Школу Иао не закончил, — наверно, потому что в той школе, которую он посещал, обучение было поставлено из рук вон

плохо, — но он был довольно толковый молодой человек. Теперь он самостоятельно продолжал учебу и читал все, что только попадалось ему в руки. Он был одним из самых усердных посетителей библиотечного фургона. Увидев Абену, Иао захлопнул книжку и улыбнулся.

— Что ты читаешь? — спросила она.

— Да так, один из моих старых учебников. Мне ведь не удалось сдать экзамены, а учиться очень хочется. Вот только трудно доставать книги.

— А почему бы тебе не зайти и не посмотреть, что есть у меня? — сказала Абена. — Может, я смогу тебе помочь. Знаешь, ведь ты можешь готовиться к экзаменам дома, а если не сдашь сразу, позанимаешься еще.

С того вечера Иао стал заходить к Абене и пользоваться ее книгами. Они с удовольствием занимались вместе. Абена сама удостоверилась, какой Иао способный, прониклась к нему уважением и считала, что ему совершенно необходимо продолжать образование.

Как ни странно, Кваку об их дружбе даже не подозревал. Надо полагать, племянника он и в расчет не принимал. Когда так поглощен чужими делами, легко проглядеть, что творится у тебя под носом.

Как-то Абена зашла в лавку и, увидев, что Кваку один, заторопилась уйти. Но Кваку ее остановил.

— Ты красивая девушка, — сказал он. — Наверно, тебе хочется выйти замуж?

— За кого же? — удивленно спросила она.

Когда Кваку начал расписывать, каким уважением он пользуется среди односельчан и как он заботится о своей семье, она поняла свою наивность и рассердилась. Этот старик забыл о своих годах! У него хорошая жена. У него внуки. Неужели он считает, что может ей понравиться? Она поскорее купила банку сардин и выскочила из лавки.

С тех пор Абена стала соблюдать осторожность и заходила в лавку, только когда там были Иао или Акоса. А с Иао они продолжали встречаться. У Абены был приятный голос, а Иао, как известно, играл на гитаре, и она часто ходила послушать его. Вместе с другими парнями и девушками они вскоре организовали небольшой хор, где они с Иао пели под аккомпанемент его гитары. Дуэты звучали прекрасно.

К той поре Иао был уже по уши влюблен в Абену, но не осмеливался сделать ей предложение. Материально он зависел от дяди, и хотя деньгами его ссужали достаточно щедро, для семейной жизни этого было бы недостаточно. Абена поняла,

почему он колеблется. Но у нее был диплом учительницы и хорошая работа, и она не видела причин, которые мешали бы ей выйти за него замуж. Она была уверена, что со временем Иао сдаст экзамены. Тогда он сможет поступить в педагогический колледж, а потом они будут работать вместе, в одной школе.

Шел месяц за месяцем, а Иао все молчал. Абена помогла ему в занятиях, передала ему все свои знания. Теперь бы ему еще два-три месяца серьезной работы, и он будет вполне подготовлен к экзаменам. Но теперь уж он должен отдавать учебе все свое время. Надо поговорить с его дядей. И Абена решила выждать удобный случай.

А Кваку и надеяться перестал, что ему когда-нибудь удастся снова остаться наедине с Абеной, и был приятно удивлен, когда она вдруг как-то днем пришла в лавку.

— Я так давно хочу с тобой поговорить, — сказал он, — но тут всегда кто-нибудь есть.

— И я тоже хочу поговорить с вами наедине, — ответила Абена. В душе у Кваку затеплилась надежда. — Я хочу поговорить о Иао...

— О Иао? — озадаченно переспросил Кваку.

— Да, мы с ним занимались вместе. Знаете, он такой умный! Мне кажется, он уже почти совсем готов к выпускным экзаменам. Теперь ему нужен хороший преподаватель, и два-три месяца он должен посвятить только учебе.

Кваку просто онемел от удивления. Что все это значит? Выходит, Абена прекрасно знает его племянника, да еще считает Иао умным. Вот уж не подумал бы!

— А почему это ты за него беспокоишься? — спросил Кваку.

Абена почувствовала, что надо брать быка за рога.

— Я хочу выйти за него замуж, — сказала она. — Если он поступит в педагогический колледж, мы сможем работать вместе.

Тут Кваку совсем разгневался.

— Выйти замуж за Иао! — вскричал он. — Может, я ослышался? Выйти за Иао?!

— Ну да, за Иао.

— Он тебя сватает?

— Нет, он не решается сделать предложение, пока не получит образования. Но я знаю, он хочет на мне жениться.

— Нет, это просто неслыханное вероломство! — возмущенно заявил Кваку. — Надо мне вразумить мальчишку. Я был о нем лучшего мнения. Как он смел, да еще без спросу!

— Но почему же «вероломство»? — гневно спросила Абена. — Разве я вам так неприятна? Мне всегда казалось, что вам

не безразлично, как я живу, вы с таким вниманием смотрели на меня и разговаривали со мной. И с Акосой мы так подружились.

— Конечно, ты мне нравишься, — сказал Кваку, понемногу приходя в себя. — Уж если на то пошло, я люблю тебя. И какой смысл тебе связываться с таким мальчишкой, как Иао? — Он собрался с духом и решительно продолжал: — Знаешь, я сам думал сделать тебе предложение. Выходи за меня.

— Что?! — крикнула Абена вне себя от негодования. — Да я скорее умру, чем выйду за такого старика, как вы.

Вся в слезах, она выбежала из лавки.

Разговор этот потряс Кваку до глубины души. Гордость его была уязвлена. Сколько он сделал для племянника, и вот вам! Как же Иао мог пойти на такое? Кваку совсем растерялся, надо было все взвесить и решить. Он запер лавку и пошел к себе в комнату. Нет, подумать только, он — старик! Если мужчина чувствует себя молодым, значит, он молодой. Акоса никогда бы ему так не сказала, никогда! Еще бы, она женщина разумная. Мысли Кваку переключились на Акосу. Он привык во всем спрашивать ее совета. Сам он никак не мог решить, что ему теперь делать с Иао, значит, надо посоветоваться с ней.

Абена поначалу не могла в себя прийти от возмущения. Однако, поразмыслив, она заключила, что может навлечь на Иао большие неприятности. Она ведь не посоветовалась с ним, перед тем как пойти к его дяде. Надо было его предупредить. Абена знала, что Иао поехал в город с Акосой и скоро вернется, и отправилась к автобусной остановке встретить их. Пока Абена там стояла, она придумала, что ей нужно сделать. Помочь ей мог только один человек — Акоса.

Подъехал автобус, и Абена, волнуясь, стала вглядываться в лица пассажиров. А вот и Иао — он помогал Акосе собрать пакеты. Затем оба вышли из автобуса и направились к дому.

— Остановитесь! Прошу вас! — позвала их Абена. — Я должна поговорить с вами до того, как вы придете домой. Прошу вас, это очень важно!

Акоса с удивлением смотрела на нее.

— Что случилось? Ты плачешь? — Она повернулась к Иао. — Отнеси-ка все покупки домой и скажи, что я не задержусь, — сказала она. — Я пойду с Абеной, а ты потом придешь к нам.

Едва они вошли в комнату Абены, как та выложила Акосе все, что случилось. Она была так взволнована и обеспокоена, что даже не подумала о том, каково будет Акосе выслушать

все это. Но она молчала и, лишь когда Абена смолкла, сердито сказала:

— Уж эти мне мужчины! И чего только не напридумают! Но тебе не следовало так отвечать ему. Негоже унижать мужское достоинство. Хотя, я считаю, он это заслужил. Ну ладно, подумаем, что нам теперь делать.

Она помолчала, пока Абена утерла слезы, а та была рада, что ее старшая подруга не слишком рассердилась. Акоса улыбнулась ей.

— Повезло Иао — ты будешь хорошей женой. Ему нужна такая женщина, чтоб помогала ему. Как же нам все это уладить, давай-ка подумаем. — Акоса засмеялась: — Хотелось бы мне видеть физиономию Кваку, когда он услышит, что мне обо всем известно. А может, все к лучшему, может, и хорошо, что так получилось. Предоставь-ка это дело мне.

Тут вернулся Иао, и Акоса отправилась домой, оставив молодых людей наедине.

Разговор Акосы с Кваку проходил без свидетелей. Однако Иао вскоре отправился в город, чтобы подыскать хорошего учителя и подготовиться к экзаменам. Кваку пообещал, что если он сдаст экзамены, то женится на Абене. Определенно, Акоса одержала победу. Но она была женщина тактичная и так обхаживала Кваку, что немного погодя он не только не сожалел, а радовался, что не взял второй жены, и считал, что ему очень повезло.

Время шло. Состоялись экзамены; Иао вернулся домой и стал ждать оценок. Это были два самых тревожных месяца в его жизни. Он был уверен, что провалился, и Абена старалась, как могла, поддержать его.

Когда письмо наконец пришло, Квегир Брюс, почтмейстер, зная, как долго ждал это письмо Иао, принес его прямо в лавку. Кваку разволновался не меньше Иао. Вскрыли конверт. Иао развернул листок и ахнул. Из пяти предметов по которым он держал экзамены, он прошел по четырем! Путь перед ним был открыт. Теперь он мог поступать в колледж.

Как только в школе кончились уроки, Иао поспешил к Абене. Она замерла — такое у него было лицо.

— Какие-нибудь известия? — с трудом скрывая волнение, спросила она.

— Я сдал экзамены! — сказал он.

— Слава богу! Я знала, что сдашь! Теперь мы можем пожениться.

Среди всех ашанти не было девушки и парня счастливец. Вечером они пришли к Кваку и Акосе, чтобы обсудить

предстоящую свадьбу. Мать Абены давно умерла, а отец снова женился, поэтому Акоса решила, что свадьбу надо справлять в их деревне. К тому же у нее были и особые соображения.

Когда поздно вечером, оставшись вдвоем, они обсуждали предстоящее событие, Акоса вдруг повернулась к Кваку.

— Я вот что подумала, — сказала она, — лучше нам тоже обвенчаться в церкви. Пусть будут две свадьбы вместе. Пойдем-ка завтра с тобой к священнику и договоримся. Не хочется мне, чтоб ты еще на кого-нибудь польстился.

Что тут было Кваку ответить? Да и нельзя было допустить, чтобы в деревне узнали, какое он потерпел фиаско. И стар и мал обхохочутся, когда услышат, что его называли стариком. Нечего было возразить Акосе, он это понимал.

— Что ж, может, и правда лучше обвенчаться, — сказал он.

Потом, уже лежа в постели, он все думал и думал. И все больше и больше восхищался своей женой. Ну какая еще женщина могла бы все так уладить? Да и ему преподала урок, но необидный, и при этом никаких сцен ревности. «Ну и дурак же я был, — думал он. — Такая у меня замечательная жена, а мне и невдомек». Чего только в жизни не бывает! Ну, кто бы в деревне предположил, что он способен на такую откровенность! Хотя куда легче быть откровенным с собой наедине или когда на карту не поставлена твоя репутация.

Назавтра Кваку и Акоса отправились к Джону Эйджимену спросить его, когда ософо приедет в деревню справлять свадьбу. Учитель корпел в своей комнате над церковными отчетами. Обычно «наставник» помогал ему в этом деле, но всю последнюю неделю он был в отъезде, на какой-то конференции в городе. Кваку поздоровался и смолк в нерешительности. Акоса стояла за его спиной и улыбалась.

— Дело в том, Джон, что Иао Поку и Абена Ахофе решили пожениться, — сказал Кваку. — Мать у Абены умерла, поэтому мы решили справить свадьбу здесь. И еще, Акоса и я, мы тоже хотим обвенчаться в церкви, в тот же день.

Джон даже онемел на минуту — так он был поражен. То, что женятся молодые — это естественно, свадьбы в деревне чуть не каждый день. А вот то, что Кваку и Акоса, прожив столько лет, захотели вдруг венчаться в церкви — ну, это просто чудеса, да и только! Может, растрогались, глядя на молодую пару, ударились в сантименты? Не зная, что и ответить, он от смущения уронил карандаш, наклонился за ним, потом заулыбался.

— Примите мои поздравления, — сказал он наконец. — И когда же свершится это радостное событие?

— Об этом-то мы и пришли вас спросить. Мы не знаем, когда снова придет ософо. Если возможно, нам хотелось бы приурочить свадьбу к пасхе, в эту пору все отдыхают.

— И времени будет достаточно, чтобы подготовиться, — сказала Акоса. — Надо сшить свадебные платья и пригласить родственников.

Джон поскреб затылок.

— Я должен посоветоваться с ософо. Такая свадьба — важное событие, надо уговорить его приехать. Может быть, лучше мне самому поехать к нему и договориться?

— Завтра поедет в город Акоса, она вас проводит, если вы свободны, — сказал Кваку.

— Мы так вам будем благодарны, если вы все устроите, — добавила Акоса. — А уж как рада будет Адвоа Кетуа вас повидать! У нее мы пообедаем и обсудим все с ней и с детьми, а потом уж домой.

Джон Эйджимен рассудил, что церковные отчеты немного подождут, а детишки проживут один день и без его наставлений. Он с удовольствием принял приглашение бесплатно прокатиться в город и отобедать у Адвоа Кетуа, которая славились своим пальмовым супом и фу-фу.

Вечером возвратился с конференции «наставник» Твам и зашел к своему другу обсудить новости. Джон рассказал ему о предстоящей свадьбе. Тот был удивлен не меньше, чем его друг.

— Ну и ну, — сказал он, протирая очки полóй рубашки. — Хотелось бы мне знать, что толкнуло его на этот шаг. От кого-кого, а от Кваку я такого никак не ожидал. Слишком он осмотрительный человек, ни с того ни с сего его на такое дело не подбьешь. Столько лет прожили, и нá тебе! Что-то тут не ладно.

И хотя они проговорили до поздней ночи, ни Джон, ни «наставник» так и не догадались, почему это вдруг Кваку решил венчаться в церкви.

На пасхе ософо выделил день, чтобы приехать в деревню, и «большая свадьба» состоялась. Акоса решила, что вся свадьба должна быть «белая», и взяла на себя заботу о свадебных нарядах. Абена предоставила ей распоряжаться, ей хотелось угодить семейству — ведь Иао еще нуждался в помощи, пока не закончит образование.

Так что в день свадьбы невесты были одеты одинаково, вплоть до букетиков искусственных цветов, которые специально выписали из Аккры. Но притом, что Кваку явился в простом костюме, впервые в жизни решительно отказавшись на-

деть парадный черный костюм, Иао был одет по последней моде, с белым цветком в петлице. Все девочки — невестины подружки — были в голубых платьицах с оборочками. Отец Абены, довольный тем, что с него ничего не требуется, кроме как присутствовать на свадьбе, приехал со своей женой и с золотым ожерельем для невесты.

В общем, свадьба вышла на славу. В деревне о ней долго вспоминали. Вино текло рекой, детям раздавали пироги. Молодая пара, взяв напрокат машину, отправилась провести медовый месяц на Кейп-Кост. Когда разошлись последние гости, порядком уставшие Кваку и Акоса удалились в свою комнату. Пусть свадьба им и дорого обошлась, но она того стоила, и они были довольны.

А их односельчане и два учителя все никак не могли разгадать загадку. Так они и не поняли, почему вдруг Кваку и Акоса решили обвенчаться, и если эта история как-нибудь случайно не выплывет наружу, так никогда и не поймут. Вот как бывает!

7. ТРУДНАЯ ЗАДАЧА

Жил в деревне один человек — шуплый тихоня Кофи Амрим. Смотрел-смотрел на него Адаму Лафия и все не мог понять, что к чему. Церковь он посещал исправно, больше того — был старостой, а молодежь почему-то к нему так и льнула, даже самые отпетые. От него и улыбки не дождешься, а они к нему с такой любовью да уважением. Адаму знал, что он земледелец, но никаких признаков его хозяйствования что-то не замечал. Возле дома Кофи все время было какое-то движение, особенно по вечерам, — много гостей шло к нему в дом, но долго не задерживались.

Как-то Адаму сидел с Кваку на веранде за мирной беседой, и мимо как раз прошел Кофи Амрим. Он куда-то спешил, даже толком не останавливался, чтоб отвечать на приветствия, а приветствовала его вся деревня.

— Что он за человек, этот Кофи Амрим? — спросил Адаму. — Вроде бы сухарь сухарем, а все его знают, любят. Вот ты видел хоть раз, чтобы он улыбнулся?

Кваку помедлил с ответом, прикидывая, насколько откровенным может быть со своим другом. Если он смолчит, это только наведет на подозрения, лучше уж рассказать немного. Что можно, конечно.

— Он у нас церковный староста и на похоронах никогда не

пьет, — сказал он наконец. — Дядя его был одним из учредителей нашей церкви, а жена Кофи — в родстве с Нана Ама Гната.

— Ясно. А чем он занимается?

— Ну, у него плантация. Только теперь на ней больше работают молодые. Он хороший человек.

— А за что его все так любят и уважают?

— Ну, он никогда никого не обижает.

— Ясно. И за это его так любят?

Кваку занервничал.

— Не могу же я рассказать тебе все про всех на свете, — сказал он. — Спроси лучше кого-нибудь еще.

Адаму удивился: что это он разволновался? Не иначе как что-то скрывает, но вот что? И решил сам до всего доискаться.

Вот почему Адаму заладил каждый вечер прогуливаться в другой конец деревни, где с самого края стояла хижина Кофи. Позади нее утоптанная тропинка уходила в лес.

Деревенские приметили, что Адаму следит за домом Кофи, и предупредили старика. И сами тоже стали соблюдать осторожность. Едва Адаму подходил поближе, как кувшины и бутылки незаметно ставились на землю, а их владельцы с невинным видом начинали прохаживаться туда-сюда и по пути приветствовали полицейского. Однажды вечером Кофи пригласил Адаму зайти, и они посидели во дворе перед домом и поговорили, а ребятишки все глаза проглядели на гостя. Однако Адаму не успокоился.

Как-то под вечер он отправился на школьную площадку. Оглядевшись, он заметил дружка своего сына, глазастого мальчонку, которого все звали «Куку», хотя никто бы не объяснил, откуда взялось такое прозвище. Адаму поманил его:

— Куку, у меня тут важное дело к Кофи Ампиму, ты не мог бы отвести меня к нему?

Куку удивленно взглянул на него, но полицейский улыбался ему вполне дружелюбно. Значит, ничего опасного.

— А он не любит, если к нему приходят, когда он работает. Днем он очень занят.

— Понимаешь, дело-то больно важное. Скажи мне, где он, и я сам его найду. Скажешь — получишь денежку.

И Адаму протянул ему монетку. Не было в деревне человека, который бы не знал, где бывает днем Кофи; значит, ничего плохого не случится, если он приведет к нему полицейского, рассудил Куку и взял монетку.

Они вместе отправились по лесной тропинке. Она вилась и петляла, но Куку как будто хорошо знал, куда идти. Он уверенно топал по тропинке, покуда они не уперлись в чащобу ко-

лючего кустарника. Не было сомнения, что ее тут оставили нарочно, чтобы преградить путь. Куку свернул вправо, потом пошел назад, миновал одну петлю, другую, поворот, еще поворот, и снова вышел на тропинку по другую сторону чащобы. Тут он остановился и приложил палец к губам.

— Надо мне пойти и спросить его, сможет он с вами поговорить или нет, — так будет лучше, — сказал он. — А вы меня подождите.

И Куку заспешил по тропинке. Однако Адаму не стал его ждать, а тихонько пошел следом за мальчонкой. Так он дошел до тайной винокурни прежде, чем Кофи или кто-то еще мог скрыть улики. Большие черные кувшины с уже готовым напитком стояли снаружи, а под навесом, бодро насвистывая, трудился Кофи.

— Дядюшка Кофи, — крикнул Куку, — тут вас спрашивают.

— Добро пожаловать, — отозвался Кофи и, отирая руки, вышел из-под навеса. А когда увидел полицейского, испуганно охнул.

— Та-ак, — сказал Адаму. — А я все гадал, чем это ты занимаешься.

— Ничего плохого я не делаю, — пробормотал Кофи. — Мы всегда делали вино — и я, а до меня мой дядя. На радость всей деревне и в поддержку церкви. А как бы еще иначе мы покрыли новую крышу, а сейчас почти что выплатили все деньги за орган?

Он ждал, что ответит Адаму. Но сержант стоял в смущении. Знай он, что тут происходит, он, наверно, держался бы подальше от этого местечка или предупредил бы о своем приходе. Теперь же Кофи захвачен на месте преступления, и ему, Адаму, придется что-то предпринять.

— Ты ведь знаешь, что дело это незаконное? — с надеждой спросил он.

Кофи уловил намек.

— Господи боже мой! Да неужто?! — воскликнул он. — Мне и в голову не приходило! Мы ведь спокон века этим занимаемся, весь наш род, и ни разу никто ничего не говорил.

Адаму улыбнулся.

— Я обязан сделать тебе предупреждение, — строго сказал он. — Через неделю опять приду, если ты все это хозяйство не уничтожишь, мне придется писать рапорт в управление.

— Да ведь теперь-то я знаю, что это незаконно, и все уничтожу, — ответил Кофи.

Адаму показалось, что старик даже хихикнул от радости.

Он повернулся и, подозвав Куку, отправился по тропинке назад.

В тот вечер Адаму, как повелось, сидел с Кваку на веранде, потягивая пальмовое вино.

— Однако твой друг Кофи Амрим — мастер своего дела, — сказал он Кваку.

— Что?.. Э-э... Да... — сказал Кваку.

— А есть в деревне хоть один человек, который бы не знал, чем он занимается?

— Что ты имеешь в виду?

— Сам знаешь что.

— Значит, ты обо всем узнал! — сказал Кваку. — И что же теперь собираешься делать?

— А что ты предлагаешь?

Кваку взглянул на друга.

— Ты ему что-нибудь сказал? — спросил он.

— Сказал, что приду через неделю и, если увижу все на прежнем месте, доложу в управление. Ясно, он объяснил мне, что и понятия не имел, что дело это незаконное. Только вот я забыл его спросить, почему это там чащоба поперек тропинки?

Кваку поглядел на своего друга с одобрением.

— Ну тогда порядок. Почему бы тебе не назначить какой-то определенный день для проверки... ну, допустим, понедельник? Тогда все можно будет успеть, и ты уже ничего не увидишь.

Адаму улыбнулся. Он отлично понимал: сообщи он о винокурне, и отместкой ему будет вечная вражда деревни. К тому же и особого греха не видел — разве его собственный дядюшка в деревне не имеет такую же винокурню? Кто-нибудь еще из деревенских вряд ли вздумает сообщить о винокурне, а если что, он прикинется, будто и знать ничего не знал. Итак, сделка с собственной совестью состоялась. С тех пор каждый понедельник Адаму отправлялся в лес и оглядывал то место, где прежде стояла винокурня. Иной раз и старый Кофи шел с ним вместе, но со временем тропа совсем заросла травой и кустарником, так что можно было уже и не совершать эти прогулки. А на другие тропки Адаму строго-настрого запретил себе глядеть — как знать, куда они его заведут? Зато, вместо того, чтобы без толку бродить по лесу, он теперь нет-нет да и заглянет в хижину Кофи отведать свежего пальмового винца. Стали они друзьями-приятелями, а под суровым обликом Кофи Адаму открыл в нем совсем другого человека — с таким спокойным юмором и приметливого. Уж вот кто все доподлинно знал про всех и про все деревенские события.

8. ИДЕМ НА ГРАБЕЖ, ИЛИ НАДО ЖЕ ТАК ОПРОСТОВОЛОСИТЬСЯ!

Газеты обычно попадали в деревню лишь после обеда, их привозил какой-нибудь грузовик, на котором народ возвращался домой из города. Кваку шел в полицейский участок уже вечером, когда Адаму Лафия сидел и штудировал газеты. Он прочитывал их целиком, от первого до последнего слова, — как он объяснял, по долгу службы. Ведь циркуляры и распоряжения частенько доставляют в деревню с опозданием, вот и приходится просматривать газеты, нельзя же в самом деле целый день слушать радио. Из газет узнаешь, какой закон приняли, у кого машину угнали и какой ее номер, где и кого ограбили. Полицейский должен быть в курсе всех событий. Ну и, конечно, приятно, когда есть с кем эти события обсудить.

Постепенно Кваку стал разбираться в государственных делах не хуже, чем в деревенских. Понимал он далеко не все, о чем писали в газетах, ему, увы, недоставало образования, но обо всем у него складывалось собственное суждение. Особенно большое уважение он питал к передовицам, не соглашался с их автором лишь в том случае, если тот выступал против местных традиций и обычаев.

Очень трудно ему было взять в толк, почему это страны никак не могут решить, наконец, свои споры. Не зная истории, не имея никакого понятия о тонкостях и ухищрениях политической игры, он страшно удивлялся, что страны, которые на словах миролюбивы, частенько друг с дружкой воюют. Ну скажите на милость, зачем воевать, когда можно найти себе какого-нибудь мудрого, справедливого судью со стороны, и пусть он уладит ссору полюбовно. Вон Нана Абабио, сколько он на своем веку решил земельных споров. Например, проходит граница между двумя участками по реке, а река возьми да измени свое русло, или молнией спалило растущее на меже дерево, или дети решили разделить доставшуюся им землю, и всех-то Нана Абабио рассудит по совести, все его судом довольны. К счастью, Кваку не знал, что такое война, даже отдаленно не представлял, какие бедствия она несет, каковы масштабы ее разрушений.

Иное дело — история с ограблениями, тут Кваку чувствовал себя как рыба в воде. На всякий случай он сделал в своей лавке крепкие запоры и держал во дворе злейшего пса, но был уверен, что вору нипочем не полезут ночью к нему в дом — это ж полным дураком надо быть, ведь стоит такая тишина, а де-

ревенские собаки вскакивают как сумасшедшие на малейший шорох.

Однажды вечером он сидел у Адаму в участке. Газеты уже прибыли, и сержант углубленно читал какую-то заметку на первой полосе.

— Ну и дела творятся! — Адаму покачал головой. — Что же дальше-то будет?

— Что такое, Адаму?

— На шоссе неподалеку от Бонсуа остановили грузовик, стукнули водителя по голове и забрали деньги — месячное жалованье рабочим лесопильни Балкоу. Как раз в это время один крестьянин возвращался с поля и видел неподалеку от места происшествия синий «пежо», он мчался с бешеной скоростью. Видели этот «пежо» и в наших краях...

Адаму поднял глаза.

— Ты, Кваку, случаем не видел?

Кваку с сожалением вздохнул.

— Вчера весь день на плантации был, — сказал он. — Надо домашних спросить. А ты потолкуй с народом, наверняка кто-нибудь да видел.

Кваку поспешил домой и стал допытываться у домохозяев, не видел ли кто синий легковой автомобиль. Все сказали, что нет. Адаму тоже начал наводить справки, но сельчане только пожимали плечами.

Как раз за неделю до этого дочь почтмейстера Фаустина приехала домой на каникулы. Сначала она гостила у подруг в городе, но отец не давал ей денег, и девушке пришлось вернуться в деревню. Друзей у нее не было, и она ужасно скучала. Стряпала с матерью обед, помогала отцу на почте, но все равно времени оставалось много, и она не знала, куда себя девать. Скорей бы шло время; вечером ей звонили подружки из города. Матери она говорила: «А, это Юстина, она просто хотела поболтать со мной», или: «Мери звонила, зовет меня в кино». Однако голос, который с ней разговаривал, был значительно ниже, чем у Мери или Юстины. Конечно, Мери и Юстина были с Фаустиной в заговоре, ведь звонил-то «Юстинин брат». Фаустина часто виделась с этим «братом», он был парень веселый и занятый, а ей шел девятнадцатый год, как же тут не заскучать в деревне?

Кваку заметил: каждый вечер Фаустина торчит в будке и разговаривает. Если в это время у других случалась надобность позвонить, приходилось ждать. Интересно, думал Кваку, о чем это девчонка столько времени болтает? Ведь она нигде не служит, молода еще, и замуж ей тоже рано. Он спросил

Фаустининого отца, но тот лишь засмеялся: «Там такая дружба, что водой не разольешь. Молодежь, пусть развлекаются». Он очень гордился, что у дочери столько друзей.

Но вот однажды, возле почты остановился синий «пежо», и Кваку просто заболел от любопытства. В машине сидели парень и две девушки. Они вошли в дом, потом вышли на улицу вместе с Фаустиной и ее матерью, причем Фаустина была разряжена в пух и прах.

Полиция до сих пор не нашла синий «пежо». Он, как писали в газете, проехал через их деревню, а дальше как в воду канул, больше о нем не было ни слуху ни духу. И вот вам пожалуйста — к их почте подкатывает синий «пежо». Не тот ли самый, а? Жаль, Кваку не спросил тогда номер.

Он давно забыл об инструментах, которые стянул у монтеров, но как-то вечером стал прибираться в лавке и вдруг на них наткнулся. Интересно, не разучился ли он ими пользоваться? Может, попробовать? Два дня он колебался. На третий сказал жене, что пойдет прогуляться до шоссе и заглянет к приятелю на бензоколонку. Как только начало темнеть, он взял небольшую сумку и отправился в путь. Время он, надо надеяться, рассчитал правильно, Фаустине скоро позвонят, и наконец-то он узнает, о чем это девчонка болтает.

На бензоколонку Кваку, конечно, не пошел, дошел лишь до того места, где дорога делает крюк, огибая болото. Там он свернул на тропу, которую протоптали вдоль телефонных столбов напрямик к шоссе, срезал угол. Вот дорога скрылась из виду, вот наконец и столб, который он наметил. Возле столба растет большое дерево со сломанной макушкой, его почему-то не срубили, когда ставили столбы, и если влезть повыше, можно дотянуться до проводов. Ага, наверно, затем-то дерево и оставили. Кваку, несмотря на возраст, был на удивление ловок и быстро влез наверх. Нет, не зря он столько времени наблюдал, как работают монтеры. Он вытащил инструменты и осторожно подключился к проводу. Потом надел наушники. Сначала в них что-то шумело, трещало, выло, словно бы кто-то громко дышал, где-то далеко играла музыка. Вдруг задрезжал звонок. Трубку сняли, и послышался приглушенный гул голосов. На линии разговаривали. Мужской голос спросил:

— Это ты, Фаустина?

— Я, милый...

Все заглушил треск, Кваку разбирал лишь отдельные слова. И вдруг он услышал такое, что чуть не свалился с дерева:

— Значит, договорились: идем на грабеж... жди меня на перекрестке... да, да, наши тоже будут, встретимся в городе...

ты будешь довольна... я все организовал... — И опять в наушниках послышался знакомый вой, писк.

Кваку поспешно сунул наушники и инструменты в сумку. Спускаясь с дерева, он от волнения чуть не сорвался, но кое-как слез и сломя голову бросился к деревне.

— Адаму! — кричал он, подбегая к полицейскому посту. — Эй, Адаму, где ты!

Адаму уже запер пост и ужинал с женой у себя дома. В уголке ели дети. Адаму вытер рот рукой и спросил Кваку, что стряслось, почему он так запыхался. Кваку стал рассказывать, а полицейский вновь сосредоточился на своем рагу из банины. Наконец он поставил миску на стол и снова вытер рот.

— Думаешь, это те самые грабители? И я, стало быть, должен их ловить? А скажи мне, Кваку Хоумпам, как это тебе удалось подслушать разговор? Ведь они вроде по телефону договаривались, а?

Кваку забыл, что он тоже нарушил закон. Он опешил, однако тут же нашелся:

— Ты что, меня не знаешь? Я случайно проходил мимо телефонной будки, слышу, говорят: «Идем на грабеж», ну я и не удержался...

Адаму поглядел на своего приятеля и глубоко вздохнул:

— Ох, Кваку, Кваку, до чего же длинный у тебя нос! И до чего же ты вьедлив: прямо как запах лука.

Он поднялся со стула, вошел к себе в комнату и вернулся уже в фуражке, застегивая на ходу куртку.

— Пошли, — кивнул он Кваку. — Может, она еще дома, тогда поедem за ней.

Приятель двинулись к почте. Кваку еще раньше закинул в лавку сумку с инструментами, и теперь крикнул жене на ходу, что вернется поздно.

Вот и почта. В дверях показалась Фаустина. Они пропустили ее шагов на сто вперед и зашагали следом по дороге. Фаустина быстро шла к шоссе.

Возле поворота Кваку что-то прошептал Адаму, и они свернули на тропу под телефонными проводами. Кваку шел впереди — он видел в темноте, как кошка, Адаму — за ним.

— Осторожно, справа топко, — шептал Кваку, — дальше будет лучше, там уже почти высохло.

Когда они вышли к шоссе, Адаму дышал как паровоз, но Кваку не ощущал усталости. Они подошли к автобусной остановке и стали ждать. Подкатил автобус из города, вышел какой-то молодой человек и перешел на их сторону. Через не-

сколько минут со стороны деревни застучали каблучки. Увидев на автобусной остановке полицейского и Кваку, Фаустина сделала молодому человеку знак рукой, от приятелей это не укрылось. Фаустина сказала им, что едет в город, хочет повидаться с подругами. Потом засмеялась и спросила, а что они тут делают, уж не вора ли ловить собрались?

— Все может быть, — загадочно ответил Кваку.

Фаустина впорхнула в автобус, молодой человек сел с ней рядом. Адаму решил сесть сзади, чтобы парочка все время была у них на виду. Но Фаустина уже забыла о сельчанах и весело щебетала о чем-то с молодым человеком.

Замелькали огни города. Автобус останавливался чаще, люди входили, выходили. Наконец он притормозил возле большого кинотеатра, и Фаустина с молодым человеком сошли. Кваку и Адаму выскочили в последнюю минуту, их чуть дверь не прихлопнуло.

— Неужели у них здесь место сбора? — удивился Кваку. — Здесь же таклюдно!

Но что это? Фаустина и молодой человек встают в очередь за билетами! Адаму поднял голову и увидел над входом в кинотеатр огромную рекламу: «Грабеж среди бела дня». Ну и болван этот Кваку! Да и он не лучше, надо же так опростоволоситься! Его разобрал смех.

— Друг мой Кваку, — ехидно сказал он, — я на сегодняшний день свое отработал, не грех и поразвлечься, поэтому ты ведешь меня в кино, да на самые дорогие места, учти. Картина называется «Грабеж среди бела дня». Наверно, интересно, — как ты думаешь?

Кваку выпучил глаза.

— Что?!

— А что слышишь. Ты, мой дорогой, подслушал, как молодой человек назначал барышне свидание. Знает об этом ее мамаша или нет, нас не касается. Они в кино идут, так что вряд ли у них останется время на задуманную операцию.

— Э-хе-хе, что же делать, поехали тогда домой.

— Ну уж нет, я сто лет в кино не был, все денег не выкрою. А ты мне задолжал, так что води меня и не спорь.

Кваку нехотя полез в карман шорт за кошельком.

— Проявляй после этого бдительность, вон как приходится за нее расплачиваться, — проворчал он, а какой-то голос в глубине его сознания тихонько добавил: «И за неумеренное любопытство». Кваку мысленно цыкнул на этот голос, однако дал себе слово никогда больше не подслушивать телефонные разговоры.

С картиной им повезло. Они несколько дней кряду ломали себе головы над происшествием в их собственной округе, но сейчас перед ними разыгрывалось такое захватывающее преступление, что они забыли обо всем на свете. В какой-то далекой стране шайка бандитов ограбила банк и украла миллион фунтов. Их, конечно, поймали, но полиции пришлось здорово попотеть.

— Масштабу нам не хватает, — сделал вывод Кваку, — мыслим больно мелко, вот в чем наша беда.

После сеанса Фаустина увидела приятелей и подбежала к ним.

— Я с вами поеду домой, ладно? — спросила она. — Я не знала, что вы тоже едете в кино. Мы с друзьями в толпе растерялись.

В автобусе они до самого дому с жаром обсуждали картину.

Жена Адаму не ложилась спать.

— Ну что, поймали? — спросила она.

Адаму засмеялся:

— Нет, убежали наши воры. — И ничего рассказывать не стал.

Кваку пришлось стучаться в свой собственный дом. Наконец открыл сын.

— Как ты поздно, — сказал он, зевая.

Никто Кваку ни о чем не расспрашивал. Жена его давно спала сладким сном.

9. КВАКУ-ДЕТЕКТИВ

Синюю машину так и не нашли, деньги тоже, грабители по-прежнему разгуливали на свободе. Кваку был благодарен Адаму, что тот хоть не слишком потешается над его ошибкой. Приятель никогда о ней не напоминал, только глянет иногда с лукавым прищуром, и все. Жизнь в деревне шла своим чередом. Младшая невестка Кваку родила еще одну дочь, почти все дети в семье переболели корью, на деревья какао напала черная гниль, об этом Кваку доложили племянники. Он решил сходить на плантацию и лично все посмотреть.

Плантация была неблизко, поэтому он отправился в путь пораньше. С деревьев капала роса, земля под ногами была мокрая. Он дошел до поворота и свернул на грунтовую дорогу, которая вела через лес. И вдруг с удивлением увидел в ложбинке на мягкой глине следы автомобильных шин.

«Любопытно, — подумал он. — Оказывается, здесь ездят. А я-то думал, последними здесь были лесорубы, когда прореживали лес».

Он прошел еще с полмили и несколько раз встретил отпечатки шин. Потом впереди за деревьями мелькнуло что-то синее. Наверное, кто-нибудь работает на плантации, решил Кваку. Подойдя поближе, он разглядел, что это синий автомобиль. Машина стояла к нему задом, припав на один бок, колесо спущено, марка — «пежо».

Кваку задрожал от волнения. Надо скорей посмотреть номер, не та ли это машина, что разыскивает полиция? Он подбежал к номерному знаку, нагнулся. АВ4527. Кажется, тот самый!

Он прислушался. То и дело с легким треском лопались коробочки «пушек ашанти», выбрасывая в воздух облачка пыли, гудели и стрекотали жуки, но больше ничто не нарушало тишину. Автомобиль, судя по всему, бросили здесь уже давно, его по самый бампер засыпали сухие листья. Стекла были опущены, внутри все промокло от росы. На заднем сиденье валялся пустой саквояж. На крыше грелась ящерица.

Ну уж нет, плантация подождет, туда можно сходить и завтра! Кваку поспешил обратно в деревню. Мысленно он уже читал заголовки газет: «Кваку Хоумпам нашел машину грабителей», или и того лучше: «Фермер из ашанти — великий детектив». Он почти бежал.

Адаму сидел у себя в кабинете и удивленно раскрыл глаза, когда к нему ввалился Кваку, едва дыша от возбуждения и усталости.

— Здорово, друг, — приветствовал его Адаму. — Чего это ты весь в мыле? Опять напал на след преступников?

— Я машину их нашел! — выпалил Кваку.

Адаму захохотал.

— Ну ты даешь! Мастер разыгрывать.

— Да ей-богу, нашел, синий «пежо», номер АВ четыре тысячи пятьсот двадцать семь, стоит в лесу...

— Да как он в лес-то попал?

— Заехал по грунтовке, ну ты же знаешь — она ведет к моей плантации.

— Приснилось тебе, брат, не иначе.

Но, взглядевшись в лицо приятеля, Адаму понял, что Кваку не шутит.

— Ну, коли так, рассказывай, — велел он и принялся искать в бумагах на столе газету, где была заметка об ограблении грузовика. Так, вот она. Сейчас посмотрим номер... АВ четыре

тысячи пятьсот двадцать семь! Видать, дело серьезное, — сказал он. — Надо звонить в город.

Квегир Брюс завтракал, и ждать его пришлось довольно долго. Наконец он соединил Адаму с городом, но там никак не могли найти инспектора. Но вот, слава богу, нашли. Голос на другом конце провода заговорил с Адаму официально и сухо, но когда сержант начал рассказывать, голос сразу оживился. Получив указания, что делать, Адаму положил трубку и потуже затянул ремень.

— Пошли, — сказал он Кваку. — Будем ждать их на дороге возле грунтовки.

Кваку было заколебался, но тут же махнул рукой. А, была не была, пошли.

— Подожди, только домой загляну, — сказал он, — надо предупредить, что вернусь не раньше обеда.

— Давай скорей, да гляди — никому о машине ни слова, а то вся деревня сбежится и затопчут следы.

Такого оборота Кваку не ожидал. Он-то размышлялся, как первым сообщит в деревне великую новость! Ну да ладно, Адаму рассудил верно. Кваку сбежал домой, сказал, что сегодня на плантацию не пойдет, не до того ему сейчас, надо помочь Адаму в одном деле, и поспешил к мосту, где Адаму с нетерпением ждал его.

— Куда так торопиться, они еще когда приедут, — убеждал его Кваку.

— Все равно, будем охранять грунтовку, чтобы никто туда не ходил.

Кваку вспомнил зарывшуюся в листья машину, лесное безмолвие, но промолчал.

Они сидели на обочине и ждали не меньше получаса. Солнце уже сильно припекало, Адаму расстегнул воротник и то и дело вытирал лоб. Мимо проносились грузовики и легковые автомобили, полицейскому и Кваку махали, кричали, спрашивали, что они там делают. Один водитель даже притормозил и вызвался подбросить, но они отказались — объяснили, что должны тут кое с кем встретиться по делу, и водитель уехал.

Наконец показалась полицейская машина. Она остановилась на обочине, вышел инспектор, Адаму поспешно застегнул рубашку и отдал ему честь. Инспектор внимательно осмотрел съезд на грунтовку, попробовал землю ногами.

— Давайте малость отъедем, — приказал он. — Нечего торчать у всех на виду, а то через пять минут тут весь округ соберется.

Они проехали по грунтовке до поворота — теперь машину

с дороги не было видно. Все вышли, водитель запер машину. С инспектором приехало несколько человек, у одного был фотоаппарат, у другого — блокнот и рулетка. Пошли вперед, Кваку с инспектором показывали путь. То и дело наклонялись, чтобы рассмотреть следы шин.

— Хорошо, эти дни дождей не было, — заметил инспектор.

Наконец Кваку остановился и тронул инспектора за локоть.

— Вон, — сказал он, — там за деревьями. — И действительно, впереди мелькнуло что-то синее. Инспектор пошел быстрее. Показалась машина.

— Стоп! — скомандовал инспектор. — Сначала я сам все осматриваю. — Он поглядел на сандалии Кваку, на следы, которые оставались от них на мягкой земле. — Ты тут и так уже хорошо наследил. Хоть в машине-то, надеюсь, ничего не трогал?

— Что вы, конечно, нет, — заверил его Кваку и про себя поправился, что в спешке не стал открывать дверцы. — Только в окошки заглянул. Разве я не знаю, что и пальцем ни к чему нельзя прикасаться.

Не меньше получаса инспектор изучал место происшествия. Фотограф без конца щелкал аппаратом; меряли рулеткой, дюйм за дюймом осмотрели всю машину, ища следы и отпечатки. Жарило уже вовсю, даже в лесу нечем было дышать, вокруг них тучами вились мухи. Наконец инспектор попросил шофера поменять колесо — сейчас будем выводить машину. Ключа зажигания, конечно, не было, но шофер поковырялся в моторе, что-то с чем-то соединил, и машина тронулась с места. Грунтовка была узкая, о том, чтобы развернуться, и не мечтай, поэтому они нашли небольшую полянку и вырубил под корень подлесок. Машина ползла с черепашьей скоростью, инспектор сидел рядом с шофером, остальным пришлось идти пешком. Наконец доползли до поворота, где оставили полицейскую машину, и решили гнать ее до дороги задним ходом.

— За руль сяду я, — сказал инспектор шоферу, — а ты так и поведешь эту колымагу. — Потом обратился к Адаму: — Тебе придется дать показания, поедешь с нами. — А Кваку он сказал: — Твои показания сержант Лафия потом запишет, расскажешь ему все как можно подробнее. — И захлопнул дверцу.

— Кваку, скажи жене, я вернусь поздно, — шепнул Адаму, и машина умчалась в город.

Кваку медленно побрел домой.

Жена распаковывала в лавке тюк с ситцами, который был еще утром. Она рассеянно глянула на Кваку.

— Так, значит, на плантацию сегодня и не сходил. Жалко, Квази на тебя надеялся. Что случилось-то?

— Да понимаешь, полиция попросила меня помочь.
— Полиция? Это еще зачем ты им понадобился? Кого-нибудь ограбили?

— Нет, никого не грабили. Просто я нашел синий «пежо». Акоса давно забыла о происшествии с грузовиком, с нее и своих забот хватало. Она в недоумении подняла голову.

— Какой синий «пежо»?

Вот тебе и на — «какой синий «пежо»! А он-то представлял, как она удивится, станет ахать, восхищаться!

— Ты что, с луны свалилась? На той неделе грузовик ограбили, и бандиты скрылись в синем «пежо», неужели забыла?

— А, верно. Ну и что?

Кваку уже давно не терпелось рассказать кому-нибудь о своей находке, а жене, он знал, доверить тайну можно, не проболтается, поэтому он сел к прилавку и обстоятельно все изложил.

— Ну и дела, — покачала головой Акоса. — Мой муженек нашел машину, это же надо. А вознаграждение тебе положено?

— Не знаю, — ответил Кваку, — не спрашивал. Но смотри, жена: пока не начнется следствие, ни единой живой душе ни слова.

— Учи ученого, — обиделась жена. — Сейчас будем обедать, скажу только, чтобы фу-фу к обеду добавили.

Ни Акоса, ни Кваку не обмолвились сельчанам о происшествии, и тем не менее вечером, когда Адаму вернулся из города, о нем уже судачила вся деревня. Адаму с досадой выговорил Кваку:

— Я же просил тебя молчать!

— Я и молчал как рыба!

— Как же они тогда все прознали?

— Понятия не имею, но, ей-богу, я тут ни при чем!

Кваку вконец расстроился: ему так хотелось поразить односельчан рассказом о своем подвиге — так нет, запретили, а теперь, оказывается, он же еще и виноват. Откуда же ему было знать, что инспектор, который приезжал из города, — приятель Фаустинино покло́нника и что новость сообщил этот самый покло́нник по телефону? Адаму так и считал, что это Кваку разболтал о своей находке сельчанам.

10. ВОРА ПОЙМАЛИ

Конечно, Кваку досталась положенная ему доля лавров. Правда, деревня уже все знала, но одно дело узнать из третьих или даже четвертых рук, и совсем другое — послушать рассказ

очевидца, а ведь Кваку Хоумпам, их Кваку, был не просто очевидец, он был герой события!

Когда он вечером пришел на площадь, там собралась вся деревня от мала до велика. Нана Абабио пригласил его в ахенфи, посадил рядом с собой, и все, кто только мог, протиснулись внутрь. Кваку начал свое повествование, расцвечивая его эффектными драматическими подробностями.

— Интересно, где же грабители — убежали или еще здесь? Я снова прислушался, но стояла мертвая тишина, только птицы кричали. На крыше и на капоте лежали опавшие листья, и тогда я понял, что машина стоит здесь давно...

— А внутри ты не заглядывал? — спросил Квадво, младший из братьев Аманква.

— Господь с тобой, до прихода полиции ничего трогать нельзя, разве я не знаю!

Когда наконец Кваку кончил свой рассказ, на него обрушился водопад вопросов, но вот и вопросы иссякли, и собравшиеся принялись гадать, кто же все-таки мог бросить там машину. У двери послышался шум, в ахенфи вошел Кофи Амрим с огромным кувшином, который он и поставил у ног вождя. Вино пустили по кругу в калембасе, и спор разгорелся еще жарче.

Сначала все твердили, что вор откуда-то издалека, потом кто-то сказал: «Э, нет, откуда человеку пришлому так хорошо знать наш лес?» Действительно, дорога через лес была укромная и незаметная, о ней знали только местные жители.

— Почему он кинул машину именно там? — заинтересовался Кофи Аманква.

Кваку задумался.

— Дальше дорога сужается и идет к реке. А моста нет.

— Значит, вор — один из нас, — сказал кто-то с неловким смешком.

Все ошеломленно замолчали.

Молчание прервал Нана Абабио:

— Мы должны снять с себя такое позорное подозрение. Давайте хорошенько подумаем, кто мог такое сделать. У кого вдруг оказалось много денег? Кто умеет водить машину? Нужно найти преступника.

— Ты прав, Нана, — ответили все хором.

— Куда ведет грунтовка? Вернее, где она начинается? — спросил один из молодых людей.

— Где она начинается? В Опепезе.

— Стало быть, вор оттуда.

— Да там всего десяток дворов, считая двор одикро¹. Они по этой грунтовке сейчас почти и не ездят, им сделали хорошую мощеную дорогу до Бонсуа, — заметил Кофи Амрим. — Удивительно еще, что грунтовка до сих пор не заросла.

Назавтра совет держали деревенские старухи. Все сельчане выросли у них на глазах, они помнили их еще детьми и знали, от кого чего ждать. Однажды к ним в деревню пришел бродячий денежный маклер. Старухи зашептались, заволновались, гадая, кто же попадется ему на удочку. Ведь и сами они были когда-то молодыми и тоже поддавались соблазну. И потому никто не удивился, когда брат учителя закона божьего Кофи проиграл десять фунтов — все свои сбережения. Он в детстве как замороженный слушал их сказки и верил каждому слову. Как он восхищался хитростью Анансе! Как мечтал найти на краю радуги ожерелье из драгоценных камней; как бежал, завидя радугу, через лес!

Старухи стали перебирать всех деревенских парней и мужчин одного за другим, примеривая, кто же способен украсть. Бондо в детстве был воришка, вечно утащит какую-нибудь мелочь, но ведь бедняжка никогда не наедался досыта. Иао Нкрума в жизни не сказал слова правды, уши вянут от его небылиц. Кофи Нтем — тихоня, поди узнай, что у него на уме, но он очень любит маленьких, вся детвора к нему так и тянется, он сроду и мухи не обидел. Оставалось всего несколько человек, и почти все в день преступления были дома, на виду у своих. Слава богу, вор не из их деревни! Старухи пошли к Нана Абабио — обрадовать вождя такой вестью. Нана Абабио прислушивался к мнению женщин, считал, что они правильно судят о людях, презирал он только вертихвосток, которые идут наперекор обычаям и не чтут старших, — таким доверять нельзя, от них не жди добра, ведь они отреклись от своего рода и племени.

У троих парней, которые все-таки попали под подозрение, оказалось надежное алиби, их всех в это время кто-нибудь видел. Нана Абабио решил потолковать с одикро из Опебезе и послал за ним одного из своих приближенных.

Опепезский одикро был еще совсем молоденький парнишка, лет восемнадцати — двадцати, но он унаследовал здравый смысл и мудрость своего отца, которого все в округе высоко почитали. Нана Абабио встретил одикро приветливо и учтиво, усадил и принялся обсуждать с ним деревенские новости. Нана знал почти всех жителей Опебезе, и особенно хорошо одну ста-

¹ Оди кро — деревенский вождь.

руху, которую у них считали колдуньей. До того, как выйти за своего нынешнего мужа, который был родом из Опебезе, Авура Ама жила в их деревне. Уже в те времена ее побаивались. Ходили слухи, что она убила своего первого мужа, потому что он умел насылать порчу. На самом-то деле он стал жертвой шальной пули, но все единодушно решили, что тут не обошлось без колдовства. Потом умерла старшая дочь старухи, и народ стал говорить, что это она-де извела дочь от зависти: девушка вышла замуж за богатого молодого человека из города и стала ужасно чваниться. Без нужды бабке старались не попадаться на глаза.

Нана Абабио дипломатично предложил одикро посоветоваться и с ней тоже. Одикро подробно рассказал вождю о своих сверстниках из Опебезе. В такой маленькой деревушке их было не так уж много. И вдруг он хлопнул себя по лбу — не так давно к ним из города приехал один парень, он много лет и носа не казал в родную деревню, а тут вдруг ни с того ни с сего явился, живет у дяди и все обещает обрабатывать его плантацию, а сам не знает, каким концом взять в руки лопату, и на работу его надо гнать палкой.

— Разузнай о нем как можно больше, — попросил Нана Абабио.

В Опебезе тоже принялись обсуждать происшествие, однако при появлении блудного племянника сельчане разом умолкали. Городского парня звали Квадво Оваре, кожа у него была светлая, а волосы чуть ли не рыжие, мастью он пошел в бабку и в мать. Раньше он проводил все вечера дома, сидел под деревом и тянул пальмовое вино, а вот в последнее время стал чашенько исчезать. Одет во все новое с иголочки, носит не шорты, а брюки, работать почти не работает, дядя один надрывается, а он знай разгуливает по деревне с сигаретой в зубах.

Однажды вечером одикро заглянул к Квадво Оваре и пригласил в гости к Нана Абабио, сказал, что с ними пойдет целая компания. Идти Квадво Оваре ужасно не хотелось, однако и отказаться было нельзя. Остальных ребят одикро подробно проинструктировал, что делать и как себя вести.

В воскресенье они спозаранку отправились в соседнюю деревню, в церковь; их-то была такая маленькая, что там и часовни не полагалось. Решили идти через лес, как ни отговаривал их Квадво Оваре.

Когда стали спускаться к речушке, Квадво отстал.

— Эй, шагай веселей! — крикнул один из компании и, крепко схватив Квадво за руку, потащил его вниз, в воду, за ними

сбежали, подняв тучи брызг, остальные. Бегом поднялись на противоположный берег и скоро дошли до того места, где Кваку нашел машину. Одибро неожиданно повернулся к Квадво Оваре и в упор спросил:

— А где же машина?

— Не знаю, наверно, кто-нибудь увел... — ответил Квадво и только тут сообразил, какую допустил оплошность.

Ребята окружили Квадво Оваре кольцом.

— Выкладывай все, как было, — приказал одибро.

— Да чего выкладывать-то, Нана? Не понимаю!

— Не понимаешь? Откуда же тебе тогда известно, что тут

— Проходил по лесу и видел.

— Когда ты тут проходил?

— С неделю назад.

— Почему же не рассказал никому? Ты же знал, что ищут машину! — допрашивали его сельчане.

Квадво Оваре разозлился.

— Чего вы ко мне пристали? Вам-то какое дело? — Он хотел вырваться, но ребята стояли плотной стеной. Один срезал ножом ветку с грозными острыми колючками.

— Ну, будешь говорить? — спросил он, замахиваясь веткой.

Квадво Оваре стоял в нерешительности. Парень с веткой двинулся к нему. Квадво вскрикнул и начал свою исповедь. Он отсидел срок в тюрьме на юге, вышел без гроша в кармане, без всякой надежды устроиться где-нибудь на работу. В городе встретил парня, с которым сидел, тот попросил его помочь повернуть одно дельце. Потом наклюнулось другое, третье, и пошло-покатилось. Шайка воришек, в которую он попал, определила его при себе шофером. Ограбление кассира в грузовике было их первое крупное дело. Украденную машину поручили спрятать ему, вот он и пригнал ее сюда, потому что знает эти места. «Пежо» угнали со стоянки напротив кинотеатра в Аккре, там все сошло как по маслу.

— Сколько же ты получил? — спросил его одибро.

Квадво Оваре замялся. Что он, дурак, чтобы говорить правду?

— Двести фунтов, даже меньше, — наконец выдавил он. На самом деле он получил триста, но уж коль попался, надо хоть малую толику спасти.

Одибро немного подумал.

— Дай ключ от своей комнаты, — приказал он. Квадво Оваре протянул ему ключ. Двоих отправили с ключом обратно в Опебезе, остальные пошли дальше, плотно окружив Квадво

Оваре. В начале девятого они уже были возле полицейского поста.

Адаму завтракал, и им пришлось стучать, чтобы он открыл.

— Опять небось какие-нибудь пустяки, — недовольно ворчал он, отпирая дверь поста и усаживаясь за свой стол. — Хоть бы в воскресенье дали человеку отдохнуть, никакого покоя нет. — Он взял в руки блокнот. — Ну, что там у вас?

— Вот он хочет дать показания, — сказал одикро. — Это он угнал синий «пежо».

Адаму впился взглядом в Квадво Оваре. Тот стоял, понунав голову, и переминался с ноги на ногу.

— Откуда вы знаете, что он? — спросил Адаму. — Кто он такой?

— Это Квадво Оваре, он из Опепезе. Он сам во всем сознался.

— Они меня хотели избить, — пожаловался Квадво Оваре.

— Ну так что, ты увел «пежо» или не ты?

— Как вам сказать... в общем, дело было так... — И Квадво повторил Адаму то, что он рассказал в лесу односельчанам.

Он надеялся кое-что утаить, но теперь понял, что ничего не выйдет. Адаму сразу взял его в такой оборот, что пришлось выложить все до мельчайших подробностей. Только когда дошло до имен соучастников, он уперся.

— Слушай, голубчик, — сказал Адаму, глядя ему в глаза, — я не вчера на свет родился, я и жизнь повидал, и в людях разбираюсь неплохо. Так вот, ты не из тех, кто умеет врать, для этого в черепашке надо иметь побольше. Так что кончай вилить и давай все начистоту. Если поможешь полиции, тебе наверняка скостят срок, да и в тюрьме будут делать поблажки. Конечно, закон есть закон, но ведь и закон можно повернуть по-всякому. Выкладывай все без утайки — изволь говорить правду, только правду и ничего, кроме правды. Сам себя потом благодарить будешь.

Квадво угрюмо молчал. Но Адаму был не новичок, через его руки прошел не один десяток нарушителей. Он медленно расстегнул пряжку ремня. Квадво вздрогнул — он же не знал, что Адаму никогда не пустит его в ход. Адаму встал, не спеша снял ремень, демонстративно помахал им и легонько хлопнул себя по колену.

— Не надо, подождите! — испуганно закричал Квадво. — Я и так расскажу! — И он назвал имена своих четырех сообщников и их адреса. Адаму послал одного из ребят разыскать почтмейстера и попросить его включить телефон. Через несколь-

ко минут раздался звонок, и Квегир Брюс соединил Адаму с полицейским управлением города. Адаму подробно записал показания Квадро Оваре, прочел их ему и велел подписать. Ремень все еще лежал на столе.

Одикро и его друзья вошли в церковь с последним ударом колокола. Им оставили место впереди, но церковь была битком набита, и молодым людям пришлось стоять чуть не у самой двери. Двое остались с Адаму в участке, чтобы передать Квадро Оваре вместе с его подписанными показаниями полицейским, которых ждали из города.

Нана Абабио на своей передней скамье и Кваку Хоумпам через ряд от него всю службу ломали себе голову, зачем пришел к ним одикро и какие новости принес. Господи, какая длинная проповедь, да будет ли ей конец? А тут еще женщины с их песнопениями! Наконец смолк последний гимн, и до сидящих впереди докатилась передаваемая шепотом новость, что поймали вора. Паства расступилась, пропуская вожда на улицу. Одикро вышел вместе с ним. Не сговариваясь, оба отправились к ахенфи, за ними поспешили старейшины, и когда все уселись, одикро начал свой рассказ. Кофи Амрим велел принести пальмового вина, и скоро калebas заходил по кругу.

Одикро хотели налить в стакан с трещиной, — ну как же, человек все-таки школу кончил, не им чета, — но он вежливо поблагодарил и сказал, что будет пить из калebasа, как все. Домой друзья из Опебезе вернулись уже к вечеру, чрезвычайно довольные приемом, который оказал им вождь и жители деревни.

11. СУД НАД ВОРАМИ, ИЛИ АПОФЕОЗ АДАМУ

Много дней дверь в полицейском участке буквально не закрывалась. Между городом и Опебезе без конца сновали полицейские, заглядывали к ним в деревню, расспрашивали Кваку, потом забирали с собой Адаму и уезжали. То и дело под каким-нибудь предлогом забегали сельчане — узнать последние новости. Управляющий лесозаготовительной компанией из Бонсуа нанес визит Кваку и подарил ему календарь, записную книжку и жестянку табаку. Кваку разложил дары в лавке на витрине.

Воров выследили и арестовали, водитель грузовика их опознал, часть денег фирме вернули, и, как положено, было назначено предварительное слушание в мировом суде. Мировой

судья нашел, что совершенное преступление подлежит юрисдикции гражданского суда, и дело было передано в Высокий суд.

Адаму сообщил сельчанам, что предварительный разбор будет проводиться только для проформы, потому что преступник во всем сознался, но когда было назначено слушание в гражданском суде и вызвали свидетелей, на заседании пожелала присутствовать вся деревня.

Наняли два грузовика, и все, кто мог оставить хозяйство, отправились в город. Приехали задолго до назначенного времени, потому что ужасно боялись опоздать. Судья в это время разбирал другое дело, и сельчане часа два ждали возле здания суда, взволнованно обсуждая предстоящее. Фаустина приехала вместе со всеми, но очень скоро незаметно ускользнула и побегала на свидание к своему приятелю, и никто этого не заметил.

Дело, которое слушалось первым, уже подходило к концу. Было совершено зверское преступление — племянник убил дядю. Старика нашли со следами побоев в сарайчике на плантации какао. Никто не сомневался, что убийца — племянник, все улики были против него. Арестованный сидел за барьерчиком на скамье подсудимых. Присяжные уже признали его виновным, осталось только огласить приговор, и судья спросил обвиняемого, не хочет ли он что-нибудь сказать.

Вдруг зал изумленно ахнул. Судья сорвал с носа очки, протер их и снова водрузил на место. Сидящие сзади потянулись вперед, стараясь рассмотреть, что там случилось. Обвиняемый покачнулся.

На возвышении между судьей и подсудимым стоял олененок и глядел своими большими наивными глазами на молодого человека. Воцарилась мертвая тишина. Наконец один из полицейских опомнился и бросился ловить олененка. Что тут началось! Все повскакали с мест и кинулись вперед, опрокидывая скамьи и давя друг друга. Когда публика опомнилась, олененка уже не было, он исчез так же необъяснимо, как появился.

В зале творилось светопреставление, а на судью будто столбняк напал. Наконец он очнулся, сделал знак судебному приставу, и тот гаркнул:

— К порядку!

Мало-помалу водворилась тишина, и его честь получил возможность говорить.

— Итак, мы продолжаем. Прежде чем я оглашу приговор...

Тут он заметил, что подсудимый лежит на своей скамье за барьером, как куль с мукой.

— Поднять обвиняемого, — приказал он.

— Ваша честь, он не может стоять, — ответил полицейский. — Он не в себе, это на него так появление дяди подействовало.

— Дяди?!

— Ну да, ваша честь, — олень-то!

— Что за чепуха, его дядя давно умер. Какая связь между дядей и оленем? Если олень и вообще-то был, — поспешно добавил он.

Подсудимый с трудом поднялся на ноги, лицо у него было серое, голос дрожал и срывался.

— Господин судья, мне нечего сказать. Я убил своего дядю, и это он сейчас приходил за мной. — И он снова рухнул на скамью.

— Странно, в высшей степени странно, — пробормотал судья и вдруг, в нарушение всех правил судебной процедуры, обратился к публике до зачитания приговора: — Пусть никто из вас не думает, что удивительное событие, которое только что произошло на наших глазах, хоть в малейшей степени повлияло на отправление правосудия. Приговор, который мы вынесли, остался без изменений... — И он надел свою черную шапочку.

Заседание кончилось, публика выходила из зала суда, возбужденно обсуждая происшествие.

Наши сельчане толпой бросились в зал занимать места. Объявили, что сейчас будет слушаться дело по обвинению в воровстве и других преступлениях Квадро Оваре и его сообщников. Заседание началось. Зачли пункты обвинения, представили суду прокурора и адвоката. Желая спасти честь семьи, дядя Квадро Оваре нанял лучшего в городе адвоката; конечно, оправдать племянника не удастся, об этом он и не мечтал, ведь тот сам во всем признался, но хоть, может, удастся добиться сокращения срока. Господи, и как это у его сестры вырос такой негодяй? Почему парень сбился с пути? Наверняка отец виноват. Дядя приехал на суд вместе с опепезским одикро, который очень жалел старика.

Квадро Оваре решил признать себя на суде виновным, но остальные члены шайки твердили, что они к преступлению не причастны, поэтому разбирательство предстояло долгое. Публика затаила дыхание и приготовилась не пропустить ни слова.

Не стоит подробно описывать весь процесс, скажем лишь,

что полиция представила неопровержимые доказательства их вины. Никогда еще она не готовила обвинение так тщательно, и Адаму здорово помог им своими точными показаниями и логичными выводами.

Когда настал черед выступить в роли свидетеля Кваку Хоумпаму, он небрежно закинул на плечо конец покрывала, поднялся на возвышение и победно оглядел набитый до отказа зал. Наконец-то настал его час, теперь он свое возьмет! И он повел рассказ издалека, начав с черной гнили, которая напала на его плантации, потом описал проселочную дорогу, которая ведет через лес в Опебезе, вспомнил лесорубов, которые прореживали деревья несколько лет назад, и, наконец, перешел к событиям того исторического дня. Судья изнывал от скуки, но свидетеля не прерывал: увы, ему было слишком хорошо известно, что ашанти не остановишь, тут уж надо набраться терпения и слушать, слушать; иной раз даже услышишь что-нибудь полезное. Наконец рассказ Кваку подошел к концу, и защитник решил, что подвергать его перекрестному допросу ни к чему, и так все предельно ясно. Кваку в величайшем разочаровании спустился в зал — его звездный час кончился. Он черной завистью завидовал Адаму, ведь тот играл в процессе куда более яркую роль. Держался Адаму с большим достоинством, и когда суд кончился, судья поблагодарил его за исчерпывающие показания и четкую работу и выразил надежду, что начальство Адаму не оставит без внимания столь высокую оценку суда. Полицейский сиял от счастья.

Приговор вынесли суровый — по совокупности совершенных ворами преступлений. Только Квадво Оваре, несмотря на предыдущую судимость, получил срок поменьше, потому что помог полиции распутать преступление. Дядя Квадво Оваре грустно смотрел на племянника, и одикро пришлось взять старика под руку и вывести на улицу.

Кваку пригласили в правление лесозаготовительной компании Балкоу и торжественно вручили награду за то, что он нашел машину. Акоса тоже поехала, желая разделить триумф мужа и не дать ему рассорить денежки. Их сфотографировали, и управляющий обещал прислать снимки им и Нана Абабио, который тоже ездил с ними

Выходя из кабинета, Кваку с гордостью подумал, что жена его в новом платье и в парике — настоящая красавица. На фотографии она выйдет замечательно, и вообще ему с женой на редкость повезло. Он сунул руку в карман и погладил пальцами пачку денег. Завтра они вместе пойдут на базар.

Был уже вечер, возвращаться домой не стоило, и Кваку с Акосой решили переночевать у ее сестры Адвоа Кеуа и повидать своих детей. Вместе супруги бывали в городе редко, и когда они появились возле дома сестры, поднялся настоящий переполох. Женщины стряпали во дворе ужин, дети играли на лестнице трехэтажного дома.

Перецеловавшись со всеми родственниками, Акоса поднялась на второй этаж, где жила ее сестра с семьей и их с Кваку дети. Ама Серваа сидела за столом перед раскрытыми учебниками, а Кофи лежал на полу и читал какую-то затрепанную библиотечную книгу. Брат с сестрой радостно бросились навстречу родителям, обняли мать, сдержанно поздоровались с отцом — они его побаивались.

Кваку поглядел на детские учебники и про себя вздохнул — не пришлось ему учиться в школе, вон даже читать не умеет. Детьми он гордился, но разговора с ними у него не получалось, ведь они знали столько всего, о чем он и понятия не имел, и почти ничего не знали о земле и о той жизни, которой он жил.

Адвоа влетела в гостиную из спальни, на бегу повязывая голову косынкой и сокрушаясь, что же это они ее не предупредили, она бы приготовила им встречу на славу. Скликав дочерей, которые играли на балконе, она велела им сейчас же прибрать комнату для гостей и постелить постель. Потом побежала туда сама и до тех пор туркала и шпыняла девочек, пока работа не закипела. Одного из племянников она послала за пивом. Мужа ее дома не было, поэтому она села занимать Кваку и Акосу беседой, то и дело отвлекаясь, чтобы дать указания детям насчет ужина.

Через четверть часа пиво и минеральная вода стояли на столе. Разговор, естественно, вертелся вокруг поимки преступников и суда. Все сидели в жестких пластиковых креслах, которые служили своим хозяевам верой и правдой уже немало лет. На столе лежала вышитая скатерка, на ней — в вазе букет пропылившихся искусственных цветов. Журнальный столик весь оббит и исцарапан, это уж дети постарались. Стены увешаны фотографиями родни. Среди них — старший член семейного клана, их бабка, красивая, величавая женщина, она сидит на стуле, гордо выпрямившись, руки выложены на коленях. Судя по нарядной одежде, многоярусному ожерелью и золотым украшениям, она занимала в обществе видное положение.

Кваку разглядел фотографии, расспросил об одном род-

ственнике, другом, третьем и пообещал свояченице прислать снимок, на котором им с Акосой вручают награду. И разговор снова вернулся к машине и вору. Дети сидели рядышком и, затаив дыхание, слушали. Кофи набрался духа и спросил отца, как это он не боялся в лесу, а вдруг бы воры вернулись и его схватили?

— Что за чепуха! — рассмеялся отец. — Ты же знаешь, я ничего не боюсь. Настоящий ашанти не должен знать страха. Разве вас в школе этому не учат?

После этой отповеди Кофи точно воды в рот набрал. Ама Серваа стояла за спиной матери и рассматривала ее парик. Потом наклонилась и прошептала ей что-то на ухо. Акоса улыбнулась, тихонько встала, чтобы не мешать беседе, и вышла с дочерью в спальню. Гостиная в это время уже была полна народу, все зачарованно внимали приключениям Кваку.

В спальне Акоса сняла парик и, посадив дочь перед зеркалом, надела его ей на голову. Ама Серваа даже взвизгнула от восторга — она совсем как взрослая! А мать подумала, какой красавицей станет девочка через два-три года. Сейчас у нее начинается опасный возраст, за ней нужен глаз да глаз. Не забыть поговорить с сестрой, пусть держит Ама Серваа построже и не разрешает ей отлучаться из дома по вечерам. Акоса снова натянула парик себе на голову и вернулась в гостиную. Пришел домой муж Адвоа, и начался новый раунд приветствий. На стол выставили несколько банок пива, и беседа потекла еще приятней и оживленней. Наконец женщины объявили, что ужин готов. Гости пошли принять ванну, освежиться, а дети побежали во двор ужинать.

Крутая лестница с бетонными ступеньками казалась в свете тусклой электрической лампочки еще круче, над огнем очагов во дворе дымились котлы и кастрюли. Несколько семей сидело во дворе за вечерней трапезой, и дети спорили, кому достанется последний кусок. Самые маленькие скоро заснули, девочки постарше затеяли игру, мальчики наблюдали, как взрослые играют в шашки, иногда сами делали несколько ходов.

Наверху в столовой ужинали старшие и наиболее почитаемые члены семей.

Тем временем Адаму, окрыленный похвалой начальства, возвратился после своего триумфального выступления на суде в деревню. Ехал он домой вместе с односельчанами в автобусе, все к нему обращались с величайшим почтением, ловили каждое его слово, и он чувствовал, как высоко поднялся в их глазах. Жаль только, полицейским награда не проложена!

Автобус остановился на деревенской площади, все вышли,

и тут только заметили, что Фаустины-то среди них нет. Квегир Брюс, вышедший к автобусу встретить дочь, стал расспрашивать сельчан, но никто девушку, оказывается, на суде не видел. Какая-то женщина помоложе вспомнила, что Фаустина куда-то ушла, лишь только они приехали в город, и больше не появлялась.

Почтмейстер не на шутку встревожился, стал звонить родным в город. Звонит одним, другим, третьим — никто о Фаустине ничего не знает. Тогда ему пришло в голову позвонить Фаустиной подруге, с которой дочь так часто болтала. Номер был написан на стене телефонной будки. Он его набрал.

Ответил мужской голос. Квегир вежливо попросил позвать к телефону Фаустину. На другом конце провода наступило молчание, потом раздался приглушенный смех. «А кто это?» — спросил женский голос. «Понятия не имею», — ответил мужской.

Фаустина подошла к телефону.

— Слушаю, — сказала она. — Кто говорит?

— Я говорю, твой отец! — Вот ужас-то, попалась Фаустина, как теперь выкручиваться? — Где ты находишься? Кто там с тобой? Почему не приехала домой со всеми? Мать с ума сходит от беспокойства, я всех, кого только мог, обзвонил, слава богу, увидел случайно этот номер.

Фаустина в полной растерянности молчала. Если она скажет, что в гостях у подруги, отец потребует эту самую подругу к телефону, а она вовсе не у подруги, а у друга, кроме них, в квартире никого нет, и они совсем забыли о времени.

— Понимаешь, я опоздала на автобус, — залепетала она, — на такси у меня денег не было, вот я и пошла к друзьям... за-нять... Я скоро приеду.

— К каким таким друзьям ты пошла? — загремел отец.

Фаустина молчала. Квегир Брюс потребовал к телефону того самого мужчину, который ему ответил, и Фаустина неохотно передала трубку молодому человеку. Он ободряюще улыбнулся девушке, вежливо представился ее отцу и сказал свой адрес.

— Мы с вашей дочерью помолвлены, — продолжал он. — Я как раз собирался приехать к вам просить ее руки.

— Вы с ней помолвлены?! Да я вас в глаза не видел, как вы можете быть с ней помолвлены? Кто вы такой, откуда знаете мою дочь? Где вы с ней познакомились? Сейчас же извольте все объяснить!

— Ну конечно, я все объясню вам, — отвечал молодой человек. — Завтра же приеду, и мы поговорим. А Фаустину я сейчас отправлю домой на такси... — И он положил трубку.

Когда через час такси подъехало к зданию почты, Квегир Брюс стоял на крыльце. Из окон по соседству выглядывали любопытные, несколько человек прогуливалось по улице. Раздались истошные вопли и глухие удары, будто кто-то из всех сил выколачивал палкой ковер. Вмешиваться, конечно, никто не стал, однако утром было отмечено, что, когда Фаустина шла к колонке за водой, она сильно хромала и к крану наклонялась с трудом. Глаза у нее распухли, и, здороваясь с сельчанами, она глядела в сторону.

Ее поклонник оказался малый сообразительный. Он отпра-сился на день с работы и приехал к Фаустиному отцу не один. Родители его жили в Аккре, поэтому ему пришлось пригласить с собой отцовых братьев. Он объяснил им, что намерения у него самые серьезные и, как только Фаустина кончит школу, он на ней женится; семья у Фаустины хорошая, уважаемая. И родственники не устояли перед мягкой настойчивостью племянника и обещали поехать с ним в деревню и поговорить с разгневанным отцом, но для начала строго отчитали парня за то, что он в таком важном деле не посоветовался сначала с родителями.

Квегир Брюс приготовился потолковать с нахалом по-свойски. И вдруг к нему являются четверо солидных, прекрасно одетых пожилых людей из города, за ними на почтительном расстоянии держится скромный, приличный паренек. Пришлось Квегиру Брюсу пригласить их в дом, занять, как положено, беседой. Но вот, слава богу, все приличия соблюдены, можно, наконец, приступить к делу. Молодой человек без конца вертел головой, надеясь увидеть Фаустину, но ей было велено сидеть в своей комнате, и она, помня вчерашнюю нахлобучку, носу оттуда не казала, тем более что мать ведь ей все равно потом перескажет разговор в подробностях.

А в гостиной между тем шла неторопливая беседа. Гости рассказывали Квегиру Брюсу о семье жениха, он рассказывал им о своей, обсуждали нынешнее положение молодого человека в фирме и его виды на будущее, потом вспомнили, что Фаустина еще учится в школе, а они вон пожениться хотят, и разве можно так скоропалительно, надо все хорошенько обдумать, сурово осудили поведение молодого человека и запретили ему видаться с Фаустиной, пока семьи не примут решение. Потом послали его за пивом, а Фаустинина мать вывела дочку познакомиться с родственниками ее поклонника. Они внимательно оглядели друг друга, обменялись несколькими вежливыми фразами, и девушку отослали обратно. Вернулся молодой человек с пивом, пиво разлили по кружкам. Родственники обещали съездить в Аккру поговорить с родителями же-

ниха и потом известить обо всем Квегира. Церемонно распрощавшись, гости отбыли к себе в город.

Фаустинины родители, не медля ни минуты, призвали дочь к себе и заявили, что до конца каникул она будет безвыездно жить в деревне, а когда вернется в школу, за ней будет установлен строжайший надзор. Фаустина горько рыдала, возмущалась, как несправедливы родители, за что же ее еще и в школе наказывать. Мать с отцом стали утешать дочь, обещали подумать — может, они все-таки согласятся выдать ее замуж.

Фаустина вовсе не собиралась замуж, а тут вдруг такой поворот — либо замуж за этого парня, либо сиди взаперти дома. Господи, а что ей известно о женихе? Да почти ничего. Хорошо ей с ним будет или плохо, какой из него получится муж, разве она знает? Да она и жизни-то совсем не знает. Ладно, будь что будет, а пока надо подлизаться к родителям, чтобы они не держали ее на привязи. И она на несколько дней стала примерной дочерью — скромной, послушной, с утра до ночи трудилась не покладая рук, и отец не мог на нее нарадоваться: не девушка, а чистое золото.

Рассказ — это тот же ковер: когда его заканчиваешь, нужно обрезать нити. Но сюжетная нить и потом будет ткать свой узор, ей нет ни конца, ни начала. И если ты пишешь о людях, которых знал, ты можешь лишь выбрать по своему разумению несколько эпизодов из их жизни. Я хотела рассказать о жизни деревни, и моя повесть, естественно, только небольшая глава ее бесконечной истории. Ведь жизнь идет своим чередом: один опускает ношу, другой ее принимает и несет дальше.

Почти все герои моей повести вам знакомы. В любой деревне ашанти есть свой Кваку Хоумпам, которому до всех и до всего на свете дело. На базаре вы непременно встретите Акосу, в холле гостиницы — смеющуюся Фаустину, на перекрестке перед вами мелькнет добродушный, могучий Адаму Лафия. А уж что касается ребятишек, остановитесь возле любого двора, и вы увидите там не меньше десятка и сразу оглохнете от их криков.

Сейчас вечер. Наступил сезон дождей, и добрые люди ложатся спать рано. Двери запираются, один за другим гаснут в окнах огни. Слышится тихий смех, кто-то сдавленно плачет, но все заглушает гром ливня по железным крышам. Для тех, кто под ними укрылся, моя повесть продолжается, а мы с вами устали, простимся же с ними и отдохнем.

Перевод с английского И Архангельской и Ю Жуковой

Джаред Ангира

Джаред Ангира (род. в 1947 г.) — кенийский поэт. Учился в университете в Найроби. Редактор журнала «Бусара». Основатель Ассоциации кенийских писателей. Автор сборников стихов

«Соки» и «Безмолвные голоса». Публикуемые стихотворения взяты из сборника «Каскады» (1979), выпущенного издательской фирмой «Лонгмэн груп» в серии «Драмбит».

ПСАЛОМ НАДЕЖДЫ

«Сгорая, свеча пожирает сама себя»

Дороги которые мы выбираем
Это наши дороги
Я тоже выбрал эту дорогу
Это моя дорога.

Алая кровь
Обагрила эту дорогу
Но дороги которые мы выбираем
Это наши дороги
Я тоже выбрал эту дорогу
Это моя дорога.

Я устал и хотел бы
Прилечь на подушку
Я устал и хотел бы
Прилечь под лучами солнца.

Но нет ни одной подушки
На этой дороге
Я выбрал эту дорогу
Это моя дорога.

И не ублажает солнце
На этой дороге
Я выбрал эту дорогу
Это моя дорога.

На этой дороге
Только обломки
На этой дороге
Только руины.

На этой дороге
Обломки руины
И музыка их
Не мелодична.

На этой дороге
Одни диссонансы
На этой дороге
Одни только тигли.

На этой дороге
Дым и огонь
Здесь выплавляются
Новые люди.

Дороги которые мы выбираем
Это наши дороги.
Я тоже выбрал дорогу
Это моя дорога.



СОНАТА ДЛЯ САПФО С ФАОНОМ В РОЛИ НЕДОСЯГАЕМОЙ МЕЧТЫ

Любовь
Что в нас прорастает
Становится зрея
Зрелой не больше
Чем мы хотим

Но если в неблизкой душе
Эта наша любовь
Не находит ответа
Она возвращается в море
Высеивает в глубинах
Жемчуг поэм
И уплывает
В далекие земли
Искать
Близкую душу

Новая жизнь
Прорастает
Из толщи морского ила
А где-нибудь
На дне лагуны
В хранилищах Вечности
Лежат немые поэмы.



НОВОСТИ

Слушать сегодня новости —
То же что осматривать морг:
Выполнишь тягостную повинность —
И задрожешь как осиновый лист.

*Девяносто пассажиров сгорели
В пожаре на авиалайнере*

В стремление не сократить потребления зрели
Боль выносят на телеэкран
Сфокусированной невнятно
И крохотной дозой.

*Сто человек убито
При штурме дворца*

Равнодушный голос вещает
Откуда-то из пространства, с башни,
Одевая, как в кинозале, страданием
Всех, кто слушает, смотрит.

И словно смерти еще маловато —
Новость под занавес, чтобы мозг
Совсем отупел — *Двести повстанцев расстреляно*
Особой командой — теперь можно спать!

ЖАЛОБА ГОРОЖАНИНА: ЭЛЕГИЯ «НАЦИОНАЛИСТА»

«Культуры, как нефть и вода, несводимы».
В этом городе все мне противно:
Коттеджи в тени у реки,
Бетонка в аэропорт по мертвым цветам,
Рев опоясавшей город дороги,
Распугавший даже овсянок.
В городе все мне противно,
Когда налетают тучи туристов,
Хоть они и везут валюту.
В городе все мне противно,
А виноваты деньги,
Ибо по достовернейшим данным
Финансов не привести в порядок
Без помощи сеятелей туризма
На обильных полях культуры,
Точней без весельчаков
Из команды увеселенья гостей.
Город,
Зеркало нации,
До чего же все мне в тебе противно,
Хоть подновишь свой зеленый наряд,
Хоть будешь послушен
Чиновникам по финансам,
Отдавшим тебе на последней бюджетной сессии
Приказ — заново побелиться!
Город, послушай, —
Не расспрашивай, что здесь будет,
Когда опять налетят туристы!



СПОКОЙНАЯ ОРАТОРИЯ

Мы говорим: жизнь станет лучше
Если вынуть деньги из-под подушек

Мы требуем дополнительных льгот:
Они — все что нам жизнь дает

Банки тоже твердят
Что им нужно жить

Инфляция по словам мудрецов —
Это лишние деньги в руках народа

А пока
Выходные да праздники —
Вот и все
Бедняцкие льготы

Дни бредут
Как босьяки
По смрадным отбросам
Городской свалки

И пока мы все говорим
Ждут бедняки своих выходных да праздников

ТАЙНА ЛАГУНЫ ДЛЯ СТОКОВ

Стоки стекают
В лагуну для стоков
В себе хороня
Последние новости
дня.

Каждое утро
Мы распахиваем газеты
И находим в них столько правды
Что как раз для мусорных баков откуда
Все стекает
В лагуну для стоков.

Каждую новость — их несколько за день —
О грандиознейшем урожае
Нищета отправляет в лагуну.
Не туда ли спускают
Заодно неграмотность и болезни?
Слышите — смех в камышах!

А завтра в баки для мусора
Попадут закрытые школы
Измочаленные наставники юных
И армия безработных;
Говорят что выход один —
Закрыть для стоков лагуну для стоков.

ДИАЛОГ

Она спросила меня, почему натворил я то-то и то-то,
А я посмотрел на солнце, которое светит себе да светит.
Она спросила, когда собираюсь я делать, что должен делать,
А я подумал про дождь, который сыплет себе да сыплет.
Она спросила меня, почему я не сдержал обещаний,
А в комнате громоздились повсюду кипы счетов и квитанций.
Она спросила меня, почему я сижу и молчу,
А я подумал, что могут до крови царапать обломки слов.
Она спросила меня, почему я никогда не улыбаюсь,
А я подумал о тех, кто смеется сквозь слезы.
Она спросила меня, почему не люблю танцевать я танго,
А я представил увечных, что и стоять не в силах.
Она спросила меня, почему перестал я быть быстроногим
оленем,
А я посмотрел на запад и увидел, как медленно удаляется
солнце.
Она спросила меня, отчего потерял я счастье,
А я увидел радугу через небо,
Мираж над дорогой, красивый и мимолетный,
И вспомнил сон миновавшей ночи.
Она хотела иметь все лучшее в мире,
А я размышлял о людях, которые даже голоса не имеют.
Она спросила меня, почему моя жизнь покатилась под гору,
А я подумал о бесчисленных могилах внизу, в долине.

ЖЕЛАНИЕ

Я так хочу
Чтоб человек однажды
Посреди своей суеты задумался
И осознал

Что у него два уха
И всего один рот

Значит
Ему бы надо
Слушать в два раза больше
Чем говорить

Увы
Кто способен сегодня
Слушать? В мире слов
Где болтовня превышает всего
Слушанье усыпляет.

АРМАНДА

Арманду считали доброй душой:
Антропологии училась в колледже,
Души не чаяла в танго,
Любила услышать в висках шум виски
И поднять «Данхиллом» то с Даном,
то с Хиллом,
И всем подряд красотою павы
Кружила голову эта Арманда.

Арманду считали доброй душой:
Она терпеть не могла бездуховности
кухни,
Ненавидела карты, особенно бридж,
Не любила шахмат и радио,
Обмирала у телевизора,
Но хмурилась, когда шел
Фильм с субтитрами.

Арманду считали доброй душой,
Пока не совершила она кульбита,

Выйдя за полупаралитика Рея;
«Я узнала любовь», — говорила она,
Добавляя, что именно костыли
Ей особенно нравятся в Рее
И возбуждают в ней чувство.

Арманду считали доброй душой,
Пока молодые не упорхнули
Куда-то далеко-далеко
Засеивать поле *счастья*;
Небо повинно в том, что благие намеренья
Попадают в полымя ада.
Она проводила в банк мужа,
Где тот перевел свои миллионы
На имя Арманды, которая
Все поняла, как надо.

Небо повинно в том, что благие намеренья
Жарятся каждодневно в пламени ада.
Она отвела к ортопеду мужа —
Пусть ему вставят сустав из пластмассы,
Чтобы он тоже смог любить танго
И болтать на коктейлях, не опираясь
На «возбуждающие» костыли.

Нет совершенства в мире:
Операция кончилась неудачей,
И Рей попал в кресло-каталку;
Арманда сочувствовала бедняге,
Глаза ее из доброты
Избегали теперь глаз мужа,
Да и сама любовь у Арманды
Стала похожа на жалость.
Предохранившись счетами в банке,
Предохраняясь пилюлями,
Она решила, что вправе
Судить о жизни и смерти.

Совместная жизнь двух людей
Напоминает сустав из пластмассы,
Когда один из двоих обречен на жалость,
Когда один всегда отдает,
А другой всегда принимает;
Если я должна тебя одевать

И возить тебя в кресле-каталке,
Ты должен мне отплатить — приодеть
И возить по курортам:
Только тогда брак будет осмыслен.

Однажды вечером ветер
Подхватил бумажный листочек
И опустил его на колени Рея,
Который прочел то, чего ждал
Каждый день:

«Рей, дорогой, прощай,
Думала оказаться сильнее,
Увы, не смогла
И улетаю домой».

И Рей не успел даже подумать
О своих миллионах на имя Арманды.

Перевод с английского Э. Шустера

Грейс Огот

Грейс Огот (род. в 1930 г.) — кенийская новеллистка, романистка. Получила специальность медицинский сестры, работала в Уганде и Англии. Автор нескольких

сборников рассказов и романа «Земля обетованная». Публикуемые рассказы из сборника «Чужая женщина».

РЫБАК

Солнце взошло из-за гор Одиадо. «Сегодня оно проснулось раньше обычного», — подумал рыбак Ньямгондхо и, набрав полный рот воды, прыснул на золотой диск. Но не успел он вознести светилу привычную хвалу и молитву, как оно скользнуло за серые тучки и скрылось, будто Ньямгондхо его спугнул. Рыбак похолодел от страха: солнце спрятало от него свой лик, значит, оно не передало молитву богам. Он бросил весло и замер, устремив взор в поднебесье. Уже пятый день он без рыбы. Ньямгондхо терпеливо забрасывал сети, перенимал хитрые уловки других рыбаков, но не поймал и мелкой рыбешки.

А солнце тем временем медленно и нерешительно вышло из-за туч. На его лице уже не было прежней лучезарной улыбки. Ньямгондхо собрался с духом и взмолился:

— Владыка небесный, глянь на меня сияющими глазами, пошли мне богатый улов на радость жене. Владыка небесный, дозвожь мне рыбачить здесь сегодня и завтра.

Он взялся за весла и стал грести медленно, ни о чем не думая. Это были лучшие минуты его жизни. Подводные течения и острое чутье лодки сами подсказывали путь ленивому веслу. Лишь страх перед могучим озером порой закрадывался в душу. Его глубины свято хранили тайну подводных богатств даже от тех, чья жизнь была связана с рыболовством с незапамятных времен. Сколько рыбаков побывало здесь и ушло в мир иной, а озеро, таинственное и грозное, все так же невозмутимо катило свои волны.

Подплыв к тому месту, где он накануне установил корзины, Ньямгондхо остановил лодку резким обратным гребком. Потянул за веревку первую корзину — легкая. Дурное предчувствие кольнуло сердце, но все ж надежда не покидала его: а вдруг попалась мелкота? Он медленно поднял корзину в лодку. Она была совсем пустая, если не считать водорослей, зацепившихся за дно. Ньямгондхо швырнул корзину на корму и сразу же вытянул вторую. Он не падал духом: быть того не может, чтобы он за пять дней кряду ничего не поймал в озере, где прорва всякой рыбы. Но, увы, и вторая корзина была пустой. Обида теснила грудь, мешала дышать, злые слезы комком подступили к горлу: и в третьей корзине рыбы не оказалось.

Солнце уже поднялось высоко, его лучи припекали все сильнее. Ньямгондхо казалось, что светило насмехается над ним, корит его за лень и бесталанность. Он потупился, связал бечевой пустые корзины и поплыл к берегу. Оттуда доносился говор рыбаков. Разложив улов на песке, они торговались, выменивая друг у друга рыбу. С отмели у тростниковых зарослей круто сорвался к воде зимородок и вернулся с добычей. Это доконало Ньямгондхо: даже птицы небесные могут прокормиться рыбой, а он чем докажет, что бог не напрасно создал его человеком? Как-то он вздумал приласкать свою жену Ачунгу, но она сердито огрызнулась:

— Как ночь на дворе, так ты работник, откуда силы берутся, а днем, горе-рыбак, мелочишки для жены наловить не можешь, того и гляди с голоду помру!

Нет, лучше не возвращаться сегодня домой, не то Ачунга снова примется поносить его обидными словами: мол, дома сиди, за чужими ребяташками присматривай, видать, женская работа тебе посподручней. Ньямгондхо привязал лодку в обычном месте. Домой торопиться нечего, думал он, посижу здесь

один, со своею лодкой. Он тронул рукой священную мачту, возле которой принес жертву, когда Ойола пригнал для него лодку из залива Маньяла. Ньямгондхо отдал за нее корову и быка. В тот день Ойола, нежно поглаживая лодку, заклинал ее служить новому хозяину верой и правдой, как она служила ему. Ньямгондхо слышал, как он прошептал:

— Моя красавица, моя милая, Ньямгондхо не пожалел отдать за тебя прекрасную корову и быка в придачу. Будь же верной ему!

И пожелание его сбылось. Ньямгондхо только поспевал вытаскивать корзины, полные рыбы. У него появилось много скота, и он дал богатый выкуп за Ачунгу. А теперь рыбак не мог взять в толк, что же случилось, с каких пор удача изменила ему. Улов становился меньше день ото дня, и однажды он явился домой с пустыми руками. С тех пор много воды утекло. Соседи шептались у него за спиной:

— Ньямгондхо беден. В амбаре у него хоть шаром покати, загон для скота пустой, только и есть у него что жена-горемыка.

Коротая вечер у очага за приятными разговорами, они потягивали пиво и охали, вспоминая беднягу. Постепенно Ньямгондхо стал замкнутым, нелюдимым, перестал знаться с соседями и свyksя со своей тяжелой долей.

Пока он стоял, погруженный в невеселые думы, другой зимородок стрелой упал в воду и взмыл с крупной рыбой в клюве. Но, видно, не совладал с тяжелой ношей и выронил ее на лету... Рыба шлепнулась вниз головой в лодку Ньямгондхо, прямо в корзину и стала отчаянно биться. Ньямгондхо заглянул в корзину. Рыба была не такая уж крупная, как ему показалось сначала, но червячка заморить можно. Раз уж она сама угодила к нему в лодку, придется отнести ее домой. Он вытащил рыбу из корзины, но она, извиваясь, уколола ему плавником палец. Закапала кровь. Ньямгондхо швырнул злодейку обратно в лодку.

— Глупая ты рыбешка! — крикнул он сердито. — Поранила руку бедному человеку, теперь заплатишься за это!

Вдруг рыба подняла голову, посмотрела на него, вращая голубыми глазами, и Ньямгондхо показалось, что она плачет.

— Дуреха безмозглая, — еще больше рассердился рыбак, — где это видано, чтобы рыбы плакали? Рыбы глухи и немые!

И тут послышался таинственный скрипучий голос, от которого у Ньямгондхо кровь застыла в жилах, а зубы стали выбивать дробь. Такое с ним случалось раньше только на похоронах, когда человека опускали в могилу и земля его проглатывала.

— Закинь корзины ближе к западу, Ньямгондхо, — скрипела лодка, — и возвращайся за ними до захода солнца. Может быть, на сей раз тебе повезет, и улова хватит, чтобы накормить жену.

Когда, наконец, Ньямгондхо опомнился от страха перед таинственным голосом, заполнившим все вокруг, он поднял рыбу и со словами: «Плыви, дуреха!» — небрежно кинул ее в озеро. Потом он поплыл на глубокое место к западу, где обычно рыбачил, и забросил корзины. Покончив с этим делом, Ньямгондхо отважился вернуться домой и там, как подобает мужчине, дожидаться урочного часа. Пусть жена ворчит, сколько хочет.

Ачунга давно смирилась со своей горькой долей. Вот муж снова вернулся ни с чем и пристыженный ушел в свою хижину. Она сделала вид, что не заметила его прихода, взяла кувшин и пошла за водой.

Тот день тянулся очень долго. Ньямгондхо не сиделось на месте. В хижине было жарко и душно. Он вышел во двор, потом стал бродить вокруг дома, но и это ему быстро прискучило. Наконец он вспомнил, что в одном месте протекает крыша, и решил ее починить. Работая, он тихо напевал воинственные и свадебные песни времен своей юности. Когда нарождалась молодая луна, он и его сверстники танцевали нятити со своими будущими невестами. Тогда жизнь была добра к нему, полна приключений и красоты.

С наступлением вечера Ньямгондхо направил лодку к тому месту, где забросил корзины. Озеро было безмятежно спокойным, и новое удивительное чувство близости связывало теперь рыбака и его лодку. Он вытянул первую корзину. Она была пустая, и вторая — пустая. Чувство досады захлестнуло Ньямгондхо, и он крикнул:

— А третью и вынимать не стану! Со мною говорил злой дух! Предки обманули меня!

Ньямгондхо схватил весла и повернул к дому. Он греб вслепую, желая только поскорей достичь берега. Нет, сегодня он не вернется домой. Стоит ли жить, если женщина днем и ночью хлещет тебя обидными словами? Воистину бог отвернулся от него! Но веревки, сваленные на корме, еще сослужат ему последнюю службу, и скоро он сам явится к своему богу. Ачунге придется поискать себе другой дом, другого мужа.

Вдруг лодка вышла из подчинения и стала упрямо тянуть его назад. Ошеломленный рыбак сопротивлялся что было мочи, но вот беда — третья корзина, запутавшись в веревках, повисла за бортом и кренила лодку набок. Ньямгондхо стал ис-

кать рыбацкий нож, чтоб перерезать веревку и избавиться от проклятой корзины, но не нашел его ни в сумке, ни в лодке. Проще было вытянуть корзину и зашвырнуть ее на корму вместе с остальными. Он расставил для равновесия ноги и дернул за веревку. Корзина висела мертвым грузом. Ньямгондхо напругся, закрыв глаза и закусив нижнюю губу, и дернул посильнее, но не тут-то было — корзина даже не показалась над водой, а сам он едва удержался на ногах. Ньямгондхо повеселел немного. Кто же угодил в корзину — большая рыба, малютка-гиппопотам или, не приведи бог, утопленник? Он намотал веревку на руку, глубоко вздохнул и, собрав все силы, поднял, наконец, корзину в лодку. Не успел бедняга отдышаться и осмотреть свою добычу, как оказался лицом к лицу со сморщенной старухой! У Ньямгондхо мороз пробежал по коже, и ноги стали как ватные.

— Ну что уставился на меня, будто я невидаль какая? — закричала старуха. — Я из того же теста, что и ты! И не вздумай бросать меня в воду, я и без того настрадалась, пока нашла тебя!

— Меня? — Ньямгондхо наконец совладал с собой и для верности оперся на весло. — С чего это тебе, бабушка, взбрело на ум искать меня на дне озера? Кто ты — человек или рыба?

— Человек, конечно, женщина, разве не видно?

— Ну и женщина! — Ньямгондхо принялся сматывать веревку.

Старуха, пропустив насмешку мимо ушей, приказала:

— Выпусти меня из корзины, все бока отдавила!

— Ты смелая, видать. Только прежде скажи, куда путь держишь, а то скоро стемнеет.

— Сначала выпусти, — настаивала старуха.

— Не выпущу. А не скажешь, куда собралась, в воду брошу.

— Не бросишь. Не посмеешь. А вот когда выпустишь, я все сама скажу.

Лицо старухи расплывалось перед ним, как в тумане, он был словно пьяный от усталости. И солнце, видно, тоже притомилось за день. Пушистые облачка вокруг него только и ждали урочного часа, чтобы укутать его перед сном.

— Так и быть, выходи! — решил Ньямгондхо и открыл корзину.

Ему даже не хотелось ломать себе голову, как это старуха изловчилась пролезть в маленькую дырку для рыбы. Но раз уж он поймал старуху вместо рыбы, придется отложить путешествие в края, откуда не возвращаются. Значит, не судьба ему

сегодня повидаться с предками, которые его так подло обманули. А старуха тем временем выбралась из корзины, стряхнула с себя воду и, заметив на носу лодки кусок тряпки, обернулась им. Мало того что она была стара, так еще и уродлива: косоглазая, нос приплюснутый, зубы длинные и числом больше обычного, губы — ниточкой.

— Не ты ли беспокоился, что скоро стемнеет? Вези меня домой, — озабоченно сказала старуха, не сводя с Ньямгондхо глаз.

— Тебя — домой? Да ты рехнулась! Нет у меня дома.

— У тебя есть и дом, и жена, но я красивей, чем она, — спокойно сказала старуха.

Ньямгондхо расхохотался. Он хохотал снова и снова, глядя на это живое пугало.

— Моя некрасивая жена не потерпит рядом еще одну уродину, — сказал он, все еще захлебываясь от смеха, — так что отправляйся лучше туда, откуда явилась.

— Не гони меня, Ньямгондхо. Прогонишь — горько пожалеешь об этом. Отвези домой, и я щедро тебя одарю. И прошу, не называй меня уродиной, я — красивая.

Ньямгондхо молча вынес из лодки весла и вытащил ее на берег. Вот опять он возвращается без улова, а дома теперь одним ртом больше, да еще каким уродливым ртом! Когда они подходили к дому, солнце село, а в темноте — все на одно лицо.

— Подожди у ворот. Я предупрежу жену, что привел гостью, — сказал Ньямгондхо.

Старуха подчинилась. Присев на корточки, она слушала, как кричит жена рыбака.

— О, Ньямгондхо! За какие грехи боги послали мне такого мужа! Да есть ли у тебя голова на плечах? У других мужей жены-образины объедаются рыбой, а у меня, бедной, от голода живот подвело!

— Не сердись, Ачунга, я не мог бросить ее в воду. Она так умоляла меня взять ее с собой, — сказал Ньямгондхо, промолчав о том, что старуха, если ей верить, его долго искала.

— Хватит с меня вранья, — еще больше распалилась Ачунга. — Наши предки рыбачили здесь с сотворения мира, но никто не слыхивал, чтобы в корзину для ловли рыбы попала женщина. Тебе лучше знать, откуда ты ее привел.

Мольбы и уговоры никогда не действовали на Ачунгу. Но ведь он и вправду поймал эту старуху корзиной для ловли рыбы. Пусть она переночует в старом козьем хлеву, который все равно пустует с тех пор, как были проданы две последние

козы. А завтра надо навеститься к знахарю, он и научит, что делать. Ньямгондхо вышел за ворота и позвал старуху. Гостья сразу приосанилась, проскользнула вперед, и рыбак диву дался, какая она ловкая и проворная. Ему вдруг пришло в голову, что ее можно поселить в старой, давно пустовавшей хижине, а пока он придаст ей жилой вид, пусть погрееется у очага в его собственном доме.

Ачунга, хоть и злилась на мужа, без еды его не оставила, только наотрез отказалась идти к нему в хижину, и он забрал еду сам. В очаге уже потрескивал огонь, выбрасывая языки пламени. Старуха с жадностью поглощала ужин, не обращая внимания на Ньямгондхо. Голодный рыбак никак не мог за ней угнаться. Когда миска опустела, Ньямгондхо откашлялся и напомнил старухе:

— Ты обещала щедро наградить меня. Дело к ночи идет, хозяйка ты своему слову или не хозяйка?

— Да, да, — закивала старуха, — позови жену, я хочу поговорить с вами обоими.

— Она не придет, — не колеблясь сказал Ньямгондхо. Но старуха стояла на своем:

— Сходи и приведи ее сюда.

Делать было нечего, и Ньямгондхо отправился к своей упрямой жене.

— Старуха хочет поговорить с нами, — сказал он, — иди послушай, что она скажет.

— И не подумаю, — вскинулась Ачунга. — Больно мне интересно слушать вашу глупую болтовню. Другие вон рыбой объедаются, а я должна щипать травку, как антилопа. Никуда я не пойду.

Ньямгондхо смерил жену долгим взглядом и наконец решился высказать то, что давно накопело у него на душе:

— Если ты сейчас не исполнишь мою волю, завтра же, как только рассветет, я отведу тебя обратно к родителям.

— Не будет по-твоему! — крикнула Ачунга и даже плюнула с досады.

— Ладно. Тогда ступай домой и собирай вещи. Мне не нужна такая жена. — С этими словами Ньямгондхо вернулся к старухе, виновнице его бед. Та вся обратилась в слух.

— Жена не придет, — сказал Ньямгондхо.

Старуха промолчала. Ачунга же, оставшись одна, задумалась. А что, если муж и вправду отведет ее к родителям? Видно, придется подчиниться ему на сей раз, с нее не убудет. Она нехотя вошла в хижину и увидела, что старуха, как хозяйка, расположилась у огня.

— Садись, — приказала она Ачунге.

Та ушам своим не поверила.

— Не приказывай! Захочу — сяду. Это мой дом.

— Садись! — Старуха будто не заметила дерзости и, откашлявшись, сказала: — Вы оба были добры ко мне, и я отплачу вам добром.

Ачунга, не отрывая от нее взгляда, придвинула к себе скамеечку и села. Старуха ткнула пальцем в ее сторону.

— Никому не говори, что я здесь, поняла?

Не успела Ачунга открыть рот, как старуха сказала:

— Завтра, с утра пораньше, нарубите колючего кустарника и заготовьте шесты. Нужно сделать загон для скота, только очень большой, какого здесь еще не видывали.

Ачунга почувствовала, как затрепетало сердце.

— На рассвете у вас будет самое большое стадо в Карачуоньо. Выполните мой наказ — никогда об этом не пожалеете. — Старуха рывком поднялась со своего места и, взглянув на хозяина, спросила: — Где та хижина, которую ты приготовил для меня, Ньямгондхо? Я несколько ночей не спала.

«А что, если старая ведьма сдержит свое обещание?» — подумала Ачунга и, поколебавшись, любезно предложила:

— Раздели со мной тепло моей хижины. Сегодня ночь выдалась холодная.

Ачунга расстелила для себя циновку на полу, уступив старухе свою бамбуковую кровать. Даже если посуды старой карги — вранье, пусть об этом у Ньямгондхо голова болит. У нее своих забот хватает. С утра надо снова сходить к реке и набрать диких бобов и маиса. А муж и эта старая дура пусть делают, что хотят. Пока она обдумывала свои домашние дела, старуха сладко похрапывала.

Ньямгондхо долго стоял у своей хижины. Он видел, как обе женщины вошли в хижину к жене и опустили циновку, прикрывавшую дверь. Потом он сам лег и долго ворочался с боку на бок, но сон все не шел. Появление этой старухи — дурное предзнаменование, а тут еще приказ — сделать загон из колючего кустарника! Он палец о палец не ударит. Вот дождется утра и сразу отправится к знахарю.

Было еще совсем темно, когда старуха разбудила Ньямгондхо.

— Я думала, ты уж на ногах. Столько дел надо переделать за день!

Только он собрался осадить старуху, чтобы не смела им понуть, как она сама на него набросилась:

— Знаю, знаю, что надумал ночью! Только ни к какому знахарю ты не пойдешь. Лучше меня никто в этом деле не разбирается!

И тогда Ньямгондхо собрал без лишних слов свои инструменты и отправился расчищать и огораживать загон для скота. Он рубил колючий кустарник, подтаскивая его к своему участку, сваливал в кучи. Поставил в нескольких местах опорные столбы — костяк будущего забора. И хоть трудился он, не покладая рук, старая ведьма всюду находила изъяны, таскалась за ним по пятам и ворчала:

— Живей поворачивайся, заморыш несчастный! Вот в этом месте непрочно сделал, а здесь слишком низко — и, обернувшись к Ачунге, прикрикнула:— А ты, женщина, сварила бы мне просяную кашу. Будто не знаешь, что у меня пусто в брюхе!

И пока Ньямгондхо трудился до седьмого пота под палящим солнцем, своенравная Ачунга, как околдованная, выполняла все прихоти старой карги. К вечеру огромный загон был почти готов. Оставалось навесить ворота. Старуха приказала сделать их из четырех шестов, переплетенных стволами гибких молодых деревьев. Ньямгондхо еле разогнул спину. Руки у него затекли, от усталости ныл каждый мускул. Но больше всего его терзал страх, что старая ведьма затеяла все это зря, и он гнал эту мысль прочь. Она свое дело знает, успокаивал он себя, и сама решила отплатить добром за добро.

Когда все было закончено, старуха одобрительно кивнула, но тут же снова разворчалась:

— Солнышко уж садится. Где же маисовая каша с бобами? Когда наконец твоя жена подаст мне ужин? Я с голоду помираю.

Воркотня старухи сблизила мужа с женой. Они безмолвно глянули друг на друга, и Ачунга отправилась раскладывать еду. Усевшись втроем перед очагом, они принялись за самый бедный в земле луо¹ ужин. Маисовая каша с бобами в любой семье луо считается закуской и подается до или после основного блюда. Ели молча, слышалось лишь мерное чавканье. И вдруг снаружи заревел бык, замычали и корова и теленок. Ньямгондхо подумал, что у него начинается горячка: старая ведьма навела порчу. Он посмотрел на женщин. Их занимала только еда. Снова заревел бык. У Ачунги екнуло сердце. Похоже, бык, решила она, но не отважилась сказать об этом вслух. Она взглянула на старуху, потом на мужа. Шум доносился все

¹ Луо — африканская народность.

явственной. Не в силах больше терпеть, Ньямгондхо выскочил из хижины, следом за ним выбежали жена со старухой. Коровы, быки и телята всех мастей и возрастов длинной вереницей направлялись в загон, который Ньямгондхо целый день обносил изгородью.

Ачунга глазам своим не верила. От неожиданно привалившего счастья у нее голова пошла кругом, и, еле добравшись до старой хижины, она прислонилась лбом к стене. Радость и удивление были написаны на лице Ньямгондхо. С соседних ферм бежали люди посмотреть на чудо.

— Бог посетил Ньямгондхо и осыпал его щедрыми дарами, — говорили друг другу соседи.

Когда на землю опустилась ночь, стадо заполнило весь загон, и Ньямгондхо оставалось лишь запереть на засов свое богатство. Старуха обняла его за плечи и прошептала:

— Запомни: мое имя — Уагай. Никогда больше не зови меня старухой.

С этой ночи жизнь Ньямгондхо, сына Омбары, круто переменилась. Он поселил в своей хижине Уагай, и Ачунга признала ее право стать второй законной женой Ньямгондхо.

Ньямгондхо сделался самым богатым человеком в Карачуоньо. Отовсюду, даже из самых дальних краев, шли люди полюбоваться на его замечательное стадо. По утрам возле его фермы толпилось немало бедного люду в надежде заработать на пропитание. Все вокруг восхваляли Ньямгондхо. Люди решили сделать его главой старейшин. В честь этого события было устроено пышное празднество в Карачуоньо. Ньямгондхо облачили в золотистую мантию из обезьяньей шкуры, к его ногам положили копье и щит. На голову Ачунге возложили корону из тончайших бус и белых раковин каури. Восторгу и ликованию собравшихся не было конца.

На пышных и шумных празднествах Уагай намеренно держалась в тени. Ньямгондхо построил для нее новую, очень красивую хижину, где стояла удобная бамбуковая кровать, устланная мягкими шкурами. Ачунга, вознесенная так высоко из бедности, была очень добра и внимательна к Уагай — случай редкий в семье, где несколько жен.

Много воды утекло с тех пор, а Ньямгондхо по-прежнему жил в богатстве и почете. Он стал падок на лесть и всевозможные славословия. Обзавелся молодыми красивыми женами. Отцы сами приводили к нему дочерей, позарившись на богатый выкуп. Эти женщины нарождали ему много сыновей и дочерей. Где бы ни появился Ньямгондхо, люди приветствовали его и осыпали дарами.

И Ньямгондхо совсем забыл про свое прошлое. Он стал часто посещать пирушки и возвращался домой затемно, когда все женщины уже спали. Уагай и Ачунга, самые преданные жены, умоляли его не задерживаться допоздна: под покровом ночи прячутся злодеи, но он сердился на них и твердил свое:

— Да валяйся я пьяный на дороге, никто пальцем меня не тронет. Я же их кормлю. Зачем им губить ручей, который поит их поля?

— О, если б это было так, повелитель, — горестно сказала Уагай, — но богатых всюду ненавидят. Даже друзья позлорадствовали бы, если бы ты разорился.

— Но, но, — замахал на нее руками Ньямгондхо. — Я — река. Они пьют мою воду и поливают ею свои поля. Никто не посмеет тронуть меня.

Прошел еще год. Как-то раз Ньямгондхо отправился на пирушку к Омулу, сыну Опины. За беседой они пили, смеялись, ели нежное мясо, зажаренное на углях. Потом Омulo долго восхвалял богатство Ньямгондхо и мудрость, проявленную им в совете старейшин.

— Щедрость Ньямгондхо завоевала общую любовь в Карачуоньо. Властвуй, тебе все по плечу, — закончил он свою речь.

Ньямгондхо принимал хвалебные речи за чистую монету и очень гордился и важничал. Он пил и веселился до тех пор, пока у него в глазах все стало двоиться. Пирушка закончилась далеко за полночь, и Ньямгондхо, едва державшийся на ногах, побрел домой.

Ворота были закрыты. Он отворил их и вошел в усадьбу. Постучал в хижину Ачунги, но она не открыла дверь. Тогда он направился к хижине Сиджали. Стучал, кричал — все напрасно. Не впустила его и Минья. Ньямгондхо стучал поочередно в пятую, шестую, седьмую хижины, но ни одна из жен его не впустила. Тут в нем вскипела кровь, и он решил устроить выволочку этим негодяйкам. Он поит их и кормит, поднял из нищеты к богатству и почету, а теперь они возомнили о себе бог весть что! Подойдя к хижине Уагай, он принялся колотить в нее ногой и орать:

— Вы что, сговорились меня не впускать, а? Даже старая уродина, которую я из озера выловил, от крокодила спас, вышла из послушания!

Уагай встала с постели и открыла ему дверь. Ньямгондхо грубо оттолкнул ее.

— Вон отсюда, неблагодарная старая карга! Я так и знал, что ты еще задержишь нос!

Проснулась вся усадьба. Ньямгондхо продолжал вымещать злобу на Уагай. Она сказала, понизив голос:

— Ньямгондхо, ты напрасно оскорбляешь меня. В доме у тебя много молодых женщин. Они-то и должны были открыть тебе дверь по первому зову. Это их ты поднял из бедности, не меня.

— Нет, ты мне больше всех обязана, — рассвирепел Ньямгондхо, — они все жили, как люди, одна ты была бездомной!

— Что ж, будь по-твоему, — опечалилась Уагай, — завтра с восходом солнца я уйду туда, откуда пришла, но ты еще похалеешь об этом, Ньямгондхо.

— Прочь с дороги, рыбаья душа! Можешь убираться, когда захочешь! — И Ньямгондхо, сильно перебравший просяного пива, плюхнулся на кровать и тут же захрапел.

Когда шум улегся и женщины, потрясенные грубым обращением с Уагай, разбрелись по домам, она притворила дверь. Собрала все браслеты, бусы и прочие дорогие побрякушки, подаренные Ньямгондхо и его родственниками, и положила их на кровать. Аккуратно свернула мягкие шкуры — одни из них она носила, другие служили одеялами и подстилками — и тоже положила на кровать. Потом села на пол и стала дожидаться первых петухов. Уагай хотела сходить к Ачунге попрощаться, но решила, что это ни к чему.

Она слегка задремала, но как только забрезжил рассвет, вскочила. Бросила последний взгляд на грузное тело Ньямгондхо, небрежно развалившегося на бамбуковой кровати. С ним останется только имя Уагай — и больше ничего. Она быстро натянула на себя лохмотья и теперь снова походила на былую старуху из озера. Крадучись Уагай вышла из усадьбы, открыла ворота загона и направилась к озеру. Все стадо потянулось за ней.

Мычанье недоенных коров и голодных телят, пытавшихся сосать материнское вымя прямо на ходу, и рев быков пробудили всю усадьбу от крепкого предутреннего сна. Первой всполошилась Ачунга. В глазах у нее потемнело от ужаса. Она кинулась со всех ног к круглой хижине, где спал этой ночью муж. Распахнув дверь настежь, она закричала:

— Ньямгондхо, все стадо ушло!

Тот мигом очнулся ото сна и, позабыв про головную боль с похмелья, схватил посох и выскочил из дома. Когда он пробежал к загону, оттуда выходила последняя корова. Ньямгондхо оцепенел. Потом, как безумный, бросился загонять обратно животных, не успевших уйти далеко. Он раздавал удары напра-

во и налево, но коровы отбегали в сторону и снова шли за стадом, которое вела Уагай.

Ньямгондхо сообразил, что надо во что бы то ни стало догнать Уагай. Только она может остановить стадо. Повздоров с ней прошлой ночью, он вовсе не собирался ее обидеть. Всею виной было молодое пиво, ударившее в голову. Теперь впору встать на колени перед женой, чтоб образумилась.

Целая толпа устремилась за ним к озеру.

— Вот напасть, — ужасались женщины, — не дай бог дожить до такой беды!

А Уагай тем временем оттолкнула от берега старую лодку. Коровы, шедшие впереди, вошли в воду, и огромное озеро поглотило их. Как назло поблизости не оказалось ни одной лодки, чтоб догнать и вернуть упрямыцу. Беспомощный, он стоял на берегу, вызывая:

— Уагай, Уагай, опомнись, что ты делаешь! Вернись домой, Уагай, вернись!

Но Уагай, не оборачиваясь, изо всех сил гребла на восток, навстречу восходящему солнцу.

— Уагай, послушай меня, ты — моя красавица!

Все было тщетно. Полоса воды, разделявшая их, становилась все шире, фигурка в лодке уменьшалась на глазах. Толпа на берегу росла. Людей охватил страх.

— Братья, помогите! Все мое стадо потонет. Гоните коров прочь от воды! — заклинал соседей Ньямгондхо. Он хрипел, но до них будто не доходили его мольбы.

Солнце поднималось все выше. В его лучах сверкала и переливалась зеркальная гладь озера. В глазах людей, стоявших на берегу, блеснули слезы. Вода сомкнулась над последней коровой из стада Ньямгондхо, а лодка, казавшаяся маленькой черной точкой, приближалась теперь к островам Уере.

Соседи, сочувственно поцокав языком, один за другим расходились по домам. Одна Ачунга с распухшим от слез лицом плакала у ног Ньямгондхо. На закате она стала умолять мужа вернуться домой, но он и слушать не хотел. Наконец, когда ночная тьма окутала опустевший берег, ушла и Ачунга. Ньямгондхо по-прежнему стоял как вкопанный, сложив на длинном посохе руки, опершись о них подбородком. Целый день он бежал с этим посохом, пытаясь спасти свое стадо. В доме Ньямгондхо никто не притронулся к еде.

На следующее утро огромная толпа снова собралась на берегу озера, чтобы уговорить Ньямгондхо вернуться домой и начать новую жизнь, но его не нашли.

У воды стояла огромная статуя из камня, опершись голо-

вой на каменный посох, и каменные слезы навеки застыли на ее щеках. Люди, горестно покачав головами, отправились делать жертвоприношения, чтоб умилостивить предков.

— Напасть за напастью! Не приведи бог еще раз увидеть такое. Тяжелый год! — сокрушались они.

А обратившийся в камень Ньямгондхо и по сей день стоит на берегу Великого озера. И по сей день иному рыбаку доведется услышать на закате, как он зовет свою жену:

— Уагай, Уагай, вернись домой, моя красавица!



АМУЛЕТ ИЗ СЛОНОВОЙ КОСТИ

— Семо, Семо, — едва слышно доносится снаружи, — открой, я замерзла, дождь собирается.

— Иди домой, Айимба, ты же знаешь, что я не могу тебя выпустить, — отзывается Семо прерывистым шепотом.

— Мне некуда идти, Семо, — говорит Айимба чуть громче. — Разве ты забыл, они... они сожгли мою хижину.

— Я не забыл, Айимба, но сюда нельзя, прошу тебя, уйди. — В голосе его звучит раздражение.

— Семо, Семо, — зовет она ласково, — я надела цветные бусы. Они всегда так нравились тебе. Умоляю, открой, взгляни на меня.

— Нет, нет, ступай прочь, Айимба, ступай прочь, оставь меня!

Охваченный ужасом, Семо с трудом приподнялся на кровати. Он посмотрел на дверь, потом перевел настороженный взгляд на жену.

— Кто стучал?

— Никто не стучал, — печально ответила жена.

— Ты никому не открывала?

— Кого ты ждешь в такую пору, Семо? — Сара почувствовала, как по телу у нее побежали мурашки. Семо снова лег, уставившись в темный потолок. Нет, он не сошел с ума.

В дверь стучали. Это была Айимба, она просилась в дом. Сара, должно быть, все слышала.

— Разве ты не слышала, как стучали?

— Я крепко спала. Потом ты стал отталкивать меня, называл Айимбой и гнал прочь.

У Семо перехватило дыхание, кровь бросилась в лицо, сердце бешено заколотилось.

— Не мне гнать тебя прочь, Сара. Ты осушила мои слезы, вернула мне радость жизни. Я никогда не отпущу тебя, — он прижал ее к себе. Руки его дрожали, и она натянула на него второе одеяло, чтобы укрыть от сквозняка.

— Ты, кажется, простудился, Семо. Потный весь.

— Обойдется, дорогая. У меня дел по горло. Болеть некогда.

— Здесь где-то были хинин и аспирин. Сейчас возьму фонарик, поищу.

— Не надо, Сара, не уходи.

— Ну что ты, как маленький, Семо. Пусти. Я только возьму таблетки и сразу лягу. А тебе скоро полегчает.

— Ну ладно. — Он нехотя отпустил ее и, не отрываясь, смотрел, как она ходит по комнате и как двигается следом за нею маленькая тень. — Ну скорее, Сара, — поторапливал он жену, которая, присев на корточки, искала лекарство.

Тут ему снова послышался слабый стук — на этот раз в окошко. Сара оглянулась — наверное, тоже услышала стук — и снова принялась искать. Наконец она принесла таблетки и бокал с водой. — Прими все четыре, поможет, вот увидишь.

Семо разом проглотил таблетки и смущенно глянул на жену.

— Ложись, Семо, а я посижу, дождусь, пока у тебя спадет жар.

Он подчинился. Сара укрыла его одеялом по самую шею, подоткнула края и обняла, надеясь, что он успокоится и уснет. Он хотел ей что-то сказать, но раздумал.

Саре было не по себе. С какой яростью он во сне сталкивал ее с постели, а проснулся вне себя от страха! Каким резким, чужим голосом называл ее Айимбой! Как цеплялся за нее, когда она пошла искать лекарство, — совсем как ребенок, который боится чужих. Все умолял: «Не уходи!» А этот затравленный взгляд? Неужели он боится ее или что-то скрывает?

Если уж говорить откровенно, так это не она осушила слезы Семо, а он осушил ее слезы, слезы Сары Адхиамбо. Родители наотрез отказались выдать ее за Семо. И до сих пор

относятся к ней и ее мужу весьма прохладно. Но им все же пришлось дать согласие. Сара устроила настоящий скандал в Офафе в тот памятный вечер, когда мать за ней гонялась по дому, колотя ее тяжелым деревянным половником. Соседям еле-еле удалось утихомирить Юкку.

— Не трожь девчонку, Юкка, — урезонивали они ее. — Это вам с мужем надо беречь честь семьи, а девчонке терять нечего, оставьте ее в покое.

В ту ночь Сара не вернулась домой. Добежав до телефонной будки, она набрала номер 882356 и, захлебываясь от рыданий, попросила Семо заехать за ней в «Маринго-бар». И пока с нетерпением ждала его, окончательно утвердилась в своем решении порвать с семьей. У нее не оставалось иного выбора. Она устала.

Когда Семо приехал на такси в «Маринго-бар», ее платье, все в пятнах крови, прилипло к телу. Он привез девушку в свой дом в Уодли и бережно вынес из машины. Наполнил ванну теплой водой, осторожно промыл раны, нежно, едва касаясь, промакнул их ватой, присыпал порошком. Потом он уложил Сару в постель, точно больного ребенка. Никто никогда так не заботился о ней, даже родители. Могут ли другие мужчины так любить женщину? Неужели это просто любовь? Сама Сара не могла бы выразить этим словом, как рвалась израненной душой и телом к любимому. На языке своего племени она могла бы сказать: «Твое пламя пожирает мое тело», — или: «Ты заставляешь биться мое сердце».

Он дал ей лекарство, напоил горячим какао и укрыл в объятиях от всех невзгод. Она плакала навзрыд, и Семо нежно вытирал ладонями ее распухшие от слез глаза.

— Если они не позволят мне стать твоей женой, Семо, я покончу с собой, — прошептала она.

— Тише, моя девочка, успокойся. Мы созданы друг для друга. Никто не разлучит нас теперь. Никогда.

Сара уснула у него в объятиях. Он осторожно уложил ее и лег рядом, согревая теплом своего тела.

Юкка, наслушавшись горьких слов и угроз дочери, проглотила обиду и стала умолять ее вернуться домой. Пусть Семо внесет за нее символический выкуп: как-никак старшая дочь в семье! Уговоры смягчили сердце Сары. Принять выкуп означало, по обычаю, принять Семо в семью. Вот оно, желанное согласие! Она мечтала иметь много детей, а для этого нужно благословение семьи.

Через месяц после примирения с родителями Семо и Сара поженились. Родителей при регистрации брака не было, зато

приехали сестры, родные и двоюродные. На следующее утро после свадьбы Сара завернула в брачные простыни четыреста шиллингов, которые дал Семо, и послала в подарок матушке Салиме, близкому другу семьи и своей крестной матери, вложив туда коротенькую записку: «Мама Салима! Теперь никто не усомнится в моей невинности. Я вышла замуж девушкой. Юкка может гордиться мной. Скажи ей об этом. Твоя крестная дочь Сара».

У Юкки словно камень с души свалился. Теперь, когда она шла по улице, женщины, указывая на нее пальцем, говорили:

— Знаете, ее старшая дочь Сара, оказывается, честной была!

И Юкку распирало от гордости.

Полгода семейной жизни с хорошим человеком, боготворившим ее, были поистине счастливыми для Сары. У них не было тайн друг от друга, и Семо не приходилось сомневаться в том, что она довольна. И вот теперь он с таким отчаянием называл ее Айимбой и гнал прочь! Кто такая эта Айимба? Ее имя холодом обдало сердце Сары. Нет, она не станет спрашивать об этом у мужа.

Рука Семо, крепко сжимавшая ее талию, лежала теперь расслабленно и безвольно. Он уснул. Лихорадка, а вместе с ней и страх скоро пройдут, и она ни словом не обмолвится о женщине, чье имя он вспоминал в бреду.

Наутро они не стали обсуждать события прошлой ночи. Как всегда, быстро позавтракали и пошли к остановке автобуса. Семо сошел у Лусака-авеню, а Сара доехала до фирмы «Африканские книготорговцы», где работала секретаршей у мистера Лидо, коммерческого директора.

Семо глянул в небо, радуясь солнечному теплу, проникавшему в окна его конторы. В сиянии солнечных лучей для него заключалась особая тайная радость: они прогоняли мрачные тени ночи, когда все кажется страшнее, чем на самом деле. В другой жизни, на небе, нас ждет вечный свет, думал он. Мрак рассеется навсегда, и люди будут благословлять господ. У этой жизни не будет конца, в ней не будет места угрозам и мести.

Семо неохотно вернулся к целой кипе непроверенных счетов на столе. Сегодня он был явно не в форме. Вряд ли ему удастся проверить столько счетов, сколько вчера. В последние дни у него вообще работа не клеилась.

Бухгалтерский учет требует напряжения и сосредоточенности. В счете, представленном компанией «Мауани констракшн лимитед», которым он занимался вчера в конце рабочего дня,

оказалось много ошибок. Семо то и дело пускал в ход резинку, лист получился грязный, и Семо был недоволен собой. Пожалуй, с утра, на свежую голову лучше заняться крупными компаниями, а уж потом покорпеть над счетами мелких.

— Ты совсем заработался, Семб! Того и гляди угодишь в больницу с язвой или гипертонией.

— Отвяжись, Нягах, — добродушно ответил Семо, потягиваясь. — Смотри, как бы тебе самому не заболеть. Даже домой работу берешь. Не с женой ходишь под ручку, а с арифмометром.

Они, смеясь, обменялись папками. Нягаха прельщали в фирме хороший заработок и солидное положение. Семо работал до изнеможения совсем по другой причине...

Один и тот же сон, мучительный, неотвязный. Наступит ли ему конец, придет ли когда-нибудь забвение? Смолкнет ли наконец этот голос — зовущий, умоляющий, манящий? Голос, прежде спокойный и уверенный, нежный и трогательный. Этот голос неотступно преследовал его. Женитьба на Саре была точно бальзам для души. Он избавился от наваждения, снова стал нормальным человеком. Сара исцелила его от страшного надлома.

Все началось неожиданно. Сначала это походило на шорох листьев: обернешься — ничего нет. Потом в ночной тишине ему стали явственно слышаться леденящие кровь звуки. Страх простирал щупальца все дальше и дальше, бросал вызов своей жертве и наконец завладел ею. Сон прошлой ночью был не только пророчеством. Семо снова оказался в тисках смертельного страха, сковавшего душу, которой Сара вернула свободу. Семо полез во внутренний карман пиджака. Маленький амулет из слоновой кости был на месте. Мзее Омари сказал, что этот амулет не даст сомкнуться роковой цепи невзгод. И амулет действительно помогал. До прошлой ночи Семо был совсем другим человеком. Он отодвинул счет в сторону. Эта цифра — семьдесят два — определенно неправильная. Он подсчитал снова. Получилось девяносто три.

— Ах, черт!

— Ты обедать сегодня собираешься? — спросил Нягах.

— Подожди минутку, — ответил Семо, не поднимая головы.

Оставил бы Нягах его в покое. Семо снова выругался: обидно, что ошибки в расчете прервали ход его мыслей. Нягах все еще ждал, и его присутствие раздражало Семо. Он стер цифры семьдесят два и девяносто три с дубликата счета и поднался.

— Из-за тебя, Семо, мы мучаемся угрызениями совести,

точнее говоря, ты вдохновляешь всех нас на труд. Как сядешь за стол, так с головой уходишь в свои цифры. — Ньягах извлек из кармана бумажник, вынул из него фотографию женщины с крупными серьгами и протянул Семо. — Вот кто не дает мне сосредоточиться. В октябре у нас свадьба.

— Красивая женщина, — рассеянно заметил Семо.

— Настоящая колдунья. Рабом своим меня сделала. Только о ней и думаю. А ты, Семо, для меня — живой укор. Никогда не отвлекаешься от работы.

Семо улыбнулся и пошел за приятелем к лифту, радуясь в душе, что одному лишь всевышнему ведомо, что у человека на уме.

В тот день Семо ушел из конторы пораньше, чтобы взять машину из гаража. Когда он приехал, Сара уже была дома. Погода стояла чудесная, и они пили чай на открытой веранде. Мягкие лучи солнца скользили по ногам и освещали белую подъездную дорожку.

— Прекрасный пирог, — сказал Семо, с аппетитом поглощая второй кусок.

— Он должен отпугнуть лихорадку, — засмеялась Сара и тоже взяла еще ломтик.

Семо смотрел прямо перед собой, будто ничего не слышал. При слове «лихорадка» сердце его учащенно забилося, но он не подал виду.

— Хочешь чаю? — весело спросила она.

— Конечно. — Он отвел глаза. Неужели она сказала про лихорадку нарочно? Значит, помнит, как он прошлой ночью бредил? Что же кроется в ее словах? Намек на то, что он умом тронулся? Нет, Сара не глупа, да и обижать его не стала бы. Все это его воображение. Слишком мнительным стал.

— Я говорил тебе, что приглашен на обед в клубе?

— Да, говорил. А я тем временем займусь шитьем.

— Может быть, лучше пойдешь со мной?

— Я бы с удовольствием, да вот обещала заплести волосы Джейн и Ямбо. Можно им оставить записку, что ушла на званный обед, но обидятся еще чего доброго.

— Ладно. Тогда я буду собираться.

Семо снял грязную рубашку, вымыл шею. Достал чистый костюм и галстук. Пожалуй, к этому костюму больше всего подойдет синяя в полоску рубашка, решил он. Выдвинул ящик платяного шкафа, бегло просмотрел стопку рубашек. Синей в полоску не оказалось. Тогда он вынул все рубашки и тщательно просмотрел их одну за другой. Нет, он не ошибся. Семо заглянул в шкаф: может, туда повесил ненароком? Но

и там ее не было. Он направился к двери: надо спросить Сару, не затесалась ли злополучная рубашка среди ее вещей.

— Не зови Сару, не надо, — слышался из глубины шкафа молящий голос.

Семо будто прирос к полу, крик ужаса застрял у него в горле.

— Я взяла ее, Семо, — молвил голос устало. — Мне было так холодно прошлой ночью.

Когда ледяные тиски страха чуть отпустили Семо, он попятился, не спуская глаз со шкафа. Сел на кровать. Костюм, в котором был спрятан амулет, лежал рядом на кресле. Он протянул руку и, все еще не в силах оторвать взгляд от шкафа, достал амулет, прижал его к груди и, досадуя, стиснул пальцами. Бесполезная побрякушка! Колдовство бессильно против Айимбы. Айимба победила! А что, если рассказать Саре про Айимбу, про то, что дух ее вернулся в дом? Но тогда Сара и дня здесь не останется, уйдет к родителям и никогда больше не вернется. Семо решил навеститься к знахарю, в Киберу, но ничего не говорить об этом Саре. Пусть думает, что он ушел на обед в клуб.

Семо довольно легко отыскал глинобитную хижину на задворках Киберы. Блюстителю закона не решались и носа сунуть в этот район трущоб, опасаясь расправы. Достав из кармана коричневую армейскую панаму, Семо надвинул ее на самые брови.

Двое ребятишек с притворным азартом играли в камешки. Он сразу узнал их. Это были часовые, державшие связь со стариком. Они зорко следили, не появится ли полиция, создавая живой заслон у двери. Зайти в дом, миновав их, было невозможно.

— Мне нужно повидать старика, — тихо сказал Семо.

— Покажи карточку, — потребовал парнишка.

Семо достал маленькую белую карточку с красным крестом и протянул ее часовому. Кроме креста, на ней ничего не было. Часовой юркнул в дом. Второй парнишка намеренно задержал Семо у входа, показывая ему камешки для игры. Наконец появился ухмыляющийся посланник.

— Войди в дом и подожди.

— А где же моя карточка?

— У старика, — коротко ответил мальчишка.

Он провел Семо через комнату, где несколько ребятишек играли в камешки. Чуть помедлив, свернул налево. В кухне, пристроившись в разных углах, женщины готовили ужин. Отодвинув два ведра с водой, мальчишка легонько толкнул — как

показалось Семо — стену. Она плавно отошла и медленно закрылась за ним. Семо ошарашенно моргал в темноте и, затаив дыхание, ждал. Потом, будто по мановению волшебной палочки, открылась тяжелая глинобитная дверь слева, и мягкий свет проник к ним из маленькой комнатушки.

— Сюда, — поманил его парнишка.

Он вошел, и потайная дверь захлопнулась за ним, будто ее и не было. Все обстояло совсем иначе, когда он впервые посетил старика. Но с тех пор дела знахарей пошли хуже некуда. На побережье знахарь Самади Куре получил четыре года каторжных работ по обвинению в колдовской практике. В Кириньяго был осужден Нжиро Мунене за то, что предсказал, будто один член парламента, влиятельный партийный босс, потеряет свое место на предстоящих выборах. Все газеты опубликовали постановление: суровая кара ждет тех, кто смущает и запугивает граждан колдовскими чарами и ложными предсказаниями. Правительство призывало граждан сообщать о лицах, подозреваемых в знахарстве, ибо в стране построены лучшие в мире больницы и лечение бесплатное.

— Кто там? — тихо спросили из внутренней комнаты.

— Красный крест на белой карточке, — ответил Семо.

— Заходи, сын мой, — сказал старик, — сними ботинки и заходи.

Семо повиновался. Старик зажег две свечи в серебряных подсвечниках и задул лампу. От стены до стены безукоризненно чистая комната была устлана новыми циновками.

— Садись!

После скитаний по трущобам в поисках старика Семо вдруг ощутил необычный душевный покой и умиротворение. Но все же он почувствовал себя несколько униженным, когда ему, главному бухгалтеру международной фирмы, пришлось сесть на циновку, брошенную на пол. Здесь не спорят, ничего не обсуждают и не доказывают. Здесь лишь отвечают на вопросы и получают указания — плохие или хорошие. Какова бы ни была судьба, ее принимают, зная, что тщетно пытаться ее изменить.

— Что привело тебя под крышу этого бедного дома? — спросил старик.

— Мне нужна твоя помощь, отец, — смиренно ответил Семо. — С некоторых пор мне слышатся голоса, — и он поведал старику о вчерашнем сне и таинственном исчезновении рубашки.

Старик, не отрываясь, глядел на прыгающее пламя двух свечей. Достав из коробка спичку, он поковырял в зубах и, отбросив ее, сел, поджав под себя ноги.

— Плохой знак, сын мой. Амулет из слоновой кости, который я тебе дал, должен был навсегда избавить тебя от голосов. Это самый могущественный талисман из всего, что у меня есть. «Било», который я упрятал в нем, должен был навеки сделать тебя недосягаемым для Айимбы.

Семо глядел на старика невидящим взором. Случалось, что он забывал в конторе, даже в барах многие дорогие вещи, ключи, но никогда не забывал положить во внутренний карман пиджака драгоценный амулет. Амулет стал неотъемлемой частью жизни Семо, может быть, даже самой его жизнью. Семо подался немного вперед и заглянул старику в глаза.

— Я слышу ее, отец, — сказал он с расстановкой, голосом, полным мольбы и отчаяния.

— Ты всегда носишь с собой амулет?

— Всегда, отец.

Старик помрачнел.

— Дай-ка его сюда.

Семо достал амулет. Старик осмотрел его и, видимо, остался доволен. Затем взял крошечный ножичек и, расстелив на циновке белую тряпицу, принялся открывать амулет. В свое время Семо заплатил за него старику сто фунтов. Они вместе заполнили его «било» — белым порошком, похожим на золу, который знахарь хранил в маленьком мешочке, сшитом из козлиной шкуры. Когда старик приладил верхнюю часть, амулет обрел первозданную гладкость и цельность. Семо не знал, что можно будет снова его открыть, ему и в голову не приходило попробовать.

Старик уже несколько минут пытался отделить верхнюю часть, но у него ничего не получалось. Бросив амулет, он стал искать ножичек потоньше. Пот, выступивший у него на лбу, крошечными капельками сбегал к глазным впадинам. Семо испытывал чувство странной опустошенности.

— Не думал, что придется открывать его снова. — Старик, стиснув зубы, принялся за дело. — Такая штука должна служить всю жизнь, — сказал он.

Семо молча глядел на руки старика, в которых мелькал острый кончик ножичка и амулет. Вдруг под нажимом острия верхушка амулета раскрылась, упала на циновку, и красная волосатая личинка шлепнулась в белую колдовскую золу «било». Потрясенный старик попятился, бросив в порыве безотчетного страха амулет и ножичек на циновку.

Семо вскочил, подавляя крик, сердце у него замерло, волосы встали дыбом. Личинка шевельнулась и покатилась с белой тряпицы на циновку — туда, где лежал небрежно бро-

шенный разобранный амулет. Старик подошел к Семо и положил ему руку на плечо.

— Я на этом деле зубы съел, сынок, но ничего подобного в жизни своей не видел, — сказал он упавшим голосом. — Меня постигла неудача. Придется тебе искать другого лекаря.

Его посеревшее от страха, залитое потом лицо еще больше состарилось. Семо ощутил, что огонь, пожиривший его внутренности, теперь разливается по всему телу. Он задыхался в этой маленькой душной комнатухе.

— Я не могу уйти с пустыми руками, отец. Я богат, я заплачу, сколько запросишь, любую сумму.

— Нет, сын мой, — печально покачал головой старик, — я бога помню и не стану тебя грабить. Даже те сто фунтов верну. Я хотел исцелить тебя на всю жизнь, но ничего не вышло — и года не продержался. Я не обманщик. — Старик снял руку с плеча Семо и стал искать узелок с деньгами.

Слабая улыбка появилась на лице Семо, улыбка обреченного.

— Отец, — произнес он спокойно, будто ничего не случилось, — пусть деньги останутся у тебя в знак нашей дружбы. Я ведь не ребенок и многое повидал. Жить осталось совсем мало, раз она так упорно зовет меня. — Семо глубоко вздохнул, чтоб унять боль в груди. — Я проиграл. Деньги мне скоро совсем не понадобятся, это ясно нам обоим. Прими их в подарок от сына. Ты уверен, что не можешь мне по-мочь?

— Не могу, сынок.

Семо взял панаму и, не оборачиваясь, направился к невидимой двери. Старик, догнав его, прошептал:

— Если бы тень этой женщины бродила по земле, я мог бы отыскать ее и подчинить своей воле. Но она ускользнула в озеро, над которым я не властен, и плавает там на свободе. Уж если я не могу заманить ее в ловушку, тебе не поможет ни один другой знахарь, — и, положив руку на плечо Семо, он наказал: — Возвращайся без промедления к отцу с матерью. Они должны отыскать мудреца, который знает духов воды. Только он сможет укротить дух Айимбы. Не теряя времени, уезжай из города, пока она еще не решается досаждать тебе средь бела дня. Уходи, пока ещё можешь найти свой дом.

Потайная дверь открылась, и Семо пошел, ступая наугад в темноте за парнишкой, который привел его сюда. Наверное, проводник слышал предсказание, иначе почему бы он с такой вежливой сдержанностью распахивал перед Семо двери, пропуская его вперед? В народе принято во всем угождать обречен-

ному на смерть. Люди стараются окружить его вниманием и заботой, ведь он — гость, его дни сочтены.

Женщины в кухне все еще хлопотали над своими горшками. Играли дети. Второй парнишка-часовой по-прежнему охранял вход в дом, дожидаясь брата, чтобы продолжить игру.

На улице было свежо. Семо шел, не разбирая дороги, мимо жалких лачуг. Он чувствовал, как мальчишки, зажав в кулаке камешки, смотрят ему вслед. Он уже не различал крыш домов, которые были ясно видны, когда он пришел сюда, на окраину. Все они слились в одну огромную крышу из рифленого железа. Он брел наугад, пытаясь отыскать шоссе, которое проходило где-то слева. И в ушах его звучал голос старого знахаря: «Уходи, пока ты еще можешь найти свой дом».

Ньягол, мать Семо, вздохнула. Разогнув спину, она посмотрела в небо и снова принялась убирать угол, загаженный курами. Чтобы перебить запах, высыпала туда горячие уголья. Скользнула рассеянным взглядом по столу. Внимание ее привлекло письмо Семо, которое муж принес вечером с фермы вождя. Она смела уголья в совок и выбросила их в огород позади дома.

В субботу из Найроби приезжает сын с новой женой, и тут уж визитам соседей и родственников не будет конца. Все явятся на даровое угощение. К тому же — новая жена! Многим будет любопытно посмотреть на нее. Придется позвать подругу Ачолу Рослиду. Вот уж прекрасная хозяйка! Все у нее выходит вкусно и ненакладно, и нрав неунывающий — словом, лучшей помощницы не сыскать. К тому же она очень любит Семо и почтет за честь для себя порадовать его хорошим угощением.

В письме просто сообщалось, что сын устал после годового отчета и хочет отдохнуть в тишине, дома, подальше от сутолоки большого города. Он едет домой отдохнуть, но только покоя здесь не жди. Кто она такая, чтобы заявить родственникам: «Не приходите, моему сыну нужен покой»? Ньягол высыпала первую корзину маиса на расстеленную циновку и пошла за второй.

— Айо, Очинг, скорей сюда, отгоняйте кур от маиса!

Ребятишки, игравшие возле амбара, прибежали с длинными бамбуковыми палками и заняли сторожевые посты возле циновки. Для начала, пожалуй, хватит трех корзин, решила Ньягол. Надо подготовить просо и сушеный маниок. Маниок с просяной мукой — любимое блюдо Семо.

Ньягол, хоть и была обеспокоена тем, как получше принять Семо, мучилась мрачными предчувствиями из-за женщины, на которой сын женился тайком. Однажды утром из Найроби пришло письмо, в котором он извещал родителей, что женился. В конце была приписка: «Надеюсь, вы с отцом все поймете». Овуор пришел в ярость.

— Женидьба — святое семейное дело! Мы ничего не знаем ни о девушке, ни о ее родителях! Я не признаю этой женидьбы! — разбушевался он и, швырнув письмо в сундук, гневно захлопнул крышку. Он не собирался отвечать на это послание, хоть Ньягол молила его об этом со слезами на глазах:

— Мы же христиане. Ну пусть он сделал ошибку, пусть знает, что по обычаю не может сам выбирать себе невесту. Но раз уж он женился, попросим его написать обо всем подробно. Зачем затевать ссору?

Ньягол горько плакала, когда Айимба утонула в озере, там, где купались даже дети. Женщины, ходившие по воду, увидели ее кувшин у озера и подняли тревогу. К исходу дня ее тело было обнаружено далеко от дома, на гальке, у истока реки возле Ньянжинья.

Семо был потрясен утратой и целыми днями не притрагивался к пище. После похорон он ходил как помешанный, и Ньягол упростила преподобного Юсуфа Мало помолиться вместе с ним, чтобы смягчить боль. Вечерами он бесцельно слонялся по дому, ходил к могиле, стоял у ворот. Утром просыпался ни свет ни заря и, обливаясь слезами, точно женщина, звал Айимбу, восхваляя ее красоту. Родственники говорили Ньягол:

— Уж больно долго Семо по жене убивается, того и гляди рассудком тронется. Айимбу не вернешь. Наши сыновья должны уговорить его помыться, сменить белье. Они помогут ему пережить горе.

Но как ни старались братья, Семо оставался глух к разговорам.

— Я жил для Айимбы. Она унесла с собой мое здоровье и силу, — жаловался он матери.

Когда прошел месяц траура, Семо вернулся на работу в город, ссутулившийся и постаревший. Ньягол знала, как велика потеря сына. Второй такой красавицы в Уагусе не было. Ее любили и прихожане местной церкви, и родственники, которых она вконец избаловала подарками из города. Ньягол не смела задать себе вопрос, который был на устах у всех: что толкнуло Айимбу на самоубийство? Чего ей не хватало в жизни? Красотой не обижена, дорогих платьев и побрякушек — не счесть.

Муж ее обожал, и она ждала ребенка. Так спрашивали друг друга люди, оплакивая Айимбу. Одна женщина сказала:

— Сколько нас, бедных, всю жизнь мается в нищете и убожестве, а тут — весь мир у ее ног, и она себя жизни лишила. Вот сумасшедшая!

Так и осталось для всех тайной за семью печатями, почему ушла из жизни Кристина Айимба, ожидавшая третьего ребенка. Нягол винила во всем правительство. Семо занимал пост главного бухгалтера Восточно-европейского акционерного общества. У него был большой дом в Дар-эс-Саламе и хорошо обставленная квартира в Найроби. Иногда он целый месяц, а то и два сидел, проверяя счета, в Найроби. Иногда на это уходило несколько недель. Он никогда не брал Айимбу с собой. Считалось, что она должна все время жить в Дар-эс-Саламе, где преподавала домоводство в женской школе.

Мать не может заправлять делами сына, особенно такого образованного, как Семо, имевшего три дома — в Дар-эс-Саламе, Найроби и Уагусе. Как-то раз Айимба намекнула: жаль, мол, что Семо подолгу живет в Найроби один. В этом городе полно шальных женщин, готовых платить мужчинам за любовь.

— На твоём месте я бы поехала с ним, — посоветовала Нягол. — Будешь рядом, совсем другое дело.

Но Айимба, посмеявшись, сказала:

— Нет, мама, гоняться за ними — только их портить. Бог даст, мне повезет.

Пожалуй, она была права, и Нягол одобрительно кивнула:

— Будь по-твоему, дочка. Все в руках божьих.

И еще одна мысль терзала Нягол: едва год минул со смерти Айимбы, а он уж женился. К чему такая спешка? Ведь он любил Айимбу, на руках носил. Вся семья, бывало, мучилась ревностью, да ничего поделать не могла: у Семо только и свету в окошке что жена. Но Айимба завоевала и сердце свекрови — ничего для нее не жалела, и дом обставила, и на обновки не скупилась, и деньги присылать не забывала. До того дело дошло, что родственники повадились заходить к Нягол в конце месяца, поддразнивали: мол, ты от снохи жалованье получаешь. Так почему же Семо не обождал, почему память о жене-красавице не помешала ему кинуться в объятия другой женщины? Уж она-то вытеснит Айимбу из его памяти.

Нягол ни с кем не поделилась своими опасениями. Может, это просто ревность? Не хочется отдавать другой женщине то, что принадлежало ей и Айимбе? Новая жена приедет через три дня. Придется им с мужем смириться и постараться поладить

с молодой. Однако Нягол наперед знала: какой бы хорошей ни оказалась новая сноха, она всегда будет для нее лишь бледным отражением Кристины Айимбы.

Сара не рассердилась, когда вечером Семо сообщил ей новость: они оба берут месячный отпуск и в пятницу уезжают в Уагусу. Она поехала туда с легкой душой, предвкушая встречу с родителями мужа.

Все сложилось удачно для Семо. Саре очень понравились старики и сама Уагуса. Она вставала рано и уходила за водой, а потом бегала, разувшись, по сахарно-белому песку на берегу озера. Отдыхать здесь было ничуть не хуже, чем на роскошных курортах, которые она видела в кино. Молодая сноха наполняла водой все кувшины, которые были в доме, а потом в полдень с согласия родителей снова возвращалась на озеро посмотреть, как рыбаки тянут сети и бережно вытаскивают на песок свои знаменитые каноэ. Широко открыв глаза, Сара наблюдала в сторонке, как швыряют на горячий песок живую рыбу из озера. Сердце ее замирало, когда рыба, задыхаясь, начинала хватать ртом воздух. Женщины и ребяташки постарше копошились в улове, торговались с рыбаками и, расплатившись деньгами либо зерном, спокойно кидали бьющуюся рыбу в корзинки и отправлялись домой. Рыбаки промывали сети, чистили каноэ, а потом, присев, вели неторопливый разговор, поглядывая на лениво бегущие сверкающие волны.

Сара в жизни не видела ничего подобного. Она выросла в городе и, даже отправляясь навестить родных в Гем, никогда там долго не задерживалась. Ее родня называла реку Яла озером, и она тоже так считала, потому что Яла была длинная и широкая. В сезон дождей она выходила из берегов, затопляя соседние поля. Теперь Сара, затаив дыхание, глядела на необозримую водную гладь, куда Яла неутомимо несла свои воды.

Когда Сара отправилась наконец домой, добрые рыбаки подарили ей почти полную корзину рыбы. Сара несла ее с опаской. Ей было смешно и боязно: а вдруг укусит?

В приподнятом настроении она вбежала в дом за прищепками, чтобы развесить белье, которое она постирала на озере. Семо ушел рано: он должен был закупить продукты в ближайшей продуктовой лавке в двенадцати милях отсюда. Она сгорала от нетерпения поделиться с ним новыми впечатлениями. Надо обязательно уговорить его вместе сходить на озеро — полюбоваться усталым солнцем над спокойной водой в предзакатный час. Она, конечно, не пойдет с ним рука об руку, чтоб избежать лишних пересудов. Так повелось лишь в городах, где люди потеряли всякий стыд.

Сара открыла чемодан, где лежал мешочек с прищепками, и наконец нашла его. В дверях появилась смущенная девочка-подросток.

— Бабушка сказала, чтоб ты пришла в большой дом выпить чаю, когда развесишь белье.

— Спасибо. А как тебя зовут?

Девочка застенчиво глянула на длинные волосы Сары, накрашенные ногти и умчалась, так и не ответив. На лице Сары мелькнула улыбка. Придется, пожалуй, сегодня же снять лак и заплести косу. Здесь принято ходить просто, не то что в Геме, у нее на родине, где без нейлоновых чулок, парика и маникюра и в будни на люди не покажешься.

Сара повесила на веревку рубашки Семо, две свои блузки и наклонилась было за юбкой, но вдруг увидела распятие в зарослях листвы, буйно разросшейся после дождей. Сердце ее упало. У основания распятия лежала плоская мраморная доска, почти заросшая травой. Должно быть, могила, подумала Сара. У нее опустились руки, и юбка упала в ведро. Кто же умер в этом доме? Родители живы. Может быть, брат или сестра Семо?

Она бросила взгляд в сторону большого дома, где свекровь ждала ее к чаю. У дверей никого не было. Никто не подсматривал за ней, даже дети. А что, если незаметно подойти к плите и прочитать надпись? Но Сара тут же пристыдила себя: нельзя нарушать обычай. Человек, впервые приехавший в гости, не смеет подходить к могиле и рассматривать надгробную плиту: могут обвинить в колдовстве. Придется подождать, пока ей скажут, кто погребен здесь. Она не имеет права даже спросить об этом.

Сара нервно сглотнула слюну, скопившуюся в горле. И все-таки она должна узнать, что написано на плите. Неужели Семо никогда бы не упомянул об умершем брате или сестре? Вдруг странная догадка осенила ее. Почему могила так близко от дома Семо? Она прикрыла глаза, мысленно представила родной дом и место, отведенное для могил. Братьев и сестер Семо схоронили бы между его домом и домом родителей, а с этой стороны должен лежать лишь кто-то из семьи Семо.

Отчаянным движением Сара пригнула траву, закрывавшую надпись на плите. Она была так одержима желанием все узнать, что мысль, не следят ли за ней, даже не приходила ей в голову. Показались первые буквы. Сердце, казалось, вот-вот вырвется из груди. Она разгребла траву в нижней части плиты. Теперь перед ней предстала вся надпись.

ЗДЕСЬ ЛЕЖИТ
КРИСТИНА АЙИМБА
ЛЮБИМАЯ ЖЕНА
ДЖАРЕДА СЕМО
РОДИЛАСЬ 15 АПРЕЛЯ 1942 ГОДА
СКОНЧАЛАСЬ 16 ЯНВАРЯ 1972 ГОДА

Сара закрыла рукой золотые буквы, сиюсь вытеснить эту надпись из памяти. В своем ли она уме? Семо не был женат, и жена Семо не умирала. Это она, Сара Адхиамбо, первая законная жена Семо! Она чуть жизнью не поплатилась за право стать его женой. И хоть простыни, посланные домой, несколько утешили ее мать, она все равно была отверженной в своей семье за то, что посмела отказаться от венчания в церкви.

Слезы навернулись на глаза Сары. Она в ужасе отдернула руку от плиты, будто это ее давил белый мрамор. Потом еще раз взглянула на надпись, полузакрытую стеблями распрямившейся травы. Ее пронзила мысль о том, что самозабвенная любовь Семо была слишком сильной для первой любви. Он любил ее так жадно, что это внушало тревогу. Она не могла припомнить за ним никакой вины — ни обиды, ни ошибки, которые неизбежны у молодоженов. Теперь она поняла все. Семо не новичок в браке. Он потерял жену и нашел утешение в ней, Саре.

— Тетушка, — послышался детский голос, заставивший Сару встрепенуться, — бабушка говорит, что твой чай стынет.

— Постой, моя милая, — ласково сказала Сара. — Она проклинала свою глупость. Надо быть слепой, чтобы в первый же день не заметить, как эти дети похожи на Семо. Это дочери той женщины, чье имя она не решалась произнести. — Мы пойдем вместе в большой дом, — сказала она озадаченной девочке.

Саре нужно было с кем-то поговорить. У нее было тягостное ощущение, что ее руки, все ее тело — нечистые. Девочка должна помочь ей пережить чувство вины, вернуть ее к жизни.

Они вместе вошли в дом свекрови. Он показался Саре еще больше, чем раньше. Сара опустилась на стул и, пересилив себя, повела учтивую беседу. Наверное, Айимба часто сидела на этом стуле, с горечью думала она, пила из этих чашек и говорила с этой женщиной. Сара содрогнулась в душе, но постаралась никак не выдать своего волнения. Она должна рассказать матери Семо о своих впечатлениях. Но с чего начать? Ведь родители мужа уверены, что ей известно о смерти Айимбы, о том, что она, Сара Адхиамбо, — его вторая жена.

После чая Сара вызвалась почистить рыбу и приготовить ужин. Она смотрела на мрачный дом возле могилы Айимбы, и ей не хотелось туда возвращаться. Она вдруг остро ощутила свое одиночество и с тоскою вспомнила мать и родню. В этом большом доме люди слишком много знали о прошлом, а она ничего не знала даже о человеке, который стал ее мужем.

Семо, будто его предупредили о злополучном открытии Сары, вернулся очень поздно, бледный и возбужденный. Отказался от ужина и, заявив, что хочет лечь пораньше, ушел от родителей. Сару тоже тянуло уйти пораньше. Сердце ее разрывалось, и хоть Семо был явно нездоров, она жаждала немедленно выяснить, каково же ее положение в этом безрадостном доме. Когда они пришли к себе, Сара, не в силах больше сдерживаться, упала, рыдая, у ног Семо.

— Зачем ты сломал мою жизнь? Зачем погубил меня? — Она негодуяще посмотрела ему прямо в лицо. — Нет, ты не любил меня! Ты — настоящий обманщик. Зачем было скрывать от меня, что ты — вдовец?

Семо будто онемел. Его бросало то в жар, то в холод. Сара судорожно царапала ногтями простыню и обзывала его всеми обидными словами, какие приходили ей на ум.

— Сара, прошу тебя, будь благоразумна. Кто рассказал тебе эту историю? Мать?

Она отпустила простыню и обернулась.

— Если ты не трус, не уходи от ответа. Почему ты боишься повторить то, что я сказала? Ты схоронил жену? Могилу не спрячешь. До чего же я глупа, Семо! Как я могла в первый же день не заметить надгробной плиты! — Она снова дала волю своим чувствам, и ее горестные причитания нарушили тишину ночи.

Опасаясь общего переполоха, Семо смирил гордость и, обняв жену, прошептал умоляющим голосом:

— Подожди немного, Адхиамбо, дай мне время, я тебе все объясню. Клянусь богом!

Она долго не могла унять слезы, потом вытерла лицо и сказала:

— Хорошо, Семо, я подожду. Но сегодня — никаких разговоров. Хватит с меня. Уже темно. А я боюсь темноты. Завтра мне все расскажешь.

Этот взрыв отчаяния так измотал ее, что она сразу же погрузилась в спасительный сон, как только Семо уложил ее в постель и прошептал на ухо ласковые слова. Голос его стал постепенно отдаляться, но напряжение прожитого дня сказалось в странном видении.

Словно в дымке предстал перед ней дом Семо в Дар-эс-Саламе. В спальне Семо кричал на свою жену Айимбу:

— Ты обманула меня! Все твои подруги родили мужьям хоть по одному сыну! Только у меня нет сына. Дом полон девчонок.

Потрясенная Айимба стояла молча. Незаслуженная обида стрелой пронзила ее сердце.

— Бог пошлет нам сына, мой дорогой, — сказала она. — Я еще молодая и сильная, обожди.

— А ну тебя, — сердито отмахнулся он. — Готов пари держать, что ты снова носишь девчонку. Надоело, одни девчонки в доме.

Айимба кинулась в ванную и захлопнула за собой дверь. А Сару, молча наблюдавшую эту сцену, странный сон перенес в залив Уагуса.

Молодые женщины плескались в воде и бросали друг в друга горсти песка. Вдали разбирали свой улов рыбаки. Натянув купальник, Сара бросилась в воду. Боже, какое блаженство! Поистине благодатны воды этого залива, они могут унести прочь все женские печали. Сара вынырнула, чтоб набрать воздуха, и увидела белые паруса яхт, плывущих домой от островов на границе с Угандой. Когда она снова скрылась под водой, ей послышался тихий зов: «Сара, Сара!» Она удивленно приподняла голову, но, кроме забавлявшихся игрой женщин, никого поблизости не было. Сара быстро поплыла к берегу. Снова ей послышался голос:

— Сара, плыви ко мне, помоги мне поймать ту плоскую рыбу.

Сара резко обернулась и оказалась лицом к лицу с незнакомой женщиной. Она протягивала к ней руки. Сара оттолкнула ее и, выбиваясь из сил, устремилась к группе женщин. Незнакомка не отставала.

— Сара, Сара, вернись, я хочу тебе что-то сказать!

— Нет! — крикнула Сара. — Я тебя не знаю, я тебя в первый раз вижу.

— Не в первый, ты меня хорошо знаешь. Я — Айимба. Ты живешь в моем доме и спишь на моей кровати.

Сара помертвела от ужаса. Прочь, прочь от мучительницы! Айимба кричала, норовила схватить ее за ноги. Обезумевшая от страха Сара пыталась уйти от погони, но сильные руки стиснули ей лодыжки и потянули в пучину. Отчаянным движением Сара вырвалась и с отвагой молодости замахнулась на Айимбу. Та увернулась от удара и крикнула негодуя:

— Это подло, Сара! Я не причиню тебе зла, но ты должна научить меня, как родить сына.

И снова началась схватка в воде. И Сара почувствовала, что слабеет.

— Пусти меня, — прошептала она.

— Не пушу, — с вызовом ответила Айимба. — Ты останешься со мной, пока не научишь меня, как зачать сына, ведь ты сына носишь под сердцем. — И, обхватив Сару руками, она увлекла ее за собой.

— Ай, ай, Семо, Семо! — Сара в отчаянье заметалась по постели и соскользнула на пол. — Убирайся, ведьма, убирайся!

Семо поднял дрожащую обессиленную жену и стал нежно, как ребенка, ее укачивать. Сара постепенно пришла в себя, немного успокоилась. Встретив взгляд Семо, она долго молча смотрела ему в глаза, потом сказала срывающимся голосом:

— Она тянула меня в воду, она просила меня научить...

— Я знаю. — Семо прикрыл ей рот рукой. — Я знаю. Я все слышал.

Сара указала на дверь.

— Она...

Семо снова заставил ее замолчать.

— Ты никогда не поймешь меня, Сара, — сказал он, — даже если б я смог объяснить, что случилось, на языке ангелов.

Он уложил жену в постель. Она прильнула к нему, но хоть Семо был рядом, ее по-прежнему била дрожь. Сара не решалась закрыть глаза. Ее и наяву терзал кошмар — длинные ногти, впившиеся в ее лодыжки. Семо знал, что жена не спит, но не решался заговорить с ней. Он снова мысленно вернулся к той ночи, когда бросил в лицо Айимбе те проклятые слова. Прошел год, но память об этом все так же ранила его. На следующее утро он решил сделать первый шаг к примирению.

— Я не хотел обидеть тебя, Айимба, — сказал он ласково, — выпил лишку и брякнул глупость. Клянусь, что ты никогда больше не услышишь от меня такой чепухи.

— Не беспокойся, Семо, другого случая не будет, — улыбнулась Айимба. — Порою люди нарочно напиваются, чтобы высказаться и облегчить душу. — И она ушла с той же загадочной улыбкой.

Семо все отдал бы, чтобы взять свои слова обратно, убедить Айимбу в своем искреннем раскаянии. Но она ему не поверила. У Айимбы созрел план, и она лишь выжидала время. Когда Семо и думать забыл об этой проклятой истории и привез семью отдохнуть в Уагусу, она утопилась, оставив ему записку: «Семо, я решила, что удобнее всего умереть дома. Вам не придется тратиться на перевозку тела. Я ухожу из жизни со своей нерожденной дочерью, чтобы освободить место для другой женщины, которая родит тебе сыновей».

Семо почувствовал, как по лицу его бегут горячие слезы. Он навлек кару на свой собственный дом. Айимба уничтожит его и тех, кто ему близок. Когда бледный предутренний свет проник в комнату и запели птицы, приветствуя наступление нового дня, Семо забылся тяжелым сном.

Неделю спустя жители Уагусы обнаружили на берегу озера кувшин, с которым Сара ходила за водой. Он лежал на том же месте, где всего лишь год назад оставила свой кувшин Айимба. И люди воскликнули:

— О, злой рок снова поразил дом Ньягол, дочери Ойары!

Сельчане искали тело Сары, второй жены Семо, обшаривая берега озера, а в это время Ньягол, оставив дома свои четки, преклонила колени перед знахарем Удха Мирамбо. О его способности укрощать духов воды рассказывали чудеса.

— Твоя сноха жива, — сказал он убитой горем женщине.

Знахарь наклонил красный горшок с водой сначала влево, потом вправо.

— Она возвращается в автобусе Уагуса — Кисуму к своей родне.

Потом он сильно наклонил горшок в одну сторону. Ньягол замерла. Вода дошла до самого края, вздулась, но не пролилась. Он немного подержал горшок в этом положении и обернулся к Ньягол.

— Твой сын сказал Айимбе такое, что грех говорить будущей матери. Он — виновник ее смерти. Покойница не допустит, чтобы другая женщина родила ему детей.

Ньягол умоляюще протянула к нему руки.

— Укроти ее дух. Пусть мой сын обретет душевный покой...

Знахарь сделал ей знак замолчать.

— Когда пройдут большие дожди, навдайся ко мне снова, — молвил он.

Ньягол возвращалась домой подавленная. Войдя в усадьбу, она невольно посмотрела влево, на дом сына, но тут же отвела взгляд. Сняла с крючка и снова надела четки и отправилась к озеру — предупредить сельчан, чтоб не искали напрасно.

Сара Адхиамбо вернулась в город, к своей родне.

Перевод с английского Л. Биндеман



Габриэл Мариану

Габриэл Мариану (Жозе Габриэл Лопеш да Сильва; род. в 1928 г.) — зеленомысский поэт, прозаик, эссеист. Юрист по образованию. Работал судьей в Анголе. За активную пропаганду и распространение зеленомысской литературы преследовался колониальны-

ми властями. В настоящее время сотрудничает в журналах и газетах. Живет в Лиссабоне.

Рассказ «Жизнь и смерть Жоана Кабафуме» — из одноименной книги, издательство Виа эдитория, 1976.

ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ ЖОАНА КАБАФУМЕ

Слушай, парень! Расскажу-ка я тебе о Жоане Кабафуме. Этот человек был не чета нам. Помощи ни от кого не ждал. Смерть пришла к нему в полнолуние, в бухте. Не в ладах он был с судьбой. Всю свою жизнь не в ладах.

Первый свой вызов судьбе он бросил, когда приехал из Ладейра-Гранде. Чуть с голоду не помер тогда. Вот и пришлось ему пойти к мастеру Жоазинью.

— Мастер Жоазинью, переправьте меня на своем корабле на Сан-Висенте.

Второй вызов судьбе Жоан Кабафуме бросил, когда Губернатор хотел его упечь. Слушай, парень, как это было. Появился у нас на острове один долговязый человек с красным лицом. Верткий и шустрый, что твой кот-ворюга. Шныряет он кругом и подсовывает всем контракт: подпиши, мол, друг. И за каждого завербованного ему — сто эскудо. А тут как раз вышел приказ запереть всех голодранцев в Приют. Чтобы не докучали приезжим, не просили у них милостыни. Этот долговязый возьми да и зайди к сеньору Губернатору. Помогите мне, сеньор Губернатор. А прибыль пополам. Сели они в машину и поехали в Гремю выпить виски с содовой.

Все встречные снимают шляпы.

— Добрый вечер, сеньор Губернатор.

Торговцы почтительно кланяются.

— Сеньор Губернатор... Сеньор Ногейра...

Поужинали они и пошли развлекаться по Монте и Ша-де-Алекрим — в веселые дома.

А на другой день сеньор Губернатор пожаловал в Приют. Собственной персоной. И давай честить всех, кто там был:

— Бездельники вы, лодыри! Только и знаете, что шатаетесь по улицам да милостыню кланчите.

Никто ему, конечно дело, не возражал. Только стояли и молча слушали.

А губернатор:

— Почему не ищите работы?

Тут подал голос Жоан Кабафуме:

— А где ее найти, работу, сеньор Губернатор? Может быть, вы нам что-нибудь предложите?

Губернатор глянул на него искоса, но ничего не ответил. Долго еще он разглагольствовал, а потом вытащил какие-то бумаги из портфеля и говорит:

— Кто хочет отсюда выбраться, подпишите. А там уже будете иметь дело с сеньором Ногейрой.

Расписались все. И тут же отправились в контору «Каза Го-меш», к сеньору Ногейре. Долговязый пересчитал их как стадо баранов, а сам, верно, думает: «Губернатор сдержал свое слово. Мы с ним заработаем кучу денег». Посулил он каждому по семьдесят пять эскудо подъемных и сказал, что скоро за ними придет пароход, пусть готовятся. Сам понимаешь, семьдесят пять эскудо — сумма немалая. Особенно для безработного. Ничего не получил лишь Жоан Кабафуме. Потому что не захотел поехать. А что ему было терять? Плевать он хотел на судьбу. Сеньор Губернатор позвал его в свой кабинет, но Жоан Кабафуме и перед ним не спасовал. Не поеду да и все, говорит. «Но ты же подписал контракт», — настаивает сеньор Губернатор. А Жоан Кабафуме ему в ответ: «Подписал только для того, чтобы из вашего Приюта меня выпустили». И завязалась между ними перепалка:

— Ты поедешь!

— Нет, не поеду.

— Тогда я засажу тебя в тюрьму.

— Хватит, посидел уже!

— Вор!

— Это почему же?

— Мерзавец!

Жоан Кабафуме не выдержал и заехал ему пару раз в зубы. Задира он был такой, что и свет не видывал. Никому обиды не

спускал. Ни черному, ни белому. Ни бедному, ни богатому. Где же ему было ладить с судьбой?

За такое дело упрятали его на месяц за решетку. Отсидел он положенный срок, вышел и устроился в аптеку Пина. Платили ему жалкие крохи, долго он там не выдержал, ушел и стал нищенствовать. Подойдет в воскресный день к церкви и после заутрени тянет руку ко всем прихожанам. Что-нибудь да дадут. Была там одна благочестивая женщина — дона Манинья, — ни одной службы не пропускала. Жоану Кабафуме она каждый раз давала по две монетки. А однажды дала и три. Третью Жоан повесил себе на шею. С тех пор дона Манинья стала ему давать побольше. Да еще и подкармливала. Обедала она всегда в час дня. Как раз в это время Жоан приходил к ней в дом, заглядывал в столовую и здоровался:

— Добрый день, дона Манинья.

— Добрый день, Жоан.

— Добрый день, сеньор Зезинью.

— Добрый день.

— Добрый день, сеньорита Зузу.

— Добрый день, Жоан.

— Добрый день, Тонекаш.

— Не «добрый день, Тонекаш», а «добрый день, сеньор Тонекаш».

— Извините, дона Манинья... Добрый день, сеньор Тонекаш.

Проскользнет он в кухню да и поест там вместе со слугами и кошками. Слуг было трое, а кошек — пять. Жоан Кабафуме обычно заводил такой разговор:

— Почему бы это, любопытно знать, бедняк молится перед сном, ходит в церковь, а так бедняком до самой смерти и остается.

— Сеньор Пастор говорит, что зато бедняк попадет в рай, когда умрет, — отзывалась Биа, молоденькая служанка.

— А богатый?

— Богатый?.. Не знаю.

— Богатый не попадет?

— Попадет, попадет. Если добрый.

— Добрых богачей не бывает, Биа.

Мария Каролина, самая из них старшая, говорила, отложив ложку:

— Если бы вера делала людей богатыми, то богаче всех была бы моя тетка.

— Вера не делает богатыми, она дарует вечное блаженство.

— Только для души.

— Но ведь душа главное. Так говорит сеньор Пастор. При этих словах Жоан Кабафуме ехидно вставлял:

— Но ведь у души нет ни носа, ни рта, ни глаз. Как же она может радоваться?

— Вечное блаженство — это не простая радость.

— А если сказать попонятнее?

— Только на небесах можно вкусить вечное блаженство, — объясняла Биа.

— Нет никаких небес.

— Неправда.

— Где же они, твои небеса?

— Наверху.

— Да хватит тебе спорить, Биа.

— Перестань, Жоан.

Однажды хозяйка заметила, что Жоан Кабафуме ухлестывает за Бией. Такого она не могла перенести. Ведь ее дом не какой-то там притон.

Позвала она Жоана к себе и стала делать ему внушение:

— Прекрати свои шашни! Не то...

С того дня Жоан больше там не показывался.

Дона Манинья пожаловалась на него Пастору:

— У этих людей нет ничего святого. За добро они платят злом.

— С ними надо покруче, — посоветовал Пастор.

Но Жоан Кабафуме, парень, чихал на наставления доны Манинья. Он бросал судьбе вызов за вызовом. Пока к нему не пришла смерть. А было это в бухте, в полнолуние.

Поступил Жоан работать в магазин сеньора Варанды. Дел неспорно, а плата мизерная. Старшим приказчиком был Жоаким. Перед хозяином он лебезил, остальные его побаивались и держали при нем язык за зубами. Мануэл стоял за прилавком. Шик уродовал в бакалейном отделе. Жасинту работал чернорабочим: мыл пол, грузил мешки. В семь все уже были на своих местах, на обед уходили в двенадцать. А потом опять, с двух до семи, работа. Уставали так, что просто с ног валились. Наконец уходили. Жоаким шел понурый. Все его мысли были только о том, как бы не потерять доверие хозяина. Мануэл старался, чтобы никто не заметил, что ботинки у него драные. Шик стеснялся запаха масла, который от него шел. Жасинту горбился — как будто нес на себе мешок. Его нанковая рубашка была вся в грязи. Последним ташился Жоан Кабафуме. На завтра все начиналось снова. Работали усердно, до полного изнеможения. И никаких выходных! По воскресным дням и праздникам приходилось делать уборку в ма-

газине. Хозяин сулил премию в конце года. Иногда давал бесплатно кое-что из продуктов. Обычно он садился в углу, возле огромного шкафа, и следил оттуда за работой. Однажды он заметил, что Шiku ест галеты с маслом и сахаром. Ну и разорался же он! А в конце пригрозил, что выгонит Шiku. Сеньор Варанда был в хороших отношениях с доной Маниней. Она обращалась к нему не иначе как «многоуважаемый друг». А Варанда звал ее «досточтимой покровительницей бедняков». Он был дружен с самим Губернатором, которому открыл неограниченный кредит. Губернатор иногда не платил месяцами, а сеньор Варанда не докучал ему напоминаниями о долге. Жоаким часто приводил губернатору девиц. Эта услуга хорошо оплачивалась.

— Везет женщинам,— говорил по этому поводу Жоан Кабафуме.

Все дружно соглашались.

— А бедняк до самой смерти останется бедняком,— замечал кто-нибудь.

Жасинту жил очень бедно. Жена его торговала рыбой на рынке. У него было двое сыновей: двухмесячный и трехгодовалый. Однажды Жасинту ходил собирать зелень, чтобы потом ее продать в лавочку сеньора Кима Шавиньи. И когда возвращался домой, с ним приключилась диковинная история, так, во всяком случае, он рассказывал. Обычно ему не верили, сомневались, и все-таки выслушивали.

Дело было под утро. Светила луна, но уже забрезжила зоря. Пропел петух. В этот час все люди еще спят. И вдруг послышался топот. Жасинту оглянулся — никого! А топот еще громче. И тут видит он какое-то чудище размером с теленка.

— Чур меня, чур,— запричитал Жасинту и прибавил шагу. Какой-то нежный голос окликнул его трижды:

— Жасинту! Жасинту! Жасинту!

Налетел сильный вихрь, подхватил его и понес над землей. В тот же миг он оказался возле своего дома. Этот вихрь, как он догадался, был духом его матери, которая спасла своего сына от нечистой силы. Когда он переступил порог дома, петух запел во второй раз. Ах, как дивно светила луна!

Лишь Жоан Кабафуме верил Жасинту. Это сдружило их. С работы они ходили теперь вместе. Жоаким все думал, как бы не потерять доверие хозяина. Мануэл старался, чтобы никто не заметил драных ботинок. Шiku ежился, стесняясь запаха масла. Жасинту горбился. Жоан Кабафуме молчал. Он по-прежнему был не в ладах с судьбой. Не желал смириться с бедностью. Как смирились все другие. Вкалывать день-деньской,

чтобы не помереть с голоду. Целый год таскать один и тот же костюм. Не иметь денег на лекарство при болезни. Все это было не для Жоана. Только осел работает ради прокорма. Ему не нужны ни ботинки, ни рубашки, ни костюмы — одна солома. Но ведь Жоан Кабафуме — человек, а не осел. И судьбе не удастся его переломить.

Как-то раз Жасинту не вышел на работу. Сеньор Варанда был весьма этим недоволен и послал сказать Жасинту, что за этот пропущенный день у него удержат из зарплаты. Жасинту пришел после обеденного перерыва. У него был сильный жар. Таскать мешки с кукурузой — дело нелегкое и для здорового человека, а уж для больного и подавно. Поглядел-поглядел Жоан да и подошел к хозяину.

— Разрешите помочь Жасинту, сеньор.

Сеньор Варанда разрешил. Они вместе перетаскали все мешки. На Жасинту просто лица не было, он согнулся в три погибели.

— Что за хворь на тебя напала? — спросил Жоан.

— Сам не знаю, — ответил Жасинту. — Никак не могу вылечиться.

Жил Жасинту далеко. Жена целыми днями торговала рыбой и не могла о нем заботиться. А нежный голос матери больше не ограждал его от напастей. Парень гас на глазах. Оказалось, что у него чахотка. Жоан Кабафуме собрал для него немного денег среди товарищей. Но сеньор Варанда не захотел держать его на работе: с чахоткой шутки плохи, недолго и самому заразиться. Жасинту попросил хоть несколько дней отсрочки, до конца месяца. Доктор ответил, что особой опасности нет. Жасинту остался. Но мешки были слишком для него тяжелы. В прежние времена он таскал их сразу по два, а теперь и один еле мог поднять. Через три дня Жасинту слег окончательно. Хотели положить его в больницу, но это дело не выгорело. Не было мест. К тому же чахоточных туда не принимают. Все равно лечить их нечем. Всех больных доктора пичкают хиной и слабительным — других лекарств у них нет. Жасинту умер. Товарищи заказали ему гроб. На свои деньги. Покойника отпевал сеньор Пастор. Он шел с траурной процессией только до ворот кладбища, потому что заплатили ему мало. Сеньор Варанда и вовсе не пришел на похороны — в тот вечер он ужинал с сеньором Губернатором и дошой Маниней. Жена Жасинту плакала навзрыд. Жоан Кабафуме утешал ее как мог. Хороший был у нее муж, да только недолго прожил. Не устоял против судьбы.

После похорон все разбрелись по домам. И старый приказ-

чик Жоаким, и Шик у с неистребимым запахом масла, и безмолвный Жоан Кабафуме — все разошлись. Остался на кладбище только Жасинту.

Ночь была ясная, светлая. Сияла луна. Ах, как дивно сияла луна!

На другой день сеньор Варанда нанял нового рабочего. Надо же было кому-нибудь мыть полы и таскать мешки. А Жоану Кабафуме опять не повезло: он подцепил дурную болезнъ от бесстыдницы Мангиньи. Пришлось ходить через день в больницу на лечение. Однажды он задержался. Сеньор Варанда накричал на него: он-де бездельник, отлынивает от работы. Жоан заспорил: никакой он не бездельник.

— Все вы одного поля ягоды, все лоботрясы, — заорал сеньор Варанда.

А Жоан посмотрел на своих товарищей и говорит:

— Будьте свидетелями. Этот человек сам нарывается на неприятности.

И добавил, обращаясь к сеньору Варанде:

— Уж если кто и лоботряс, так это вы сами!

Сеньор Варанда так и взвился.

— Да как ты смеешь обзывать меня!

— А вот и смею!

— Лоботряс! Лоботряс! — закричал сеньор Варанда. Жоан сгреб его в охапку да как ахнул об стеклянный шкаф. Сеньор Варанда поранился. Вызвали полицию, и Жоана забрали.

Вечером сеньор Варанда отправился в Гремину, чтобы выпить бокал виски с сеньором Губернатором. Когда он рассказал о том, что случилось, Губернатор нахмурился:

— Надо проучить этого негодяя! Чтобы не распускал рук!

Только не удалось ему выполнить свою угрозу. Так и не сквитался сеньор Варанда с Жоаном.

Не поладил с судьбой, ну и плевать! Нанялся Жоан лодочником. К контрабандистам. Весло — в воду, правъ в открытое море. Главарем у них был Титинья Манета. Этот самый Титинья — моряк бывалый, всякого повидал на своем веку. Из Голландии он удрал на лодке в Африку. Один, без товарищей. В схватке с неграми с Сан-Томе потерял руку. Но и с одной рукой управлялся лучше, чем некоторые с двумя. На школьной скамье он не сидел, но голова у него была светлая — ничего не скажешь!

Эй, правъ в открытое море!

Всю свою жизнь Титинья определяет путь по звездам. От этого глаза у него стали янтарного цвета, цвета меда.

Весла — в воду, правъ в открытое море.

В картах Титинья разбирается как никто другой, жизнь для него — открытая книга. С таким капитаном хоть на край света!

Когда они возвращались с контрабандой из Порту-Нову, правил всегда Титинья. А Жоан Кабафуме был впередсмотрящим.

— Штормит, — кричал с носа Жоан.

Титинья Манета лишь улыбался.

— Какой это шторм! Так, пустяки.

Волны швыряли лодку, как щепку. Жоан Кабафуме смотрел вдаль широко раскрытыми глазами. И был доволен собой. Судьба спасовала перед ним. Приятно одержать над ней верх.

— Какой это шторм! Пустяки, — продолжал улыбаться капитан.

Вечером в кабачке Антониу Мануэла приятели сбывали контрабандные товары и гуляли на вырученные деньги. Капитан Титинья Манета становился разговорчивым.

— Как-то раз, давным-давно... — заводил он, подвыпив.

Рассказывал о том, как украл на берегу лодку и вышел в открытое море. И плыл, и плыл, и плыл. А горизонт все отступал перед ним. Прошло семь дней, семь дней и семь ночей.

— Над головой — только тучи, внизу — рыбы...

Волны поднимались иногда выше кокосовой пальмы. А спрятаться от них некуда. Кругом — море.

— С морем не шути!..

Титинья — сильный мужчина, не станет просить помощи у бога. Уберет паруса, разгрузит лодку, ляжет и тут же заснет.

— Над головой — только тучи, внизу — рыбы...

— Ты не привираешь?

— Что ты! Чистую правду тебе говорю.

— А в лодке что было?

— Сам понимаешь что — контрабанда.

Антониу Мануэл удивленно вздергивал брови:

— Так мы тебе и поверили.

— Клянусь святой богородицей, я не вру, — уверял Титинья Манета.

Работать стало очень трудно. Полиция портового управления и таможни всерьез взялась за контрабандистов, и Титинья решил на некоторое время отказаться от поездок в Порту-Нову.

— Плевать нам на этих олухов — полицейских. Неужели мы их не одурачим? — говорил Жоан Кабафуме. — Давай делать свое дело.

Титинья соглашался, да, верно, надо делать дело, но все-таки благоразумнее обождать несколько дней.

Жоан Кабафуме не унимался. Он снова был не в ладах с судьбой, но это его не заботило. В конце концов пусть Порту-Нову подождет. Можно же торговать с пароходами, которые приходят с Севера. Да это и прибыльнее. Титинья и Жоан снова принялись за работу. Договаривались с кладовщиками. Грузили банки с краской, пишущие машинки, ящики с сигарами. Жоан Кабафуме — на стреме. С берега — крик:

— Эй, там, в море!

Весла — в воду, правь в открытое море.

Как-то раз Жоан торопился на шведский пароход: не ушел бы. Ночь была лунная, и проскользнуть к причалу незамеченным было не так-то легко. Его остановил сам начальник порта. Где твой пропуск? Нет? Получи его в портовом управлении. Тогда я тебя пропущу.

— Я не знал, сеньор начальник.

Со стороны Морру-Бранку светила луна. Капитан Титинья уже ждет его в лодке. Надо пройти. Во что бы то ни стало. Кто играет с судьбой, ни перед чем не останавливается.

— Пропустите меня.

Начальник и слушать ничего не хочет.

— Пропустите.

Начальник оттолкнул его. Кто играет с судьбой, ни перед чем не останавливается. Жоан Кабафуме как бешеный набросился на своего обидчика. Тот упал замертво.

В который раз бросил Жоан вызов судьбе. И вот он в лодке, гребет к шведскому пароходу. Я уже тебе говорил, парень, он не чета нам с тобой. В бухте Порту-Гранде Жоан вступил в спор с самой судьбой. И проиграл.

Светила луна, ах, как дивно светила луна! Жоан Кабафуме добрался до шведского парохода и стал карабкаться по спущенной ему веревке. И вдруг сорвался, упал грудью прямо на уключину. Глаза его были широко раскрыты.

— Эй, друг! — позвал капитан Титинья.

Жоан ничего не отвечал. Вода на дне лодки окрашивалась

— Эй, друг.

Но Жоан уже ничего не слышал и не мог услышать. Завтра все узнают о смерти Жоана Кабафуме. Он лежит с широко раскрытыми глазами. Судьба приняла его вызов.

Капитан Титинья Манета греб изо всех сил. Лодка качалась на волнах. Светила луна.

Жоан Кабафуме умер. Но почему же глаза у него так широко раскрыты?

Перевод с португальского Н. Тараториной

Жоан Лопеш Фильу (род. в 1928 г.) — зеленомысский новеллист. Окончил политехнический институт в Лиссабоне. Автор многочисленных статей о социальных и культурных аспектах жизни своих соотечественников в местной периодической печати

и португальских журналах. В 1976 году опубликовал книгу «Острова Зеленого Мыса. Этнографический очерк». В апреле 1978 года вышла в серии «Литературная библиотека ульмейро» его книга «Рассказы, рассказы», откуда взята новелла «Возвращение».

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Вершина Мансебу поражает своей красотой, кажется, именно здесь природа решила показать, на что способна ее удивительная фантазия. В ореоле грозовых туч гордо высятся огромные, потемневшие от влаги скалы. В их тисках зажата узкая горловина ущелья, перебравшись через которую можно увидеть, как далеко внизу извивается легендарный Ручей Пиратов.

Окаймленная с двух сторон узкой полоской земли, цепко держащейся за почти отвесное тело каменного гиганта, журчит речушка. О ней рассказывают легенды, герои которых — чудотворцы-колдуны и ведьмы, несущиеся в вихре танца на балу нечистой силы. Так же как и набеги жестоких пиратов, эти легенды затерялись во тьме веков, чтобы потом возродиться в сказках, в колыбельных песнях старух.

Впечатление такое, будто это огромные скалы хотят раздавить своей массой жалкий клочок земли в устье ручья. Туда ведет только одна тропинка, она вьется то по крутому склону, то по краю бездонной пропасти, вызывающей головокружение у путника, не привыкшего к непроходимым горным дорогам.

Солнце стоит еще высоко над склонами горы, а на лошину, стиснутую скалами, уже опускаются сумерки. Густые тени ложатся на забытую богом деревню, усиливая и без того укоренившуюся веру в нечистую силу.

В убогой хижине, вросшей в скалу Эшкривида, старик Мулонгу с болью вспоминает трагедию рабовладельческих времен. В памяти всплывает страшная ночь высадки пиратов. Цепочкой поднимались тогда на Мансебу факелы, освещая извилистую дорогу несчастным неграм, спешившим найти убежище в глубине острова или в порту Лапа, где малочисленный и плохо вооруженный гарнизон все же сулил какую-то надежду на спасение.

Покорный судьбе Мулонгу отрешенно вспоминает плоть надсмотрщиков на площади перед портовым складом и лунные ночи, когда кашаса¹ ударяла ему в голову. В памяти всплывают скорбные мелодии песен, которые они тогда пели, сопровождая ими монотонное движение по кругу своих братьев, с ярмом на шее вращающих тяжелые жернова. Рука одного из негров попала в колесо, и нужно было звать главного колдуна, у которого были даже зеркало и компас, чтобы тот обрубил те несколько живых нитей, которые еще связывали безжизненный обрубок с телом, и наложил повязку с мазью из разных трав, соли, пыли с развилки дорог, измельченных в порошок когтей черной кошки и цветков папоротника. Готовилась эта мазь с таинственными обрядами и молитвами, в ночь накануне святого Жоана. Колдун воззвал к Йеманже — Матери Вод, чья власть распространялась на все вокруг, в том числе и на деревушку, стоявшую на берегу Ручья Пиратов, совсем рядом с Атлантическим океаном.

Сидя на пороге дома, Мулонгу посасывает свою неизменную трубку, возможно, напоминающую ему о сладкой конопляной траве, о маконье² и о далекой земле, и тихо напевает мотив, исполненный тоски по родине. В нем переплелись образы Африки, которую он никогда не видел, и трагедия его неволи, еще более тяжелой от необходимости привыкать к трудной жизни островитянина. Глаза его устремлены на возвышающуюся в глубине двора пирамиду из кукурузы, составленную так, чтобы вся деревня могла оценить, как умело подобраны темные и светлые початки в символическом рисунке. Таким искусством обладает только он, и это принесло ему уважение суеверного населения.

У Мулонгу, единственного оставшегося в живых свидетеля черной драмы, олицетворяющего последнюю ступень перехода от негра-раба к свободному жителю островов Зеленого Мыса, — своя собственная история. Он — сын вождя, и сегодня хочет получить только то, что когда-то было у него отнято.

Старик так рассказывает историю своего рода:

— Моя бабушка была возлюбленной правителя Кайора³, искусного полководца, чьи владения были безграничны, а пастбища простирались так далеко, что обойти их можно было только за много лун. Его отважные воины наводили страх на всю Сенегамбию⁴. Бабушку мою звали Калунга, и говорят, что имен-

¹ Кашаса — крепкий алкогольный напиток.

² Маконья — наркотик из конопли.

³ Кайор — район Сенегала к югу от Сен-Луи.

⁴ Сенегамбия — район Сенегала и Гамбии.

но ее больше всех любил правитель и почитали его подданные.

По соседним деревням ходили невероятные слухи о людях с кожей светлой, как мякоть кокосового ореха, которые время от времени появлялись с оружием, извергающим огонь и грохочущим, как небо в грозу. Они хватали юношей и девушек и уводили их навстречу неизвестной судьбе. Всякий раз, когда эти чужестранцы появлялись на берегу большого озера, без следа пропадали люди, и поэтому весь народ в округе был охвачен великой тревогой. Но дворец повелителя и господина Калунги, Бумейн Гилема, охраняемый непобедимыми и бесстрашными воинами, стоял на расстоянии многих километров от берега, и у нее не было причин для опасений.

Моя бабушка, любимая жена своего почитаемого господина, не работала, как все, в поле, и могла целый день бродить по лесам и купаться в прозрачных ручьях, журчащих среди ветвистых деревьев, усыпанных вкусными плодами. Лежа на мягкой траве, она слушала мелодичное пение птиц, собирающихся в стаи на вечерней заре, пока таинственный голос ночного зомби¹ не заставлял ее бежать во дворец своего повелителя.

Однажды, в жаркий полдень, когда юной и достойной резца ваятеля Калунге было четырнадцать лет (ее привели к правителю в двенадцать), она как обычно купалась в дальнем ручье. Неожиданно ее окружили люди с кожей светлой, как мякоть кокосового ореха. Смертельно испуганная Калунга хотела бежать, но ее стали зазывать приветливыми жестами, любезно и миролюбиво предлагая сверкающие браслеты и разноцветные и гладкие, как зеркало, бусы. Невинная девочка-подросток пришла в ликование при мысли, что в этих соблазнительных украшениях она станет еще более желанной для своего господина и повелителя.

Но, приблизившись к этим людям, имевшим, как ей казалось, добрые намерения, Калунга погубила себя. Ее грубо схватили и повели. Не помогли ни крики, ни попытки вырваться. Шли они долго, всю ночь, и на следующий день она уже была совсем без сил и выплакала все слезы.

Наконец впереди заголубела водная гладь. Калунге показалось, что это большое озеро. Ее постигла участь тех негров, чьи судьбы в то время стали темой разговоров у дверей хижины при неверном свете костров в ночи. Ужасы рабства выжили в них со страшной силой.

Полумертвая от мучительной дороги и бесконечных побоев,

¹ Зомби — дух.

до крови изодрав ноги колючками, Калунга вместе со всеми пришла к большому озеру, чей громкий рокот был похож на рычание зверей в родном краю, куда ей уже не суждено было вернуться. Ее подвели к пузатому кораблю с поднятыми парусами и бросили на дно темного и зловонного трюма. Там было уже много наших соплеменников, и вожди, и их самые ничтожные слуги, которых, так же, как и мою бабу, захватили силой. Женщины кричали, самые смелые пытались протестовать, стремясь силой вырваться из тяжелых оков. Невольники рыдали и молили о пощаде, одни тише, другие громче, сколько хватало сил; все были охвачены отчаянием и горем.

Спустя несколько дней они слышали громкие крики на палубе, и сквозь дыры, через которые к ним проникал воздух, увидели, как похитители мечутся по кораблю. Прошло немного времени, и началась такая сильная качка, что никто не мог удержаться на месте. Невольники стали жертвами морской болезни, и поскольку в столь крошечном трюме пленников было слишком много, то рвало их друг на друга.

Так они плыли и плыли, но вот однажды утром гул моря стал ужасающим. Вскоре начался ураган. Огромные волны яростно устремлялись на корабль, то поднимая его на гребне, то бросая из стороны в сторону, то перехлестывая палубу. Через люки вода заливала трюм и насквозь промокнувших пленников. Бочки с водой, утварью и инструментами, тоже погруженные в трюм, перекачивались из одного конца в другой, давя и круша все на своем пути, а оцепеневшие от ужаса невольники молили Йеманжу, чтобы она усмирила гром и молнии, которые извергало небо.

Путь был долгим и мучительным. Брошенные на дно корабля, несчастные, избитые и похожие на скелеты негры от качки не могли есть и начали болеть; от страшной болезни размягчались десны и выпадали зубы. После нестерпимых страданий многие умирали. Их трупы поднимали на палубу, связывали по несколько веревкой и безжалостно бросали в море, а оставшееся от них зловоние только усиливало страдания других.

Однажды в трюм спустился мулат, одетый не так, как охранники, выдававшие им каждый день еду. Судя по почтению и поклонам, с которыми к нему обращалась его свита, он был их вождем. Стоявшая в первых рядах пленников стройная Калунга привлекла внимание мулата; окинув ее взглядом, он приказал освободить ее и поднять на палубу. Неопишимо было восторг невольницы при виде солнечного света, ведь она уже забыла, когда теплые лучи в последний раз ласкали ее тело.

Нежась на солнышке, Калунга увидела на горизонте горы и с радостью подумала, что скоро будет свободна.

Но Калунга рассталась с этой надеждой, когда ее отвели в каюту вождя с кожей светлой, как мякоть кокосового ореха, решившего силой завладеть ею. Защищаясь, Калунга кричала, металась по каюте и даже попыталась ранить белого. Разгневанный, он приказал отдать ее матросам, чья похоть разгорелась при виде молодой негритянки. Поруганная Калунга была вне себя от отчаяния. Она лишилась чувств и не знала, сколько раз ее тело подверглось осквернению.

Когда Калунгу высадили на маленьком острове и поселили в невольничьем поселке на берегу Великого Ручья, ей казалось, что мир для нее перестал существовать, ведь она уже две луны была беременна от своего возлюбленного повелителя...

Мулонгу верит, что одна из душ, кружащих вокруг вершины Мансебу, принадлежит его несчастной бабке, чья история подтверждает самые удивительные легенды, которые рассказывают об этих местах.

Перевод с португальского М. Демурина и А. Чужакина



Энох Тиндимвебва

Энох Тиндимвебва — молодой угандийский поэт. Студент Макерерского университета. Публиковался в периодике. Публикуе-

мое стихотворение — из сборника «Стихи черной Африки», под редакцией Воле Шойинки, издательство Хайнеманн (1975).

БЕЛЫЙ ШЛЕМ

Через плечо — автомат,
Шлем — опрокинутая корзина,
Белый шлем топает по холму.
Шорты — по виду нижняя юбка,
Автомат — скалка;
Тот, в белом шлеме, лишен признаков пола
И издали походит на женщину.

С жалобным воплем
Бежали матери
С грудными младенцами за спиной,
Тощие голые детишки;
— О устрашающий дух белого дьявола! — завопили
Мужчины,
— Белый проклятый шлем! —
Вмиг
Деревня обезлюдела.

Далеко, далеко они убежали,
Скрылись в сердце непроходимых джунглей,
Среди слоновьих дорог и москитов,
Белый шлем удивился.
Белый шлем ждал приветствий и барабанной дроби.
Обнаружив безлюдную, словно вымершую деревню,
Зашагал, длинноносый, вытягивая голенастые ноги,
Точь-в-точь марабу,

Заглянул в хижину, заворчал:
— О ужас! О омерзительный запах
Отвратительнейшего дерьма!

Откровение! Открытие!
Подлинная суть Африки!
Белый шлем был взволнован
И слегка потрясен.

Мелкий огонь очага,
Тихие языки пламени
Лижут три удлиненных камня,
Перекипает, побулькивая, котел.

Просторный деревянный лежак,
Козы,
Хрип закопченного горшка,
Через край полилась
Похлебка бобовая.
Крысы дерутся на крыше...

Ощущая нсистовое биенье сердца,
Белый шлем — нежеланный, незванный гость,
Отчаянно закричал:
— Куда это вы подевались, грязные свиньи? —
И, щелкнув прямоугольной коробочкой,
Поджег деревню.

Я сам это видел. Видел, как он умывает руки
У амбара,
Я видел его косматую грудь
И белый сверкающий шлем.

Перевод с английского Н. Тимофеевой



Коджо Гинае Къен

Коджо Гинае Къен (род. в 1932 г.) — ганский поэт, художник, архитектор. Автор сборника стихов «Одинокий голос». Публикуемое стихотворение — из сборника «Стихи черной Африки».

ВРЕМЯ

Время
 сообщник ущерба
 сущность его расточительство
вечно оно проматывает
 злобно руками
 разбрасывает
искусством своим
 ошарашивает
 как громом отбойного молотка
никогда его не остановишь
 не вернешь
 не восполнишь
 и
постоянно оно срезает
 срезает
 срезает
 пласт
 за пластом
 пласт
 за пластом
обнажая и предавая
 на гибель
 покровы и ткани
 нашего бытия!

Перевод с английского А. Сергеева



Амин Кассам

Амин Кассам (род. в 1943 г.) — кенийский поэт. Был помощником редактора литературного журнала «Бусара». Его стихи и рассказы публиковались в этом

журнале и в «Драмбит» («Бараньный бой»), передавались по кенийскому и угандийскому радио. Публикуемое стихотворение — из сборника «Стихи черной Африки».

МЕТАМОРФОЗА

два часа назад
он вошел
обычный человек
купил билет
два часа назад
безвестный в толпе
незаметный
он сел на место

теперь он
разгуливает
высокомерный
в глазах его вызов
красивый
благодушный
не замечает
испуганных взглядов
знает свою силу
касается «беретты»
в кобуре под мышкой

на тонких губах
печать беспощадности
осторожно:
агент 007
с правом убивать
где когда кого
угодно!

Перевод с английского А. Сергеева

Кеки Дарвулла

Кеки Дарвулла — молодой африканский поэт. Сведений о его биографии не имеется. Публикуе-

мое стихотворение — из сборника «Стихи черной Африки».

ЧЕРНЫЙ ДОЖДЬ

Я не могу плакать, как ты,
скорчившись над средоточием боли,
разбившись лицом на сотни осколков.
Я должен стоять прямо,
в открытых глазах бесконечность;
слишком долго я размышлял
лицом к холодному ветру, и могут подумать,
что я борюсь со слезами.

Я должен жить моим горем,
как камнедробилка живет камнями,
на тринадцатый день должен подать на стол
листья банана,
пойти в контору с выбритой головой,
повесить плащ на крючок, сделать вид,
что ничего не случилось.

Мы, кажется, поменялись ролями
...не вполне, ибо это был бы театр...
но другие плачут сегодня вокруг тебя.
Я живу, и угли шипят на холодной реке —
так умирает любовь, —
и через силу нужно не задрожать.
И все же, когда в холодном отчаянье
с бесплодного неба течет черный дождь,
я завидую трепету,
с которым тебя покидают слезы,
принося утешение.
Что до меня, то седая щетина
через неделю на бритой моей голове
будет единственным утешением.

Перевод с английского А. Сергеева



Воле Шойинка (род. в 1934 г.) — известный нигерийский поэт, драматург, романист. Читал лекции в университетах Ифе и Лагоса. Возглавлял отделение театрального искусства при Ибадан-

ском университете. Его стихи широко публиковались на русском языке. Стихотворение «Гулливер» — из сборника «Стихи черной Африки».

ГУЛЛИВЕР

После крушения корабля (государства)
Солнце сморщило мир наконец до размеров,
Каких он достоин, взяв за масштаб муравья,—
Я лежал на песке, в полосе прибоя, вторгаясь
Милями сердца, ума, чужеродного тела
В спичечные структуры. Носки сапог
Торчали, как горные пики. Я опасался,
Что, встав, собою головой стропила их неба.
И поэтому я почел за благоразумье
Подчиниться местным законам: разум пришельца
Обязан всегда соблюдать лежащую позу.
Несознательная попытка пошевелиться
Навлекла тучу иголок, облитых отравой.
Я понял их смысл и положил ладони
Покорно на землю. Хозяева утолили
Мою телесную жажду глотками Леты,
И я погрузился в глубокое забытие.
Скрипели колеса. Толпы людей подводили
Под меня, одурманенного, десятки телег;
Меня опутали нитками и привезли
Живого, как мертвеца, в подобье гробницы.

Я очнулся в просторном здании — это был
Оскверненный храм, ироническое предсказание
Того, что со мной случится. Я научился
Местным обычаям, осторожно ступая
Меж хрупких, как скорлупа, домов, я смотрел
Выше самых высоких башен, заглядывал
В тайные комнаты и в королевский совет
И видел тщеславье павлина, бездушье куклы,
Льстивость и карликовое самодовольство.
Декретом они приблизили солнце к земле
Для соответствия секстанту их мозга,

Сократили орбиты планет и заставили их
Вращаться вокруг Великого Солнца Солнц,
Человека-Горы, Короля Лилипутов, Владыки
И Грозы их микровселенной!

Стоит ли удивляться, что в лживой стране
Перед правдой пожара я совершил ошибку?
Мог ли пришелец увидеть земное солнце
И признать метеорами спичечные огни
Во дворце, в игрушечном парке, в волшебной роще?
Я видел то, что я видел, и, осквернив
Ручей их реки, потушил пустячный пожар
Струей мочи.

Я не ждал благодарности или награды, я только
Исполнил долг, проявил присутствие духа
И расторопность. Увы! Мой поступок, как дождь,
Оживил давно дремавшие страсти, напомнил
Обычаи и запреты, дал выход злобе —
Долго длилась буря в ночном горшке.
Ее укротило время. Я поцеловал
Пальчики Королевы и был наделен
Королевским Помилованьем. Я вновь присягнул
Принести свои силы на благо их государства
И пригласил фаворитов, министров, дворянство —
Весь их двор — почтить мой храмовый дом.
Гости вели хоровод на ковре моего
Носового платка, король хохоча катался,
Как на катке, на наслюенном полу —
Быстро бежали дни любви и согласия.

Мирное время кончалось, сгущались тучи,
И вот разразилась буря в яичной скорлупке.
Разгребая давно забытые свитки в архивах,
Они обнаружили повод для вечной идеи
Противоборства и затрубили в трубы:
— Мы, Высоколилейный Король Лилипутов,
Вам, помутненным рассудком людям Блефуску,
Мы, Великая Раса Господ от Желтка,
Вам, Бледнокровным людям Белка, объявляем!..

Мне оставалось только верно служить.
Море было мне по колено, когда я ходил
Морем в разведку, рабски благодаря
За хлеб и соль. Я привел неприятельский флот

В лилипутский порт. Я настаивал на милосердьи
К побежденным и плененным. Меня не желали слушать
Я предлагал быть посредником в переговорах.
Лилипуты требовали истребления Блефуску.
Я грозил. На мое восстание, восстание раба,
Они поглядели и ничего не сказали.
Я побрел домой в бурном приливе их злобы.
Обвинительные заключения тайных судов
Эхом сплетен звенели под сводами замка:
Во-первых, только с помощью Тайных Сил
Мочевой пузырь человека способен издать
Струю, способную потушить пыланье
Небесных светил, а посему, во-первых,
Кошунственный осквернитель, способный принять
Вспышку звезд за земную беду, по закону
Является поджигателем, ибо только
Лицо, стремившееся к поджогу, могло
Принять огонь лилипутских душ за пожар.

От смертной казни меня спасла невозможность
Избавиться от мертвеца, равного весом
Всему двору и населенью страны.
Лейб-медики хором выразили опасенье,
Что могут возникнуть чума, эпидемии, — хуже! —
Кульť ядовитых источников, — ибо при виде
Такого монументального трупа народ
Захочет напиться гнилой разъедающей влаги
И утратит почтенье к правительству и короне.
Итак, пришли к компромиссному приговору:

Преступленье не в злой воле, а в злом зреньи.
Рабочие лошади лучше работают в шорах.
Посему помилованье с лишением зренья.
Раскаленные иглы — старое верное средство
От всех недостатков и непристойностей зренья,
Как тайновиденье, дальновидность, прозреньи, —
Свойственные человеку.

Перевод с английского А. Сергеева

ТЕНИ НА ГОРИЗОНТЕ¹

Пьеса о частной собственности

Африканская драматургия переживает сейчас период бурного роста. Продолжая традиции народного действия, усваивая достижения мирового драматургического искусства, она может непосредственно говорить с миллионами африканцев, среди которых многие никогда еще не держали книгу в руках.

Среди множества пьес, опубликованных в последнее время в Нигерии, обращает на себя внимание пьеса молодого драматурга Коле Омотосо «Тени на горизонте». Критическое направление, широко распространившееся в нигерийской литературе, к сожалению, не всегда опирается на достаточно ясное понимание тенденций общественной жизни, на анализ ее классовой сущности. Герой, точнее антигерой «Теней на горизонте» — частная собственность, о которой К. Омотосо особо упоминает в подзаголовке («Пьеса о частной собственности»). Ее апологетами выступают крупный по местным масштабам делец Бамигбаде, сотрудник тайной полиции Атеволара и «интеллектуал», профессор Оримугундже, символизирующие соответственно буржуазию, армию и буржуазную интеллигенцию. Всех их роднит

общая страсть к наживе. В обрисовке этих персонажей — нарочитая условность, гротескная обобщенность, заставляющая вспомнить некоторые ранние советские пьесы, в частности, «Мистерию-буфф» В. Маяковского, начатую до и законченную после Октябрьской революции. Есть, однако (при всей несхожести художественных особенностей), и существенная разница. Пьеса В. Маяковского сочетает остросатирическое начало с глубоким жизнеутверждающим пафосом. Оптимизм же К. Омотосо носит характер поверхностный. Образы рабочих, которые он выводит в финале, крайне схематичны. Это нетрудно объяснить вполне реальной слабостью рабочего класса в странах Африки. Весьма расплывчаты и задачи, которые ставят перед собой рабочие: «строить, создавать». «Тени на горизонте» — первая драматургическая попытка проанализировать классовую сущность сложившегося в современной Нигерии общества. При всяком эксперименте неизбежны издержки. Есть они и в пьесе К. Омотосо. Но рассматривать их нужно под углом общего развития нигерийской литературы.

В. Перехватов

¹ © Kole Omotoso, 1977.

Прощальные звуки рожка оглашают небо.
Орлы уже появились, маячат
Тени на горизонте...
Черным шагом дождя подкрались грабители...

*Из «Элегии для альта (под аккомпанемент барабана)»
Кристофера Окигбо (1932–1967)*

ОТ АВТОРА

Прошло десять лет с тех пор, как Кристофер Окигбо, городской глашатай, вместе с тысячами других погиб в бессмысленной попытке переделать границы, вместо того чтобы переделывать жизнь тех, кто живет в пределах существующих границ. А поскольку «народ, победивший в войне, живет в плену иллюзии, что он якобы завоевал то, за что сражался, а именно: довоенный порядок», Нигерия вернулась к беспорядку середины шестидесятых годов.

Призывая ликвидировать все предрассудки, застилающие нам глаза, убрать все тени с горизонта, хочу заметить, что все наши усилия бесполезны, пока мы не разберем руины. Потому что нынешняя копия отлита из руин гражданской войны.

Иле-Ифе, май 1977 г.

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА В ПОРЯДКЕ ИХ ПОЯВЛЕНИЯ

Достопочтенный Клемент Бамигбаде,
торговец, политик.

Профессор Кофо Оримугундже, профес-
сор высокооплачиваемых наук.

Капитан Пэйшент Атеволара, отставной
офицер тайной полиции.

Би билари, рабочий консервного завода.

Алогбо, рабочий-строитель.

Прочие: слуги, жены, дети, агенты тай-
ной полиции, рабочие.

Место действия: площадка для отдыха на
шоссе.

Время действия: наши дни.

Пьеса посвящается тому дню,
когда те, кто не имеет ничего,
перестанут с этим мириться.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

Площадка для отдыха на шоссе. В течение всего спектакля слышен шум проходящего транспорта. Действие происходит в начале дня. Задник представляет собой фотографию площадки для отдыха. Бамигбаде выходит на сцену слева, неся свои автомобили, дома и чемоданы. На нем одежда из белого кружева, дорогие украшения, он курит сигару. Бамигбаде ставит на землю свою собственность и тщательно приводит себя в порядок.

Бамигбаде. Не понимаю. Что-то неладное происходит в этом городе. Не понимаю. Но мне нужно вернуться и принести остальное мое имущество — те несколько домов и машин, которые мне удалось спасти от невежественных масс. *(Уходит налево и возвращается с такси и убогими домишками, которые сдаются простому народу.)*

Бамигбаде. Я вам объясню, в чем дело, только немного попозже. Присмотрите за этой ценной собственностью, а я схожу к себе, проверю, не осталось ли чего-нибудь. Я хочу сохранить все, что можно. *(Снова уходит налево и возвращается с портфелем в руках. Осматривает вещи, которые оставлял, косится на зрителей, как будто подозревает, что они что-то стянули. Затем боязливо оглядывается, ожидая, видимо, увидеть преследующую его толпу рабочих, но никого не видно. Включает в домах освещение и любитесь ими.)*

Бамигбаде. Не понимаю. Я плачу слугам по пять наир в месяц. Пять наир в месяц, а они ни с того ни с сего отказываются делать то, за что я им плачу. Представляете, что я испытываю в этот момент. Я торговал бы сейчас у себя в магазине, делал бы деньги. А чем я занимаюсь? Спасая свое имущество от каких-то завистливых нищих, готовых уничтожить все, что бог послал не им. *(Все еще взволнован нависшей над ним угрозой. Нашаривает сигару. Дрожащей рукой пытается ее зажечь, но вдруг, что-то вспомнив, застывает.)* Посторожите мои вещи. Я совсем забыл о своей семье. *(Уходит в левую кулису.)*

В его отсутствие две колонны рабочих, предводительствуемые Биби-лари и Алогбо, выходят навстречу друг другу, вожак перебрасываются угрозами. Когда они покидают сцену, справа выходит капитан

Атево лара и складывает свои дома, автомобили и чемоданы сначала рядом с имуществом Бамигбаде, но потом, после некоторого колебания, сдвигает их правее. Уходит. Возвращается Бамигбаде, замечает чужое имущество и, вопросительно глядя на зрителей, проверяет свое. Затем рассматривает чужое имущество.

Бамигбаде. Я их кормлю и одеваю. Посмотрим, кто будет платить им, кормить их, одевать без меня. И как вообще кто-то может не уважать собственность? Почему нельзя относиться к чужой собственности, как к своей, и заботиться о ней? Все словно с ума посходили в этом городе. *(Осматривает имущество в правой части сцены.)* Взгляните на этот дом. И эти машины. Они лучше моих. Интересно, чье все это? *(Садится, чтобы повнимательнее разглядеть вещи. Он все еще испуган.)*

Входит капитан Атево лара.

Атево лара *(громко)*. Что вам здесь нужно? Вы тоже не уважаете чужую собственность? Убирайтесь отсюда, пока я не продыривил вам башку!

Напуганный Бамигбаде быстро встает. Офицер тайной полиции складывает вновь принесенное имущество.

Бамигбаде. У вас как будто та же проблема. Вы тоже...

Атево лара. У меня нет никаких проблем. А какая у вас? И что вы здесь делали с моими домами и машинами? Представляете ли вы себе, с каким трудом достались мне эти вещи! Нет, вы себе не представляете.

Бамигбаде. У меня тоже есть имущество. Я все понимаю. Вы, вероятно, не знаете меня. Я — distinguished Клемент Бамигбаде, преуспевающий коммерсант, экспортер-импортер, с тысяча девятьсот семьдесят девятого года снова начинаю заниматься политической деятельностью. Я уважаю собственность. А вы?

Атево лара. Бамигбаде? Это вы учились в начальной школе святого Варфоломея в тысяча девятьсот сороковом году?

Бамигбаде. Когда мистер Омоториогунвайе был директором?

Атево лара. А Оримугундже — школьным старостой?

Бамигбаде. Нашим учителем четыре года подряд была миссис Томас?

Атево лара. Та, с Востока?

Бамигбаде. Та, что всегда говорила, что мудрость идет с Востока. А вы кто?

Атево лара. Пэйшент Атево лара. (*Переходит на «ты».*) Помнишь меня? Меня все звали Пэйшент-Импэйшент — «Терпеливый нетерпеливец».

Бамигбаде. Рад встретиться через столько лет. Обнимемся. Рукопожатие в недостаточной мере выражает всю теплоту моих чувств. Это превосходный дом. (*Тоже переходит на «ты».*) Ты в нем жил?

Атево лара. Рад встретиться снова. Много о тебе слышал. И всегда говорил себе: «Никто, кроме моего одноклассника Бамигбадуса, не мог бы добиться успеха так быстро». Не ты ли получил недавно титул вождя?

Бамигбаде. Я. То была большая честь. Земляки решили выразить мне свое уважение, и я не мог противостоять их желанию. Должен тебе сказать, что мне пришлось угостить весь город, а это дорогое удовольствие. Поэтому я и не смог закончить вон тот дом. А ты все еще в тайной полиции?

Атево лара. Нет. Мне предложили выйти в отставку. Это их дело. Но на большее их власть не распространяется. Заставить меня покинуть этот мир они не могут.

Бамигбаде. Совершенно верно. Не могут даже заставить покинуть эту страну. Так чем же ты теперь занимаешься?

Атево лара. Всякой всячиной. Пытаюсь заработать себе на пропитание. А ты почему уезжаешь?

Бамигбаде. Длинная история. Кругом — грязь. Народец паршивый. Я не могу жить в таких условиях. Как тут воспитывать детей? Люди точно животные. Видел бы ты их.

Атево лара. Что ты имеешь в виду?

Бамигбаде (*враждебность в голосе Атево лары вызывает у него некоторое замешательство*). Ну, понимаешь, они не подметают улицы, все время ссорятся. Взгляни вон на тот дом! Я сдавал его. И во что они его превратили?

Атево лара. Насколько я помню, ты здесь родился. Что же тебя удивляет? Или ты так разбогател, что больше не можешь жить со своим народом?

Бамигбаде. Понимаю, к чему ты клонишь. Ты как будто тоже не собираешься оставаться, бригадир Атево лара?

Атево лара. Я не бригадир. Я вышел в отставку капитаном.

Бамигбаде. Всего-навсего капитан, и так много имущества!

Атево лара. А почему бы и нет?

Бамигбаде. Готов поклясться, что ты не за полгода все это нажил. Не удивительно...

Атеволара. Что — не удивительно?

Бамигбаде снова закуривает. Предлагает сигару и Атеволаре, но тот отказывается.

Бамигбаде. Так почему же ты уезжаешь из города?

Атеволара молчит.

Кто знает, может быть, мы сумеем помочь друг другу.

Атеволара. Да нет, навряд ли. У меня другие проблемы. На грязь мне наплевать. В таких условиях я вырос. На твоём месте я не стал бы уезжать. Но моё имущество здесь под угрозой. Каждый день кто-нибудь что-нибудь ворует. А в Икойи я могу жить спокойно. Там полно полицейских, солдат, матросов, летчиков. Блудят порядок в Икойи все двадцать семь часов в сутки.

Бамигбаде. Но у меня те же проблемы. Слишком здесь много воров. Я нанял почти двадцать хауса, вооружённых луками и стрелами, чтобы охранять дом. Думаешь, это помогло?

Атеволара. Позволь мне рассказать. Я купил собаку, обученную в полиции. Её мне продала одна небольшая фирма, занимающаяся организацией охраны. И знаешь, что потом было?

Бамигбаде. Что?

Атеволара подходит к рампе и садится. Бамигбаде собирается за ним последовать, но вдруг замечает колонны рабочих, возвращающиеся слева и справа. Они встречаются в центре сцены, с примирительными жестами, но соглашения, видимо, не достигают. Двое богачей с большим опасением наблюдают, как рабочие расходятся. Бамигбаде садится рядом с Атеволарой.

Не обращай на них внимания. Они не договорятся. Так что случилось с собакой?

Атеволара. Воры явились ночью и, прежде чем унести весь мой цемент, убили и зажарили собаку прямо у меня во дворе.

Бамигбаде. А ты что, спал?

Атеволара. Спать в таком шуме?

Бамигбаде. Это ужасно. Кто же эти воры?

Позади них, в самом центре сцены появляется профессор Ори мугундже при всех своих академических регалиях. В руках у него два автомобиля и недостроенный дом. Он складывает своё имущество и уходит. Бамигбаде и Атеволара наблюдают за ним.

Бамигбаде (*испуганно*). Мы уже не одни. Кто это?

Атеволара. Ты его не помнишь? Это же тот самый Ори мугундже, который был старостой в нашей школе.

Бамигбаде. А кто он сейчас?

Атеволара (*оглядываясь*). Профессор университета.

Бамигбаде. Не много же он нажил. У него всего две машины. Интересно, что он делает со своими деньгами.

Профессор возвращается с трубкой и пачкой бумаг.

Оримумундже. Господа, я профессор Оримумундже. Веду кафедрой высокооплачиваемых наук в Ибаданском университете. У нас самая старая кафедра.

Бамигбаде (*обращаясь к Атеволаре*). Он мне не нравится. Слишком зазнается. А ведь у него всего меньше, чем у меня или у тебя.

Оримумундже (*обеспокоенно; беспокойство — его специальность*). Вы что-то сказали?

Атеволара. Он просто поинтересовался, помнишь ли ты нас.

Оримумундже. А кто вы? Вы из университета?

Бамигбаде. Вы помните только тех, кто из университета? (*Обращаясь к Атеволаре.*) Что я тебе говорил?

Атеволара. Здесь не университет, должен же ты знать кого-нибудь и со стороны. Нас, например? Ведь мы люди состоятельные.

Оримумундже. Послушайте, вы. Мне некогда заниматься этими детскими играми «знаешь — не знаешь». Кто вы такие и что вы тут делаете?

Бамигбаде. Это тебя нужно спросить, что ты тут делаешь. Мы-то пришли раньше тебя. Стало быть, место наше.

Атеволара. Кофоворола Оримумундже, как тебя зовут?

Оримумундже. Я для вас профессор Кофоворола Оримумундже.

Атеволара. Мы же хорошо знаем тебя. Это Клемент Бамигбаде, а я Пэйшент-Импэйшент Атеволара. Мы вместе учились в школе святого Варфоломея. Помнишь?

Оримумундже. Значит, вы бригадир Атеволара, а это известный бизнесмен Бамигбаде? Вот это да! Приветствую вас. (*Бамигбаде пытается его обнять, но тот отталкивает его; онижимают друг другу руки. Затем профессор здоровается с Атеволарой*).

Бамигбаде. Значит, ты тоже уезжаешь? А по какой причине?

Оримумундже. Причин много, все и не перечислишь. Мне нужна более здоровая среда, где я мог бы успешно работать.

Атеволара. Но ведь ты уже профессор. К чему тебе еще стремиться?

Оримумундже. Я не имею в виду такие неодолимые занятия, как чтение или сочинение книг. Я хотел сказать, что мне нужно переехать в такое место, где я могу познакомиться с бизнесменами, сам заняться бизнесом, заключать контракты и их выполнять.

Бамигбаде. У тебя есть какие-нибудь планы? Ты с кем-нибудь уже познакомился?

Оримумундже. Да, у меня целый список нужных людей.

Мимо проезжает тяжелый длинный грузовик. Все провожают его взглядом.

Атеволара. Интересно.

Бамигбаде. Что интересно?

Оримумундже. Мой список?

Атеволара. Нет. Интересно, что все мы родились здесь, учились здесь, начинали здесь, здесь же приобрели имущество, а теперь вынуждены уехать.

Оримумундже. Что в этом интересного? Разве не понятно, что дело здесь в динамике уровня оплачиваемости.

Бамигбаде. Дорогой профессор, если ты собираешься заняться бизнесом вместе со мной, тебе следует выражаться понятнее.

Оримумундже. Разве я говорил, что буду заниматься бизнесом вместе с тобой?

Бамигбаде. С кем бы ты ни занимался бизнесом, никто не станет слушать всякие мудреные словечки.

Оримумундже. Если ты невежда, это не значит, что и другие, как, например, бригадир...

Атеволара. Я капитан, а не бригадир.

Оримумундже. Я думал, что из тайной полиции уходят бригадирами.

Бамигбаде. Неверно. А все потому, что ты думаешь по-английски.

Оримумундже. Ты не изменился, Гбадус. По-прежнему завидуешь моим способностям.

Бамигбаде. А что толку от твоих способностей? (*Угрожающе.*) Посмотри, что у тебя и что у нас. А ведь на экзаменах мы двух слов связать не могли. Теперь видишь разницу?

Оримумундже осматривает их имущество.

Оримумундже. И все равно я вам не пара. Я вхож в такие места, куда вы даже постучать не смеете.

Бамигбаде. Это куда же?

Оримугундже не знает, что сказать.

Оримугундже (*внезапно*). Например, я могу пойти в библиотеку. А вы туда даже нос сунуть не смеее. Только и годитесь на то, чтобы пол подметать.

Бамигбаде. Какая там еще библиотека? Кому она нужна, твоя библиотека? Какие с нее доходы?

Оримугундже. Вот именно. Ты даже не понимаешь, о чем говоришь.

Атеволара. Вы, видно, оба забыли, что мы убегаем от тех, с кем выросли, что мы ничем не отличаемся друг от друга, что мы в одинаковом положении и что нам нужно всем вместе думать, как найти выход.

Бамигбаде. И ты тоже начинаешь читать нам проповеди, как будто страну разорили не ты и тебе подобные.

Атеволара. Что ты хочешь сказать?

Бамигбаде. Почему собственность под угрозой? Разве не по вашей вине? Почему никто не уважает деньги и чужую собственность? Разве не по вашей вине?

Атеволара. Не понимаю. Тайная полиция сделала все возможное, чтобы вытащить страну из трясины, и вот благодарность!

Бамигбаде. Кто создал все эти проблемы?

Атеволара. Какие проблемы?

Оримугундже. Из-за вас я не могу сосредоточиться. Вот почему я уезжаю отсюда. Вопрос о роли тайной полиции носит чисто академический характер.

Бамигбаде. Профессор, не напускай тумана. Академические вопросы меня не касаются, я говорю о положении в стране. Если бы тайная полиция больше заботилась о порядке, улицы не были бы такими грязными и мне не пришлось бы уезжать.

Атеволара. Так или иначе, я уже в отставке. Так что я тут ни при чем.

Оримугундже. А перед нами в самом деле проблема. Что нам делать?

Бамигбаде. Я ждал, пока мои слуги придут и помогут перевезти мои вещи на новое место.

Атеволара. Ты думаешь, они придут? Мои слуги готовы оказать только одну услугу — свернуть мне шею. К счастью, я еще ношу свое оружие.

Оримугундже. А мои сказали, что помогли бы, но обязаны подчиняться своему союзу.

Бамигбаде. Какому союзу?

Ормугундже. Не знаю. Какому-то союзу.

Бамигбаде. Сколько ты платил им?

Ормугундже. Десять наир.

Атево лара. Так много? С питанием или без?

Бамигбаде. При такой зарплате еще и питание?

Ормугундже. Да, но я вычитал стоимость питания в конце месяца. И квартплату тоже. А одежду они покупали сами.

Бамигбаде. Ну и скуп же ты!

Ормугундже. Я не так уж много зарабатываю. Приходится быть экономным в своих тратах.

Бамигбаде. Вот такие, как ты, и виноваты в том, что слуги восстали. Тебе следовало быть поумнее...

Атево лара. Так что будем делать? Надо хотя бы убрать отсюда свои вещи да чего-нибудь перекусить.

Бамигбаде. Не знаю. Спросим профессора. Ты что собираешься делать?

Ормугундже. Моя задача ясна. Нужно спросить всех пострадавших, всех наших единомышленников и послать депутацию в союз слуг добиваться, чтобы они вернулись на работу.

Атево лара. Ты забываешь, что они вовсе не хотят, чтобы мы уехали отсюда.

Бамигбаде. Я не знал об этом. А почему?

Атево лара. Пока мы здесь, у них есть вода, свет и пара полицейских присматривает за их кварталом. Но как только мы уедем...

Бамигбаде. Эти люди не заслуживают ни воды, ни света. Они — животные.

Ормугундже. С чисто академической точки зрения позволю себе не согласиться с тобой. Во-первых...

Бамигбаде *(в раздражении)*. Заткнись! Слышишь? Заткнись! Кому интересна эта академическая точка зрения?

Атево лара. Хватит вам ссориться. Нам надо что-то предпринять. Вы понимаете, надеюсь, как опасно оставлять на ночь такое имущество на виду у всех, даже под охраной?

Ормугундже. Собственно говоря, я думаю, пусть каждый позаботится о себе сам.

Бамигбаде. Это потому, что сейчас у тебя мало собственности. Подожди, пока наживешь побольше. Тогда ты научишься сочувствовать тем, у кого есть что терять.

Ормугундже. Плевать мне, что будет потом. Пусть каждый сам заботится о своем барахле.

Атево лара. Так не пойдет, господин хороший. Мы должны держаться все вместе. Это наш единственный шанс на спасение.

Бамигбаде. Ты это ему растолкуй, бригадир.

Атево лара. Я не бригадир. Я — капитан!

Бамигбаде. Ну так я объявляю тебя бригадиром.

Оримугундже. Отныне ты — бригадир!

Атево лара. Не ваша это забота. Я вышел в отставку капитаном и так им и останусь.

Бамигбаде. Хорошо, только объясни профессору необходимость единства для всех, кто уважает собственность.

Оримугундже. Да знаю я эту дребедень: единство — сила, метла состоит из прутьев.

Пауза. Мимо проезжает грузовик с еще большим шумом, чем прежде.

Бамигбаде. Они всё едут. А мы даже не знаем, что происходит.

Оримугундже. Пораскинь мозгами.

Бамигбаде. Пораскинь сам, если они у тебя есть.

Атево лара. Видимо, придется ввести военную дисциплину для вас обоих.

Бамигбаде. Не забывай, ты все-таки в отставке. Что скажешь, профессор?

Оримугундже. Давайте обратимся к союзу слуг и попросим изложить нам их претензии.

Бамигбаде. Ты думаешь, у них есть претензии? К кому? К тебе? Я платил своим по пять наир в месяц, кормил, одевал, давал им кров и ничего не вычитал, как ты. Какие у них могут быть претензии?

Атево лара. По-моему, этот разговор ни к чему.

Бамигбаде. Потому что ты вообще ничего не платил своим слугам.

Атево лара. Но они — мои родственники.

Бамигбаде. Твои родственники?

Атево лара. Дети моей сестры.

Бамигбаде. А детям твоей сестры деньги, конечно, не нужны. Где они сейчас?

Оримугундже. Вступили в союз, естественно.

Атево лара. Вот почему я призываю к сплочению. Эти бедняки злы, как черти. Я-то их знаю. Недаром я служил в тайной полиции. Добр ты с ними или нет, все равно. Вмиг продадут тебя.

Бамигбаде. Ну, так что будем делать?

Атево лара. Профессор предлагает обратиться к слугам.

Бамигбаде. Не согласен. Унижаться перед слугами, которым я платил по пять наир, которых кормил, одевал, нет, ни за что!

Оримумундже. А ты, бригадир, что скажешь?

Атеволара. Я не... А, ладно. Предлагаю послать к слугам депутацию.

Оримумундже. Прекрасная мысль.

Бамигбаде. Не валяйте дурака вы оба. Вы же хотите уехать от этих людей. Они знают, что вы считаете их животными.

Оримумундже и Атеволара *(вместе)*. Это ты называл их животными!

Бамигбаде. Все это мелочи! Между нами нет разницы. Вы хотите от них уехать, они не хотят, чтобы вы уехали. А вам нужно, чтобы они перенесли ваше имущество на новое место! Не забывайте, что вы лишили некоторых из них крова. Вы полагаете, они вам благодарны за это?

Оримумундже. Он только время у нас отнимает. Давайте проголосуем. Поднимите руки те, кто за обращение к слугам! Раз. Два. Кто против? Один. Воздержавшихся нет. Предложение принято.

Атеволара. Вы согласны, ваша честь?

Бамигбаде. Я подчиняюсь большинству.

Атеволара. Кто составит петицию?

Бамигбаде. Естественно, профессор. Как раз для такой цели у него найдется достаточно мудреных слов.

Атеволара. Ты согласен составить петицию, профессор?

Оримумундже. Если большинство настаивает.

Атеволара. Большинство настаивает.

Оримумундже. В таком случае я согласен.

Бамигбаде. А кто отнесет петицию слугам?

Оримумундже. Раз я составляю петицию, значит, вы вдвоем должны отнести ее.

Атеволара. А кто будет сторожить наше имущество, пока нас не будет?

Пауза. Все трое смотрят в зал.

Оримумундже. Ну, скажем, я. Я ведь профессор. Кто посмеет обокрасть профессора высокооплачиваемых наук?

Бамигбаде. Я не могу носить петиции тем, кому плачу по пять наир.

Атеволара. Если хочешь, могу вернуть тебе твои пять наир. Молчи и делай, что требует большинство.

Ба мигбаде. Надеюсь, профессор сможет разогнать воров своими заумными словами.

Атеволара. Не обращай внимания, профессор. Составь петицию, а мы вдвоем отнесем ее. Моя форма должна привести их в чувство.

Ба мигбаде. А ты имеешь право ее носить, бригадир?

Атеволара. Это капитанская форма. Почему же я не могу ее носить?

Ба мигбаде. Умеешь ли ты стрелять, профессор?

Оригумундже. Да. Ты хочешь, чтобы я тебя застрелил?

Ба мигбаде. Не говори глупостей. Вот тебе пистолет. От него больше толку, чем от заумных слов.

Ба мигбаде и Атеволара уходят, переговариваясь.

Оригумундже. Что-то вы заторопились уходить, а я ведь еще не составил петицию.

Атеволара. В каком же духе ты ее напишешь?

Ба мигбаде. Это его дело. Пока он ищет бумагу и ручку, давай снесем все вещи в одно место, чтобы ему было легче их караулить.

Профессор идет за ручкой и бумагой. Двое других сносят имущество в центр сцены. Вещи профессора остаются на старом месте. Как только они заканчивают, слышатся крики радости, слева и справа выходят рабочие. Они несут своих помирившихся вожаков. Все трое собственников убегают и возвращаются только после того, как рабочие минуют центральную часть сцены. Ба мигбаде и Атеволара садятся у рампы.

Ба мигбаде. Они вовсе не в разброде.

Атеволара. Нет, в разброде. Разве ты не видишь?

Ба мигбаде. Если они в разброде, зачем же обращаться к ним с петицией?

Оригумундже. Послушайте. «Петиция к Союзу товарищей слуг от их товарищей хозяев. Членам Союза товарищей слуг искренние приветствия от товарищей хозяев. Все мы — товарищи, слуги и хозяева, не должны забывать, что даже сам всемогущий создал пальцы рук разной длины. И называются они все по-разному. Есть мизинцы, есть указательные пальцы, а есть и большие пальцы. У каждого пальца свое назначение.

Мы, ваши товарищи хозяева, заявляем, что считаем своим долгом и ответственностью заботиться о вас, защищать ваши семьи и делать все, что в наших силах, для тех, кого вы любите. По этой же причине наши товарищи слуги должны делать все возможное для нашего удобства, чтобы мы могли наилучшим образом исполнять наши обязанности перед вами. Поэтому мы призываем вас, товарищи слуги, дорогие, любимые то-

варищи слуги, вернуться на стезю добродетели и снова начать выполнять свои обязанности перед нами. Только тогда сможем мы, слуги и хозяева, сесть и вместе, в товарищеской атмосфере, обсудить то, что вы называете своими претензиями». Ну, что скажете?

Бамигбаде и Атеволара согласно кивают головами. Атеволара берет петицию, и оба уходят. Затемнение.

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

День. Декорации те же, что и в действии первом. Когда включается свет, Оримугундже ходит вокруг сваленного имущества, проверяя, все ли на месте. Через некоторое время он останавливается и откладывает пистолет. Сдвигает все чемоданы вместе, затем сдвигает все дома в одну кучу и, наконец, расставляет все автомобили в один ряд. Придвигает свое имущество ближе, но не смешивает его с чужими вещами.

Оримугундже. Велика ли польза от ума? Какая от него выгода? Я вот был отличником в школе, но все хорошее в жизни прошло мимо меня. *(Снова осматривает имущество, останавливается около автомобилей.)* Посмотрите на этот ряд автомобилей. Посмотрите на эти такси. Посмотрите на самосвалы. Чьи они? Я вам скажу, чьи и кому принадлежит сегодня весь мир. Все это и весь мир принадлежит тем, кто сыпался на экзаменах. Они списывали у нас работы, мы делали за них домашние задания. Но именно им принадлежит мир.

Но, профессор, как можете вы говорить подобные вещи?

Разве владельцы этого имущества не уступают вам в умственном развитии? Разве ваше имя не значится в мировом списке публикаций, а ваши работы не цитируются в сносках никому не известных диссертаций? Как можно ставить себя на одну доску с этими людьми?

Хорошо. Я превосхожу умом этих богачей. Я написал много книг. Прекрасно. Я обессмертил свое имя. Великолепно, но скажите мне, какой толк от бессмертия, если я не могу обеспечить себе мало-мальски сносную жизнь? И зачем писать книги, которые никто не читает? Как можно сказать, что я выше этих людей? Они были моими одноклассниками, а сейчас могут купить меня и продать десять раз. Профессор, вы говорите, как ребенок. Торговец и сотрудник тайной полиции, ваши бывшие одноклассники, зарабатывают больше денег, чем вы. Действительно. Но посмотрите на свое положение с точки зрения остальной части общества. Неужели вы не поняли, что эти одноклассники используют вас против этой части? Что фактически вы один из них? Так что умерьте свои проклятья в адрес друзей и одноклассников.

Как бы то ни было, это мой единственный шанс. Как только они появятся, я застрелю их, и все это будет мое, все: дома, такси, все будет мое. Очень просто. Нажму спусковой крючок — вот так. А звук выстрела? Значит, будут свидетели. Да и потом, пока я буду стрелять в Атеволару, хитрый бизнесмен обойдет меня сзади и сделает какую-нибудь гадость. А если я решу застрелить первым торговца, отставной офицер тайной полиции вспомнит свой опыт и улизнет, а потом убьет меня из-за угла. Нет. Нужно придумать что-нибудь другое. Что-нибудь незаметное, но безотказно действующее. Яд! Подумайте сами: у меня восемь детей, которых мне нужно вырастить. Об отце и матери тоже нужно позаботиться. Братья и сестры отца и матери живы, и о них нужно подумать. Где же достать столько денег? Зарплата профессора? Были бы вы профессором, увидели бы, на что хватает зарплаты профессора. Так где же достать столько денег? Продать книги из факультетской библиотеки? Кому? Кто сейчас читает книги? Можете советовать мне что угодно, только не говорите... Слышите шаги? Кто-то здесь ходит? Я не хочу, чтобы воры лишили меня моего имущества. Пристрелю, не задумываясь. Кроме того, не люблю тех, кто подслушивает. Знаете, чем угрожает подслушивание? У вас крадут идеи, идут и пишут статью или эссе или целую книгу, основанную на ваших идеях, а вас даже не упоминают... Взгляните на этот дом! (*С присвистом.*) У меня и мебели не наберется на такой дом. А все потому, что я пятнадцать лет живу в университетском общежитии.

Этот дом я продам. Этот сдам. Какому-нибудь посольству. Вырученные деньги от продажи пойдут на детскую мебель. Этот дом я подарю на день рождения моему старшему сыну. А этот отдам следующему ребенку, девочке, когда она приведет будущего мужа. Так я поступлю с домами. Теперь автомобили. Семнадцать машин.

Продам их все и куплю «роллс-ройс фантом VI». Остаются такси. Теперь посмотрим на чемоданы...

Справа из-за сцены слышно пение процессии Аладуры¹:

Восславим господа нашего,
Отца и сына восславим,
Всяк сущий в истинной вере
Господа да восславит!²

После того как они вошли и осмотрелись, жрец начинает исповедальную песнь. Профессор узнает в процессии своих друзей Бамигбаде и Атеволару.

¹ Аладура — религиозная секта.

² Здесь и далее в пьесе перевод стихов Р. Дубровкина.

Жрец. Я знаю, насколько я грешен,
Прости меня, вседержитель.

Женщина. Я знаю, что я блудлива,
Прости меня, о Владыка.

Делец. Я знаю, насколько я алчен,
Простите меня, собратья.

Тюремщик. Я знаю, что я кровопийца,
Простите меня, страдальцы.

Профессор, зараженный экстазом процессии, тоже начинает петь.

Профессор. Я знаю, какой я неуч.
Простите меня, о книги.

Паства не подхватывает его песни. Он пытается петь снова, но безрезультатно. Жрец Аладуры что-то шепчет ему, и он начинает новую песню, которую уже подхватывает вся процессия.

Профессор. Возрадуемся во Христе,
Восславим силу господню,
Восславим,
Восславим,
Восславим господню мощь!
Как стать мне богаче других,
Как стать мне владыкой мира!
Восславим,
Восславим,
Восславим господню мощь!

Жрец. Встань на колени, несчастный, и моли
господа нашего,
чтобы он дал тебе богатство!

Профессор преклоняет колени, и жрец кладет ему на голову руку.

О господь триединый,
Мы зываем к тебе, твои грешные чада,
Ниспошли нам богатство.
О всевышний, во имя камня,
Коем Давид умертвил Голиафа,
Ниспошли нам богатство! Аминь.
Пусть собрат наш профессор
Дом громоздит на доме,

Надел прибавляет к наделу,
«Роллс-ройс» прибавляет к «роллс-ройсу»
О владыка предвечный,
Денно и ночью сущий,
Вседержавный и всемогущий,
Деньги нам в банк положи!
Денег отсыпь нам щедро,
Златом наполни карманы!
Боже, праведный боже,
Знаю, что ты нас услышишь.

Профессор встает; жрец Аладуры требует с него денег для молящихся,
и профессор раздражается новой песней:

Профессор. О господь, не приемли злата,
О господь, не приемли злата,
О господь, не приемли злата
Ни от кого.
Аллилуйя!!!

Он пришел нас от мук избавить,
Он пришел нас от мук избавить,
Он пришел нас от смерти избавить,
Аллилуйя!!!

Жрец не возражает, чтобы паства подхватила песню, и после двух куплетов начинает свою.

Жрец. Вноси свою лепту,
Вноси свою лепту,
И сказал господь: «Да внесет всяк свою
лепту!»

Профессор дает деньги. Шествие продолжается.

Проводив процессию, Оримугундже возвращается на сцену. Он нагибается, чтобы поднять ружье, которое все это время лежало на земле, но колеблется и проверяет свою собственность. Справа на сцену выходят Би бил ари и А л о г б о. Алогбо наступает ногой на пистолет, а Би бил ари нависает над склонившимся профессором.

Би бил ари. Как поживаете, профессор воровских наук?

А л о г б о. Бакалавр по мошенничеству и подделкам, доктор по жульничеству и выпендрежу. Как дела?

О р и м у г у н д ж е. Кто вы такие? И почему хамите? Отдайте пистолет. И отойдите от меня. *(Резко поднимается, приближается сначала к Би бил ари, потом к Алогбо, как бы оцени-*

вает их силу, затем отходит назад, ловко подхватив пистолет на пути к левой части сцены.)

Бибилари и Алогбо бросаются за ним, но он наставляет на них пистолет.

Оримумундже. Эй! Стоять на месте, не шевелиться! Как вас зовут? Вы воры? Я должен был предвидеть это. Я вам покажу, как посягать на чужую собственность.

Бибилари. Мы не воры. Это мой друг Алогбо, и мы ищем вас.

Оримумундже. Кто же вы, если не воры? Может, ученые? Болтаются тут два здоровых лба, угрожают приличным людям и их имуществу. Чего вам надо?

Алогбо. Мой друг расскажет вам все, что вы хотите знать. Уберите ваш пистолет. Он заряжен?

Оримумундже. Пошевелитесь только и увидите, заряжен он или нет. Чем вы занимаетесь?

Бибилари. Сейчас — ничем. Мы голодаем. На грани смерти. Уже целую неделю у нас и росинки маковой во рту не было.

Алогбо. Да, целую неделю.

Оримумундже. А вид у вас вполне сытый.

Алогбо. Внешность обманчива.

Оримумундже. Поэтому-то я и думаю, что вы — воры.

Бибилари. Не только мы голодаем. Видели бы вы наши семьи.

Алогбо. У меня пятеро детей и две жены. Они не ели три дня.

Бибилари. А мы сами не едим уже неделю.

Алогбо. Наши жены не едят пять дней.

Бибилари. Наши старшие дети не ели четыре дня.

Алогбо. Все остальные последний раз ели три дня тому назад.

Оримумундже. Ну и что? И только поэтому вы нарушаете покой честного гражданина, пугаете его и угрожаете его имуществу?

Бибилари. Извините, если мы вас напугали. Вовсе не хотели. В любом случае это общественная площадка для отдыха.

Оримумундже. Перестаньте глазеть на мою собственность.

Алогбо. Мы ищем еду для себя и своих семей.

Оримумундже. И не остановитесь даже перед кражей?

Бибилари. Боже упаси! Скорее наложим на себя руки.

Все это время они придвигаются к Оримумундже.

Ормугундже. Так или иначе, вы не заслуживаете лучшей участи.

Бибилари. Вам следует пожалеть нас.

Алогбо. Знали бы вы, как тяжело голодать.

Бибилари. Дела его в самом деле плохи.

Алогбо. Я стою во главе стола.

Ормугундже. Вы едите за столом?

Алогбо. Да.

Ормугундже. Вилкой и ножом?

Алогбо. Нет.

Ормугундже. Руками?

Алогбо. Да.

Ормугундже. И пальцы у вас не пачкаются?

Бибилари. Как же могут пальцы пачкаться? Ведь еда попадает в желудок.

Алогбо. Итак, я стою во главе стола и произношу речь.

Бибилари. О пятидневном плане.

Алогбо. Моя семья, жены и дети...— начинаю я.— Мне представляется еще один случай рассказать вам, как складываются для нас обстоятельства.

Ормугундже (*испуганно*). Что все это значит?

Бибилари. Сейчас все поймете.

Алогбо. В последние пять дней мы испытывали некоторый дефицит исходных продуктов, необходимых для приготовления жаркого, кроме того, мы были лишены поставок мяса. Но положение изменится в ближайшие пять дней. Разрабатываются планы закупок двадцати мешков риса, тысячи мешков мяса, а также большого количества перца, лука, ямса различных сортов, пальмового и арахисового масла. Но это еще не все. Составлен план замены со следующей недели жаровни на газовую плиту.

Бибилари. И в этот момент твой младший сын начинает плакать?

Алогбо. Нет, еще не в этот.

Ормугундже. Ваш сын плачет от такой замечательной перспективы?

Бибилари. Конечно.

Ормугундже. Как это, конечно?

Бибилари. Но вы же, как говорят, профессор. Подумайте.

Ормугундже. Я не позволю оскорблять себя. Заткнитесь.

Бибилари. Мне представляется, профессор, что ребенка, страдающего от голода, не накормить обещаниями.

Оримугундже. Ага. Так бы и сказали вместо того, чтобы оскорблять. Ну ладно. А может ли ребенок плакать от радости?

Алогбо. Ни в коем случае. Мои дети плачут только от горя. Так вот, моя речь...

Оримугундже. Не будем больше о вашей речи. Отойдите.

Бибилари. Не командуйте. Неужели вы не хотите даже послушать, какая у нас просьба?

Оримугундже. Сперва отойдите, а потом изложите свою просьбу. *(Отнюдь не уверен в своей безопасности. Чувствует себя загнанным в угол.)*

Бибилари. Нам нужна работа.

Оримугундже. Какая?

Алогбо. Любая.

Оримугундже. Правильно я сказал: вы воры. Если ты не вор, тебе не все равно, какая у тебя работа.

Бибилари. Мы возьмемся за любую работу, только не за воровство.

Алогбо. А вы как будто сейчас нуждаетесь в нашей помощи.

Бибилари. Вы увозите свои вещи?

Оримугундже. Да, но...

Бибилари. Это все ваше?

Оримугундже. Да, мое.

Алогбо. Все-все?

Оримугундже. Да. *(Со страхом.)* А что такое? Вы считаете, что тут слишком много для одного?

Бибилари. Не беремся судить. Но у нас ведь вообще ничего нет.

Оримугундже. У вас ничего нет?

Алогбо. Ничего. Ровным счетом ничего.

Оримугундже. Как же у вас что-нибудь будет, если вы не работаете, а лодырничаете и произносите речи?

Бибилари. А вы работаете?

Оримугундже *(неуверенно)*. Да.

Алогбо. И много?

Оримугундже. Очень много... Кто вы такие, чтобы допрашивать меня? Прочь!

Бибилари *(оглядываясь на имущество)*. Так вы говорите, что это все ваше?

Оримугундже. Все мое.

Алогбо. Я узнаю вон тот дом. И вон те машины. Я знаю, кому принадлежит тот дом. Он не ваш.

Оримугундже. Вот этот? Теперь он мой.
Бибилари. Что вы сделали, чтобы завладеть им?
Алогбо. Он же много работал!

Бибилари и Алогбо хватают Оримугундже, разоружают его и выводят в центр сцены.

Бибилари. Мы знали все с самого начала. Вы — один из воров, которых мы ищем.

Оримугундже. Не оскорбляйте меня. Я не вор.

Алогбо. Воры обычно не признают себя ворами.

Бибилари. Если бы они признавались, не нужны были бы разбирательства.

Алогбо. Мы слышали, как вы рассуждали о том, как бы убить других воров.

Оримугундже. Это каких воров?

Бибилари. Ваших коллег. Тех самых, чье имущество вы присвоили. Вы даже не подумали об их семьях.

Оримугундже. Ну это нечестно. Я подумал об их семьях.

Алогбо. Что вы подумали об их семьях?

Бибилари. Что он отравит их — вот что.

Оримугундже. Неправда. Я собирался о них позаботиться.

Бибилари. Впрочем, они, вероятно, поступили бы с вами точно так же.

Оримугундже. С ними я не чувствовал себя в безопасности.

Алогбо. С нами вы можете быть откровенны. Мы — ваши друзья.

Оримугундже. Больше девяноста процентов того, что находится здесь, принадлежит им.

Бибилари. Это ужасно! Что же тогда ваше?

Оримугундже. Только это и вот это.

Алогбо. Так я и знал, что они вас обманули. Я думаю, мы должны защитить его от других воров. Они вели себя нечестно по отношению к нему.

Бибилари. Как это, нечестно? Он же сам сказал всего несколько минут назад, что все это принадлежит ему.

Алогбо. Правильно. Но почему же у них гораздо больше?

Оримугундже. Вот и я спрашиваю себя почему?

Бибилари. Не понимаю твоей симпатии.

Алогбо. Давай все-таки ему поможем.

Оримугундже. Я отдам вам часть имущества, если вы

в самом деле поможете мне. Ваши семьи больше не будут голодать.

Бибилари (*твердо*). Все здесь принадлежит нам.

Оримумундже. Но вы же говорите, что не воры, и все-таки хотите украсть мое имущество. Где же тут логика?

Бибилари. Мы не крадем. Мы возвращаем имущество союзу.

Оримумундже. Какому союзу?

Алогбо. К чему эти пререкания? Где ваши компаньоны?

Оримумундже. Они пошли искать рабочих, чтобы перевезти все эти вещи.

Бибилари. Где тот яд, которым вы хотели отравить их?

Оримумундже нерешительно молчит.

Алогбо. Давайте его!

Оримумундже. Вот он.

Бибилари. Это?

Оримумундже. Да.

Алогбо. Где вы его достали? Вы всегда носите с собой яд?

Оримумундже. Нужно же защищаться как-то от воров.

Бибилари. Вот именно.

Алогбо. Дайте его сюда. Мы подсыплем его вашим компаньонам. А потом разделим имущество между собой.

Оримумундже. Я не доверяю вам. Где гарантия, что вы не убьете меня и не присвоите все?

Алогбо. Мы же вам помогаем!

Бибилари. Хватит этой чепухи. Алогбо! Ты подаешь ему ложную надежду. Союз решит, что делать с ним и его друзьями-ворами.

Оримумундже. Какой союз?

Бибилари. Вы уже спрашивали об этом. Вам не обязательно знать. Но его силу вы почувствуете.

Оримумундже. Ни один союз; в котором я не состою, не сделает мне ничего плохого.

Бибилари. Слышал эту чепуху, Алогбо?

Алогбо. Вы сами все себе портите, профессор.

Бибилари. Они думают, что могут так просто уехать. И обрекут всех нас на голодную смерть. Союз знает, как поступить с вами и вам подобными. Вы даже не представляете себе, насколько это серьезно, — то, из-за чего вы хотели бежать. Это не просто пожар в доме. Извержение вулкана!

Оримумундже. Не понимаю, о чем вы говорите. Что станет с этим имуществом?

Алогбо. Нужно составить полную опись. Для представления в союз.

Бибилари. Ну-ка, профессор, для разнообразия напишите что-нибудь полезное. Вот бумага. Достаньте ручку. *(Передает пистолет Алогбо, который тут же откладывает его, чтобы рассортировать имущество.)*

Быстро входят Бамигбаде и Атеволара. Бамигбаде на ходу хватает пистолет. Бибилари и Алогбо отбегают на другую сторону сцены. Бамигбаде держит всех троих на прицеле.

Бамигбаде. Я же говорил, нельзя было доверять ему. Профессор, ты — вор и заслуживаешь смерти.

Атеволара. Что здесь происходит, профессор? Ты предал нас?

Бамигбаде. Вот что бывает, когда коту поручают сторожить мышей!

Оримугундже. Дайте мне объяснить, я все объясню.

Бамигбаде. Любой вор может все объяснить.

Оримугундже. Я не вор. Вот эти двое силой забрали все.

Бамигбаде. Эти? Оставь их в покое. Сначала о себе! Ими мы займемся позднее.

Оримугундже. Но ведь они воры!

Атеволара. Кто вы такие?

Бамигбаде. Оставь их в покое. Сначала давай займемся этим предателем. Ясно, что он хотел с их помощью уволочь все имущество. Так ведь?

Бибилари и Алогбо молчат.

Бамигбаде. Видишь. С их помощью он собирался упереть все наше с таким трудом нажитое имущество. Приятель, ты знаешь, что за это полагается? Смерть.

Атеволара. Может быть, у него есть, что сказать в свое оправдание?

Бамигбаде. У тебя есть, что сказать перед казнью?

Оримугундже. Вы оба ошибаетесь.

Бамигбаде. Это твое последнее слово, значит. Ну, пусть так и будет.

Атеволара подходит к Оримугундже и душит его. Тело медленно падает на землю. Бамигбаде продолжает держать на прицеле Бибилари и Алогбо. Одновременно Бамигбаде и Атеволара делят имущество профессора между собой — один берет две машины, другой — недостроенный дом. Гаснет свет. Бибилари и Алогбо убегают.

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

(Декорации те же, что и в предыдущих действиях. С обеих сторон на сцену выливаются толпы демонстрантов с плакатами в руках. Они поют и выкрикивают лозунги: «1879—1979—2079... Смерть выбору или выбор смерти?.. Где студенты?.. Гласное расследование немедленно!.. Ответы на все вопросы публично!.. Убить спекулянтов не значит убить спекуляцию!.. Положить конец погоне за прибылью!.. Убить спекулянтов!.. Срочно требуются честные руководители!.. Требуются смелые руководители!..» Демонстранты на левой стороне сцены скандируют: «Мы требуем проверить этого бизнесмена!» А справа демонстранты выкрикивают: «Бамигбаде! Расследуем твои делишки!»)

На сцене сидит Бибилари с папкой в руках. Алогбо подгоняет демонстрантов, направляющихся в зал. Через некоторое время демонстранты возвращаются на сцену и сооружают из плакатов подобие скамьи для свидетелей. Бамигбаде совсем было затолкали демонстранты, но Атево л а р а спас его. Теперь Атеволара стоит позади общественной казны с названием «Юнайтед бэнк против Найджирия лимитед». Часть плакатов служит также прикрытием Бибилари. Демонстранты, наконец, разбиваются на группы. Одна группа скандирует: «Федеральная сберкасса! Можно открыть счет десятью кобо!» Другая группа состоит из нищих, которые тянут свое «подайте, ради Аллаха» и идут сдавать сборы в сберкассу. Какой-то фермер, выращивающий какао, отправляется сдавать деньги в банк. Старуха получает письмо от сына, она и Бамигбаде ищут грамотного человека, чтобы прочитать это письмо. Клерк с мешком через плечо обходит всех присутствующих и собирает с них взносы за неделю, чтобы сдать их в банк. Виден фоторепортер, готовый снимать для прессы предстоящий процесс. Наконец, барабанщик и все, кто его сопровождает, пританцовывая, входят в банк, а затем выходят из него. Алогбо сгоняет всех со сцены, и они занимают места по сторонам зала. Сцена готова для процесса.

Бамигбаде. Не понимаю, что это еще за союз? Почему он портит людям жизнь?

Атеволара. А ты еще не догадался?

Бамигбаде. Нет.

Атеволара шепчет что-то на ухо Бамигбаде, указывая на Бибилари и Алогбо.

Бамигбаде. Не может быть! Неужели в стране так много слуг?

Атеволара. Эй, вы! Да, да, вы! Что это еще за чепуха насчет гласного расследования?

Алогбо. Потерпите.

Атеволара. Это смешно. Скоро и плюнуть нельзя будет без разрешения союза.

Бамигбаде. Тебя они не тронут. А я им нужен. Ты не видел, что ли, плакатов?

Атеволара. Видел. А со мной что будет?

Бамигбаде. Любое правительство нуждается в тайной полиции, в том числе и этот союз.

Атеволара. Но я больше не состою в полиции.

Бамигбаде. Ты все еще встречаешься со своими коллегами. Ходишь к ним в гости, и они приходят к тебе. Ты по-прежнему — один из них.

Атеволара. Не кричи, пожалуйста.

Бамигбаде. А знаешь, в чем, в конце концов, дело? Сотрудники полиции нужны друг другу.

Атеволара. Что я могу сделать для тебя?

Бамигбаде. Не знаю. Что спасенный может сделать для приговоренного? Принести библейскую каплю воды в ад?

Атеволара (*повернувшись к Бибилари*). Ну хорошо, пусть расследование. Но почему обязательно проводить его прямо здесь?

Алогбо. Все вопросы, связанные с процедурой, должны адресоваться мне.

Бибилари. Все вопросы относительно процедуры должны адресоваться ему.

Атеволара. Вы знаете, с чем связаны все гласные расследования?

Алогбо. С чем?

Атеволара. Гласные расследования порождают доноскиков. Поощряют корыстные амбиции и соперничество. На каждых семь пойманных преступников приходится семьдесят невинных.

Алогбо. Ничего. Это и есть правосудие.

Атеволара. Какое там правосудие! Всего лишь расправа или месть или то и другое вместе.

Алогбо. А кто-нибудь когда-нибудь определял понятие правосудия иначе?

Атеволара. Из-за чего же вся эта чепуха? Чего хотят ваши слуги? Больше денег? Они их получают. Дешевые квартиры? Общественный транспорт?

Алогбо. Государственные больницы с достаточным количеством медикаментов.

Атеволара. Вы все это получите и даже больше. Идите и скажите членам своего союза, чтобы они возвращались на работу.

Бибилари и Алогбо (*вместе*). Слишком поздно!

Би билари. Господин бизнесмен, подойдите сюда и расскажите, каким образом вы завладели своим имуществом.

Атево лара (с напускным гневом). Чего же вы хотите?

Алогбо. Вы, вероятно, не знаете, что нынешняя система порождает абсолютную низость, невероятную алчность, страшный эгоизм и корыстолюбие. Эту систему нельзя реформировать. Она только может стать еще разрушительнее и, конечно, еще прибыльнее для вас.

Атево лара. А что же вы планируете поставить на ее место? Это уже нечто большее, чем открытый процесс.

Бамигбаде. Вы хотите установить в стране диктатуру союза?

Алогбо. Диктатура и так уже существует. Мы хотим использовать ее в общественных интересах. Если уж диктатуре суждено существовать, то пусть она служит ликвидации...

Атево лара. Свободы слова?

Алогбо. Какая может быть свобода слова для голодных?

Атево лара. Свободы передвижения?

Алогбо. Какая свобода передвижения для бездомных?

Атево лара. Свободы собраний?

Алогбо. В государственных больницах? Или на частных бойнях?

Би билари и Алогбо. Только диктатура, которая освободит человека от голода, от неопределенности завтрашнего дня!

Атево лара. Вы хотите надеть смирительную рубашку на мысль. Станет больше ограничений. Нам всем навяжут обязательный конформизм.

Алогбо. Мы просто сдадим в заклад сегодняшний день ради завтрашнего.

Атево лара. Чушь. Для этого существуют бюджеты. Заклад ради завтрашнего дня, которого никогда не будет.

Алогбо. Эти бюджеты — всего лишь списки покупок, с помощью которых правительственные служащие перекладывают общественные деньги в свои карманы.

Би билари. На вашем счету в банке около четверти миллиона. Откуда такая сумма? Вы обкрадывали трудящихся нашей страны?

Бамигбаде. Ничего подобного, ваша честь.

Бибилари. Я вам не ваша честь, а гражданин судья.

Бамигбаде. Гражданин судья, я занял у матери пятьдесят тысяч наир, и отец отписал мне в завещании еще двадцать тысяч.

Демонстранты выражают со своих мест в зале негодование, выкрикивая и скандируя свои лозунги. Демонстранты снова заполняют сцену, танцуя и распевая, и направляются к банку. Делают свои вклады. Алогбо сгоняет их со сцены, чтобы процесс мог продолжаться.

Бибилари. Какие еще источники доходов у вас были?

Бамигбаде. Я взял заем в банке.

Бибилари. А чьи же деньги лежат в банке, как не народные?

Бамигбаде. Деньги банка, гражданин судья.

Бибилари. Вы вор и грабитель. И заслуживаете сурового наказания.

Бамигбаде *(нерешительно)*. А с ним что же?

Бибилари. С кем? С бригадиром Атеволарой?

Атеволара *(встает по стойке смирно и отдает честь)*.

Капитан Атеволара, гражданин судья.

Бибилари. Бригадир или капитан, безразлично.

Бамигбаде. А с ним что же? Мы оба разделили имущество профессора после его смерти.

Бибилари. Не вмешивайте его в это. Он сделал это лишь по долгу службы.

В последний раз демонстранты вторгаются на сцену с танцами и песнями. Они берут свои плакаты и, пританцовывая, расходятся в разные стороны. Алогбо отбирает двоих дюжих рабочих, задерживает их. Бибилари объявляет приговор, который Атеволара приводит в исполнение.

Бибилари. Вы приговариваетесь к лишению собственности и жизни.

Бамигбаде расстреливают, двое рабочих уносят его тело. Бибилари и Алогбо покидают сцену. Свет начинает гаснуть. Атеволара оглядывается по сторонам и ставит правую ногу на все имущество.

- Делает заявление:

«Общественная жизнь:

Только бригадир Атеволара может жить общественной жизнью. Все остальные должны жить частной жизнью.

Частная собственность:

Вся частная собственность объявляется общественной собственностью, чтобы она соответствовала моей общественной жизни. Союза больше не существует».

При этом фоторепортер бесчисленное количество раз снимает Атеволару. Вслед за объявлением звучат барабаны. Полное затемнение.

ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Декорации те же, что и раньше. Только в глубине сцены по центру поставлен трон со ступеньками. Передняя часть сцены занята имуществом, которым теперь владеет Атевоalara. Когда загорается свет, Атевоalara сидит на ступеньке трона, он читает поздравительные письма и телеграммы. Его жены радостно порхают вокруг, подавая ему звонящие телефонные аппараты. Внезапно звучат барабаны, Атевоalara оправляет свою пурпурную мантию в ожидании традиционных правителей — вождей, которые выходят на сцену под ритуальный бой барабанов.

Входят жрецы и вожди. Они кланяются, и один из них начинает читать:

Выслушай нас:

День уходящий угас,
Близок решительный час.
Яркая вспыхнет звезда,
Но не утихнет вражда,
Помни одно всегда:
Цепляется плющ за ствол,
Утес без деревьев — гол,
И все же к нему стремится орел.
Мы жизни земной столпы,
И если слуги глупы,
Тем хуже для низкой толпы.
Жаждет жалкая горстка людей
За решетку упрятать жрецов и вождей,
Сторонись подобных идей.
Сам посуди,
Кто достойнее здесь, чем вожди,
Те, что во всем впереди?
Подвиг твой
Для народа пример живой,
Осанку владык усвой.
Не прекословь,
В жилах твоих королевская кровь,
Ты заслужил любовь.
Но знай одно:
Если в землю ты бросил зерно,
Без труда не пробьется оно.
Потому-то мы здесь
И народ с нами весь,
Доводы наши взвесь
И повели
Пред тобою упасть в пыли
И молить, чтобы боги тебе помогли;

Или просить небеса
У тамтамов отнять голоса,
Что терзают твой слух. вот уже полчаса.
Верь, мы в жертву себя принесем,
Но страну от разора спасем,
Повинуясь тебе во всем.

Атеволара подает знак, и барабанщик несколькими ударами провожает их. Входят несколько торговков, пританцовывающих под звуки деревенской песни:

Дай мне детей и денег,
Дай мне побольше денег!

Все четыре женщины начинают разом говорить:

Ваше превосходительство,
Мы счастливы, что правительство
Берет под свое покровительство
Свободную торговлю.
Мы все наконец осознали,
Зачем нас так много:
А все от того,
Что мы любим его,
Любим его, как бога, —
Новенький доллар!
И все его воплощенья
Мы тоже, мы тоже любим...

Атеволара подает барабанщику знак, и женщины выходят под звуки все той же мелодии. Барабанный бой возвещает о приходе интеллектуалов. Звучит медленный напев:

По-английски скажем «yes»
И на йоруба скажем «agree!»¹

Атеволара делает знак, и они уходят. Дробь другого барабана возвещает о приходе другой делегации интеллектуалов. Входят гуськом семь интеллектуалов. Занимают свои места. Все сразу начинают читать свои речи. Атеволара останавливает их, и они читают свои речи по очереди.

Первый интеллектуал. По теореме Пифагора, ваше превосходительство, квадрат гипотенузы прямоугольного треугольника равен сумме квадратов двух катетов. Вот поэтому один важный, обладающий властью человек в обществе равен тысяче других. Поэтому...

Атеволара знаком приказывает ему удалиться. Входит следующий.

Второй интеллектуал. Согласно Чарльзу Дарвину, ваше превосходительство, в процессе разработки своей глубо-

¹ Да.

кой, далеко идущей теории о происхождении человека от животного и о выживании наиболее приспособленных особей, он установил, что — и это особенно важно для утверждения, которое мы собираемся сделать, — сильнейший всегда побеждает. Поэтому поздравляем вас как победителя в борьбе за существование. Поскольку борьба продолжается и поскольку Чарльз Дарвин, ваше превосходительство...

Атевоlara приказывает ему замолчать, тот отходит назад, уступая место следующему. Этот уверен, что ему позволят договорить до конца.

Третий интеллекуал. Согласно слову божьему, должным образом выраженному в Священном писании, все в этом мире погибнет вместе с самим миром. Поэтому-то мы счастливы, что вы, ваше превосходительство, почитаете слово божье превыше всего. Потому что только те, кто знает...

Атевоlara приказывает ему замолчать, и его место занимает другой.

Четвертый интеллекуал. Согласно неизменным законам физики, ваше превосходительство, все поднимающееся должно опускаться. Поэтому то, ваше превосходительство, что вы спустились с высот, есть убийственная насмешка над физикой. Вы опровергли все существующие нормы. Ваше превосходительство, я только пытаюсь сказать, что вы отличаетесь от всех остальных...

Атевоlara кричит ему, чтобы ушел. На его место встает следующий.

Пятый интеллекуал. Согласно марксистской теории и согласно жизни тех, кто воплотил принципы в жизнь, все противоречия разрешаются в процессе возникновения новых противоречий. Поэтому мы надеемся, что ваше превосходительство поймет эти противоречия, так как...

Атевоlara останавливает его. Он выходит, входит следующий.

Шестой интеллекуал. Согласно неизменным законам эгоизма, установленным, ваше превосходительство, в тот день, когда всевышний окинул взглядом содеянное за один день и остался доволен, обращаюсь с просьбой выслушать меня, и выслушать внимательно. Я знаю, что скоро ваш слух заполнят петиции, просьбы, всевозможные доклады и доносы со всей страны. Внемлите им всем. Потому что я тоже, ваше превосходительство, проситель. Мне причитается кое-что. Есть один предмет мебели, принадлежность которого я бы просил вас, ваше превосходительство, установить. Более того, есть...

Атевоlara хлопает в ладоши, чтобы он ушел. Входит последний.

Седьмой интеллеktуал. Согласно мнению наших старейшин, ваше превосходительство, нагой человек чувствует себя одетым по последней моде, если его закрывают люди спеша, сзади, справа и слева. Потому что люди защищают нас от дождя и суховея лучше, чем одежда. Поэтому способствуйте их выживанию; пусть они окружают вас и служат вам защитой от сил...

Атевоlara дает сигнал барабанщику. Интеллектуалы столпились и спорят, как бы обвиняя друг друга в провале своей миссии. Барабанщик все быстрее выстукивает дробь, и интеллектуалы уходят со сцены.

Появляется почтальон с пачкой писем.

Атевоlara. Это все мне?

Почтальон. Да, господин. *(Обернувшись к залу.)* Я нашел их на куче навоза. Я знаю, что они ему понравятся. Что же касается награды...

Атевоlara. Вот возьми. Я ценю усердие, с которым ты доставляешь послания любви и доброй воли от всего народа нашей страны.

Почтальон уходит. Одновременно звонят два телефона. Две жены направляются в противоположные стороны, возвращаются с телефонами и протягивают трубки Атеволаре.

Атевоlara. Я благодарен народу, моему народу. И мы благодарим бога тоже. Благодарим бога. Кто я был? А сейчас все пришли поздравить нас, пришли пожелать всего наилучшего. Каждый выразил свое чувство телеграммой, письмом, по телефону или личным визитом... Нет, мы выехали из того дома. Хотим превратить площадку для отдыха в нашу постоянную резиденцию. Хотим жить с народом. Да, вожди, рыночные торговки, интеллектуалы из всех университетов. За исключением... Что? Нет, нет, я хочу сказать, за исключением запрещенного союза рабочих, все пришли отдать нам должное и возблагодарить бога вместе с нами. Я сам не понимаю себя... *(отнимает от ушей обе трубки. Проверяет одну, ту, что молчит.)* Отбой. Не сказал даже, что вешает трубку. *(Отдает замолчавший телефон одной из жен. Та его уносит.)* О, извините. Я говорил, что только члены рабочего союза не пришли поздравить нас. Что вы сказали? Еще не поздно? Вы считаете, что еще не поздно? Вы считаете, что мне нужно подождать? А вы уверены, что они придут? Потому что, если они не придут, я просто не знаю, что делать. Да нет. Я просто не уверен, что они придут. Конечно, конечно.

По сцене проходит торговец, таща за собой тележку.

Да кто они такие, чтобы требовать выкупа? Нет, спасибо.

Один из охранников подходит к жене и шепчет ей что-то на ухо. Жена подходит к Атеволаре. Торговец возвращается, на этот раз с мешком на спине.

Извините. Кажется, они пришли. *(Отдает телефон одной из жен и поднимается на престол. Ждет с большим нетерпением.)*

Полная тишина. Би бил ари и Алог бо входят, не выказывая ни малейшего уважения к Атеволаре. Жены уговаривают их опуститься на колени, но те пренебрежительно смотрят на Атеволару.

Алог бо. Как поживаете, ваше превосходительство?

Атеволара дает знак женам, чтобы те ответили.

Жены. Его превосходительство живет хорошо.

Би бил ари. Ваше превосходное превосходительство, произошедшее всех в эксцессах, как, по вашему мнению, погода?

Жены. Его превосходительство говорит, что начались дожди.

Алог бо. Хозяин и правитель, привет.

Жены. Его превосходительство отвечает вам.

Би бил ари. Работодатель, наниматель, разрушитель, небокопитель, вы слушаете?

Жены. Его превосходительство весь внима ние.

Алог бо. Импортер-экспортер, вы слушаете?

Жены. Да.

Атеволара ерзает на троне.

Би бил ари. Отклонитель-утвердитель, как детки?

Жены. Едят и пьют в свое удовольствие.

Алог бо. Собиратель квартплат ы, об иратель бедньк кварталов.

Жены. Его превосходительство говорит, что вы должны сохранять достоинство.

Атеволара что-то пытается сказать, но его слова заглушаются речью Би бил ари.

Би бил ари. Придворный притвора! Страна голодает!

Жены. Дожди начались!

Атеволара. Что за странная форма обращения к правителю? Где члены вашего союза? Это что, издевательство?

Алог бо. Не знаю, чего вы ожидали! Союз не признает вас.

Жены. Но наш повелитель признан всеми.

Алог бо. Признан? За что? Кем?

Бибилари. Кому же и признать его, как не лъстецам?

Две жены приводят девочку, которая преподносит Атеволаре цветы.

Алогбо. Пусть отвечал бы сам, а не его жены.

Атеволара. Я терпел всю эту ерунду в надежде, что вы образумитесь и ответите на мои вопросы. Где члены вашего союза?

Алогбо. Мы пришли с приветствием от них.

Атеволара. Почему не сказали сразу?

Алогбо. И с приглашением прийти на встречу с ними, чтобы обсудить обстановку.

Девочку с цветами снова приводят и ставят рядом с Атеволарой.

Атеволара. Ну, хорошо. Передайте им наши ответные приветствия, скажите, что мы очень заняты нынешним кризисным положением и поэтому приглашаем их встретиться с нами здесь. Можете идти.

Бибилари и Алогбо нарочито медленно пересекают сцену, направляясь к выходу. Девочка делает книксен и вручает Атеволаре букет цветов.

Атеволара. Идите за ними. Приведите их обратно. И чтоб молчали.

Взвод охранников бросается в погоню за Бибилари и Алогбо. Атеволара принимает цветы у девочки и заговаривает с ней. Из-за сцены слышны звуки борьбы и выстрелы. Рабочие вносят убитых Бибилари и Алогбо, охранники также вносят одного убитого. Убитых кладут по сторонам сцены. Один из рабочих отделяется от толпы и бежит к Атеволаре. Он вырывает у него цветы, кладет несколько цветков сначала на тело убитого охранника, остальные — на тела убитых вожakov и приглашает охранников перенести тела в центр сцены. К удивлению Атеволары они так и делают. Рабочие и охранники соединяют руки и вместе выносят погибших товарищей. Из-за сцены слышен какой-то ропот. Входят рабочие с канистрами. Обливают бензином трон. Другие рабочие подвигают имущество ближе к трону. Наконец третья группа рабочих поджигает все. Жены вместе с девочкой убегают при первых вспышках пламени.

Атеволара (*трижды*). Из пепла нельзя ничего создать! Рабочие. Но мы должны создать.

Непременно должны.

Непременно должны создать.

Перевод с английского В. Перехватова



СТИХИ

Жан Риккебур (1864—1914) — реюньонский поэт. Эмигрировал в Аннам (Вьетнам), где много лет прослужил чиновником. Чужая страна стала для него второй родиной, о чем свидетельствуют прозаическая книга «Зе-

мля Дракона» и ряд поэтических сборников: «Дорогие призраки», «Порфиновые кубки», «Героизм» и другие. Стихи Риккебура неизменно включаются в антологии реюньонской поэзии.

НОСТАЛЬГИЯ

Дикарь, я жил, свободой пьян,
Там, где зеленый океан
Шлифует отмели прилежно.
Вдыхая ветер чаш и гор,
Песчаный мерил я простор,
Мои ступни ласкавший нежно.

Как песня был закатный час.
И небосвод алел и гас,
Исполосованный лучами.
Затем на горные хребты
Луна струила с высоты
Свое серебряное пламя.

Оленей видел я в те дни,
Таившихся в густой тени,
Павлинов, шедших величаво,
И тигра, что острит клыки,
Скрываясь в роще у реки,
И спящего на мхах удава.

Скользил по глади тусклых вод
Кувшинок белый хоровод,
И лотосы волна качала;
Гирлянда рдела как заря
И древо в виде алтаря,
Взбираясь по ветвям, венчала.

Я тешил взор, когда хотел,
Изгибами точеных тел,
Прикрытых легкою одеждой.
И грудь купальщицы, смугла,
Как золотистый плод, влекла
Осуществимую надеждой.

С тех пор гнетет меня тоска.
Не знаю: годы иль века
Сквозь лабиринты городские
Бреду я мимо серых стен
(Средь манекенов манекен).
И застит очи ностальгия.

ТРУЖЕНИК

Плетеной шляпою, тяжелой, словно щит,
От зноя лоб его старательно прикрыт.
Бежать — сандалиям привычная работа,
Но льются по спине, сверкая, струйки пота

Двойною ношею в плечах отягощен,
Согнувшись до земли, трусит рысцою он.
Суп — вот его товар! И возвещает четко
Его прибытие трескучая трещотка.

И этот человек, устав от беготни,
Читает не спеша Конфуция в тени.



МАЛАЙСКИЙ ПАНТУН¹

Шел лесом человек, знакомыми местами,
А тигр следил за ним, скрываясь за кустами

В чащобе человек работал топором,
А тигр дремал на мху, прохладном и сыром

Усталый путник шел проторенной тропой
В тот час, когда стада стремятся к водопою.

Прислушивался тигр и слышал ветра стон
В вечерней тишине среди ветвей тектон².

Вечерний голод был острее пчелиных жал:
К заветной цели он обоих провожал.

Принюхивался тигр, во тьме зрачки сужая,
Добычу легкую глазами провожая.

Ждал человека рис, а после — крепкий сон.
А тигр момента ждал, таился в чаще он.

Как хорошо поесть, когда закончишь дело!
«Пора!» — подумал тигр, когда совсем стемнело

Как риса хороша последняя щепоть!
Но прочих блюд вкусней дымящаяся плоть.

Съел человек тот рис, что прихватил из дома
А человеком тигр поужинал весома.

Навеки человек последним сном заснул.
А на останках тигр улегся и зевнул.

ЧИО-САН

Ты утешаешь лучше, чем
Сок апельсина утешает.
Осколок солнца, что вкушает

¹ Пантун — вид малайского стихосложения.

² Тектона — тиковое дерево.

Покой в озерах глаз, совсем
Ресницам не мешает.

Аннама властелин, хоть раз
Твоих зубов увидев зерна,
Тебя бы возжелал упорно
И сделал бы тебя тотчас
Наложницей покорной.

Как раковина — твой шиньон,
Тяжелый и многоэтажный.
И серьги сеют блеск миражный:
В поддельном камне заключен
Какой-то пламень влажный.

Изящна легкая рука.
Изящны маленькие ноги.
Не зная страсти и тревоги,
Ты, и одетая в шелка,
Верна своей дороге.

Владеющий тобой пришлец,
Любитель редкостных экзотик,
Целуя полудетский ротик,
Обрел забвенье наконец —
Божественный наркотик.

ГАЛАНТНАЯ ДУЭЛЬ

1

Увидев куст цветущего жасмина,
Я захотел сорвать один цветок —
Но шмель вонзил мне в руку хоботок.
О чинный страж! Укус твой не причина,
Чтоб завтра я прийти сюда не мог!

Увы, храбрец! Ты удираешь все же!
Держу пари, что, истощая пыл,
Лишь гордости своей рабом ты был.
Гордыня всех и вся тебе дороже.
Такой супруг кому же будет мил?

Пить буйвол захотел, а пруд был рядом.
 Тут песий лай окрестность огласил.
 Покуда буйвол из последних сил
 Метался, пожирая воду взглядом,
 Пес подскочил к нему и укусил.

Мог буйвол пса пронзить одним ударом,
 Но жажду в жертву трусости принес.
 Смешной соперник принят был всерьез,
 И буйвол удалился... Что ж, недаром
 Полакомился плотью труса пес!

В ветвях тенистых ящерка узрела
 Надтреснутый сочащийся гранат.
 Кто соку аппетитному не рад?
 Но муравьи... И, рассудивши зрело,
 Повременить решил трусливый гад.

Но ящерка, когда сюда вернется,
 Узнает, пожирая свой обед,
 Что трусость — мать наитягчайших бед,
 Коль трещина на коже сомкнется,
 Ломая, как тиски, ее хребет.

Я по ступенькам, что дрожат и гнутся,
 Предательский в ночи рождая звук,
 Хочу к тебе подняться, милый друг.
 Боюсь, твои родители проснутся,
 Услышав, как скрипит сухой бамбук.

Ты зря рискуешь, соблазнитель жалкий!
 Уйдешь ни с чем. К тому же будь готов
 Здесь повстречать собак и муравьев
 И близкое свести знакомство с палкой.
 Пришли-ка лучше друга, пустослов!

Перевод с французского В. Швырлева

Сергей Кулик

МАДАГАСКАР: ОЖИВШИЕ СТРАНИЦЫ

Иван Воеводин с острова Нуси-Бе

Я не успел провести на Нуси-Бе и часа, еще сидел в гостинице, распаковывал чемодан и, глядя краешком глаза на лежащую в номере туристскую карту острова, думал, куда бы податься, когда в дверь постучали.

— Войдите, — пригласил я.

В номер вошел старый, высокий для малагасийца и очень морщинистый мужчина в помятом белом костюме.

— Здравствуйте, — протянул он мне руку. — Меня зовут Ив Равоводина, — произнес он таким тоном, будто бы имя это должно было о чем-то говорить мне.

— Очень приятно. Садитесь, — пригласил я и в свою очередь представился.

Несколько минут прошло в напряженном молчании, причем мой гость смотрел на меня с явным удивлением.

— Вот, был здесь неподалеку. Знакомые прибежали, говорят, русский приехал. Вот я сразу и пришел. Кровь-то все-таки одна...

Теперь я, в свою очередь, посмотрел на него с удивлением. Какая кровь? Здесь, на Нуси-Бе — безвестном островке, затерянном в Мозамбикском проливе, на полпути между Мадагаскаром и восточным берегом Африки?.. Типичный малагасиец. Разве что вот удался ростом да глаза посажены не так, как обычно в этих местах. А фамилия?

— Вы сказали Ив Равоводина? — переспросил я.

— Да, да. Равоводина Ив, — с некоторым волнением привстал старик. — Моя мать всегда говорила: «Равоводина — имя твоего отца. А Ив — так звали почти всех товарищей твоего

отца А что, разве это не русские имена? — уже с дрожью в голосе поинтересовался он.

«Ив — Иван, — подумал я. — Однако Равоводина — ни на что не похоже». Но чтобы сразу так, с места в карьер, не лишать старика почитавшегося им всю жизнь отца, я уклонился от прямого ответа.

— А кто же он был, ваш отец? — спросил я.

— Моряк, русский моряк, — уверенно ответил он. — Мать рассказывала, что в тысяча девятьсот пятом году на наш остров заходило около шестидесяти ваших военных кораблей, что русских моряков тогда на Нуси-Бе было больше, чем местных жителей, и вот...

И тут, хлопнув себя ладонью по лбу, я все понял и улыбнулся старику как дорогому гостю. 1904—1905 годы. Русско-японская война... Бесславный переход адмирала Рождественского... Самая большая русская эскадра, когда-либо огибавшая Африку, двенадцать тысяч моряков свыше двух месяцев ждали тогда на Нуси-Бе соединения с другими русскими кораблями, шедшими через Суэц. Ну и встреча!

Знал бы я правила малагасийского языка, которые требуют присоединения к именам уважаемых людей приставки «ра», да помнил бы читанную в юношестве «Цусиму», то сразу догадался бы, кто сидел передо мной. Никакой себе ни Ив Равоводина, а Иван Воеводин, сын braveго боцмана с «Цусимы».

Это о его отце с достоверностью очевидца писал А. Новиков-Прибой:

«Мы остановились около одного домика, который был богаче других. Он принадлежал индусам. Под раскидистым деревом, в голубоватой тени, молодая женщина толкла в деревянной ступе рис... На наше удивление она заулыбалась слишком смело и, продолжая работу, так дразняще изгибала свою талию, словно совершала брачный танец. Это не от неба, а от нее дохнуло на нас жаром, и мы остолбенели. Боцман Воеводин, сытый и сильный, подкручивая золотистые усы, воззрился на нее с таким вожделением, что у него на висках вздулись узлы вен. Гальванер Голубев счел нужным предупредить его:

— Зажмурься, боцман, а то в обморок упадешь.

— Пойдемте дальше, — словно очнувшись от забытья, пробормотал перехваченным голосом Воеводин.

И еще через страницу:

«Боцман Воеводин, шагая рядом со мной, все вспоминал об индуске и восклицал:

— Ну и женщина, доложу я тебе! Как взглянула полумночными глазами, словно пулями пронзила меня».

Но не всегда, конечно, простой матрос А. Новиков-Прибой сходил на берег Нуси-Бе вместе с боцманом. А то бы, быть может, и встреча матери моего гостя с Воеводиным стала эпизодом русской классической литературы.

Тогда, не имея под рукой «Цусимы», я еще не знал всего этого. Но откуда на Нуси-Бе появился человек с измененным на малагасийский манер русским именем, сын русского моряка, мне уже было ясно.

— Да, да, Равоводина Ив, — уже несколько приободренно повторил старик, неловко мусоля в руках широкополую шляпу. — У меня дома и карточка его есть. Может быть, узнаете отца-то?..

Что мог ответить я наивному жителю Нуси-Бе, мыслящему категориями крохотного островка с населением в тридцать тысяч человек, где все взрослое население практически знает друг друга? Конечно же, я не перечил и, переодевшись на скорую руку, принял приглашение старика.

Домик его, а вернее, сооруженная из жердей бамбука хижина под крышей из пальмовых листьев, находилась неподалеку от гостиницы. Обычное для всех малагасийских жилищ убранство: циновки вместо кроватей, огромные плетеные корзины, заменяющие шкафы и комоды, декоративные поделки из дерева. Вот разве что единственное отличие: красная лампадка в углу, а за ней, вместо иконы — небольшая застекленная фотография широколицего человека с заливчатски закрученными усами.

— Вот он, отец, — снимая эту семейную реликвию со стены и протягивая мне, говорит Равоводина. — Посмотрите внимательнее.

Форма русского моряка, на ленте бескозырки едва различимые за давностью лет выцветшие буквы: «Орел».

Я прошу у Равоводина разрешения вынуть портрет из рамки. Из фирменной надписи на обороте следует, что brave боцман запечатлел себя в художественной фотографии Левицкого, что находилась в Киеве, на улице Николаевской, в доме № 4. И тут же надпись, сделанная по всем правилам дореволюционной орфографии:

Моей милой вад¹:
Если встретиться нам не придется,
Если будет жестока судьба,
Пусть на память тебе остается
Неподвижная личность моя.

Навеки твой
боцман Воеводин.

¹ В а д и — возлюбленная (малагасийск.).

Вряд ли воеводинская вади могла понять этот изыск солдатской «поэзии». Скорее, слова эти были впервые прочтены именно мною, спустя семьдесят с лишним лет после того, как были написаны.

— Нет, мосье Равоводина, я не могу узнать вашего отца, — протягивая ему фотографию, сказал я. — Уж слишком давно он жил, да и людей в нашей стране побольше, чем на Нуси-Бе. Но в том, что ваш отец был русским, я, конечно, убедился.

— Да, да, это было давно, — бережно водружая фотографию в угол, — говорит Ив. — Когда я был мальчишкой, нас здесь росло человек сорок, потомков русских моряков. Но с тех пор все умерли, в живых, пожалуй, остался один я.

Равоводина рассказывает мне о своей жизни, а я все смотрю в этот угол, думая о том, как причудливо переплелись в нем две традиции, две религии двух народов, живущих на противоположных концах земли нашей.

Дешевая лампадка, заимствованная, наверное, боцманом в корабельной церкви, и портрет, повешенный над нею в красном углу, согласно русским православным обычаям. Это от отца. Скорее всего, уезжая навсегда с Нуси-Бе и, быть может, уже даже зная, что оставляет на этом далеком клочке чужой земли частицу русского рода, именно он повесил, словно икону, свой портрет над лампадкой. Кто отвергнет мою догадку о том, что, проведя на острове больше двух месяцев, Воеводин познал не только свою вади, но и обычаи ее родного народа? А коли так, то боцман мог быть уверен в том, что никто не посмеет снять этот портрет и что со временем он действительно превратится в нечто вроде иконы для всех тех, кто будет связан с ним узами кровного родства.

Все остальное — от матери. В основе традиционных религиозных верований малагасийцев лежит культ предков, или разана¹. И сегодня даже многие образованные малагасийцы, не говоря уже о суеверных крестьянах, верят в то, что духи предков постоянно присутствуют в их домах, живут рядом с ними и активно вмешиваются в их жизнь. Эта вера настолько сильна, что является основой основ повседневного существования и хозяйственной деятельности крестьян, жизненное кредо которых формулируется так: «Лучший способ не вызвать недовольства предков — это продолжать действовать так же, как они».

¹ Разана — предки (малагасийск.). Вера в существование духов разана, якобы живущих среди людей, составляет основу традиционных верований малагасийцев.

Кто же в этом случае мог в доме вади посягнуть на портрет боцмана, повешенный им самим в «красный угол», или упрекнуть его за сына, оставленного без отца? И мог ли Иван Воеводин, прослышав о том, что на остров заехал русский, в его представлении, скорее всего, родственник разана, не поспешить ко мне в гостиницу и не встретить как самого дорогого гостя?

Жизнь Ива, судя по его рассказу, сложилась нелегко, хотя и не была отмечена яркими событиями. Французы, признавая в нем наполовину белого, на первых порах выделяли среди других малагасийцев и даже назначили надсмотрщиком на кофейных плантациях. «Но бить кнутом людей не хотелось», — говорит он. Поэтому с плантации он ушел, о причинах своего решения прямо сказал французам, и те о нем больше не вспоминали. Женился лет в тридцать, с женой получил небольшой клочок земли, на котором и хозяйствует до сих пор. Читать и писать научился уже после того, как на свет появился единственный сын — Рафиринги. Но, родив его, умерла жена, оставив Иву девять дочерей. «И всех их надо было прокормить, а когда подросли, дать приданое, без которого здесь не выдашь девушку замуж, — сокрушенно вздыхая, рассказывает он. — С голода не умирали, но и добра, как видите по этой хижине, не нажили».

Дождавшись Рафиринги, — он работает в Таматаве шофером, а к отцу заскочил лишь повидаться, оказавшись «напротив» Нуси-Бе, на мадагаскарском побережье, — мы отправились осматривать остров. Широкоплечий, высокий, с несвойственным малагасийцам басовитым голосом, он, наверное, гораздо больше похож на своего русского деда, чем Ив — на отца. Закончил среднюю школу, во времена свержения неокOLONиалистского режима Цирананы участвовал в уличных боях в Антананариву на стороне студентов.

— Хотя наш крохотный Нуси-Бе не всегда наносят даже на подробные карты Африки, с антананаривского аэродрома Ивато сюда ежедневно отправляется самолет, — рассказывает Рафиринги. — Объясняется это тем, что Нуси-Бе в последние годы превратился в главную туристскую достопримечательность Мадагаскара. Его называют то «туристским раем», то «чудом среди океана».

Мы идем по улочкам островной «столицы» — Эльвилля, — если сравнивать с описаниями А. Новикова-Прибоя, мало чем изменившейся с тех пор, как по ее улицам ходил боцман Воеводин. Разве что исчезли висевшие в те времена повсюду над лавками, палатками и магазинчиками вывески с русскими над-

тиями: «Поставщик флота», «Торгую с большой уступкой», «Прошу русских покупателей заходить».

Городок маленький, но в нем живет четверть населения Нуси-Бе — «целых семь с половиной тысяч человек». Скорее всего, это даже не город, а гигантская пальмовая роща, в тени которой притаились белые чистенькие домики, бунгало для туристов и магазины, продающие диковинные сувениры. Самый распространенный из них — сушеные крокодильчики, которыми кишит обращенное к Нуси-Бе западное побережье Мадагаскара.

— В середине прошлого века, когда французские колонизаторы начали завоевание Мадагаскара, они первым делом захватили Нуси-Бе и создали в Эльвилле свою опорную базу, — продолжает Рафиринги. — Сейчас, правда, французов на острове не больше тридцати человек — сотрудники океанографической станции, несколько предпринимателей. Основное население острова сакалава, народ, живущий на западе Мадагаскара. Они не потеряли веры в разана, но зато переняли многое в быту у арабов, которые испокон веков занимаются на Нуси-Бе торговлей.

И действительно, при беглом взгляде Эльвилль скорее напоминает арабский, чем малагасийский город. Важно шествуют по улицам мужчины — сакалава, одетые в красные фески и длинные белые халаты-галабеи. Женщины носят на головах пестрые шарфы, заменяющие им чадру. И разве что мелькающие вдоль тротуаров яркие зонтики — этот неотъемлемый атрибут малагасийского туалета — напоминают о том, что Нуси-Бе — остров мадагаскарский. Да на рейде острова, как и в цусимские времена, поставив громадные паруса, сакалава умело управляют своими пирогами и носятся по гребням волн, как альбатросы, иногда даже обгоняя моторные катера.

Почему так называют на Нуси-Бе туристов, почему называют этот остров «чудом»? Я думаю, не только потому, что поистине сказочны его песчаные пляжи, незабываемо экзотичны его городки и деревни. Нуси-Бе — это как бы Мадагаскар в миниатюре. То, что удастся увидеть на Мадагаскаре целой многодневных путешествий по бездорожью, на крохотном Нуси-Бе можно посмотреть за несколько часов.

Особенно приятно поразили меня здесь обилие и доступность лемурув — занятных, напоминающих обезьян существ с огромными, занимающими добрую половину их кроткой морды глазами-блюдцами. На Мадагаскаре, чтобы сделать «портретные снимки» лемурув, мне приходилось организовыв-

вать целые экспедиции. Здесь же лес буквально кишит лемурами, которые совершенно не боятся людей и позволяют чуть не гладить себя. Равоводина, который, как и большинство малагасийцев, верит, что духи предков переселяются именно в лемуру, явно побаивается их и старается обойти стороной деревья, на которых сидят эти животные. Однако Рафиринги, откровенно иронически относящийся к разана, гоняется за лемурами и весело подтрунивает над отцом.

Как и на Мадагаскаре, склоны гор Нуси-Бе покрыты вечно-зелеными тропическими лесами. В буйстве растительности, сплошной стеной сжимавшей дорогу, сперва трудно было выделить какую-либо ландшафтообразующую породу. Однако по мере приближения к побережью невысокие древовидные растения с гигантскими рваньими листьями, шумно хлопающими по ветру, все отчетливее занимали доминирующее положение. На равнинах, под пологом более высоких деревьев, было трудно рассмотреть их необычное строение, однако по вершинам холмов, куда взбирались лишь они одни, это чудо природы можно было разглядеть как на ладони.

Представьте себе огромный веер, укрепленный на ровном, довольно тонком стволе с помощью прямых стеблей-спиц, на которых колышутся четырехметровые, напоминающие банановые, листья, собранные в гигантский полукруг. Между черенками листьев — висящие в два ряда рогообразные плоды, красные, с фиолетовым отливом. В пазухах у основания листьев — скопления сладковатой воды, которой, если проткнуть нижнюю часть черенков, можно нацедить литров четыре-пять.

В европейской литературе это растение называют обычно либо «веерной пальмой», хотя оно не имеет к пальмам никакого отношения, либо «деревом путешественника», хотя оно вовсе и не дерево. Зато его малагасийское название «равенала» — «лист леса» — удивительно соответствует истине и подчеркивает тот неповторимый отпечаток, который этот реликт, встречающийся только на Мадагаскаре, придает островным лесам.

Там, где равенал много, там, где ее гигантский зеленый веер подавляет всю растительность, а в безветренную погоду сам собирается в единый лист, эдак метров в десять в диаметре, начинаешь понимать всю мудрость этого названия.

Когда в разговоре я назвал равеналу «деревом путешественника», Рафиринги недовольно поморщился.

— Бессмысленное название, которое дали первые европейцы, поселившиеся в Антананариву и не имевшие никакого

представления об условиях передвижения по острову. Они уверяли, что под равеналой путник всегда может укрыться от солнца, хотя в действительности она почти не дает тени. Потом они узнали о запасах воды, скапливающихся между стволом и основанием листьев, и придумали, что эта влага спасла жизнь не одному путешественнику, изнывавшему от жажды. Однако они не учли, что равенала на Мадагаскаре растет только там, где люди чаще умирают от избытка влаги, но никак не от ее недостатка.

Потом, когда дорога резко пошла вверх и ворвалась в сплошные заросли равеналы, Рафиринги вновь вернулся к этой теме.

— «Дерево путешественника», «веерная пальма», — иронически пробурчал он. — Уж если говорить о главном, то равеналу следовало бы назвать «строительной пальмой» или «деревом-благодетелем». Посмотрите на деревни, которые мы проезжаем, и вы поймете, что в значительной степени они живут равеналой. Ее листья заменяют нам кровельное железо, их же употребляют вместо тарелок для риса, скатертей. Из черенков стеблей вырубают ложки и вилки, из стволов — сосуды для воды. Лишите крестьянина равеналы — и он почувствует себя обездоленным.

Много общего и в экономике Мадагаскара и Нуси-Бе. Миниатюрные долины островка занимают плантации кофейного дерева. Кофе не выносит прямых солнечных лучей, поэтому его посадки всегда разбивают под тенью более высоких и раскидистых деревьев — глереции. Если присмотреться, то на его стволах можно увидеть тонкую лиану, взбирающуюся вверх, к свету. Это — знаменитый местный перец, который знатоки восточной кухни считают лучшим в мире и который является главной экспортной культурой Нуси-Бе. В других местах перец сменяет ваниль, а по склонам гор раскинулись благоухающие плантации иланг-иланга. Из его цветов извлекают эссенцию, без которой невозможно приготовление духов. Одним из главных покупателей этой эссенции является Советский Союз.

Я уже было собрался возвращаться в гостиницу, когда Равоводина напомнил сыну:

— Раф, дорогого гостя надо было бы сводить на кладбище. Ведь там лежат наши общие разана...

В дебрях тропических зарослей без труда разыскали мы две могилы с православными крестами. На каждом кресте — медная табличка с надписью по-французски. «Алексей Лубошников. Матрос императорского русского крейсера «Урал». 31 де-

кабря 1904 года», — прочитал я на одной из них. «Анатолий Попов. Инженер-механик императорского русского крейсера «Урал». 30 декабря 1904 года», — гласила надпись на другой табличке. Судя по описаниям А. Новикова-Прибоя, в земле Нуси-Бе остались в тот год не только они. Скорее всего, других могил не сохранилось, потому что Ив, бережно положивший на бетонные плиты могил букеты сорванных в лесу цветов, обязательно знал бы о них.

Договорившись с Рафиринги обязательно встретиться в Антананариву и съездить с ним куда-нибудь подальше на Мадагаскаре, я обратился к его отцу.

— До свидания, Иван Воеводин, — протягивая руку старику, сказал я. — Спасибо, что нашли меня и приняли, как родного.

— До свидания, человек, который приехал с земли наших разана, — смущенно моргая слегка влажными глазами, ответил он. Помедлил немного, а затем крепко обнял меня.

Среда — день тяжелый

Первый, второй, пятый лодочник, к которому Рафиринги обращался с предложением прокатить нас по каналу, ответили отказом.

— В чем дело? — удивился я. — Быть может, мы предлагаем слишком низкую плату?

— Как плату ни увеличивай, делу не поможешь, — сокрушенно покачал головой мой переводчик. — Сегодня «аларобия» — среда, плохой день. Люди же, связанные с морем, очень суеверны и поэтому не согласятся приниматься за новое для них дело — перевозить вазаху¹.

Между тем мне было чертовски интересно прокатиться по каналу или, вернее, по пангалану, как его здесь называют. Ведь как-никак это самый длинный на нашей планете водный путь, созданный руками человека! Малагасийцы строили его несколько веков, из поколения в поколение, для того, чтобы иметь возможность плавать вдоль восточного побережья Мадагаскара не штормящим Индийским океаном, а «спокойной водой». Соблазн проплыть этим путем был очень велик, и поэтому на следующий день мы вновь были на побережье.

¹ Вазаха — белый человек (малагасийск.).

Тот же рыбак, который вчера энергично отказывался вступить с нами в какие бы то ни было отношения, чуть завидев нас на берегу, предложил свои услуги. Рафиринги быстро договорился с ним, и я уж было направился к машине за фотоаппаратурой, когда рыбак позвал его назад. Он что-то энергично выкрикивал, Рафиринги спорил, а рыбак в ответ бил себя кулаком в грудь.

— Рыбак говорит, что твоя рубашка — красная, такую рубашку следует надевать по пятницам, да и то, если идешь на похороны, — подойдя к машине, произнес Рафиринги. — Он отказывается везти тебя в такой рубашке.

— А какую же рубашку прикажете надевать по четвергам?

Рафиринги что-то протяжно крикнул рыбаку, тот ответил.

— Сегодня лучше всего ходить в голубом, — перевел он. — Но будет жарко. Рыбак предлагает ехать вообще без рубахи.

Обуреваемый желанием поскорее пуститься в плавание, я легкомысленно согласился на это предложение. Уже на ходу засунув «опасную» рубашку в сумку, я поспешил к лодке.

Выглядела она необычно, поскольку по обе стороны от ее кормы на длинных стволах было прикреплено нечто вроде бочек. Это — балансеры, помогающие лодкам сохранять устойчивость при сильных ветрах, причем не только в лагунах, но и в открытом океане. Лодок таких нет нигде в Африке, но зато они повсеместно распространены в азиатском островном мире. Поэтому в них многие ученые ищут лишнее подтверждение тому, что предки нынешних жителей Мадагаскара — малагасийцы, приплыли на «Великий остров» из Индонезии и Полинезии.

Сухопарый владелец пироги, ловко манипулируя шестом, отшвартовал свое суденышко от тростниковой пристани, провёл между отмелями и ввел в канал. Бесчисленные лагуны, отделенные друг от друга песчаными косами и оазисами мангровых лесов, ветвились и соединялись, переходя вдали от берега в топкие болота. Приливы и отливы, а также устремляющиеся с суши к океану дождевые потоки чуть ли не каждый день меняют конфигурацию мелких лагун, намыывают новые косы. Местами поэтому нам приходится перетаскивать через них пирогу.

Однако чем дальше мы плывем, тем чаще у зловредных кос попадают люди, лопатами расчищающие заносы. Лодочник объясняет, что недавно местные власти поделили каналы на участки, закрепив их за жителями ближайших деревень. Именовано в обязанность постоянно следить за состоянием про-

токов, с тем, чтобы наносы не затрудняли по ним плавание. Большинство работавших были одеты в синие набедренные повязки — салаки.

— Неужели у этих людей есть салаки всех цветов, предназначенные на каждый день недели? — поинтересовался я.

— Вряд ли, — переспросив что-то у лодочника, ответил Рафиринги. — Однако у людей живущего в этих местах народа — бецимисарака, синий цвет не вызывает никаких плохих ассоциаций, в то время как красный связан с похоронами, которые обычно проводят по пятницам.

— А как же распространяются цвета по другим дням недели?

— В воскресенье, считающееся счастливым днем, лучше избегать носить белую одежду и вообще иметь дело с предметами белого цвета. В воскресенье можно начинать серьезные дела, но его не следует омрачать похоронами, а также тяжелым трудом после обеда. Напротив, понедельник у нас, как и у европейцев, считается днем, когда не следует браться за дело, все плохое в этот день связано с черным цветом.

— С зеленым, — поправил его лодочник. — У бецимисарака самое страшное — прикоснуться в понедельник к еде зеленого цвета.

— В толета, или во вторник, когда работать можно только в дневное время, избегают крапчатого цвета. Среда, как вы уже убедились, считается трудным днем, предназначенным для фамадиханы — церемонии переворачивания трупов. В этот день неприятности ассоциируются с коричневым цветом, а народная пословица, как бы подбадривая людей, обещает: «Коричневый день не возвращается». Четверг — день свадеб, поэтому, как и сегодня, нельзя одеваться ни в красное, ни в черное. Зуме, или пятница, напротив, день похорон, когда нужно носить красную одежду, но нельзя есть продукты красного цвета, дабы не проглотить «цвет смерти» и самому не отправиться к предкам. В субботу — день скорби и очищения — избегают голубого. Однако в разных районах Мадагаскара ограничения, связанные с цветами, меняются.

— Но традиции эти накладывают слишком много ограничений на время, когда можно заниматься работой, — заметил я.

— Наша пословица говорит: «Когда задует циклон, на работу выходит даже умбиаси»¹. Так что повседневная жизнь ломает все эти запреты. Во всяком случае на побережье запретными для работы остаются один-два дня в неделю.

¹ Умбиаси — вождь, старейшина (малагасийск.).

В сущности, это те же выходные, только замаскированные традициями. Не будь я прав, разве могли бы малагасийцы справиться с такой огромной работой — строя пангаланы, перепилить горы, — убежденно сказал Рафиринги, указывая рукой вперед.

За разговором я и не заметил, как мы приблизились к узкому скалистому перешейку, перпендикулярно подходившему к берегу. Раньше бецимисарака плавали по лагунам, перетаскивая пироги через них волоком. Однако уже при Радаме I были предприняты попытки пробить канал через перешейки. С тех пор эти работы систематически расширялись, что и привело к созданию единого водного пути, идущего в пяти — десяти километрах параллельно побережью. Так, порою в результате приказа властей, но сплошь и рядом по инициативе с мест, традиционными орудиями, без применения каких бы то ни было механизмов, была создана эта единственная в своем роде водная артерия — каналы пангаланы, — голубой дорожкой протянувшаяся от Таматаве до Фарафанганы, на целых шестьсот сорок километров.

Между тем солнце палило нещадно, и я, опасаясь, что моя кожа станет вскоре краснее рубашки, извлек ее из сумки. Почти одновременно лодочник воткнул свой шест в дно и заявил Рафиринги решительный протест по поводу моих действий.

— Он говорит, что рубашку можно будет надеть тогда, когда зайдет солнце, — перевел он. — Если же, ранхаги, тебе очень жарко, то вот за тем мысом будет небольшая деревушка Топиана. Там можно будет достать несколько листьев равеналы, из которых получится неплохой навес от солнца.

Так мы и сделали. Сидя в тени и думая, что не так, так эдак равенала оправдывает название «дерева путешественника», я теперь мог с комфортом наблюдать за проплывающей мимо прибрежной жизнью. Кроме того, малагасийцы понакупили в деревне какой-то еды, я извлек свои запасы, и мы, собравшись под равеналовым тентом, устроили небольшое пиршество.

Главным блюдом, принесенным из Топианы, оказались попой — тестообразная масса из таро. В рационе бецимисарака клубни таро, нередко превышающие весом один килограмм, играют почти такую же роль, как рис — у остальных малагасийцев. Для приготовления попой женщины отваривают свежие клубни, затем разминают их в ступе, заквашивают фруктовым соком и дают постоять день-два. Получается нечто вроде теста, которое затем несут на берег реки, где тщательно промывают. Лодочник не смог объяснить мне, зачем это делается. Скорее всего, многовековой опыт подсказал женщинам,

что таким способом из млечников таро вымываются органические кислоты, раздражающе действующие на слизистую рта.

Промытые попои раскатывают на камнях, дают им «подойти» на солнце, затем заворачивают в банановые листья. Приготовленное таким образом блюдо можно есть либо тотчас же, сдобрив его соком ананасов, либо через два-три дня, когда попои начнут бродить, приобретя кисловатый вкус. Скажу только, что первое мое знакомство с малагасийским попои приоткрыло меня к этому блюду, которое легко усваивается в жару и никогда не приедается.

Таро, более известное под названием «колокозия», быстро дичает, оставаясь расти там, где когда-то находилось жилище. Поэтому на побережье, где крестьянин редко задерживается на одном месте больше двух-трех лет, это растение повсеместно встречается и среди дикой природы.

Только «дикий» ли? Еще в начале прошлого века все путешественники, посещавшие восточное побережье острова, называли его царством лесов. Теперь лес здесь кончается у границ Плато, а все прибрежные равнины покрывает савока — формация, развивающаяся на Мадагаскаре повсюду, где первозданную древесную растительность уничтожает огонь, расчищающий человеку землю под поля. На смену ценнейшим лесам из палисандров, тамарисков, камедных и каучуконосов приходит скучная высокотравная саванна, однообразие которой лишь кое-где нарушается веерами равенал или зелеными рощами бамбуков. Традиционная подсечно-огневая система, или тави, продолжает опустошать остров. Только в 1968—1972 годах пожарами было выжжено около одной седьмой территории всей страны. Понимая всю серьезность создавшегося положения, власти стараются регламентировать дальнейшее распространение тави. Однако в 1973 году разрешений на право выжигать растительность было выдано на площадь в триста пятьдесят тысяч гектаров, а сгорело два миллиона гектаров — лесов, саванн, степей. Мы плывем по пангалану уже целый день, а справа от нас, где на горизонте горной стеной высится уступ Плато, то здесь, то там пылают сполохи пожаров.

В одном месте огонь охватил савоку так близко от воды, что в подымавшемся от земли желтом дыму без труда можно было различить полицейскую машину и несколько человек, энергично размахивавших руками. Я попросил остановить пирог и направился к месту происшествия.

Рафиринги, быстро войдя в курс дела, объяснил:

— Местный префект объезжает округ, выясняя, есть ли у крестьян разрешение на право выжигать растительность.

Крестьянин же говорит, что никто не может запретить ему просить огонь о помощи, потому что разана обрабатывали эту землю именно так, и поэтому он должен делать то же самое.

— Почему здесь пылает огонь, если еще задолго до наступления сезона дождей я собирал всех крестьян и объяснял им: впредь, чтобы призвать на помощь огонь, надо получить бумажку с разрешением, — строго говорит префект.

— Не выжжешь поля — не соберешь риса, — поговоркой ответил крестьянин. — Не соберешь риса — не накормишь детей. Бумажкой сыт не будешь.

— Если нет бумажки, значит, ты поджег поле без разрешения и будешь платить большой штраф.

— Но ведь я уже с самого начала сказал, что не поджигал поля и поэтому не должен ничего платить, — довольно дерзким тоном ответил ему крестьянин.

— Тогда откуда же здесь огонь? — упорствует префект.

В разговор вмешивается стоявший все это время в стороне старик, наверное, отец главного спорщика.

— Тампуку¹, ты же сам из крестьян. Так неужели только потому, что в дневное время ты надеваешь эту красивую форму, ты забыл, почему по ночам нередко загораются наши поля?

— Почему же? — смягчился полицейский.

— Потому что наши разана, прогуливаясь в темноте по своей земле, увидели, что нам пора выходить на поле, и дали нам об этом знать. Когда утром мы проснулись, савока уже горела, и мы поняли, что пришла пора браться за дело.

— Значит, ты, ранхаги, утверждаешь, что это будущее поле подожгли разана? — серьезно спрашивает полицейский.

— Конечно, тампуку.

— Ну что ж, так бы сразу и сказали, — облегченно вздыхает он и записывает что-то в большом грессбухе, лежащем на капоте автомашины. — Хорошего вам урожая на этом поле.

Я подошел к полицейскому, представился и спросил, сколько пылающих участков он уже посетил.

— Езжу с самого восхода солнца. Так что объехал больше сорока полей.

— И у многих крестьян были необходимые бумаги?

— Нет, ни у кого.

— Тогда многим, наверное, пришлось уплатить штраф?

¹ Тампуку — форма уважительного обращения к мужчине (*малагасийск.*).

— Нет, только одному. Я застал нарушителя как раз в тот момент, когда он разбрасывал по земле пылающие головешки.

— А что же остальные? — удивился я.

— У троих участки загорелись от того, что ветер занес искру от соседей. Всем же остальным, как мне удалось выяснить, савоку среди ночи подожгли разана, — произнес он, удовлетворенно похлопав рукой по гроссбуху.

Когда мы вернулись к пироге, лодочник, посмотрев на солнце, добродушно обратился ко мне:

— Вот теперь, если вазахе холодно, он может надеть свою красную рубашку. Солнце легло — запретах конец.

Однако солнце могло бы и поторопиться. С непривычки я обгорел, а голова раскалывалась от боли. Пускаться в таком виде в долгий обратный путь на пироге я не хотел и решил, воспользовавшись предложением префекта, добраться с ним до Ватумандри.

— Скажи спасибо, ранхаги, что все кончилось так, а не хуже, — напутствовал меня на прощание лодочник. — А все почему? Потому что ты начал собираться в путешествие в среду, а сегодня нацепил на себя совсем не ту рубаху...

Фукунулуна¹ — община свободных

Старый учитель Разанампарани, в дом к которому на ночь привез меня префект, так объяснил происхождение названия Ватумандри:

— Не то сказка, не то легенда бецимисарака рассказывает, что в былые времена, когда вода в море была сладкой, жил на Мадагаскаре добрый великан Дарафифи. По просьбе жен своих Разуабе и Разуамасаи отправился он за солью по другую сторону моря, купил ее там, насыпал в огромный мешок, привязал его к бамбуковой палке, а к другому ее концу приделал громадный камень, чтобы соль не перевешивала. Но когда Дарафифи вернулся на остров и с тяжелой ношей начал высаживаться на берегу, то палка сломалась. Соль упала в море, и от этого вода в нем навсегда стала соленой. А камень, вон тот, что черным утесом возвышается у берега, лежит и по сей день. С тех пор эта деревня, ныне, правда, именуемая городом, носит название Ватумандри. Потому что «вату» по-малагасийски означает камень, а «мандри» — неподвижный.

¹ Фукунулуна — традиционная крестьянская община, на базе которой создаются кооперативы (малагасийск.).

— Но на этом злоключения Дарафифи не кончились, — продолжал старик. — Вернувшись домой, он узнал, что жены посылали его за солью, чтобы, оставшись одним, поблудить с соседом. Когда великан увидел это, он бросил жен в озера, которые прежде подарил им, чтобы женщины могли выращивать рис. Эти озера — Разуабе и Разумасаи. Если бы мы повстречались раньше, ты обязательно остановился бы у этих озер на пути из Антананариву в Таматаве. Они очень красивы, а в хорошую погоду на дне их видны хижины, в которых живут женщины. Только вот беда: ветер с гор всегда дует над озерами, и поэтому самих женщин никак не разглядишь, — лукаво улыбнулся он.

Но и на этом не кончается сказка. Говорят, что, оставшись без жен, Дарафифи рассвирепел еще больше. В гневе он забрался на высокую гору, начал колоть ее и бросать камни вниз. Некоторые из них превратились в холмы и утесы, другие провалились глубоко в землю, после чего образовавшиеся воронки заполнила вода: так возникли лагуны. Бецимисарака говорят, что это Дарафифи придал земле ее нынешний вид. Поэтому все сорок три года, что я преподавал в школе, мне было очень легко обучать моих учеников географии родного края. Я просто рассказывал им интересные сказки...

Сказки сыпались из уст Разанампарани, как из рога изобилия. Они были припасены у учителя на все случаи жизни, и поэтому даже тогда, когда речь за ужином у нас зашла о делах сегодняшних и вполне реальных, старик вновь вернулся к сказкам.

— Вы вот все толкуете о фукунулунах, ищите в них будущее нашей деревни, а следовательно, и будущее всего Мадагаскара, спорите о том, поверит ли крестьянин в то, что новая фукунулуна поможет создать ему хорошую жизнь. А спорите напрасно. И знаете почему? Да потому, что малагасиец подсознательно верит в фукунулуну. С детства вместе с материнским молоком и бабушкиной сказкой он усвоил эту веру. Ты, Вони, помнишь о чем тебе рассказывали мать и бабка? — обратился он к своему сыну, тоже учителю.

— Помню, ингахи¹, — почтительно ответил сын.

— Ну, тогда я напомним нашему гостю, — довольно произнес он. — Рассказывают, что давным-давно, когда еще не было людей, на небе жил бог Занахари. Он создал все, кроме Затаву, который появился просто так: вырос из земли. И на человека-

¹ Ингахи — уважительная форма обращения к старому мужчине (малагасийск.).

то он не был похож, потому что имел всего лишь один глаз, одно ухо, одну ногу и одну руку. Именно этой рукой Затаву как-то от нечего делать налепил из земли множество фигурок, а Занахари оживил их, подув с неба. Так появились люди — одни белые, другие черные.

Было их так много, что вскоре они поели все, что ранее создал Занахари, начали драться и враждовать друг с другом за последние крохи еды. Не понравилось это Занахари и решил он послать людям дождь, смешанный с зернами риса. «Сажайте вместе рис, делайте плотины, обрабатывайте землю, из которой вышел Затаву и из которой он сделал вас. Только на своей земле вы будете фукун-улунами», — сказал тогда Занахари. А знаете, что означало у древних малагасийцев слово «фукунулуны»? Нет, не знаете. А означало оно — «свободные»!

Так и поступили малагасийцы — принялись сообща сеять рис. И эта их община со временем получила название фукунулуна — «община свободных людей». А короли, аристократы и рабы появились гораздо позже. Ведь недаром же другая древняя сказка начинается так: «Короли не упали с неба и не выросли из земли, как цветок. Короли произошли от простых людей».

— Так что вот дела-то как обстоят, — назидательно заключил Разанампарани. — Наш крестьянин знает силу фукунулуны и верит в нее. Надо только помочь ему укрепить общину, лучше приспособить к сегодняшнему дню. Вот так-то.

Старик рассказал в тот вечер много интересного. Еще во времена царствования Андрианампуйнимерина, в XVIII веке, земля на острове стала собственностью короля. Подавляющее большинство свободного населения — крестьяне-хувы, получали землю лишь в пользование. Таким образом, классическая община, в которой земля принадлежит издавна поселившимся на ней и обрабатывающим ее крестьянам, община, которая существует в большей части Африки и по сей день, в ряде районов Мадагаскара начала делаться достоянием истории уже в прошлом веке. В иных условиях на полученной у короля земле могли бы хозяйничать крестьяне-единоличники, а община повсеместно ушла бы в небытие. Однако мадагаскарская специфика уготовила ей иную судьбу. Классическая община, где главную роль играют семейные связи и расселение по родственному признаку, сделала качественный виток и в своем развитии поднялась на ступень выше. Именно так и появилась фукунулуна — община, в которой крестьяне объединены не по родственному, а по территориальному признаку.

В значительной степени подобное развитие общины было

подсказано... природой. На огромном, редко населенном острове, где и сегодня обрабатывается едва ли три процента территории, не было недостатка в земле. В то же время рабочих рук часто не хватало, поскольку скорее скудные, чем плодородные почвы Плато дают хороший урожай лишь за хорошую их обработку. Специфика же такой трудоемкой культуры, как рис, требовала дополнительных рук — и для поддержания террас, и для строительства ирригационных сооружений. Все эти работы, непосильные для крестьян-единоличников, и заставляли их работать сообща, одновременно побуждая принимать в свою семью трудоспособных чужаков — бывших рабов, разорившихся ремесленников или бежавших от разрушительного циклона жителей побережья. По мере того, как чужаков этих делалось все больше, родственные связи в общине теряли свое значение, крестьяне привязывались к фукунулуне территориально.

Обычно, когда речь идет о развитии общины, употребляют слова «постепенно», «по мере того, как...», «медленно, но все же...». На Мадагаскаре же фукунулуна, отражая и фокусируя стремительное развитие острова в XIX веке, делала беспрецедентные прыжки в своем развитии. Усиление центральной власти на Руве привело к быстрому превращению общины в орудие эксплуатации хувов аристократами — андрианами. Из Тана по всей стране рассылались бесчисленные декреты о новых видах барщины. Теперь уже фукунулуна не мог уйти из общины в город, не заплатив налога. В 1884 году королевский указ «Фенекем пукунульна» — единственный в своем роде «Устав общины», появившийся в Африке в прошлом веке, до предела сократил былые права членов фукунулуны, превратив ранее выборных мпиадидов¹ в чиновников, назначаемых правительством. Во многих районах острова власти уготовили мпиадиду совершенно необычную роль: заставлять крестьян выращивать на своих хетрах новые для них товарные культуры. Тем самым фукунулуна втягивалась в мировой капиталистический рынок...

— Казалось бы, трудно было тогда крестьянину в фукунулуна? — вслух подумал я. — Бежать бы ему куда-нибудь в горы. Ведь именно концентрация населения в общине помогла французам поставить крестьян под свой контроль.

— Бежать из фукунулуны? — иронически посмотрев на меня, покачал головой Разанампарани. — А могилы, а земля предков? Малагасиец скорее ляжет в нее сам, чем покинет ее. А рис, который не вырастишь без помощи соседей? А инте-

¹ Мпиадид — старейшина (малагасийск.).

ресы свободы родины нашей, которую нельзя было вернуть, если бы мы все разбрелись по горам и лесным чащобам?

— Все, что было при французах, прошло перед моими глазами, — подумав, продолжал учитель. — Французы боялись фукунулуны, боялись заложенных в ней демократических традиций, тех сил, которые община нам придавала. Ведь именно организация фукунулуна стала низовым звеном нашей освободительной борьбы. Но и ликвидировать фукунулуны именно по тем причинам, которые вы уже назвали, французы не хотели. Поэтому они начали приспособливать ее к своим нуждам. В чем это выражалось? Ввели коллективные отработки — строительство дорог, рубку леса, рытье прудов, на которые крестьян сгоняли целыми фукунулунами. Придумали новые налоги, зарабатывать деньги для выплаты которых на европейские плантации вербовали все мужское население общины. В Имсрине всюду назначили новых старост, которые работали как колониальные агенты. Здесь же, у бецимисарака, получилось несколько по-иному.

— Отец, гостю, наверное, будет интересно узнать, что на побережье, где рис возделывать не так тяжело, как на Плато, крестьян в общину объединяли пангаланы, — подсказывает Вони.

— Да, это так. Издревле здесь поняли, что каналы — это необходимость. А поскольку в одиночку их не построишь и от песка не убережешь, бецимисарака тоже держались за фукунулу. Во многих районах побережья во главе общин были оставлены старые мпиадида. Колониальные законы превратились для них в своего рода подпорку, с помощью которой можно было грабить соплеменников не только для обогащения французов, но и для личного блага. Так действовал и здешний мпиадид: требовал отдавать ему часть урожая, брал взятки с тех, кто хотел увильнуть от отработок, оставлял у себя в кармане часть налогов.

— Наверное, эти люди, сколотив немалое состояние, и превратились в первых малагасийских буржуа в округе Ватумандри? — спрашиваю я.

— Что верно, то верно. В первые годы после достижения независимости многие, очень многие мои бывшие ученики приходили ко мне и спрашивали: «Как же это так, ингахи? Наш остров свободен, а все те, кто сотрудничали с оккупантами и вместе с ними сосали кровь нашего народа, процветают и не боятся своего прошлого». Я разделял их мысли, понимал причины кризиса надежд, который переживала молодежь в цираановские времена, и, чтобы подбодрить моих бывших учени-

ков, я им рассказывал сказку. Редкая, видать, это сказка, потому что я ее запомнил с детства от бабки и с тех пор ни от кого не слыхал.

Говорят, что давным-давно, когда кругом были леса, появился в наших краях злой человек. Но, поскольку был он знатного и всеми уважаемого рода, люди слушались его. А он, пользуясь этим, то чужую землю своей объявит, то скот у крестьян заберет, то красивых девушек к себе в дом заманит, а потом в рабство продаст. Все богаче и важнее становился этот человек и, наконец, приказал называть себя андриамбахуаки¹. С простыми людьми он совсем здороваться перестал, а своими друзьями сделал тех, кто у него девушек покупал и большие деньги ему платил.

Долго люди думали, как избавиться от андриамбахуаки, и наконец решили: богатству и силе с мудростью не справиться. Тогда пригласили они к себе Фаралахи, умного, смелого и находчивого юношу, готового всегда прийти на помощь тем, кто в беде.

Выслушал Фаралахи их и сказал: «Сильных побеждает стыд, а слабых — страх. Когда следующей ночью андриамбахуаки пойдет разговаривать со своими предками, я, спрятавшись по-соседству, скажу ему голосом разана: «Одумайся, сын мой! Жадность твоя, ложь твоя, несправедливость твоя возмущает нас, проживших честно и любимых всеми».

Так и сделал умный Фаралахи. Причем сказал он это так громко, что услышал его не только андриамбахуаки, но и сам бог Занахари. Потому что знал Фаралахи: кто обижает слабых, будет обижен сильным.

На первых порах испугался богач, здороваться начал с простыми людьми и даже девушек, которых в рабство хотел продать, отпустил на свободу. Однако, когда вор ворует, у него страх пересиливается жадностью. Вскоре забыл он о том, что своей ложью и жадностью беспокоит предков, и принялся за прежние беззакония.

И тогда возмутился Занахари. Наслал он на побережье сильный ветер и ливни. Дождь затопил деревни, а ураган уничтожил урожай на полях.

И стали тогда андриамбахуаки и простые люди вновь равны. Только простые люди работали сообща, помогали друг другу и вскоре построили себе новые дома и разбили новые рисовые поля. А андриамбахуаки, у которого, как выяснилось, нет ни силы, ни стыда и которого никто теперь не слушался,

¹ Андриамбахуаки — буквально: «господин людей» (малагасийск.)

остался совсем один. Проходил как-то мимо Фаралахи и сказал людям: «Не обращайтесь больше внимания на этого негодяя. Высокое дерево не боится урагана. Гнилушка рассыпается от простого порыва свежего ветра».

— Малагасийцы верят своим сказкам, потому что нередко они сбываются, — мудро улыбнулся старый Разанампарани. — Очистительный ураган уже пронесся над нашим островом. Теперь над Мадагаскаром дуют свежие ветры...

Остров пиратский Сент-Мари

Ватумандри — совсем никудышный порт, без причалов и пирсов. Но на его открытом рейде, прямо за камнями великана Дарафифи, я еще с утра заметил три морских баркаса. Между ними и берегом совершали бесконечные челночные операции десятки пирога, то забиравших с баркасов какие-то ящики, то подвозивших к ним мешки с кофе. В надежде сделать пару хороших фотографий грузчиков в ярких тюрбанах на головах, я на пироге подплыл к одному из баркасов, обменялся приветствиями с капитаном и вскоре уже сидел в его крохотной каюте.

Рандриа — так звали капитана, пригласившего меня отведать кальмаров, вареных в каком-то особом перечном соусе: совсем не остром, но очень ароматном. Помимо кальмаров он потчевал меня морскими историями о пиратах, переплетавшимися с экскурсами в прошлое местных племен бецимисарака и рассказами о приключениях современных кладоискателей. Я подумал, что хорошо было бы послушать капитана подольше, посетить с ним пару прибрежных городков. А когда же выяснилось, что капитан отправляется на остров Сент-Мари, я, не задумываясь, пересел на его баркас.

— Это хорошая идея, — расставляя мне на корме палатку для ночлега, сказал Рандриа. — Сент-Мари — отличное место. А если там все еще ошивается Розовый Дик, то будь уверен: свою записную книжку с острова ты увезешь исписанной от корки до корки.

— А кто это, Дик? И почему он «розовый»?

— Американец, ищет клады. Приехал совсем белый и сразу обгорел под нашим солнцем, облез и покрылся веснушками. Островитяне смеялись над его видом и прозвали «розовым».

«Розовый» кладоискатель — это, конечно, интересно. Однако, не будь его, я все равно с нетерпением ждал бы встречи с Сент-Мари — крохотным островком у восточного побережья

Мадагаскара, роль которого в истории «Великого острова» и западной части Индийского океана отнюдь не пропорциональна его размерам.

...В конце XVII века, в преддверии завершения войн за испанское наследство, морские державы Европы объявляют крестовый поход Вест-Индской республике пиратов. Флибустьеры, корсары и каперы, с помощью которых европейские короли еще совсем недавно мешали друг другу закрепиться в морях Нового света, делаются для них лишь помехой. Королевские флотилии то и дело устраивают охоту на корабли под черным флагом. И многие из них, дабы не пойти на дно Карибского моря, в поисках нового Эльдорадо направляются в Индийский океан. Там, на восточном побережье Мадагаскара, поблизости от путей, где шли торговые галеры, груженные перцем, корицей, гвоздикой, слоновой костью, камфорой, шелками, парчой, драгоценными камнями и фарфором, рождается новая пиратская республика. Однако, опасаясь воинственных бецимисарака, которым могло не понравиться нашествие непрошенных гостей, пираты создают свою вольницу на Сент-Мари, отделенном от Мадагаскара узким проливом. Завязывают первые контакты с туземцами, женятся на малагасийках, становятся «министрами» прибрежных феодалов.

Эти контакты с пиратами оказали огромное влияние на историю и культуру прибрежных народов, а на Сент-Мари привели даже к появлению племени занамалата — «потомков мулатов», в жилах которых смешалась кровь их матерей — бецимисарака, и отцов — европейских пиратов. Браки на «высшем уровне», очень частые между местными «королевами» и вожаками флибустьерских шаяк, привели к тому, что вскоре во главе племенных объединений, живущих к северу от Таматаве, почти повсеместно стали полукровки.

Нередко флотилии занамалата беспокоили самого Мэтьюза Джеймса Плантейна — одного из любопытнейших персонажей пиратского мирка Мадагаскара. Награбив огромное состояние на Ямайке и у берегов Западной Африки, этот жестокий авантюрист решил уйти на покой и поселился на «Великом острове», в долине реки Антанамбалана. Живших по ее берегам бецимисарака он превратил в своих рабов, которые построили ему роскошный замок-крепость, обрабатывали поля и отражали набеги соседей. Два раза в год Плантейн посылал на остров Реюньон или в порты Персидского залива корабль, доставлявший ему боеприпасы для армии, которой командовали шотландец Джеймс Адера и датчанин Ханс Бурген, а также шелка, драгоценности и одежды для гарема. В нем содержалось около

ста малагасиек, самым любимым он дал английские имена: Сю, Пегги, Молли и Кэйт.

Но не они, а другая женщина погубила стареющего пирата. От своего «генерала» Бургена Плантейн как-то прослышал о красавице Элеоноре, внучке «короля» города Мессалидж, полукровки Дика. Совершив инкогнито путешествие в Мессалидж, муж Сю, Пегги, Молли и Кэйт влюбился в Элеонору.

Он направил Дикю написанное выпранным языком и чудом сохранившееся до наших дней послание, в котором просил руки внучки. Царек было согласился, но его советники-европейцы, имевшие с Плантейном старые счеты, отговорили Дика. Оскорбленный возлюбленный, поставив под ружье свое тысячное войско, пошел на Дика войной. Обидчик был разбит, прекрасная Элеонора вместе с неизвестно от кого нажитым ребенком похищена. Плантейн распустил гарем, Сю и Молли отдал Адере, а Пегги и Кэйт — Бургену. Была сыграна пышная свадьба, на которой гости опустошили тридцать бочек рома.

Однако мстительный Плантейн не чувствовал себя счастливым. Его мучила мысль о том, что соседний король, малагасец Келли, который обещал поддержать его в борьбе за Элеонору, но в последний момент выступил на стороне Дика, остался ненаказанным. Посвятив лишь несколько дней любви и пьянству, он бросился громить королевство Келли. Огню и мечу были преданы подвластные ему деревни. Но сам Келли ускользнул от кары и спрятался за тысячу сто километров от Плантейна, на крайнем юге острова, во французской крепости Форт-Дофин.

Тогда молодежен-пират обращается за помощью к друзьям с Сент-Мари, снаряжает целую флотилию и отправляется крушить Форт-Дофин. На этот раз Келли и его белые советники попадают ему в руки. Деда своей возлюбленной он бросает на съедение муравьям, а европейцев отправляет на тот свет старым малагасийским способом — травит ядом тангеном.

Довольный он возвращается в свой замок, но вскоре понимает, что одержал пиррову победу. Оба его генерала убиты, два судна потоплены пушками Форт-Дофина, а французы готовятся к карательной операции. Самым опасным, однако, оказалось то, что бецимисарака, вовлеченные в кровавые интриги Плантейна, начали выказывать неповиновение. Сидеть же в осаде в замке, опасаясь в любой момент быть отравленным малагасийцами, он не хотел. Поэтому, нагрузив на корабль самое ценное добро, включая Элеонору, Плантейн отбывает на службу к малабарским князьям-корсарам.

...Был прилив, когда мы подходили к Сент-Мари. Гигант-

ские голубые валы, в неистовом бешенстве обрушиваясь на коралловый риф, разбивались о него, белели от пены и неслись дальше, готовые в любой момент сокрушить казавшийся совершенно беззащитным от них островок. Сначала вдоль его восточного побережья за полосой желтых пляжей тянулись заросли невысоких кустарников. Но вскоре пляжи исчезли, и прямо к воде шагнули рощи кокосовых пальм, порою так низко склонявшиеся к океану, что волны обдавали их соленым душем.

Что же еще повидали берега, мимо которых плывет наш баркас? Больше что-то я ничего не могу припомнить и обращаюсь за помощью к Рандриа.

— Если бы вы задали такой вопрос кому-нибудь из старожил Сент-Мари, то обязательно получили бы ответ: «Происходило здесь многое, но все из-за женщин». Любвеобильные принцессы занамалата, которые порою влюблялись в пиратов за их бархатные камзолы и отдавали им в приданое целые куски своих владений, сослужили своему народу плохую службу. Ведь именно так «французской территорией» стал Сент-Мари.

— Никогда не слышал об этом, — признался я.

— Бетти, королева занамалата, была всему виною. Она по уши втрескалась в знаменитого французского авантюриста капрала Ля Бигоня. Капрала на первых порах совершенно не прельщала судьба местного царька. Однако, когда Бетти пообещала принять французское подданство и подарить свой остров Франции в обмен на руку и сердце блестящего моряка, на Ля Бигоня надавило начальство, и он в 1754 году пошел под венец. Франция же с тех пор, обосновавшись на Сент-Мари, превратила остров в опорный пункт интриг против Мадагаскара.

— Малагасийцы называют этот остров «Длинным». У бецимисарака есть легенда, рассказывающая о том, что после того, как бог Занахари завершил создание Мадагаскара, у него осталось немного песка и камней. Присев отдохнуть, он от нечего делать размял этот материал между пальцев и скатал из него нечто вроде длинного валика. Потом, перед тем, как приступить создавать новые материки, он бережно опустил этот валик в океан. Так и образовался «Длинный остров» и узкий пролив, по которому мы сейчас плывем.

— Когда причалим к берегу? — поинтересовался я.

— Глубокой ночью, — ответил капитан. — Мы обойдем весь остров с востока, сбросим несколько ящиков в Амбодиатафа, а оттуда повернем на юг вдоль западного побережья.

Было очень заманчиво простоять всю ночь на палубе,

вглядываясь в овеванные романическими былями и небылицами берега Сент-Мари, попробовать воссоздать в своем воображении еще несколько пиратских историй. Однако я зверски устал и явно не мог заставить работать фантазию. Забравшись к себе в палатку, я вскоре уснул и проснулся лишь тогда, когда баркас бросал якорь в Амбодифотатре — «столице» Сент-Мари.

Было около четырех часов утра. На безоблачном небе, по которому ветер гнал легкие облачка, плыл перевернутый полумесяц и мириады звезд. А по тихому, едва плещущемуся океану плыла луна неперевернутая и мириады огней. Это в свете факелов ловили рыбу островитяне.

— Не правда ли красиво? — почти шепотом спросил подошедший сзади Рандриа. — В такие тихие ночи океан нередко выплескивает на берег драгоценные камни. Некоторые говорят, что они из пиратских кладов, размытых водой. Но занамалата верят, что это — окаменевшие отблески звезд.

Восходящее солнце не нарушило моего поэтического восприятия этого райского уголка, а лишь помогло понять, почему флибустьеры, имевшие в XVII веке возможность выбрать себе в южных морях чуть ли не любой остров, облюбовали именно этот. Пятидесятитрехкилометровое восточное побережье Сент-Мари, принимая на себя все удары Индийского океана, как бы обеспечивает безопасность и покой западного. Здесь почти всегда безветренно и тихо, небо соревнуется в голубизне с океаном, а природа дарит человеку все то, что создано ею в тропиках.

От спокойных бухт и заливов, где некогда стояли пиратские шхуны, а сейчас сантамарийские мальчишки соревнуются в ловле сачком ярких коралловых рыбешек, расходятся тропинки, ведущие в глубь этого острова, почти нигде не превышающего в ширину пяти километров. Порою тропинки эти превращаются в подлинные «туннели», проложенные в сплошном зеленом массиве пальм, хлебных деревьев, равенал и папоротников, перевитых лианами и усаженных цветущими орхидеями. Коегде в это буйство зелени вкраплены белые пятна домов зажиточных фермеров, но чаще всего — желтые бамбуковые хижины на сваях, в которых живут крестьяне.

На ста семидесяти шести квадратных километрах здесь живет девять тысяч человек, из них примерно шесть тысяч — занамалата. А это значит, что в жилах каждого из трех островитян течет кровь морских разбойников.

Течет, но, на мой взгляд, не играет. Занамалата — люди спокойные, приветливые и дружелюбные, не выказывавшие никаких намерений напасть на наш баркас или обратить меня

в рабство. Единственный отголосок флибустьерской эпохи в их сегодняшней жизни — это любовь к азартным битвам быков, которые устраивают по воскресеньям и которые отдаленно напоминают буйные игрища и корриды времен расцвета пиратских республик. Раньше быков доставляли с пиратских судов. Теперь животных гонят с разных концов острова, а их битва превращается в соревнование южных и северных деревень Сент-Мари. Бой продолжается до тех пор, пока один из быков не убежит. Предварительно заключаются пари, люди впадают в азарт и бурно реагируют на бычьи баталии, которые порою продолжаются от восхода до захода солнца. А поскольку кровавого исхода здесь не бывает, то быков на крошечном острове для подобных соревнований пока хватает.

В будни занамалата выращивают гвоздику и иланг-иланг, ваниль, какао и рис, работают на фабрике эфирных масел и в порту, ловят рыбу, а в свободное от всего этого время ищут клады своих предков. Отсюда, как мне показалось, их настороженность к любым новичкам на острове, в которых они, очевидно, не без основания видят прежде всего искателей сокровищ, а следовательно, и конкурентов...

Кладонскатели и последний король

Конкурентов было немало, потому что вдоль бухточек и заливов мне не раз попадались хипповатого вида личности, которые, перекидываясь фразами на английском, голландском, итальянском и шведском языках, с остервенением рыли песок. Однако по сравнению с Розовым Диком, которому меня все же представил Рандриа, они казались жалкими дилетантами.

За шесть недель, прошедшие с тех пор, как Рандриа в последний раз заходил на Сент-Мари, Дик перестал казаться розовым, поскольку отрастил бороду и шевелюру, скрывшие все его веснушки. За это же время он нанял дюжину рабочих-малагасийцев и, распределив их на группы, приступил к поискам кладов сразу в трех местах. Все они были неплохо технически оснащены, а палатка Дика, разбитая на мысе королевы Бетти, напоминала штаб генерала. Она была завалена картами, старыми книгами, посвященными пиратам, и множеством микрофильмов, на которых были пересняты редкие документы и статьи со штампами Библиотеки конгресса США и Британского музея. Как видно, Дик готовился к экспедиции серьезно и был уверен в том, что затраты свои оправдает.

Знакомство мое с Диком проходило нелегко. Сначала он

встретил меня подозрительно и развязал язык только тогда, когда убедился, что я не привез с собой лопат и вряд ли вскоре вообще вернусь на «остров сокровищ». Потом, когда в Дике проявилась свойственная американцам общительность, чуть было не обиделся я. Он предложил «спрыснуть» наше знакомство и, зайдя в палатку, вскоре вынес оттуда две кружки с каким-то питьем. Я механически заглотнул его и тут же с отвращением выплюнул, частично на Дика.

— Ха-ха-ха! — загоготал он. — Это же «коктейль пиратов». Такой здесь пьют уже три сотни лет, скрепляя знакомство и дружбу. Две части рома, одна часть морской воды и столовая ложка пороха. Ха-ха-ха! Пей до дна, парень!

— Пей сам, — со злостью ответил я, намереваясь предпринять демарш и удалиться.

— Клянусь святым Захарием¹, что выпью, — давась от хохота, ответил Дик и опорожнил кружку с пиратским зельем.

Обижаться теперь было глупо. Я остался и с интересом выслушал рассказ кладоискателя.

— Крохотный островок Рамака, или Мадам, что стережет вход в бухту Святой Марии, вселяет в меня больше всего надежд. Заправляли там американцы, и мне удалось напасть на следы документов, которые уже почти привели меня к цели. Клянусь Захарием, но не я буду, если не перерою всю Рамаку и не добуду ее драгоценные внутренности! — потрясая кружкой, в которой теперь плескался чистый ром, сказал Дик.

— Разве в этих водах промышляли американские пираты, которые могли оставить что-нибудь крупное? — удивился я.

— Американцы занимались здесь иным делом. Они скупали награбленное пиратами добро и продавали другим, а также брали на хранение у них золото и драгоценные камни. Возглавляла этот бизнес компания «Филиппс Брос». В тысяча шестьсот девяносто первом году она послала на Мадагаскар своего агента Адама Балдриджа. Разбирая как-то семейный архив, я узнал, что старик Балдридж был моим предком. Он обосновался на Рамаке и вскоре стал настоящим банкиром пиратов. Старик хорошо вел свои grossбухи.

Дик уверенным жестом извлек из груды бумаг на полу палатки нужную фотокопию и протянул ее мне.

— Вот, смотри. В октябре тысяча шестьсот девяносто первого года к Адаму на Рамаку пожаловал парусник «Холостяцкая радость», на котором было восемьдесят пиратов. Эти ребята незадолго до того обобрали несколько арабских доу

¹ Святой Захарий — покровитель флибустьеров и кладоискателей.

и заработали по тысяче сто фунтов на человека. Их сдали на хранение Балдриджу. В октябре тысяча шестьсот девяносто второго года корабль «Нассау», семьдесят человек — по пятьсот фунтов. В августе тысяча шестьсот девяносто третьего года «Чарльз», шестьдесят пять человек — по девятьсот фунтов. Еще через два месяца «Амити», семьдесят человек — опять по тысяче сто фунтов. «Амити» командовал капитан Томос Тью — большая птица по тем временам. Он хотел обобрать Адама и вскоре вернулся на остров. Но то, что произошло потом, я расскажу только тогда, когда найду деньги старого Адама. Клянусь Захарием, никому и не раньше...

Теперь о втором месте... Оно связано с именем счастливчика Генри Эйвери. Клянусь Захарием, ты много знаешь про него. Так что как — покороче или подлиннее мне рассказывать?

— Подлиннее, — ответил я, потому что, хотя я и знал историю Эйвери по кличке «Долговязый Бен», выслушать ее вновь под небом Сент-Мари, где прошли лучшие годы знаменитого пирата, было очень заманчиво.

— О'кей, слушай. Как и любой приличный пират, Эйвери начал заниматься большим делом в Америке. У берегов Перу он поднял бунт на военном корабле «Карл Второй», овладел им и ушел в африканские воды. Там он обобрал португальский поселок на одном из Канарских островов, а в Гвинейском заливе взял в плен три английских корабля, доверху нагруженных слоновой костью, серебром, золотом и драгоценными камнями.

Окрыленный успехом, молодой пират направился на Сент-Мари. Сначала ветераны этой твердыни флибустьеров встретили неизвестного им выскочку в штаны. Однако вскоре его щедрость и отвага многим заткнули рот, и Эйвери сделался главой мадагаскарских пиратов. Он работал по-крупному в Красном море и Персидском заливе, где брал на абордаж богатые арабские и индийские суда.

Именно одна из таких операций помогла Эйвери оставить свое имя в анналах истории. В начале девяностых годов семнадцатого века он захватил корабль Великого Могола, потомка Тамерлана. На этом корабле из Мекки возвращались «сливки» делийского двора, сопровождавшие дочь правителя Индин. Эйвери женился на ней, оставив себе в качестве приданого огромный корабль Могола, а также найденные на нем полмиллиона фунтов.

— Где эти сокровища? — задумался Дик. — Известно, что в тысяча шестьсот девяносто шестом году Эйвери перебрался в Америку, а затем в Англию, где счастье покинуло его. Но

всего своего золота с Мадагаскара он не увез: припрятал на случай, если придется бежать назад. Найти его сокровища тяжело, потому что о них слишком много знают со времен Даниэля Дефо, описавшего одиссею Эйвери в своих книжищах.

Дик протянул мне два старых издания. «Жизнь и приключения славного капитана Сингльтона» — прочитал я на одном. «Король пиратов. Повесть о необычайных похождениях капитана Эйвери, названного королем Мадагаскара» — на другом.

— Да, это поискам не поможет, — посочувствовал я Дик.

— Зато другое подает надежды, — улыбнулся он. — Но это, парень, тоже только для Захария.

— Наконец, приступим к третьему месту, связанному с именами как Тью, так и Эйвери, но больше всего — с именем знаменитого неудачника Вилли Кидда, — продолжал Дик. — О нем рассказывают много глупостей. Треплются, что он был сказочно богат, хотя никто, кроме меня, пока еще не знает, откуда это богатство.

— Тогда бьюсь об заклад, что это тоже секрет, о котором можно знать только Захарию, — подзадорил я Дика.

— Нет, кое-что я тебе, уж так и быть, расскажу. Как раз в те годы, когда Тью наводил ужас на купцов Индийского океана, а Эйвери уже начинал подумывать о том, чтобы удалиться на покой, в Англии был образован синдикат, создатели которого решили погреть руки на обширных доходах флибустьеров Сент-Мари. Среди основателей этого синдиката каперов были верхи английской аристократии: лорд Орфорд — первый лорд Адмиралтейства, лорд Белламонт — губернатор Нью-Йорка, лорд-канцлер Сомэр, государственный секретарь лорд Родней, шеф юстиции лорд Шрезбэри и многие другие именитые виги.

Понятно, что сливки общества не могли быть замешаны в темных делах. Так, в их синдикате появился капитан Кидд. Ему был выделен корабль «Эдвенчериз», команда отборных головорезов, и дарована грамота Уильяма Третьего. Эта бумага даровала Кидду право пускать ко дну любое судно под флагом Франции, а также нападать на любой пиратский корабль. За каждого пойманного пирата Кидду было обещано лордами по пятьдесят, а за голову Эйвери и Тью — по пятьсот фунтов.

Но Эйвери откупился, а Тью надавал столько дельных советов, что Кидду стало ясно: головы старых пиратов, покоящиеся на их крепких плечах, приносят ему куда больше дохода, чем то, что обещали за них лорды.

Так Кидд потерял всякий интерес к делу, которое ему доверили создатели синдиката. Выведав «крепкие секреты» о богат-

ствах, спрятанных в земле, он начал избегать сражений с пиратами в океане. Пристав к мадагаскарскому берегу, он подговорил одного из местных вождей напасть на форт, созданный Адамом Балдриджем, находившимся в это время в Америке, сам же он, дабы дать возможность поживиться команде, направился на Лаккадивские острова.

Разграбив их, Кидд возвратился на Рамаку. Похитив клад, о котором ему сказал Тью, Кидд затем организовал «карательную» экспедицию против исполнявшего его волю вождя, избавившись тем самым от свидетелей. Когда на Рамаку возвратился Адам, все выглядело так, будто бы клад был похищен малагасийцами.

— Отсюда, наверное, и легенды об огромных богатствах этого неудачного капера? — спросил я.

— Это совсем не легенда, — отрицательно покачал головой Дик. — Я, конечно, рассказал не все, что знаю, но даже из сказанного ясно, что Кидд немало получил от Эйвери, а еще больше взял на Рамаке. Тью потом проклинал Кидда, обвиняя его в том, что тот лишил его всего. Он называл даже сумму, присвоенную Долговязым Беном: восемьсот тысяч фунтов золотом. Конечно, убегая с Мадагаскара и зная, как его встретят лорды, Кидд не стал брать с собой мешки с золотом. Он закопал их, и герои Эдгара По, которые выведены на страницах «Золотого жука», откопали не все сокровища Кидда. Да, я же забыл сказать, откуда все это мне известно. Другой мой предок был среди тех, кто послал Кидда на виселицу. А все остальное, парень, для Захария. Да и вообще, поклянись мне, что раньше как через пять лет ты не разболтаешь всего, что я тебе наговорил. Поклянись святым Захарием!

Клятву я дал, скрепил ее глотком пиратского коктейля, пожелал Дику успехов и, с его разрешения, задержался в палатке порыться в его коллекции пиратской литературы.

Мароанцетра — город камчатцев

Книг было много — записки капитанов, плававших в те годы вокруг Мадагаскара, руководства для кладоискателей и археологов, воспоминания остепенившихся пиратов и сборники легенд. Но что это? Неожиданное русское имя на тисненном золотом кожаном переплете: «Жизнь и удивительные приключения русского ссыльного Герасима Измайлова, бежавшего с Камчатки и рассказавшего о своей одиссее капитану Джеймсу Куку на острове Уналашка, а также не менее удивительная ис-

тория других русских, добравшихся до Мадагаскара». Книга была издана в Эдинбурге в 1802 году и повествовала о событиях доподлинных и действительно удивительных.

События эти не забыты у нас. Подробно и увлекательно в книге «Облик далекой страны» рассказал о них известный советский историк-африканист А. Б. Давидсон, который совместно с Макрушиным обобщил огромный исторический материал о первых русских, побывавших на Мадагаскаре.

Их удивительные приключения начались в 1771 году, когда с далекой Камчатки, из Большерецкого острога, бежал ссыльный колодник М. А. Бениовский. Бежал дерзко, угнав казенный галиот «Святой Петр», увезя в неведомые дотоле ни одному российскому подданному южные моря около ста человек — русских, камчадалов, коряков и алеутов.

Уже проходя острова Курильской гряды, некоторые из них, не веря, что найдут счастье на чужбине, начали обдумывать план возвращения на родину. Однако «измена» была раскрыта, главные «заговорщики» высажены на одном из необитаемых островов. Среди них был и Герасим Измайлов — тот самый, который через семь лет поведал великому Дж. Куку о бунте Бениовского.

Через Макао и Кантон необычные скитальцы отправились в обход Африки во Францию. 12 апреля 1772 года М. Бениовский записал в своем дневнике, который вел по-французски: «Бросили якорь на острове Мадагаскар, я сошел у форта Дофин. Губернатор Иль-де-Франса своими рассказами об особенностях этого огромного и прекрасного острова вызвал у меня желание ознакомиться и покорить его».

Можно лишь пофантазировать о том, что мог его величество Маэ да Лабурдене, тогдашний французский губернатор Маврикия, рассказать камчатскому беглецу, чтобы тот принял столь фантастическое решение: «покорить Мадагаскар». Однако, как бы то ни было, но, попав в Париж, предприимчивый Бениовский, многое приврав и приукрасив в своей одиссее, ухитрился склонить на свою сторону министра иностранных дел Франции, влиятельного герцога Д'Этийона. В конце 1773 года он во главе полка вольнонаемников отплыл на завоевание «Великого острова». Вместе с ним к мадагаскарским берегам вновь отправились одиннадцать камчатцев: два матроса — Потолов и Андриянов (с женой), сын священника Ичинского прихода Ваня Уфтюжанинов, ставший преданным учеником М. Бениовского, и семь «людей» купца Холодилова.

Дождавшись Дика, ходившего проверять, не натолкнулись ли его рабочие на бочонки с золотыми дукатами, я поинтересо-

вался, нет ли у него еще каких-нибудь материалов о Бениовском.

— Этот тип мало меня интересует, потому что больших денег у него быть не могло. Вот мемуары твоего соотечественника, — проговорил Дик, вытаскивая из груды книг в дальнем углу хижины два пухлых тома. Но учти. Бениовский очень много врал во имя собственной славы. Его рассказы, как правило, не сходятся со свидетельствами всех других его современников.

Я углубился в изучение записок Бениовского. Были они потрепаны, некоторые страницы затерты до того, что трудно читались. По всему было видно, что книгу эту не забыли до сих пор.

— Да, посмотри еще вот этот микрофильм, — нарушил мое чтение Дик. — И обрати внимание на автора переснятой на него машинописной рукописи. Робер Сюркуф — праправнук знаменитого корсара семнадцатого века, героя нашумевшего в свое время кинофильма «Сюркуф — гроза морей». Этот кинофильм надоумил меня познакомиться с потомками Сюркуфа, живущими сейчас на острове Маз. Они действительно дали мне ряд дельных советов и разрешили переснять эту копию писаний Робера.

Судя по предисловию к рукописи, Робер Сюркуф, получив от своего прапрадеда и его потомков немалое наследство и недвижимое на Сейшелах, в свободное от предпринимательства время занимался изучением истории островов Индийского океана. Причем использовал он для этого доселе ни для кого не доступные частные архивы, сохранившиеся у потомков пиратов на Реюньоне, Маврикии и Сейшелах. Не знаю уж почему, Робер Сюркуф не издал свою «Историю забытых островов», а его наследники ограничились лишь перепечаткой его рукописи на машинке. Даже беглое мое знакомство с нею дало возможность понять, что материалы, собранные праправнуком «грозы морей», представляют огромный интерес.

Одна из глав рукописи Р. Сюркуфа называлась «Пираты Сент-Мари и залива Антонжиль». История Бениовского пересказывалась в ней вскользь и лишь в той связи, что «доверенное лицо графа, молодой и хорошо образованный И. Уфтюжанинов сватался за дочь правителя Сент-Мари», но получил отказ, «поскольку местные князья-занамалата, находившиеся под влиянием французов, не хотели укрепления влияния Бениовского». И в другом месте: «Люди из Луисбурга, столицы Бениовского, были нередкими гостями на Сент-Мари», и город этот «находился на побережье залива Антонжиль, всего

лишь в трех сутках перехода под надутыми парусами от Сент-Мари»...

Вечером, в каюте Рандриа, я принялся за изучение старой лоции, которой пользовался капитан. Рантабе, Манамболоси, Амбанизана — все эти порты на берегу Антонжиля не сулили ничего интересного. Но вот: Мароанцетра! «В конце XVIII века, — утверждала лоция, — на берегу этой гавани стоял форт Луисбург, созданный русским авантюристом М. Бениовским, находившимся на службе у французской короны. Его остатки не сохранились...»

«Хорошо, — подумал я. — Но разве не интересно быть первым за целых два столетия русским, вступившим на эту землю после Бениовского и его спутников? Надо уговорить Рандриа посадить меня в Луисбурге.

Однако уговаривать не пришлось. Заход в Мароанцетру входил в планы капитана: он вез в город груз риса и собирался загрузиться там мешками с кофе.

— Дня через два мы будем там, — пообещал он. — Дыра дырой, хотя и овеяна романтическим прошлым...

...Дни эти промелькнули быстро, и вот наше суденышко уже приближается к заветной цели. Тогда, в начале 1774 года, те одиннадцать русских и Бениовский высадились именно здесь, на ныне заросшем пальмами побережье залива Антонжиль, уже хорошо различимом с борта парусника.

По мере приближения к «большой земле» резко меняется цвет воды Антонжиля: из лазурно-голубого он делается мутно-зеленым, потом желтым, оранжевым, бурым. Это в океанскую голубизну врываются воды широченной реки Антанамбаланы — короткой, но имеющей уйму горных притоков. Спускаясь на прибрежную равнину, Антанамбалана намывает широкую, глубоко вдающуюся в океан топкую долину. В самом ее центре, в тени огромных мангровых деревьев, и расположилась Мароанцетра, возникшая на месте Луисбурга.

Создав здесь торговую факторию, люди Бениовского на первых порах принялись скупать у местных племен скот и продукты земледелия. Затем, когда были построены ремонтные доки, в новый порт начали наведываться суда с Иль-де-Франса, Реюньона, Сент-Мари, из бурских колоний. Отсюда Бениовский рассылал сохранившиеся в архивах Малагасийской академии письма, на которых его рукой обозначено: «Луисбург, остров Мадагаскарский».

А километрах в тридцати вверх по Антанамбалане, где некогда царствовал Плантейн, подальше от малярийных болот Луисбурга, спутники Бениовского нашли дивной красоты до-

лину, окруженную горами. Камчатцы называли ее «Долиной здоровья», создали там небольшую крепость — форт Августа и лагерь для отдыха. На пересечении лагерных тропинок тогда стояли указатели, на которых на русском и французском языках было написано: «К коменданту», «В город Луисбург», «К реке без оружия не ходить». Там, в красную мадагаскарскую землю, навсегда легли жена Андриянова и один из камчадалов, сраженный стрелой. На современных картах селение, выросшее в «Долине здоровья», называется Амбинанитело.

На первых порах отношения волонтеров с малагасийским населением не ладились. Наученные горьким опытом долгих лет общения с пиратами Сент-Мари, бецимисарака видели в белых пришельцах лишь врагов. Однако, самодурствуя среди своих европейских подчиненных, Бениовский считал необходимым требовать от них уважения к туземцам, пресекал любые попытки вымогательства или применения против них силы. Все это вскоре привело к тому, что вокруг Луисбурга воцарился мир.

Но Бениовский хотел большего и, используя свои недюжинные способности дипломата, достиг этого. Очень скоро он познал душу малагасийцев, их внутренний мир и понял, что никогда не станет для них «своим» человеком, если не обретет на острове положения, уходящего своими корнями в культ разана. Это открытие из области этнопсихологии малагасийцев подтолкнуло Бениовского к мысли выдумать версию о том, что он — потомок последнего правителя королевства Антаваратра, созданного бецимисарака. Используя то обстоятельство, что дочь короля Антаваратры действительно была похищена пиратами и увезена на Иль-де-Франс, сторонники Бениовского начали распускать слух о том, что он — внук бывшего правителя, единственный оставшийся в живых продолжатель почитаемого по берегам Антонжиля королевского рода Рамини.

Слухи упали на благодатную почву. Вскоре ряд племен, которых Бениовский к тому же снабжал огнестрельным оружием и поддерживал в борьбе против набегов воинственных сакалава, признали его своим верховным вождем — ампансакабе. Так, не прибегая к силе оружия, Бениовский начал покорение Мадагаскара с помощью разана.

Подобный поворот событий, однако, навлек беду на новоявленного ампансакабе совершенно с противоположной стороны. Его возвышение ни в коей степени не соответствовало целям титулованных плантаторов и богатых негоциантов с Реюньона и Иль-де-Франса, которые сами хотели «осваивать» Мадагаскар. Вспыльчивый Бениовский, надеясь на поддержку

д'Эгийона, не очень-то считался с соседями. Те же, действуя правдами и неправдами, добились от правительства отзыва с Мадагаскара своего предприимчивого конкурента.

Но конкурент не сдался. Вскоре мы уже видим его в Лондоне, а затем и за океаном, где не без поддержки Б. Франклина он создает компанию для заселения Мадагаскара. В июне 1785 года на борту американского парохода «Интрепид» он вновь появляется в бухте Антонжиль. Восторженные жители Луисбурга, признав своего ампансакебе, палят из пушек в сторону моря. Испуганный капитан «Интрепида», наслышанный о пиратах и коварстве туземцев, но никак не ожидавший приветственных залпов, приказывает сниматься с якоря и спасается бегством. Бениовский, которого тем временем на руках вносят в Луисбург, понимает, что остался почти один.

Кто же был этот удивительный человек — Мориц Август Бениовский, личность столь же незаурядная, сколь и авантюристическая? Поляк по происхождению, он родился в 1741 году на словацких землях, оккупированных Венгрией. Знатное происхождение позволило ему поступить в аристократическую Венскую военную академию, закончив которую, он сделался офицером австрийской армии. Попав в Польшу, он становится полковником Барской конфедерации, сражавшейся против царской России. Это и привело его на Камчатку.

Именно в Большерецком остроге он начал вести подробные дневники, ставшие впоследствии основой для знаменитых «Путешествий и воспоминаний» графа Бениовского. Впервые изданные в Лондоне еще в 1790 году, они ставились современниками в один ряд с «Записками» Казановы и «Мемуарами» Калиостро, были своего рода «бестселлером» начала XIX века. Но в русском переводе они так и не появились, поскольку долгое время «камчатский бунт» держали в секрете от россиян.

С тех пор о Бениовском написаны сотни романов, статей, поэм и монографий, он стал героем опер и мелодрам. На Западе в его деятельности искали лишь авантюристическое начало, в буржуазной Польше видели национального героя. В 1937—1938 годах в места, связанные с Бениовским на Мадагаскаре, отправился известный польский писатель и путешественник Аркадий Фидлер, рассказавший о мадагаскарской «одиссее» Бениовского после того, как американский корабль, испугавшись приветственных залпов двух пушек Луисбурга, бежал из бухты Антонжиль.

Никаких следов своего соотечественника А. Фидлер на берегу Антонжиля не нашел. Ничего нового о Бениовском не могли рассказать в основанном им городе и мне. Для образо-

ванных малагасийцев он 'был лишь действующим лицом их национальной истории, одним из тех, кого упоминает школьный учебник. Простые же бецимисарака вообще никогда не слышали о своем ампансакабе.

«Как могло случиться это на острове, где так чтут предков?» — подумал я и тут же дал ответ своему вопросу. Позабывшись о том, чтобы найти себе исторические корни в прошлом, и сделавшись благодаря этому признанным потомком Рамини, Бениовский, сраженный шальной пулей французов, не имел времени, чтобы задуматься о будущем. У него не было малагасийской семьи, он не оставил после себя на острове детей и поэтому выпал из той цепи поколений, которая поддерживает на Мадагаскаре память о боцмане Воеводине. Ревниво относились к былой популярности Бениовского среди малагасийцев и французы, отнюдь не стремившиеся увековечить его имя на острове.

В этих условиях любые мои попытки напасть на след Бениовского в Луисбурге-Мароанцетре были бы подобны новой аванюре у мадагаскарских берегов. «Но почему бы не попытаться пройти по следам самого А. Фидлера, написавшего после своей поездки в эти края поэтичную книжку «Горячее селение Амбинанитело»? — подумал я. — Попробовать найти ее героев, боровшихся за освобождение острова, проследить их судьбы на протяжении почти четырех десятков лет...»

Амод, внук Амода

Конечно, интереснее всего было бы встретиться с учителем Рамасо, «человеком новой эпохи», как назвал его автор «Горячего селения», передовым малагасийским интеллигентом, помогавшим патриотам. Но тут же вспомнилась фидлеровская сноска к его собственной книге: «По понятным причинам я изменил некоторые фамилии». Уж кого-кого, а марксиста Рамасо он «законспирировал» в первую очередь.

Кто же еще? Староста Раяона, который был готов выдать Рамасо колониальным властям в те грозные для Амбинанитело дни, когда в деревню, скрывавшую повстанцев, нагрянули каратели? Этот, наверное, все же успел выслужиться, пошел вверх по административной лестнице. Мрачный интриган Безаза, мпиадид деревенской общины, мудрый и добрый Джинари-вело, силач Тамасу... Нет, все они были в годах уже во времена А. Фидлера, а условий для долгожителей колониализм не создавал.

Разве что вот, Амод? Преуспевающий индийский торговец, имевший лавки и в Мароанцетре, и в Амбинанитело. Уж этому, наверное, у А. Фидлера не было причин менять имя.

Я пересекаю сонную набережную, словно крышей перекрывающую развесистыми великанами-манго, захожу в первую попавшуюся лавку. Сонный сикх с ухоженной бородой, аккуратно уложенной в сеточку, с любопытством переспрашивает.

— Амод? Как же, есть у нас в городе такой торговец. Куда ему деться... Выйдете отсюда, повернете на главную улицу, пройдете минут пять, там и увидите магазин с надписью: «Амод и Амод». Только сто́ит ли в такую жару идти через весь город, когда у меня можно купить те же товары?

Наверное, сикх продал бы мне и свои воспоминания, но меня они не интересовали. Ради того, чтобы найти Амода, я был готов пройти «весь город» побольше Мароанцетры.

А вот и магазин. В нос ударяет запах ванили, корицы, гвоздики, перца и еще чего-то неизвестного. У стены, заставленной консервными банками и кипами ярких тканей, сидит худой, лет тридцати индеец в огромных очках. «Если это и Амод, то внук того, кто нужен мне», — прикидываю я.

— Могу ли я видеть господина Амода?

— Я к вашим услугам, мосье, — вскакивает он.

— Простите, но мне нужен ваш дед или в крайнем случае отец.

— Дед Амод? Он давно умер. А отца сейчас попрошу, — с готовностью говорит он, скрываясь за ароматными мешками.

Проходят томительные для меня минуты. Наконец из-за мешков выходит грузный человек в синей чалме, берет с полки какие-то бумаги и, здороваясь, протягивает их мне.

Одного взгляда достаточно, чтобы понять, за кого принял меня деловой хозяин.

— Нет, нет, мосье, Амод, я не оптовый покупатель и цены на гвоздику в упаковке и без таковой интересуют меня, но совершенно в другой связи. Дело в том, что, будучи еще мальчишкой, я прочитал книгу, одним из героев которой были вы. И вот, спустя много лет, приехал познакомиться.

Мосье Амод смотрит на меня, как на ненормального. Конечно, он богат и занимает положение в местном обществе, он знает себе цену, но поверить в то, что о нем пишут книги где-то в другой стране, он все же не решает.

— Что вы хотите сказать, мосье, — явно заподозрив меня в издевательстве, строго спрашивает Амод. При этом его огромный живот, который явно должен внушать страх хрупким и стройным малагасийцам, выпячивается вперед.

Я протягиваю ему книгу. Он вертит ее с разных сторон, с некоторым удивлением всматривается в русские буквы. Но затем, увидев на картинках привычные сюжеты — лемурув, хамелеонов и улыбающихся малагасийцев, несколько смягчается.

— Быть может, мосье Амод помнит, что в юные годы он помогал в Амбинанитело двум польским натуралистам: набивал чучела, препарировал змей, расправлял бабочек. В этой книге поляки называют вас очень способным учеником. Вы даже тогда предлагали им сообща создать компанию по монопольной эксплуатации флоры и фауны долины Амбинанитело и сбывать чучела в Нью-Йорк. А вот и автор этой книги с лемуром на руках...

При виде характерного профиля А. Фидлера с огромным носом Амод расплывается в улыбке.

— Как же, припоминаю. Так неужто вы сын того поляка? — восклицает он, заключая меня в свои мягкие объятия.

Я уклоняюсь от прямого ответа, хотя и радуюсь не меньше, чем он. С детства честолобивый и алчный, он в свои четырнадцать лет помогал Фидлеру не из мальчишеского любопытства, а в надежде разбогатеть и прославиться. И это последнее его желание я в определенной степени удовлетворил.

Вот и сейчас, быстро покончив с эмоциями, он переходит к делу.

— Как же, как же... Компании не получилось, но навыки, приобретенные у Фидлера, я сумел превратить в капитал. Делал чучела сам, а ныне спрос на них так возрос, что научил этому трех малагасийцев. Теперь все эти чучела и бабочки дают неплохие деньги. Я сейчас вам кое-что покажу, — говорит торговец и скрывается за мешками.

Явно волнующую семью тему тут же подхватывает Амод-младший.

— Удивительно, на что иногда готовы тратить иностранцы. Вот если бы дорогу провести сюда, да дать возможность ездить в Амбинанитело туристам! — неожиданно живо блеснув глазами, говорит он. — Пятьдесят тысяч туристов — это минимум сто, нет, сто пятьдесят тысяч жуков и бабочек, которые мы смогли бы продать! Какие деньги пошли бы прямо в руки!

Он мечтательно задумывается, потом почти что нежно берет меня под локоть.

— Послушайте, — вкрадчиво говорит он. — Я знаю, что ваша страна помогает молодым государствам. Почему бы вам

не построить дорогу сюда, в Амбинанитело. Я уверен, отец даже согласился бы войти в пай.

Ах, как они остаются верны себе, эти амоды, и как потребительно мелко преломляется большая политика в голове провинциального торгаша! До войны Амод-старший вынашивал мечту запродать всю экзотическую живность Амбинанитело в Соединенные Штаты. Теперь Амод-младший возлагает свои торгашеские надежды на Советский Союз...

— Нет, моя страна не заинтересована в массовом уничтожении фауны Мадагаскара, — выразительно ответил я. А про себя улыбнулся. Улыбнулся, вспомнив название одной из глав Фидлеровской книги «Амод, сын Амода», в которой метко подмечены черты этого семейства. Уже умерший дед, Амод I, пользовался колониальными законами для того, чтобы драть шкуру с малагасийцев. Его сын, ныне здравствующий Амод II, который, стоя, как замороженный над чучелами птиц, радовался, как писал А. Фидлер, не их красоте, а той прибыли в долларах и франках, которую можно будет выручить за них на мировом рынке. И вот теперь Амод III, сам того не ведая, помогал мне продолжить эту главу.

Вошел отец. Я думал, он хотел показать мне какие-нибудь диковинные экспонаты — ксантопану, самую большую бабочку земли, или самую маленькую в мире, полуторасантиметровую лягушку-чесночницу, недавно открытую в прибрежных лесах. Однако в руках у купца была бухгалтерская книга, по которой он скучно начал рассказывать мне о доходах, приносимых от торговли пернатыми и насекомыми.

Долго слушал я его, пока не смог, улучив подходящий момент, спросить о судьбах интересовавших меня малагасийцев.

— Да, старики, конечно, все умерли. А учитель? Он был в Амбинанитело всю войну. Но потом, вы знаете, повсюду на острове начались беспорядки против французов, он оказался замешан в них и... — Амод явно что-то хотел рассказать мне, но осекся. — Я не обременяю себя всеми этими малагасийскими делами. Мое занятие — только торговля, только. Если же вас интересуют судьбы жителей этой деревни, то через пару дней я поеду туда. В Амбинанитело будет большая свадьба. Поэтому надо кое-что завезти в магазин. С удовольствием подброшу туда и вас.

Я поблагодарил, с наслаждением выпил чашку чая, на индийский манер прокипяченную прямо с молоком, и, наливая вторую, принялся вникать в дела Амода. Продолжать его расспрашивать об Амбинанитело было явно бессмысленно.

Амод же, разоткровенничавшись, оказался совсем не таким самоуверенным, чувствующим свою власть купчишкой, каким вырисовывался с фидлеровских страниц его отец.

— Тогда нам было легче: колониальные законы защищали французских предпринимателей, а заодно и нас против любой инициативы малагасийцев. Отец да еще один китаец были тогда монополистами в Амбинанитело. Какие цены на соль, спички или ткани хотели, такие и назначали. Сколько им было выгодно, столько и платили за кофе, выращенный крестьянами.

— В первые годы после независимости тоже было неплохо, — продолжал Амод. — Придумали они, правда, некое слово — «малагасизация», поговаривали о том, что местным жителям будут давать особые привилегии в торговле. Один из сыновей мпиадида было сам решил скупать кофе. Скупил, мы ему не мешали. А когда настала пора его вывозить, пришел ко мне машину арендовать. А я ему в ответ: «Нет машин. Все либо в отъезде, либо испорчены». А кофе, если его не сушить, долго лежать под открытым небом не может. Тут не то что каждый день, каждый час деньги уносит. Сунулся туда, сунулся сюда этот малагасиец — машин не нашел. Попытался вывозить кофе на лодках, так большая часть мешков почему-то утонула. Тогда опять он пришел ко мне: «Спасай, ранхаги Амод, купи у меня кофе». Ну, а мне почему не купить? Я еще поторговался, чтоб ему наперед в дела такие неповадно соваться было, и купил весь кофе, дав за мешок еще меньше того, что он крестьянам платил. Вызвал свои машины и в тот же день отправил кофе на завод. На этом малагасизация тогда и кончилась.

— Ну, а что же теперь? — спросил я.

Амод налил мне и себе очередную чашку чая, подкрутил пышную бороду и, сложив руки под грандиозным животом, продолжал:

— А теперь малагасизация глубже копает, в обход нас так идет, что мы уже на нее влиять не можем. Сначала власти запретили нам кофе у крестьян скупать, создали сами закупочные пункты. Пункты эти были на первых порах далеко, и поэтому многие крестьяне свои мешки дальше нас не таскали. Но потом в пунктах установили на кофе твердую цену, да еще и выше моей. Теперь все мимо моего склада идут. А платить столько же, сколько государство, не могу — разорюсь. Поговаривают о введении контроля над ценами, о национализации. Так что бабочками и жуками я не зря интересуюсь. Быть может, вскоре только ими мне и придется торговать...

В Амбинанитело уже готовились к свадьбе. На деревенской площади, тщательно подметенной в преддверии торжества и поэтому, наверное, ослепительнее обычного сверкавшей белым коралловым песком, собирались люди. Мужчины были в соответствующих свадебному ритуалу салаках, женщины — в ярких симбу — оборачиваемой вокруг тела ткани, оставляющей открытыми плечи и верхнюю часть груди. Посреди площади, на листьях равеналы, стояла анджумбана — гигантская морская раковина, по которой время от времени бил юноша в широкополой шляпе. Раковина издавала громкий гул и, очевидно, исполняла роль барабана, созывая односельчан на торжество.

Я несколько раз обошел площадь, проник в глубь деревни, купающейся в рассеянном солнечном свете, пропускаемом пальмами. Остановил приглянувшихся мне девушек, спешивших на зов анджумбаны, и сфотографировал их. Дошел до подножия горы Бениовского, сплошь усаженной гвоздичными деревьями. На обратном пути привлек внимание трех мальчишек, которые поначалу увязались за мной, но вскоре заметили мангустан со спелыми плодами и остались под ним.

В общем, я был разочарован невниманием жителей Амбинанитело. Фидлеру в первый же день его появления они устроили суд с помощью петуха, подвергли его остракизму, а ночью не дали спать, исполняя нечто вроде частушек издевательского содержания. Я же даже мальчишкам кажусь менее интересным, чем какие-то мангустаны, которые должны были бы надоесть им с детства.

Движимый обидой, я уже было направился в лавку Амода, когда из боковой улицы кто-то окликнул меня.

— Мосье, Амод сказал мне о вашем приезде, и я с удовольствием готов помочь, чем смогу, — произнес стройный, лет двадцати пяти парень с приятным, доброжелательным лицом. Потом как-то замялся и выговорил по-русски: «Зд-рав-ст-вуй-те».

— Здравствуйте, — вздрогнул я от неожиданности, услышав родное слово в этих местах, где, по моим представлениям, русская речь последний раз звучала две сотни лет тому назад.

А про себя подумал: «Нет, если он окажется потомком Бениовского или прапраправнуком кого-нибудь из камчадалов, я не должен верить. Местные жители лишь делали вид, что не обращают на меня внимания. А на самом деле смотрели на меня изо всех кустов и заколдовали. Как того злого капраля Али, который в фидлеровские времсна...»

— О, мосье журналист, кажется, удивлен, — нарушил юноша рой моих мыслей. — Я учился немного в Советском Союзе, потом в ГДР. Там друзьям было трудно произносить мое длинное имя, и поэтому они называли меня Андри.

— Я очень рад нашему знакомству, — успокоенный прозаическим объяснением Андри, ответил я. — Вы ведь, наверное, знаете, что этот кусочек Мадагаскара в определенной степени связан и с русской историей. И, признаться, я рад, что вы — не потомок камчадала со «Святого Петра». Рад потому, что тогда о нашей встрече пришлось бы молчать: кто, поверил бы?

— Нет, нет, я чистокровный бецимисарака, — улыбнулся он. — Родился на севере, вблизи Анталахи, где батрачил отец. Поскольку я был самый старший из шести сыновей, в семье решили во что бы то ни стало дать мне возможность окончить школу. Потом — учеба у вас. Сейчас работаю агрономом.

— Так что в Амбинанитело вы тоже проездом? — разочарованно спросил я.

— Не совсем. Мой отец, Ромиало, родился здесь и после того, как состарился, вновь вернулся в родные места. Здесь же живут два моих брата, на свадьбу к младшему я и приехал в Амбинанитело.

— Мне бы очень хотелось познакомиться с вашим отцом, Андри. Но посоветуйте, когда это лучше сделать, чтобы не пропустить что-нибудь интересное на свадьбе.

— Свадьба начнется только после захода солнца. А до этого времени односельчане будут прогуливаться по улицам, демонстрировать друг другу свои праздничные наряды да ристанцовываться. Так что к отцу лучше всего идти сейчас.

Старик Ромиало принял нас очень радушно. А услышав, что я приехал из страны, где его сын начал приобщаться к премудростям науки, окончательно раскрыл свое гостеприимное сердце.

— Учитель Рамасо? — напрягая память, переспросил он, выслушав рассказ о причинах моего приезда. — Рамасо, который, как вы утверждаете, учительствовал здесь в 1937—1938 годах?.. Нет, такого здесь не было. Я, правда, тремя годами раньше уехал батрачить в Анталаху, но имя такого важного человека, как деревенский учитель, я бы, конечно, знал. К тому же, как раз в это время, о котором вы спрашиваете, в Анталахе началась забастовка. Я был среди зачинщиков, когда французы подавили наше выступление. Меня арестовали, но я вместе с другими рабочими-активистами бежал и долго прятался в родных лесах Амбинанитело.

Ах, вот оно что! Значит, возможно, Ромиало — один из тех малагасийцев, которых Фидлер, охотясь за редкостной ксантопаной, случайно встретил в лесных дебрях вблизи «горячего селения». Юноши даже хотели взять Фидлера в заложники, и только вмешательство его вади Веломоди, оказавшейся сестрой одного из беглецов, спасло Фидлера от нового приключения.

— Да, но ведь, когда вы скрывались в этих лесах, в Амбинанитело работал учитель, — пересказывая Фидлера, напоминаю я старику страницы его молодости. — Именно он помог организовать снабжение вас едой и всем необходимым, а затем, несмотря на все старания колонизаторов поймать вожakov забастовки, переправил их в надежные места. Ведь так же было дело?

— Так, — соглашается старик.

— И имя этого учителя было Рамасо? — настаиваю я. Ромиало улыбается, очевидно, поняв, о ком идет речь.

— Был такой учитель, ты прав. Но Рамасо его никто здесь не звал. Для нас, участников восстания, он был «товарищ Элуа», хотя многие из нас догадывались, что это не его настоящее имя. Он был связан с французскими коммунистами и через них многое сделал для того, чтобы урезонить ванильных плантаторов, заставить их прекратить преследование забастовщиков. Через несколько лет он помог мне под вымышленным именем вернуться в Анталаху, где я вел среди батраков разъяснительную работу. Потом началась война, меня призывали в армию, и я вновь встретился с ним в тысяча девятьсот сорок шестом году. Он был одним из руководителей отделения незадолго до того созданной партии ДДМВ.

— Так называли Демократическое движение малагасийского возрождения, — поясняет Андри. — Эта партия выступала за провозглашение независимости Мадагаскара и пользовалась такой популярностью, что на прошедших в ноябре того же года выборах за нее проголосовали семьдесят процентов малагасийцев.

— Даже семьдесят один процент, — поправляет его отец. — Такие люди, как учитель, подготовили тогда эту нашу первую большую победу. Но колонизаторы испугались ее. Повсюду вокруг французы начали вооружаться. Неподалеку отсюда, в Матсоандакана, они арестовали всех сочувствующих ДДМВ, а когда их односельчане собрались на кабари¹, чтобы обсудить происшедшее, открыли по ним огонь из пулеметов. В Амбина-

¹ Кабари — собрание общинников (малагасийск.).

нитело прислали десять солдат, и они пригрозили, что убьют любого, кто появится на улице с копьями или луком.

В это тяжелое время учитель несколько раз приезжал в Амбинанитело, предостерегал крестьян от любого необдуманного поступка, который мог бы спровоцировать солдат устроить побоище. По вечерам он и еще пять-шесть человек из рабочих собирались на горе Амбихимицинго и разрабатывали план совместных действий на случай, если колонисты все же затеют резню. Учитель рассказывал, что по всему острову колонисты вели себя одинаково: вооружались, арестовывали патриотов, стреляли в мирных малагасийцев.

— Кое-где французы получали отпор, кое-кто из патриотов стал братья за оружие, — продолжал старик. — В ночь с двадцать девятого на тридцатое марта тысяча девятьсот сорок седьмого года в Мураманге, на землях бецимисарака, было совершено нападение на военный лагерь французов. Потом многие говорили, что французы тогда устроили что-то вроде фарса, чтобы обвинить во всем ДДМВ и расправиться с нашей партией.

Так они и сделали. ДДМВ было объявлено вне закона, большинство его сторонников арестованы. В Амбинанитело тогда ворвался взвод солдат, всем жителям приказали лечь на площадь, на которой сегодня мы будем играть свадьбу, и под солнцем продержали весь день. Если кто-нибудь хоть немного шевелился, стреляли, не целясь, убивая заодно и соседей: детей, женщин, стариков. Ближе к вечеру, когда люди совсем обессилели и нервы у многих начали сдавать, поодиночке принялись вызывать на допрос: требовали назвать имена членов ДДМВ, допытывались о месте, где спрятано оружие. Почти всех избивали, четырех застрелили. А всего за три дня, что свирепствовали солдаты, в селении Амбинанитело недосчитались тридцати двух человек.

— А что же учитель? — с нетерпением спросил я.

— Ах, да, учитель, — сдавленным голосом произнес старик. — Его арестовали в Анталахе на третий день после событий в Мураманге. Арестовали без всяких причин и обвинений, только за то, что он был руководителем ДДМВ. Других убивали сразу, а его, поскольку он многих знал, бросили в тюрьму в надежде, что под пытками он выдаст своих друзей. Но он бежал из тюрьмы и, проделав тот же путь, что и мы в тысяча девятьсот тридцать седьмом году, добрался до Амбинанитело. Наши люди хорошо спрятали его в лесу и помогли оправиться от побоев тюремщиков.

Однако вскоре к нам в деревню вновь пришли солдаты,

и он, чтобы не подвергать нас опасности, решил уйти в глубь леса. Случай ли помог карателям напасть на его след или среди жителей Амбинанитело оказался предатель? Но через несколько дней его схватили. Затем посадили в самолет и вместе с пятью другими патриотами сбросили над Мароанцетрой. Так и погиб товарищ Элуа, или учитель Рамасо, как вы его назвали.

— Такой вид казни был очень распространен в те годы, — добавляет Андри. — Французы отлично знали, как силен среди малагасийцев культ предков, и поэтому понимали, что, если останки борцов будут преданы земле, то рано или поздно малагасийцы перевезут их в родные места, а могилы героев превратятся в место всенародного поклонения. По официальным данным, с самолетов тогда было сброшено около двух тысяч человек, в результате казней и пыток погибло еще восемьдесят семь тысяч. Но у нас, малагасийцев, есть свой счет. Пытаясь потопить в крови восстание, которое охватило примерно одну пятую часть Мадагаскара, с населением около миллиона человек, колонизаторы уничтожили более двухсот пятидесяти тысяч малагасийцев. И сейчас на землях бецимисарака между городами Манскара и Манандзари, где восстание длилось вплоть до тысяча девятьсот пятидесятого года, есть деревни, где нет ни одного местного мужчины старше двадцати пяти лет. Все, кто родился раньше, были убиты.

— Помню, когда товарищ Элуа в тот последний раз уходил в лес, он сказал: «Друзья, нас пытаются запугать, забывая, что смерть никогда не страшила и не страшит малагасийца. То, что делают французы, лишь усилит возмущение нашего народа и заставит его очистить от них землю предков. Я верю, что, если не мои ученики в Амбинанитело, то их дети обязательно увидят, как солнце независимости взойдет над нашей родиной». С этими словами он и ушел в лес...

— Времена меняются, — улыбнулся я. — Когда здесь был Фидлер, учитель Рамасо прятал «Коммунистический манифест» за обманчивой обложкой «Тартарена из Тараскона». Сегодня, как я вижу, трехтомник работ В. И. Ленина украшает вашу семейную библиотеку.

— А вы знаете, какой главный подарок я приберег на сегодня для невесты своего брата? — лукаво прищурившись, спросил Андре. — Я подарю ей красивую косынку из Москвы, на которой изображены советский спутник и красные звезды...

По мере того, как солнце садилось за горизонт, гул анджумбана делается все надрывнее, а звонкие песни все громче.

— Извините, но мне пора заняться свадебными делами, — прервал нашу беседу Ромиало. — Приходите к нам в дом: будете дорогим гостем. А пока, сын мой, сходи на площадь и посмотри, все ли там в порядке. Да не забудь зайти к Ревухимене. Я был у него утром. Но он прежде времени нализался бецабецы¹ и обещал сделать лунгузавулу лишь к вечеру.

Лунгузавула, как объяснил мне по дороге Андри, это украшенная орнаментом трость, которая у малагасийцев служит символом брака. Раньше женщина, которая хотела расторгнуть брачные узы, уходя из дома, уносила лунгузавулу с собой и отправлялась искать колдуна, который взял бы на себя смелость сломать трость и тем самым освободить ее от семейных обязанностей перед лицом предков. Теперь развод происходит по-иному. Однако по той придирчивости, с которой Андри осматривал трость и требовал от Ревухимене произвести доделки, я понял, что этому символу все еще придается значение.

Завернув трость в листья равеналы — ее никто не должен видеть до определенного момента, — мы отправились на площадь. Народу на ней было много, но появление Андри было сразу же замечено и вызвало водворение порядка в толпе празднично одетых людей, прежде бесцельно хлопавших в ладоши, приплясывавших или попросту судачивших между собой. Несколько парней в пестрых ламбах, очевидно, исполнявших роль церемониймейстеров, при виде Андри подбежали к анджумбуне и, произведя на свет несколько отрывистых звуков, тотчас же заставили замолчать толпу. «Ави и зукии! Ави и зукии!»² — возвестили они.

Андри положил лунгузавулу на вытянутые руки и через всю площадь понес ее туда, где разместились старейшины. Дым костра, разведенного у их ног, помешал мне разглядеть дальнейшую судьбу «трости брака». Однако не прошло и нескольких минут, как он вновь появился из-за дыма и присоединился ко мне.

— Я и не знал, что вы пользуетесь в деревне такой популярностью, — сказал я.

— Лично я здесь ни при чем, — отрицательно покачал он головой. — У нас есть пословица: «Старший брат — второй отец». В малагасийской семье старший брат пользуется всеми права-

¹ Бецабеца — рисовая водка (малагасийск.).

² Букв.: «Старший брат явился!» (малагасийск.)

ми в ущерб младшим. И если бы я хотел действовать по традиции, я бы даже мог запретить эту свадьбу, поскольку по законам предков младший не должен обзаводиться семьей до тех пор, пока не женился старший брат. Так что если в приветливых криках молодежи в мой адрес вам и слышалось что-то личное, так это благодарность за то, что я не разбил счастье влюбленных.

— Андри, а в какой степени вообще молодежь вольна в своем выборе? — поинтересовался я.

— Это вопрос, на который однозначно не ответишь. Раньше родители могли обручить своих детей по договоренности еще до того, как те появились на свет, руководствуясь исключительно соображениями материальной выгоды и межродовой «дипломатии». Желание сына или дочери при этом в расчет не принималось. Сейчас такая практика — редкость. Но тем не менее года полтора тому назад в одной из деревень, куда я попал по своим служебным делам, случай свел меня с одним молодым парнем. Узнав, что я человек грамотный, он попросил меня написать заявление в суд. Суть дела состояла в том, что его родители пообещали женить сына на первой же дочери, которая родится у их соседей. У соседей же, как назло, с тех пор родилось восемь сыновей. Даже если их девятым ребенком и станет дочь, то в жены она будет годиться лет через пятнадцать, когда нашему жениху перевалит за сорок.

Двое парней из церемониймейстеров подошли к Андри, задали вопросы, выслушали его наставления и удалились. Народу все прибывало, но теперь уже никто не толпился на площади, а сразу же занимал свое место согласно возрасту. Многие приходили с подарками: кто с курицей, кто со связкой бананов или кулем риса. Подарки отдавали церемониймейстерам, которые относили их под пальмы, где девушки тут же пускали снедь в дело. Иногда дарящие вносили коррективы в действия парней, прося их перенести подарок из левой группы в правую или наоборот.

— Чем объясняется подобное поведение гостей? — спросил я.

— Все дело в том, что жених и невеста принадлежат к разным родам. Вы, каверное, заметили, что при моем появлении на площади все люди разделились на две группы. Справа встали гости жениха, представляющие род цияндру, слева — гости невесты из рода заникавуку. Сейчас между ними идет своего рода соревнование: чей род принесет больше подарков. При чем особенно стараются родственники жениха, поскольку их подарки — это своеобразный коллективный выкуп за невесту.

— Насколько мне помнится, в фидлеровские времена заникавуку и цияндру были своего рода Монтекки и Капулетти округи Амбинанитело? — вспомнил я.

— Да, это верно. Но резня тысяча девятьсот сорок седьмого года, устроенная колонистами, всеобщее горе, постигшее малагасийцев, заставили забыть прежние распри. Цияндру и заникавуку давно живут в мире, что пошло на пользу Амбинанитело, особенно нашей молодежи.

— Почему именно молодежи? — удивился я.

— Потому что традиции запрещают мужчине жениться на девушке своего рода, а заставляют его искать невесту среди соседей, — объяснил Андри. — Единственными соседями для цияндру были заникавуку, а для заникавуку — цияндру. Когда-то, сотни лет тому назад, такая вражда, быть может, и шла на пользу. Юноши покидали родные селения, отправлялись искать невест за тридевять земель, открывали остров для себя и потомков, создавали новые деревни, а заодно становились героями легенд о странствующих женихах, которыми так богат фольклор Мадагаскара. Но в наше время вражда соседей приводила лишь к тому, что Амбинанитело пустело, поскольку почти все юноши устремлялись за невестами в город. А наши девушки засиживались в девках и не рожали детей.

— Для нас теперь это дело прошлого, — продолжал Андри. — Но для очень многих деревень в глубинке запрет на браки внутри рода — целая проблема. Сейчас роды разрослись до таких размеров, что брачных связей между близкими родственниками практически нечего бояться. С другой стороны, брак внутри рода значительно облегчает для жениха бремя вуди-ундри — выкупа за невесту. Когда же юноша отправляется в чужой род, ему уже никто не делает поблажек, — заключил он и, извинившись, пошел встречать каких-то важных гостей.

Назад он вернулся с малагасийцем средних лет в огромной шляпе и желтой ламбе, перекинутой через упитанный торс.

— Вот, познакомьтесь, Бетрара, — представил мужчину Андри. — Еще одна жертва системы вуди-ундри.

Дело это у Бетары, очевидно, было наболевшим, потому что без лишних вопросов он изложил мне суть своей трагедии. Родом он оказался из горного района Махериваратра, где, судя по его рассказу, обычаи экзогамии сохранились у лесных бецимисарака в своей классической форме.

Обычай этот заключался в элементарном межродовом обмене женщинами, которые, будучи носительницами плодородия, рассматриваются бецимисарака как основная ценность рода. Когда кто-то из парней, соседей Бетрары, решил

жениться, род невесты потребовал, чтобы его «основная ценность» была возмещена соответствующим эквивалентом. Иными словами, в обмен на будущую жену жених должен был послать в деревню невесты свою сестру, которой традиция предписывала там выйти замуж за любого мужчину из рода невесты ее брата. Именно в эту сестру, носившую имя Расуалававула — «красавица длинноволосая» — и был влюблен Бетрара. Чтобы избежать брака с человеком, которого ни разу не видела, девушка убежала с Бетарой в лес. Однако вскоре их выследил родной брат Расуалававулы, для которого бегство сестры стало препятствием на пути к личному счастью. Обмен женщинами состоялся, в деревнях сыграли по свадьбе.

Как часто бывает в подобных случаях, брак Расуалававулы оказался несчастным. Женившийся на ней был младшим сыном в семье и поэтому также оказался своего рода жертвой традиции. Он не признал в Расуалававуле красавицы, а взял ее в жены лишь по настоянию старейшин. Супруги не любили друг друга, и, если бы у Бетары была родственница, которая согласилась бы найти себе мужа среди мужчин этого рода, Расуалававулу можно было бы обменять. Однако таковой не оказалось, и старейшины рода мужа поставили перед Бетарой условие: хорошо, они согласны разломать лунгузавулу и освободить его возлюбленную от брака, если он, Бетрара, выплатит роду вуди-ундри. Этот вуди-ундри поступит в собственность всего рода с тем, чтобы любой мужчина мог использовать его для поднесения подарка родителям девушки из другого рода. Так обычай вуди-ундри, который не в столь конфликтной ситуации носит у малагасийцев не вульгарный характер выкупа, а завуалирован формой «брачного подарка» родителям невесты, в истории Бетары обнажился до своей подлинной, хотя и несколько «осовремененной» сути: в обмен на женщину, уходящую в другую деревню, ее роду предлагаются средства, за которые можно приобрести другую носительницу плодородия.

Требуемый выкуп оказался велик, и тридцатидевятилетний Бетрара вот уже восемь лет работает на плантациях для того, чтобы скопить деньги для освобождения «красавицы длинноволосой».

— Надеюсь, Андри, что на сегодняшней свадьбе вуди-ундри будет неразрительным для вашей семьи? — спросил я.

— Наш вуди-ундри уже привели, что служит сигналом к началу свадьбы, — ответил он. — Пойдемте, все ждут только нас.

Когда мы подошли к той части площади, где размещались почетные гости, на месте были уже все, кроме виновников тор-

жества. Слева, на подстилках из равеналы, которую считают покровительницей заникавуку, разместились родители невесты, справа, на листьях банана, — близкие жениха. Между ними, на ковре из живых цветов, стояли стулья для жениха и невесты, у их ног — небольшая скамеечка, на которой лежала лунгузавула.

Сама церемония бракосочетания оказалась гораздо проще, чем можно было ожидать, наблюдая за длившимися целый день приготовлениями к свадьбе. Когда на бархатно-черное небо выкатилась яркая луна, неожиданно загудел анджумбана, справа, с «мужской стороны», ему ответили спрятавшиеся в лесу барабаны-ампонги, слева — разноголосые валихи¹. Под их аккомпанемент из кокосовой рощи одновременно появились невеста в сопровождении своих подруг и жених, гнавший перед собой зебу.

— Ну, вот и наш главный вуди-ундри, — со смехом объяснил Андри. — Сейчас мне придется покинуть вас, чтобы, как старшему брату, вместе с отцом вручить семье невесты овечий курдюк. Этот подарок носит чисто символический характер и преподносится на всех малагасийских свадьбах. После того, как родители девушки принимают его, брак вступает в силу.

Между тем невеста заняла свой стул, а жених, отведя зебу на сторону рода заникавука, отошел на свою половину. Смолкли барабаны и валихи, притихли люди, как бы желая необычностью внезапной тишины, наступившей после целого дня суеты и криков, подчеркнуть значимость наступающего момента. Отец невесты в сопровождении Андри преподнес ее матери курдюк. Она приняла его сидя, выслушала несколько фраз, сказанных Ромиало, и только тогда встала. Судя по реакции собравшихся, начавших дружно кивать головами и хлопать в ладоши, это означало согласие на брак. Только теперь жених вышел из своего укрытия в тени и занял место рядом с невестой.

Затем Ромиало и мать невесты, поочередно кладя руки на плечи молодоженам, что-то довольно долго говорили им, а гости все это время довольно монотонно пели одну и ту же фразу: «Митераха фито лаааахи, фито ваааави».

— Это родители дают свои последние напутствия, — улутив момент, объяснил Андри. — А гости желают молодоженам иметь семь мальчиков и семь девочек.

Родительских напутствий хватило на добрых полчаса. Затем они, церемонно поклонившись друг другу, взяли со скамеечки

¹ В а л и х а — щипковый музыкальный инструмент.

лунгузавулу и вместе передали ее жениху. Тот прижал ее к сердцу и передал невесте. Формальный ритуал свадьбы был окончен.

Одновременно окончился и порядок. Теперь все гости, а их набралось человек шестьсот, подпрыгивая, что-то напевая и расталкивая друг друга, устремились к молодоженам с поздравлениями. Все они желали новоиспеченным супругам иметь четырнадцать детей. Только выполнив этот свой долг, гости принимались за угощение.

Молодоженам еще жали руки, а посреди площади уже устанавливали разновеликие ампонги. Дюжины три юношей, цепочкой усевшихся вдоль пальм, принялись настраивать свои валихи, готовясь аккомпанировать танцам. Повсюду разводили костры, и их яркие языки вскоре скрыли от меня то, что происходило на площади.

До сих пор я не докучал молодоженам. Но, когда большинство гостей уже пустились в пляс, я попросил Андри представить меня и с его помощью пожелал им произвести на свет четырнадцать сыновей и дочерей.

Безака, брат Андри, оказавшийся разговорчивым парнем с озорным, еще мальчишеским взглядом, засмеялся.

— О, вазаха уже знает наши обычаи. Конечно, бедняк, имеющий много детей, будет богат в старости. Но нам с Андриамади, чтобы создать образцовую малагасийскую семью, можно ограничиться и двенадцатью детьми. Двое у нас уже есть, — довольный, произнес он, потрепав по волосам курчавых малышей, кувыркавших у его ног. — Я надеюсь, что от меня у жены тоже будут рождаться близнецы, и мы скоро выполним ваши пожелания.

Из деликатности я не стал задавать лишних вопросов, хотя про себя и отметил ту откровенность, с которой Безака говорил с чужим человеком на тему, которую можно было бы вообще-то и не поднимать. Однако Андри, очевидно угадавший мои мысли, сам вернулся к этой щекотливой теме.

— Дело в том, что у малагасийцев существуют три формы брака. Сегодняшняя свадьба скрепила брак, называемый «бомбатдразана». Хотя это и наиболее традиционная форма создания семьи, необходимость выкупа и сложная процедура развода останавливают молодежь оформлять свой союз подобным путем. В городах многие предпочитают «вади мисораотра» — запись в мэрии на европейский манер. Однако, поскольку эта форма брака была введена колонизаторами, в деревне к ней относятся с недоверием. Поэтому в районах, где развито отходничество, а следовательно, недостатка в девушках нет, все

больше распространяются пробные браки. Если будущие супруги видят, что получается настоящая семья, брак освящается, причем появление у них детей делает более уступчивыми родителей невесты в отношении размера выкупа. Если же юноша и девушка не подходят друг другу, то они мирно возвращаются к своим родителям. Так и получилось с Андриамоди — она прожила в пробном браке два года, родила двойню, но потом поняла, что не может жить с их отцом, который раньше работал в городе и там пристрастился к бецабеце. И никто у малагасийцев не осуждает женщину, которая имеет детей от пробного брака.

— «Не осуждает» — это совсем не то, — категорическим тоном вмешался в разговор Безака. — Мать — гораздо более привлекательная невеста, чем девушка. Я взял Андриамоди в жены потому, что у нее хорошие дети, и это давало мне уверенность в том, что она родит таких же и мне.

И как бы в подтверждение этих слов Безака посадил себе на плечи по малышу, обнял за гибкую талию жену, уже успевшую нарядиться в свою красноточную косынку, и пустился в свадебный пляс.



Николай Хохлов

НГУГИ ИЗ КЕНИИ

Он бывает молчалив: может слушать собеседника долго, не проронив в ответ ни слова. Тем более, если человек мало знаком ему. Уже потом, когда его узнаешь поближе, убеждаешься, что почти полное отсутствие словесной реакции как раз и означает глубокое внимание к говорящему, уважительное к нему отношение. Чувствуешь внутренний такт, своеобразный

душевный настрой. Из дальнейших бесед делаешь вывод, что он отлично помнит содержание разговора во время первой встречи, поднимает темы недоговоренные, свернутые. Почему-то тогда он не захотел или не смог вдаваться в их обсуждение. Поначалу не знаешь, что и подумать, теряешься в разного рода догадках: может быть, не желает вступать в разговор, возможно, что и поднадоели ему визитеры из разных стран, или избегает вопросов, на которые уже сотню раз отвечал. Стараешься встать на его место, рассуждая так: а кто же обязывает и что вынуждает человека непременно и сразу на все реагировать, всему давать оценку, вплетать свою мысль, зачастую и без особой надобности. в сеть разговора? Да и сдержанность его была особого рода. Ее можно назвать незримым талантом. Вид дарования. Или природного, или приобретенного за годы жизни, а возможно, сочетание того и другого. Просто он своим молчанием изучает вас, схватывает излагаемое и определяет — глубоко ли вы вникаете в суть или же только скользите по поверхности. Он избирает более выгодную позицию: вспомним сократовское правило: «Чтобы я мог тебя увидеть, скажи что-нибудь».

А между тем и в нем, молчащем, многое «говорит», что дает возможность и его изучать, наблюдать. Вы угадываете его отношение к высказанной мысли, к факту, примеру по его прекрасным, сосредоточенным и на редкость выразительным глазам, по всему его облику. Он то смотрит на ваше лицо, то опускает голову, улыбается, уходит мягко в себя. И в эти минуты видишь перед собой изваяние: большой, красивый и открытый лоб, пухлые, плотно сжатые губы. Коротко стриженные волосы, бакенбарды. Кажется, дай им волю, и через какие-нибудь две недели хозяин превратится в образцового хиппи, затмив густыми, вьющимися чудо-волосами и западных, и своих, африканских, поклонников длинноволосого модерна. Перебирает пальцами рук: они длинные, к чему-то тянущиеся. Наверное, к перу. Наконец скажет: «Все это так сложно». И неторопливо введет вас в необъятный круг проблем и родной ему Кении, и всей Африки. Естественно, нити разговора потянутся и на Запад. Он в курсе всех дел — литературных и политических. Говорит философ, мыслитель, заинтересованный в лучшем устройстве современного мира, особенно близкого и родного ему — африканского.

Таково чисто внешнее впечатление от встреч с Нгуги Ва Тхионго, кенийским новеллистом, драматургом и романистом, автором многих литературно-публицистических статей. В странах Восточной Африки Нгуги — самый популярный писатель.

Без преувеличения. Вот уже почти двадцать лет трудится он на литературном поприще. И как трудится! Его писательское дарование вызревало довольно быстро. Первые литературные опыты Нгуги относятся еще к студенческим временам: впрочем, они не столь уж отдалены от наших дней. Он учился в Уганде. В Кампале есть холм под названием Макерере: здесь и разместился университетский колледж. Из его стен вышли многие политические деятели, возглавившие потом государства, правительства, министерства и ведомства. Нгуги пошел по литературной дороге. Вернее сказать, начал ее прокладывать, так как кенийской национальной литературы тогда не существовало. Он написал пьесу «Черный отшельник».

Позволю себе небольшое отступление. В то время я работал в Африке, посещая и Кению, и Уганду, и Танганьiku, нынешнюю Танзанию. Заезжал и в колледж Макерере, чтобы встречаться со студентами. Это был в своем роде уникальный коллектив. Привлекал уже сам состав слушателей: они прибыли из разных африканских стран. Учились в колледже и выходцы из Индии, Пакистана, Южной Африки. Разнонациональность студенческого коллектива усугубляли сыновья и дочери европейских поселенцев. Не менее пестрым был и преподавательский состав. «Смешению рас» сопутствовало и различие в идеологических направлениях. Вопреки намерениям английских властей, которые рассматривали аудитории Макерере местом, где должны выковываться кадры африканской, в основном служивой, интеллигенции, колледж с его динамичным, ищущим молодым составом все более выходил из-под контроля лондонских духовных пастырей и, помимо всего прочего, превращался в явление политического порядка. Казалось, решительно все занимались политикой, и все хотели посвятить свою жизнь только ей одной. Политика была «песнью песней» африканского студенчества шестидесятых годов.

Мне приходилось присутствовать на дискуссиях и симпозиумах. Я поражался начитанности, осведомленности студентов. Они оперировали трудами западных философов, работами классиков марксизма-ленинизма. В библиотеке колледжа я видел собрание сочинений В. И. Ленина на английском языке. Студенты читали жадно, без усталости. В руках у них — томики Шекспира, Льва Толстого, Достоевского, Линкольна, Рассела, Сартра, Лутули, Кениаты, Нкрума, Дюбуа. Думалось, что молодые люди, прибывшие из уже независимых и все еще колониальных стран, хотят в самый короткий срок наверстать упущенное, взять реванш за отцов и прадедов, забитых, неграмотных, настоящих рабов жестокой колониальной системы.

Это был очаг, явление, имя которому — насыщение знаниями. Молодые энергичные студенты и не скрывали, что они-то и намерены взять на себя интеллектуальное бремя раскрепощающейся Африки.

Нгуги Ва Тхионго — дитя этого знаменательного периода в развитии континента. Он прошел большую и нелегкую школу выработки собственного взгляда на события. Нет, он не поплетется слепо за авторитетом. Он ни к кому и никогда не примыкал, не крутился в многочисленных кружках и группировках, где молодые люди зря растрачивали в пустых словесных прениях и время и способности. Он влился в настоящее море африканских проблем самобытной рекой. И в этом бесспорно сказалось то, что он вышел из гуши кенийского народа.

Нгуги родился в 1938 году в простой крестьянской семье. Вот что он сам рассказывает о детских годах. «Я вырос, — пишет Нгуги, — в маленькой деревушке, прилепившейся к склону холма. У отца была большая семья, но не было земли. Мы жили на чужой, которую арендовал отец. Часто в наших краях случались неурожаи. Ели мы один раз в день, поздно вечером. Подслащенный чай с молоком считался у нас лакомством и роскошью. На заре люди уходили в поле обрабатывать клочки сухой, выжженной солнцем земли. Но они верили в лучшую долю и надеялись на перемены».

В литературно-критических статьях часто можно встретить выражение «писательские заготовки», которые потом, в процессе творческой работы, служат источниками того или иного повествования. Как видим из приведенных слов, для Нгуги время таких «заготовок» началось с раннего детства, с его жизни в многодетной и всегда нуждающейся африканской семье. Обширные поля, простиравшиеся вокруг родной Нгуги деревни, принадлежали европейским поселенцам, в основном англичанам, так как Кения была колониальным владением Великобритании. Плантации чая, кофе, пиретрума, дававшие огромные доходы их владельцам, обрабатывались африканскими батраками, каким был и подросток Нгуги. «И я работал на этих полях, — вспоминает он, — копал и мотыжил землю, ухаживал за деревьями и побегами, — и все это за десять шиллингов в месяц. Каждое утро батраки из нашей деревни спускались в долину, чтобы за гроши полить землю своим потом, а в конце месяца они отдавали все до последнего медяка торговцам за горсть сахара, фунт кукурузной муки или зерна, радуясь, что на несколько дней смолкнет плач их вечно голодных ребятишек. Батраки, гнувшие спины от зари до зари, создавали все богатства нашей страны, но сами не имели ничего — их

труд кормил и одевал детей торговцев, детей богатых европейцев не только в Кении, но и в Англии».

И еще одно свидетельство детской памяти: Нгуги было лет десять — одиннадцать, когда он услышал грустную песню женщин, которых силой согнали с родной земли и отправляли на грузовиках в бесплодные места, названные «землей черных скал». Вот ее слова:

Но настанет великая радость,
Когда вернется к нам земля наша,
Ибо Кения — страна черных людей.
А вы, дети наши,
Затяните потуже пояса,
Когда-нибудь вы прогоните с этой земли
Белых господ,
Ибо Кения — страна черных людей.

Мы еще вернемся к теме «изгнания белых господ», к завоеванию кенийским народом независимости, к расстановке классовых сил в уже суверенной стране: сейчас же важно указать на характер восприятия окружающей действительности этим наблюдательным мальчиком, в котором нетрудно заметить определенную направленность, тенденциозность в самом лучшем значении этого понятия. По существу, это была ранняя подготовка к выбору: с кем идти, на чьей стороне сражаться — со своим народом или же с прямыми, а порой и косвенными защитниками британского империализма, но уже в других условиях.

Находясь в студенческом «дискуссионном клубе», впитывая ветер перемен, ворвавшийся на просторы Африканского континента в шестидесятые годы, когда независимость была провозглашена в десятках стран, Нгуги, как он впоследствии признавался, испытывал жгучую потребность «высказаться» — не с трибуны, не на митинге, а печатным словом. Что-то пробудилось в нем: не имея ни одной написанной вещи, Нгуги уверенно заявлял, что будет писателем! Друзья и преподаватели склонны были объяснять такую самонадеянность исключительно молодостью, которой так свойственны романтические мечтания, высокие побуждения. Нгуги представлялось, что лучше всего и скорее всего «высказаться» можно в драме. Так появилась пьеса «Черный отшельник».

Герой пьесы юноша Киори — образ бесспорно автобиографический. Он пылкий полемист. Патриот. Ему свойственны и бескорыстие, и чистота устремлений. Он готов служить верой и правдой своему народу, чтобы добиться его полного освобождения. Но как лучше применить свои силы и способности?

Идеалы светлы, а действительность жестока. Люди научились произносить красивые слова, а сами все больше и больше совершают дурные поступки. Его обуревают раздумья. Черный отшельник размышляет...

Пьеса ходила по рукам. Многим она понравилась. Но нашлись, как водится, и недоброжелатели. Они высмеивали уже тот факт, что какой-то безвестный африканец написал... пьесу! Вполне достаточно такого рода сочинений в Европе — переводи, читай. Хватит этого, а ставить пьесы в Африке просто негде — нет никаких театров. Нет и актеров. И в этих условиях объявился «новый африканский Шекспир». Все-таки какие они несообразительные, эти африканцы. Учишь-учишь их уму-разуму, а они на тебе... Таков был приговор европейских поселенцев.

Однако тогда шел 1962 год. Национально-освободительное движение ломало колониальные устои. Африканец раскрепощался, выходил на арену сознательной политической жизни. С его мнением стали считаться крупнейшие европейские державы. Этот неумолимый процесс и выкатил на сцену пьесу Нгуги. Она была включена в программу торжеств, посвященных провозглашению независимости Уганды. Играли любители, друзья и близкие автора, его поклонники: имена студентов-актеров он хорошо помнит до сих пор и называет всех исполнителей до единого! Такие моменты не забываются.

Тем временем Нгуги решил продолжить образование. Едет в Англию, где заканчивает аспирантуру в университете города Лидс. Затем возвращается в Найроби и преподает в университетском колледже. Участвует в одной из студенческих забастовок, что не понравилось уже своим, африканским властям. Нгуги пришлось оставить кафедру. Он стал писателем-профессионалом, зачинателем новой кенийской литературы.

Читатель вправе спросить: как же так — страна не имела литературы! И нет ли определенной натяжки в том, что мы называем Нгуги зачинателем современной литературы Кении? Не ради ли красного словца это говорится? Случается ведь такое и в оценках авторов, и самого литературного процесса. Критике и критикам свойственны ошибки.

Подобные вопросы вполне правомочны. Но чтобы подкрепить высказанную оценку, подчеркнуть значительность всей деятельности Нгуги, необходимо хотя бы самым кратким образом охарактеризовать состояние кенийского духовного, творческого движения. При этом мы сознательно не употребляем слова «литература», так как до шестидесятых годов нашего столетия ее не было, если иметь в виду письменную, пе-

чатную продукцию. Восточную Африку, в состав которой входит Кения, с полным основанием называли «литературной пустыней». Из поколения в поколение передавались легенды, сказания, пословицы и предания о происхождении отдельных племен, о их борьбе с соседними племенами, ныне вошедшими в состав суверенной Кении. Что-то записывалось — главным образом фольклор, и главным образом — европейцами. Что-то издавалось — конечно, в Европе, где, кстати, была впервые опубликована книга Джомо Кениаты «Лицом к горе Кения», в которой автор широко использовал африканские легенды и сказания.

Слов нет, в Кении жили и творили замечательные рассказчики-сказители, виртуозы танцев, великие мастера обрядов и ритуалов, где тоже нужна художественная, творчески одаренная личность. Славилась своим искусством резчики по дереву и слоновой кости. Колдовали маги, чей сокровенный шепот тоже мог быть причислен к виду устной литературы. И все это было разбросано по провинциям — от побережья Индийского океана до озера Виктория, раздроблено многоязычьем, диалектами, племенной замкнутостью и не успело слиться в единый национальный поток.

Да и не могло слиться, ибо в Кении, как и во многих других странах современной Африки, нет единого языка. Говорят на кикуйю, луо, суахили. Но ни один из этих языков не стал общенациональным. Одни притоки, а самой реки нет... В этом — мучительная, болезненная проблема. Она волнует сердца патриотов. Нгуги пишет на английском языке. В целом ряде статей он объясняет, почему это необходимо. Нелегко африканскому писателю изъясняться с соотечественниками на чужом языке, к тому же олицетворяющем колониальную державу. Но пока что другого выхода нет. Факт неумолимый. Если будешь писать, допустим, на кикуйю, то твои произведения дальше этой народности не пойдут.

Существует еще один щекотливый аспект, связанный с выходом незаурядного человека из того или иного племени и поставившего свой талант на службу только одному этому племени. Это несомненно увеличит трайбалистские амбиции и приведет к еще большим притязаниям на руководство всей страной. Сказанное относится и к политическим деятелям, и к литераторам. А задача состоит в том, чтобы, отбросив племенные предрассудки, действовать в интересах единой Кении.

Своеобразие литературно-языковой ситуации в Кении состоит в том, что общекенийская национальная литература создается на английском языке. При этом имеются определенные

издержки, сводящиеся к тому, что далеко не все жители страны понимают этот язык. Но ведь многие не понимают и кикуюю, и суахили, и луо, и другие языки и наречия, бытующие в Кении.

Итак, чужой язык, привнесенный из Европы, обслуживает формирующуюся нацию. Он же является и официальным языком. Трудно сказать, как долго продлится такое положение, когда произойдет смена «языкового караула». Видимо, тогда, когда в Кении выработается национальный язык, единый и понятный для всех граждан.

Его книга «Не плачь, дитя» (заглавие — строка из стихотворения Уолта Уитмена, одного из почитаемых Нгуги поэтов) — первый кенийский роман. Он глубоко социален по содержанию, по идейной направленности. Спокойное и неброское повествование лишь усиливает социальное звучание книги. Она посвящена движению, вошедшему в историю под названием «Мау-Мау». Во главе его стояли Джомо Кениата и его соратники по борьбе за освобождение Кении от английских империалистов. Библейское увещание «отпусти мой народ», с которым кенийцы обращались к колониальному идолу, не достигало цели: хищнический Лондон шел напролом, пуская в ход карательные отряды для подавления восставших, пытаясь сохранить за собой колониальную вотчину. Кенийский народ выстрадал право воздавать по закону зуб за зуб, око за око.

Мы прибегаем к библейской терминологии отнюдь не случайно: изречения из Библии служат эпиграфами ко всем разделам романа «Пшеничное зерно», на Библию часто ссылаются герои Нгуги. Это обстоятельство обратило на себя внимание исследователей творчества кенийского писателя. На Западе стали дискутировать о степени религиозности автора, о его отношении к церкви.

Надо окунуться в кенийскую обстановку, чтобы найти правильное объяснение пристрастию автора к библейским извлечениям. Почти вся интеллигенция страны прошла миссионерские школы, где основными предметами были Библия и английский. К тому же Кения была английской колонией, а не французским владением, где молодежь могла знакомиться с трудами французских энциклопедистов. В английской вотчине с идейным багажом обстояло победнее: политическую литературу читать запрещали, а Библию усиленно внедряли, раздавали бесплатно. Библейские истины хорошо знал каждый кенийский школьник. Говоря об этом, писатель воссоздает атмосферу того времени.

Цитаты из Библии служат для автора своего рода мишеня-

ми, которые он «обстреливает», но делает это тонко, без нажима. В чем проявляется тенденциозность Нгуги как романиста — так это в подборе библейских цитат. Послушаем. «То, что ты сеешь, не оживет, если не умрет». В сражающейся Кении эта диалектическая истина, составная часть гегелевской триады (тезис, антитезис, синтез), служила оправданием неизбежности человеческих жертв в борьбе за свободу. Кихики, один из героев романа «Пшеничное зерно», подчеркивает в Библии слова о страданиях народа, о скорби его, о воплях его «от противников его». Совершенно очевидно, что Кихики воспринимал эти слова не в их религиозном звучании. Они не более, чем оболочка: ее взрывает все содержание произведений Нгуги.

Я бы отметил, что автор мастерски умеет превращать библейские цитаты в земные, светские, приравнивая их к тем или иным периодам в жизни страны. Подтверждением сказанного являются слова: «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали». Вслед за ними идут авторские: «Кения обрела независимость 12 декабря 1963 года. За минуту до полуночи на стадионе в Найроби были погашены огни, и трибуны с людьми, собравшимися на торжественную церемонию со всех концов страны и мира, погрузились во мрак. В темноте был торопливо спущен «Юнион Джек».

Ясно, что в таком контексте библейские слова о новом небе и новой земле целиком и полностью становятся гражданскими, их мог произнести любой политический деятель первоначального периода независимости.

Впрочем, у Нгуги есть и прямое разоблачение библейского ханжества колонизаторов. Один из персонажей романа «Не плачь, дитя» говорит на массовом митинге: «Библия открыла дорогу мечу».

В романе «Не плачь, дитя» показана история семьи кенийского крестьянина Нгото, которая волею судеб оказалась ввергнутой в жестокий круговорот событий. Сыновья Нгото — активные участники движения Мау-Мау. Отец, степенный семьянин, прилежный земледелец, был далек от понимания смысла происходящего. Он гордился своими детьми и возлагал на них свои лучшие надежды. И вот малыш Нжороге пошел в школу. Семейная радость.

Острый политический кризис, охвативший всю Кению, прямо или косвенно наложил глубокий отпечаток на все семейство Нгото. Все пришло в движение: страна, округ, деревня, каждая отдельная семья. Каратели схватили одного, потом другого

сына. Ни в чем не повинного Нгото заподозрили в связях с бойцами Мау-Мау. Последовала тюрьма. Старик умирает от бесчеловечных пыток. В застенки бросили и Нжороге. Побой, издевательства. Его исключили из школы. Он подавлен всем происшедшим, обрушившимся на него. Вот какими словами характеризует автор настроение своего юного героя: «Он больше не верит в то, чему раньше поклонялся: в богатство, власть, знания, религию. Даже в любовь, последнюю свою надежду, он больше не верит».

Конец мог быть трагическим: вечером, взяв веревку, надломленный Нжороге направился за деревню с намерением покончить с собой. И когда он уже накинул петлю на шею, в темноте раздался голос его матери — счастливый материнский голос! Нжороге возвращается в деревню, в родной дом, возвращается к жизни.

История, полная драматизма. И в то же время — повествование реалистическое, свойственное всему творчеству Нгуги.

Некоторые критики упрекали автора за то, что он вывел на страницах романа человека слабого, оказавшегося в «плени заблуждений». Такая трактовка представляется несостоятельной. Конечно, автор потрафил бы многим читателям, если бы изобразил Нжороге в героическом свете, смело и без колебаний идущим за своими старшими братьями. Но романист не встал на такой путь, избрав коллизию более жизненную и достоверную. Изображение всего семейства Нгото как членов подпольной боевой организации, одинаково мыслящих, одинаково любящих и ненавидящих, одинаково разбирающихся в политической и военной обстановке, привело бы к отходу от правды, сгладило, стушевало бы действительные противоречия.

Как неодинаковы кенийцы, так не могут быть похожими друг на друга и члены одной семьи, особенно когда речь заходит о политической оценке событий и явлений. Африканцы по-разному относятся к Западу и Востоку, к социализму и капитализму. Не все из них «ненавидят» бывшие колониальные державы. В этом отношении показателен образ Джакобо. Он тоже был бедным крестьянином. А теперь вот пошел в гору, выбился в старосты, стал богатеть и взмыв над деревенской голью. Он — ближайший помощник англичанина Хаулендса, крупного землевладельца, окружного комиссара. Что это — дружба белого с черным? Авторская ремарка поясняет: «Мистер Хаулендс презирал Джакобо, потому что Джакобо — дикарь. Но он ему нужен. Сама возможность натравить черных на черных и отвлечь их от войны против белых доставляла ему радость».

Идя дальше, расширяя и углубляя наши представления о расслоении кенийского общества по имущественному признаку, Нгуги пишет: «Цветной барьер был всюду. Богатые африканцы отгораживались от бедных африканцев, и это тоже был цветной барьер».

Автор показывает кенийское общество во всей его сути, где переплелось высокое и низменное, отшлифованное и еле нарождающееся, богатое и бедное, плохое и хорошее. Он предоставляет своим персонажам оступаться и подниматься, идти вперед и откатываться назад. Оттого они и не ходульны, не рупоры, изрекающие плакатные истины.

Что же касается «надломленного» Нжороге, то надо принять во внимание юношеский возраст героя. У него все еще впереди. Впечатления безысходности нет. Трагедия семьи больно ударила по его пылкой, романтической душе, выбила его из колеи. Думается — временно. Бывает затишье перед бурей. Точка над «i» не поставлена. Человек крепчает в горниле жизни, а правильное понимание событий достигается опытом. Нжороге — в развитии, как и многие другие герои произведений кенийского писателя.

Вообще надо отметить, что Нгуги не склонен избирать прямолинейный подход в показе действующих лиц. Очень часто он «перетасовывает карты», сворачивает с проторежной, казалось бы, дорожки и ведет героев по новому, неизведанному тракту. В рассказах «Венчание на кресте», «Нжороге», «Возвращение Камау» и многих других верно схвачены отдельные житейские ситуации, отражающие сложное переплетение человеческих судеб. В них — авторский трепет, равнодушие, причастность. Читая малые или большие вещи Нгуги, невольно рисуешь такую картину: автор ходит по городам и деревням милой ему Кении, заглядывая к знакомым, заводя беседы, присутствуя на праздниках и похоронах, заявляясь на рынки и пастбища, на поля и стройки, проводя время с рыбаками и докерами. Он насыщается видением кенийского людского моря, из которого неустанно черпает живительные темы. Он умеет говорить горькие истины: идеализация ему чужда. Нгуги — писатель остроконфликтного направления. Сошлемся на рассказ «Венчание на кресте». Мириам, девушка из обеспеченной семьи, влюбляется в голодранца Вариуки. Ее тяготила домашняя атмосфера. Отец Дуглас Джонс имел в городке несколько лавок и закусовых. Его оседлал бес наживы. Он воспитывал дочь в духе распространенного учебника «Английские манеры для африканцев». Есть такое чтиво: хочешь приблизиться к гордому британцу — читай, наматывая на ус...

Отец Мириам вроде смирился: он не против брака, но пусть жених покажет сберегательную книжку, чтобы все родственники знали, на что будет жить молодая чета, на какие деньги играть свадьбу, покупать подарки... Ах, у молодого человека нет ни шиллинга в запасе? В таком случае он, Дуглас Джонс, не вправе обречь свою дочь на нищету и лишения.

Вариуки посрамлен. Но Мириам осталась преданной ему: она ушла из родительского дома. Молодожены покинули городок. Вариуки нашел работу на лесопилке. Жили в шалаше. Было счастье чистой любви, ничем не омрачаемой. Но Вариуки имел свой план действий: он решил отомстить Дугласу Джонсу за унижения. Богатого можно побить еще большим богатством! Он работает за семерых, но денег хватает лишь на пропитание. Он отправляет Мириам к своей матери, а сам идет в солдаты. Сражается в Египте, Палестине, в Бирме. Возвращается домой, но не принимает участия в борьбе своего народа за независимость. И не просто отсиживается, а идет на сотрудничество с англичанами. Ему дали землю, выделили ссуду. Наконец-то, наконец-то у него появились накопления!

Добрая, умная Мириам с болью наблюдает за карьерой супруга: он стал крупным торговцем древесиной, купил участок земли. Его избрали церковным старостой. И чтобы совсем оторваться от африканской массы, он предал забвению свое исконное языческое имя и нарек себя Доджем Ливингстоном. Раскатывал в шикарной машине. И сыновей своих воспитывал в так называемом европейском духе — они при посторонних бойко говорили по-английски, притворяясь, что не помнят родного языка...

Как все это правдиво! Чего стоит один штрих — перемена имени и фамилии. Настоящее поветрие в Африке, где встретишь своих Вашингтонов, Линкольнов, Золя. Своего рода мода: иной африканец лезет вон из кожи, чтобы доказать, что он уже не типичный житель континента, что он стоит ближе к европейцу, чем к соотечественникам.

Длительное колониальное присутствие самым пагубным образом сказалось на мировоззрении африканца. Не секрет, что многие из них непременно хотят походить на своих бывших хозяев: владеть землей, обзавестись плантацией, магазином, гаражом, отелем, иметь особняк, машину, белую любовницу, открыть счет в женевском или лондонском банке. Словом, для таких главной целью является бегство от общества, в котором они родились и выросли, забвение всего исконно африканского. Их жизненное кредо выражается словами: «Независимость завоевана — теперь можно богатеть!»

В действительности такой курс приводит к тому, что место потесненных или изгнанных английских эксплуататоров занимают свои, африканские. В Кении как раз и наблюдается усиленный процесс зарождения национальной буржуазии. Явление сложное, противоречивое. Оно размежевывает кенийцев, «раскладывает» их по имущественным полочкам. Пот и кровь из африканца научились выжимать не одни европейцы...

Будучи честным, наблюдательным художником, Нгуги заметил этот процесс и ввел его в ткань своих злободневных произведений.

У него не встретишь ложного пафоса, нет натяжек, писательского «перебора», многословия. Он лаконичен, предельно точен в передаче психологической настроенности героев. Даже исключительные по борению страстей ситуации он изображает с подкупающей простотой, скупыми художественными средствами. Вот каков финал рассказа «Венчание на кресте».

Разбогатевший Вариуки счел, что наступил момент, когда он может отомстить своему тестю. Он затеял пышную свадьбу. Блажь, конечно, но деньги делают все. Маскарад, а не венчание. Уже в годах, рядом — взрослые дети. Мириам молча идет на эту церковную пытку. Торжествует один Додж Ливингстон-младший. Он наверху блаженства. Дуглас Джонс зайскивает перед ним. Мечта осуществляется. Но вдруг заговорила Мириам:

— Нет, не могу... Не могу быть женой Ливингстона... потому... потому что... я уже замужем. Я жена... Вариуки... а он мертв...

Образ Мириам — большая творческая удача писателя, подлинного летописца суверенной Кении. У него необычайно широкий охват жизненных явлений.

Наиболее полно лучшие стороны писательского таланта Нгуги проявились в романе «Пшеничное зерно».

Повествование охватывает те бурные годы, когда народ Кении вел борьбу за независимость и, наконец, завоевал ее. Бойцы вышли из подполья и вернулись в родные места. Перекаты судеб — излюбленный мотив во всем творчестве Нгуги. У людей остались воспоминания. Перестроившиеся на иной лад английские политики стали распинаться в «дружбе» к кенийскому народу. А у него еще не зажили раны. Из вчерашнего врага не так-то легко сделать нынешнего друга! Один из персонажей романа так рассказывает о действиях английских карательных отрядов: «Я видел ползущих по земле людей — понимаешь, они ползли, как калеки, потому что руки и ноги у них были закованы в цепи... Горлышки бутылок загоняли

в прямую кишку, и люди выли, как звери в клетке. Я был молод, когда впервые увидел белого человека. Я не знал, кто это и откуда. Теперь я знаю: мзунгу (на суахили — белый, европеец. — Н. Х.) — не человек, я всегда помню об этом. Он дьявол, дьявол!.. Я видел человека, которому щипцами вырвали мужскую плоть. Его вынесли из камеры, он упал и разрыдался... Я тогда заглянул в бездну, и на дне ее была непроницаемая тьма».

Это — куски жизни, фрагменты трагедии, пережитой кенийским народом. Официальный Лондон полагает, что все это принадлежит прошлому, и денежными подачками возвещает о «новом этапе» англо-кенийских отношений. Роман Нгуги срывает фальшивые маски с колониальных оборотней, учит читателя историческому подходу к событиям.

Нгуги с теплотой говорит о нашей стране. Мы узнаем, что сражающиеся кенийцы были осведомлены о подвиге Советского Союза. Об одном повстанце Нгуги говорит: «Люди шли к нему за советом. А какие чудеса он рассказывал о России, стране, которой управляют простые люди, не знавшие раньше грамоты! И вот ведь нет такой силы, которая могла бы одолеть Россию».

Казалось бы, весьма выгодное место для советского истолкователя романа. Но из этого не следует делать далеко идущих обобщений и выводов. Просто так было. Автор обрывает рассказ на этом факте, не пускаясь в философствования и прогнозы. Вот это «так было» и характерно для повествовательной манеры Нгуги. Он как бы тормозит свои эмоции, не давая им перерасти в симпатию или антипатию. Он не навязывает читателю своего мнения, избегает односторонней, тенденциозной оценки. Многое он оставляет для читательских размышлений. Это — не объективизм, а творческий метод художника.

Значение романа и в том, что автор развенчивает миф о чересчур прямолинейной расстановке классовых сил в современной Кении. С помощью легковесных сочинений утвердился довольно странный взгляд, суть которого сводится к следующему: раз перед нами африканец, то он непременно пламенный борец за свободу, ярый противник колониализма и т. п. Если же выведен европеец, то он — поработитель, надменный одними дурными свойствами: насильник, пьяница, развратник, сребролюбец, враг прогресса, негрофоб. Такая картина — ложная, вымышленная, и по существу она вводит читателя в заблуждение.

Писательское новаторство Нгуги как раз и проявляется в том, что он не идеализирует африканца только потому, что

тот — африканец. Порядочного европейца он изображает хорошим, плохого африканца — плохим. Так, как бывает в жизни. Возьмем, к примеру, Гиконьо из романа «Пшеничное зерно». Он одержим духом стяжательства, наживы. Ради этого он игнорирует указания партии, ему нет дела до задач всей страны. Вырвавшись из мест заключения, Гиконьо спешит к депутату, чтобы выпросить у него ссуду на открытие коммерческого предприятия. Депутат парламента, африканец, покупает землю, принадлежавшую англичанину Бэртону. Тот покинул Кению, напугавшись революционных лозунгов кенийских лидеров, с которыми они выступали перед народом в канун независимости и от которых отошли впоследствии.

В посвящении Нгуги пишет: «Ситуации и конфликты реальны, увы, подчас слишком реальны, в них — горькая правда: крестьяне, которые сражались с англичанами, теперь видят, как все, за что они боролись, достается другим». Его мучают вопросы: «Вернет ли свобода землю африканцам? Внесет ли независимость перемены в жизнь маленького человека, простого крестьянина?»

Генеральный вопрос и для Кении, и для всей новой Африки. Старое, связанное с колониальными порядками в их известном, классическом проявлении, смято и отброшено национально-освободительным движением. Благодаря этому Африка вышла на арену мировой политики. Но среди независимых государств Африканского континента имеются и такие, руководители которых проводят курс на сотрудничество с бывшими угнетателями, а внутри страны насаждают типично капиталистические отношения. Есть и немало республик, избравших некапиталистический путь развития. И это не исчерпывает всего политического и социального разнообразия в современной Африке, ибо имеются страны со смешанным укладом, который включает и частнособственнические, и социалистические принципы.

Выбор пути — отнюдь не праздный вопрос и для Кении: он злободневен. Нгуги размышляет, тревожась за судьбы такой дорогой ценой завоеванной ухуру — свободы. Наиболее полно свои взгляды на африканское, в том числе и кенийское, общество писатель выразил в сборнике «Возвращение домой».

Эта книга, изданная в 1972 году, явилась настоящим событием в литературном процессе Кении. Ее, по-видимому, следует отнести к жанру публицистики и критики. В то же время она — исповедь автора, его кредо и как писателя, и как человека, живущего в определенном обществе. Художник и народ — вот основная тема, проходящая красной нитью во всех разде-

лах книги. Одни названия статей говорят о многом: «Писатель и его прошлое», «Писатель в изменяющемся обществе», «Церковь, культура, политика» и т. п.

Символично само название книги — символично и в личном плане, и в общественном. Достаточно сказать, что именно на обложке этой книги мы впервые знакомимся с новым именем автора: Нгуги Ва Тхионго. До этого читатель знал Джеймса Нгуги, где африканская фамилия фигурировала рядом с европейским именем, которое дано было Нгуги протестантскими миссионерами из Англии. Так сказать, персональная «африканизация» совпала с активным общественным движением, которое охватило не только Кению, но и всю Африку и выразилось в отказе от всего наносного, чуждого, в стремлении вернуться к своему, местному, родному и близкому. Переименовывались города, реки, озера и даже целые страны. Африканизация знаменовала собой чрезвычайно важный процесс, происходящий в сознании миллионов африканцев. По существу, это была борьба с колониальным наследием в мышлении, в нравственной сфере, и она в известной степени дополняла мероприятия властей в экономике, направленные на сужение или даже полное искоренение засилья европейцев в промышленности, торговле, сельском хозяйстве, в культуре.

«Возвращение домой» — многоплановая книга, пронизанная остросоциальной направленностью. Создается впечатление, что автор здесь высказал то, что оставалось, в силу различных причин, недоговоренным или даже неясным в его романах, рассказах и повестях. Примечателен сам выбор Нгуги произведений его литературных собратьев для разбора, для анализа: это, как правило, значительные полотна, ставшие вехами на пути развития африканской литературы. Так, например, он подробно рассматривает роман Чинуа Ачебе «Человек из народа», радуясь успехам литераторов Западной Африки, заинтересованно пишет об авторах из восточноафриканских стран, выделяя большую поэму Окота п'Битека «Песнь Лавино».

Зачастую писатель подмечает в произведениях других авторов как раз то, что привлекает и волнует его самого, над чем он тоже думает и что наблюдает сам. Так произошло и с Нгуги. Чтобы не быть голословными, позволим себе привести два высказывания, которые, на наш взгляд, наиболее полно характеризуют позицию Нгуги Ва Тхионго по затронутым проблемам. «Роман «Человек из народа» показал, — отмечает Нгуги, — что изменилось отношение Ачебе к своей аудитории и к своим ученикам. Ачебе сменил долготерпение на гнев, он резко бичует недостатки окружающей действительности... Учени-

ки, как и их учитель, должны определить свое отношение к обществу и найти решения многих вопросов. В романе «Человек из народа» Ачебе утверждает, что невозможно и непростительно оставаться только созерцателем событий, необходимо быть вместе с народом, со всей Африкой. Учитель с кнутом в руке бичует и себя, и своих учеников. Он стал человеком из народа, человеком для народа».

А вот оценка «Песни Лавино» Окота п'Битека: «Поэма, написанная сначала на языке луо и затем переведенная автором на английский, представляет собой едкую сатиру на новую африканскую элиту и «средний класс» общества, легко и быстро усвоивших буржуазную мораль и западный образ жизни... Такова остросоциальная, злободневная, быстро мужающая литература Восточной Африки», — заключает Нгуги.

Из приведенных высказываний нетрудно заметить, что поддерживает Нгуги, какая направленность в художественных произведениях разделяется им. Но он не ограничивается ссылками на других авторов: в ряде статей Нгуги выступает социологом, общественным деятелем, философом и в неприкрытой форме высказывает свои симпатии и антипатии. Тут он бескомпромиссен, тут он — боец народного лагеря, непримиримый враг идеологической диверсии империализма. «Основным условием успешного и объективного возвращения (здесь мы еще раз убеждаемся в широте и глубине названия его книги «Возвращение домой». — Н. Х.), — пишет Нгуги, — является обличение всех колониальных институтов, особенно капитализма, как моделей общественного и экономического развития. Капитализм, даже в пору своего расцвета, не смог создать равенства и гармонии человеческих отношений в Европе и Америке. Почему же некоторые думают, что он может оправдать себя в Африке?.. Только в социалистическом контексте взгляд во вчера может иметь смысл, освещая сегодня и завтра».

Чувствуя на себе давний ярлык, что он якобы «религиозный» писатель, Нгуги считает своим долгом прямо заявить: «Миссионеры похитили душу народа», «Часто миссионеры становились богатейшими помещиками и скотопромышленниками и на украденной у африканцев земле использовали дешевый, почти бесплатный труд черных людей», «Люди начинают осознавать, что учение церкви и ее деятельность противостоят борьбе трудящихся масс за свои права», «Сейчас начался новый этап борьбы — против капитализма, неокolonизма и буржуазной культуры, занесенной с Запада. И в этой борьбе, я уверен, старый храм будет разрушен до основания».

Это мнение честного художника, обеспокоенного положением своего народа, но одновременно позиция писателя представляла собой открытый вызов. Нгуги занимал профессорскую должность в университете Найроби и в своих лекциях по литературе, допуская «политические отступления», осуждал капиталистические порядки, насаждаемые в Кении. За писателем установили надзор, его причислили к коммунистам. В кенийской столице распространились слухи, будто Нгуги тайно сочиняет коммунистический роман, будто он причастен к каким-то подпольным кружкам, члены которых намереваются свергнуть существующее правительство...

Нгуги Ва Тхионго, хорошо известный в Африке и за ее пределами, лауреат премии журнала «Лотос», оказался в тюрьме. Освобожден он был лишь к концу 1979 года.

Все почитатели таланта Нгуги, среди которых немало советских людей, обеспокоены его судьбой, его будущим — и в личном, и в творческом смысле. Хочется верить, однако, что прославленный кенийский романист найдет в себе достаточно сил, чтобы выдержать житейские невзгоды, это лихолетье испытаний, как это произошло с его замечательными, первопроечными в Восточной Африке произведениями.



ТУНИССКИЕ СКАЗКИ

ИХА И ОСЕЛ

Был у Иха осел.

Однажды осел пасся без присмотра, и его украли. Поискав и нигде не найдя своего осла, Иха побежал по деревне с криком:

— О люди! Верните мне осла, или я поступлю, как мой отец.

Напуганные воры вернули осла.

Один из них обратился к Иха:

— Скажи, а как же поступил твой отец?

— Проще простого, — отвечал Иха, — купил себе другого

ИХА В ИСПАНИИ

Поехал Иха как-то в Испанию.

Заходя во дворец халифа, Иха никогда не кланялся

Чтобы заставить его согнуться, халиф приказал прибить поперек двери доску на уровне пояса.

Иха увидел доску, подумал, затем повернулся, нагнулся, и вошел во дворец, пятясь задом.

Позабавленный халиф наградил его подарком.

ИХА И МЯСО

Однажды Иха купил три фунта мяса и сказал своей жене

— Приготовь мясо к обеду.

И ушел.

Женщина тут же сварила мясо и съела его.

В обычный час Иха вернулся очень голодный.

Войдя, он сказал жене:

— Дай мне скорее поесть!

Женщина насмешливо посмотрела на него и отвечала:

— Кошка съела все мясо!

Рассерженный Иха взвесил кошку: оказалось как раз три фунта. Тогда Иха сказал жене:

— Если здесь мясо, то где же кошка? Если здесь кошка, то где же мясо?

ДОГОВОР ИХА

Была у одного феллаха ферма. И нужен ему был работник. Проходя мимо фермы, Иха повстречал хозяина.

— А, здравствуй, Иха! Пойдешь ко мне работать?

— Пойду, а что заплатишь?

— Я дам тебе жилье, буду кормить и одевать.

Иха согласился. Договор был подписан.

Вечером Иха поел, попил и лег спать.

Наутро, в десять, он еще не поднимался.

Рассерженный хозяин кинулся к нему со словами:

— Эй, Иха, сколько ты думаешь валяться, ты что, свихнулся?

— Не знаю, кто из нас двоих свихнулся, — сказал Иха. — Я попил, я поел, я лег спать, а теперь я жду, когда, согласно договору, ты прийдешь одевать меня.

ДЕРВИШ И ЖЕСТОКИЙ ПРАВИТЕЛЬ

Господь бог исполнял все просьбы дервиша, жившего в Кайруане.

Однажды правитель призвал его и велел:

— Помолись за меня!

Дервиш поднял руку и прошептал:

— Господь, пошли ему смерть!

— О боже! — вскричал властитель. — Что это за молитва?

— Это пожелание для блага твоего и всех мусульман, — отвечал старик. — Для твоей же души лучше, чтобы ты умер, а не мучал людей.

Жил на свете скупец, богатый землей и деньгами, и были у него несметные сокровища, спрятанные далеко от деревни. Как-то раз жарким полднем скупец пошел за своим кладом. На полпути захотелось ему пить. И повстречались ему торговцы лимонадом, наливкой и даже водой, потому что воды в том краю так мало, что ее продают. Скупец справился о цене, постоял, подумал и сказал сам себе негромко:

— Слишком дорого, пойду своей дорогой. Когда вернусь, тогда и напьюсь досыта.

Жажда мучила его все больше и больше, и к цели он добрался совсем обессиленным. Разрыл он свои сокровища, схватил их, а подняться уже не смог; положил их перед собой и стал молить небо, чтобы оно превратило все его богатство хоть в каплю воды. Но просил он тщетно. Так и умер.

ЕЖ

Знаете ли вы ежа?

Этот маленький невзрачный зверек прячется от глаз. Скромный и незаметный, сливаясь с землей, таскает он по кочкам свое коренастое, утыканное колючками тельце. Ребенок, неожиданно увидев, как он охотится в саду за улитками, пугается его вида. Так и живет он в одиночестве, вдали от всех.

Хотите, я расскажу вам историю этого зверька, такого пугливого и грустного?

Было то давно. Работали как-то пожилые женщины перед домом. Весело переговариваясь, они чесали на кардах овечью шерсть.

Недалеко от них, на берегу реки, паслись их стада. Вдруг они увидели, что одна овца отбилась от стада, охраняемого собаками. Бросив работу, женщины дружно кинулись в погоню.

Мимо проходил чужак. Пользуясь отсутствием женщин, он унес их карды.

Вернувшись, женщины очень огорчились. Это была для них большая потеря. Они долго осыпали проклятиями вора и одна из них крикнула:

— Пусть бог покарает его, пусть тело его ошетинится всеми зубьями наших кардов.

Проклятье настигло вора уже далеко от деревни. В тот же миг он обратился в маленькое колючее животное. Так появился первый еж.

Семена лапками, он побежал в гущу кустарника, чтобы скрыть свой позор, и с тех пор таится от всех.

ОБЕЗЬЯНА И РЫБАК

Жил на свете бедный рыбак, который трудился с утра до вечера, но все не мог наловить достаточно рыбы, чтобы избавиться от нищеты.

Однажды, после многочисленных неудач, он вдруг почувствовал, что сеть потяжелела, и вытащил из воды сундучок. Решив, что это сокровище, рыбак трясущимися руками открыл сундучок и с огорчением увидел, что там сидит обезьянка. Но животное так забавно корчило рожи, что бедняк расхохотался и поразился своей находке.

Пока рыбак готовил ужин, обезьянка передразнивала каждое его движение. Рыбак хохотал во все горло; все то, что еще вчера он делал нехотя и со скукой, превратилось теперь в развлечение.

Но нужда есть нужда, пора было идти на рынок, а в доме не осталось ни единой монетки, чтобы заплатить за хлеб и овощи. И тогда обезьяна дала рыбаку волшебный кошелек, в котором всегда было ровно столько, сколько нужно.

— Я знаю прекрасную царевну, живущую во дворце, пойдем к ней, — сказала обезьянка. — Возьми кошелек, купи лошадь — и в путь! И запомни: всякий раз, как ты окажешься в затруднительном положении, сделай вид, что сердишься и бьешь меня.

Вскоре они подошли ко дворцу. Рыбак сделал вид, что сердится и бьет обезьянку, и та подняла такой шум и визг, что сама царевна выглянула на улицу.

— Какие потешные! — сказала она. — Пусть войдут. — И едва они оказались во дворце, тут же добавила: — Хочу, чтобы эта обезьянка жила у меня.

— Тогда выходи за меня замуж, — сказал рыбак.

Царевна согласилась, и обезьянка и ее хозяин зажили во дворце. Но вскоре бывший рыбак почти забыл о своей верной подруге и стал обращаться с ней как с простой зверюшкой.

Обезьяна решила испытать хозяина и притворилась тяжело больной. К правителю пришли придворные и сказали:

— Государь, твоя обезьяна умерла!

— Да? Бросьте ее в навозную кучу, — равнодушно ответил правитель.

Он еще и договорить не успел, как вновь очутился у реки, бедный рыбак, с пустыми рваными сетями в руках.

Пантера жила в пещере со своими двумя дочерьми, красивыми и кровожадными, какими и должны быть пантеры. Мать рыскала по всей округе, чтобы принести им добычу, а они сидели в пещере, сытые и откормленные.

Однажды к ним забрался хитрый Шакал с длинными и острыми, как наконечники копий, ушами. Оглядевшись, он обратился к сестрам-двойняшкам, удивленным и напуганным этим неожиданным вторжением:

— Как вас зовут?

— Пантеры, — робко ответили сестры.

— А где же ваша любезная матушка, моя старинная приятельница?

— Она пошла на охоту, чтобы принести нам поесть.

— Посмотрите на меня внимательно, дети мои, видите, это грозное оружие у меня на голове? Я защищу вас от любой опасности, только слушайте меня. Меня зовут Длявас. Запомните мое имя!

— Хорошо, запомним!

— Когда ваша матушка принесет еду, спросите ее: «Это для кого, мама?» Если она ответит: «Длявас», — значит, дичь принадлежит мне, а если она скажет: «Для моих деток», — значит, пища ваша. Поняли меня, девочки?

— Поняли, — ответили окончательно перепуганные пантеры.

Никогда еще они не видели такого чудовища с наконечниками копий вместо ушей.

Вскоре в пещеру вернулась мать Пантера с задранной антилопой.

— Для кого это мясо, мама? — спросили дети.

— Для вас, — ответила мать, — и тут же умчалась по своим делам.

— Вы слышали! — торжественно провозгласил Шакал, вылезая из укромного уголка, где он прятался от Пантеры-матери. — Она ясно сказала: «Для вас». Значит, антилопа моя, да я ведь говорил уже вам, что мы старинные приятели. Она это только подтвердила.

Он жадно набросился на еще теплое мясо. Юные пантеры, вне себя от голода и ярости, не смели, однако, возражать.

Прошло много дней и каждый раз на свой вопрос маленькие пантеры получали все тот же ответ: «Для вас». Но вскоре мать Пантера заметила, что обычное веселье покинуло ее логово. Дочери больше не играли, лежали без движения, а ведь прежде они были такими непоседами. Что приключилось?

Встревоженная и ничего не понимающая мать спросила у малышей о причине странной перемены в их поведении.

— Дети, объясните, что с вами?

— Это все твой друг Длявас, он поедает то, что ты нам

— Что это за «Длявас» и когда он появился?

— О, давно! — и пантеры рассказали матери о происшедшем.

Мать, рассвирепев, спросила:

— Где он сейчас?

— Здесь, с нами.

Забившийся в угол Шакал не подавал признаков жизни. Он обдумывал, как бы выбраться из ловушки, в которую угодил по собственной воле.

— Выйдите обе отсюда! — крикнула Пантера детям. — Сейчас я расправлюсь с этим «Длявас».

Она вытолкала обеих дочерей наружу. Шакал тем временем затаился в глубине пещеры.

— Госпожа, — сказал он притворно смиренным голосом, — выброси сначала мои туфли.

И пройдоха выставил вперед острые концы длинных ушей. Ослепленная яростью пантера схватила «туфли» и вышвырнула их наружу.

Маленькие пантеры закричали:

— Мама, мама, ты выбросила Длявас, смотри, как он улепетывает!

И вправду, Шакал был уже далеко. Несмотря на всю быстроту своих лап, пантера так и не смогла настичь беглеца. Она сконфуженно повернула назад. Через несколько дней ее дети оправились от перенесенного голода и повеселели.

А Шакал резвился и распевал во все горло о победе над злой пантерой, которую он так ловко провел в ее собственном жилище. Он поведал об этом подвиге своим детенышам, и они смеялись до упаду.

С тех пор Пантера и Шакал — непримиримые враги.



САМЫЙ СИЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК НА СВЕТЕ

У охотника было две жены. Всякий раз на охоте он убивал трех слонов. Одного он поджаривал и съедал на месте, а с двумя другими возвращался домой. Перебросив добычу через стену крааля, он шел в обход. И пока муж огибал стену, жены успевали приготовить мясо, которое они и съедали все вместе. Радость и веселье царили в семье, и женщины во всем повиновались мужу. Каждый раз по окончании обильного обеда муж спрашивал у жен: «Думаете ли вы, что на свете найдется мужчина сильнее меня?» На что они отвечали: «На всей земле нет и никогда не будет мужа столь сильного и прекрасного, как наш».

От бесконечного повторения похвалы охотник совсем зазнался и стал и впрямь считать себя самым смелым и самым красивым на всей земле.

Позже он взял себе третью жену. В первую же ночь после свадьбы он убил на охоте четырех слонов. Первого изжарил и дочиста съел его мясо, а трех остальных взвалил на плечи и, как обычно, перебросил через стену. К его возвращению две первые жены уже разделали туши и поджарили слонятину. Но третья и пальцем не шевельнула, хотя ей и объяснили, что третий слон предназначался для нее. Войдя, муж заметил, что слон валяется у стены. Но он ничего не сказал. Закончив обед, муж спросил у трех своих женщин:

— Есть ли на всей земле человек сильнее меня?

Первые две отвечали:

— Никогда, о наш муж, не видели мы на земле мужчины сильнее тебя.

А третья сказала:

— Да, есть куда более сильные, и таких немало, рядом с ними ты будешь выглядеть беспомощным ребенком.

Самолюбие мужа было больно уязвлено, но он не смел оскорблять молодую жену, а решил доказать ее неправоту.

На следующее утро муж взял свой колчан, полный отравленных стрел, взял нож, лук и копья, числом десять, и отправился на поиски достойного противника. Достиг он огромного леса. Много дней шел он сквозь этот лес, и наконец увидел дом без крыши, величиной с большой, обнесенный стенами го-

род. Утомленный путник лег и заснул. Он и не знал, что попал в логово чудовища, в чьих волосах водились слоны, львы, пантеры, антилопы и еще много разной живности, не говоря уже о пернатых.

Охотник проснулся от крика зверей и птиц:

— Да здравствует самый сильный человек на свете, сильнейший из сильных! Никогда еще подобный ему не жил на земле!

Завидя страшилище, охотник вскочил и бросился бежать со всех ног, побросав в суматохе стрелы и лук, копья и нож. Но чудище уже заметило его и устремилось в погоню.

Вдруг охотник увидел двух молодых великанов необыкновенной силы. Третий, широкоплечий великан, спал у их ног. Это был отец молодых, и сон его должен был длиться пятьдесят пять лет.

— Прошу вас, защитите меня, — взмолился охотник, — меня преследует что-то такое, чего я не могу ни назвать, ни описать, так как никогда раньше не видел ничего подобного.

Он еще не кончил говорить, а голоса зверей и птиц с головы чудовища уже возвестили:

— Да здравствует сильнейший, сильнейший из сильных! Никогда подобный ему еще не жил на этой земле!

Когда два молодых великана увидели гору, поросшую лесом, населенным зверьем и птицей, прославлявшими силу и мощь господина, они испугались и начали трясти отца, чтобы разбудить его. Но пятьдесят пять лет, назначенные для сна, еще не истекли, и он не просыпался. Тогда сыновья срубили тяжелые колья и начали дубасить отца, но тот не вставал. Грозное чудище надвигалось. Дети великана и охотник тряслись от страха.

Чудище было уже совсем близко. Оно опиралось на огромный баобаб, вырванный с корнями. Подойдя к спящему, оно с такой силой стукнуло о землю, что шум и грохот тотчас пробудили отца-великана:

— Что случилось? — спросил он детей.

Они указали на чудовище.

Отец поднял голову и, увидев чудовище, бросил на сыновей презрительный взгляд. Протянув руку, он разом схватил его вместе с лесом, всеми зверьми и палкой. Смял его, как листок бумаги, и закинул далеко-далеко. Потом опять вытянулся и погрузился в сон.

Так был спасен охотник. Он шел домой, спрашивая самого себя, не пригрезилось ли ему все это. А вернувшись, позвал всех трех жен и сказал двум первым:

— Вы всегда обманывали меня лестью. Я требую, чтобы вы немедленно покинули мой дом, так как из-за вашей лжи я натерпелся такого, что не скоро забуду. Ну, а третью жену я оставлю в доме, потому что она единственная открыла мне правду.

Перевод с французского Е. Лившиц



МОЗАМБИКСКИЕ СКАЗКИ

ЧЕРЕП

Некий человек странствовал по свету. Зашел он однажды в безлюдную заброшенную деревню. Осмотрелся и увидел на земле старый череп. Спрашивает:

— Эй, череп! Почему все отсюда ушли, только ты один остался?

Три раза повторял он этот вопрос. И лишь тогда череп ответил:

— Меня погубил язык мой, тебя же погубит твой.

Испугался человек, никак не ожидал он, что череп заговорит. Пришел он в другую деревню и объявил всем:

— Я видел говорящий череп!

Никто не поверил пришельцу. Вся деревня обвиняла его во лжи.

А он настаивал:

— Я не лгу. Да точно, он со мной говорил. Не верите — пошлите со мной двоих. И если череп не заговорит, пусть они убьют меня.

На том и порешили.

Пришли все трое в ту деревню, и человек стал требовать ответа у черепа:

— Эй, череп! Как получилось, что все ушли, а ты тут остался?

Но череп молчал.

Целый день вопрошал человек, из сил выбился. Наконец его попутчики не выдержали:

— Значит, все-таки ты солгал, мы убьем тебя. Ждать больше нет сил, лопнуло терпение.

Только убили они человека, как череп вдруг заговорил:

— Я же предупреждал тебя: «Меня погубил язык мой, тебя же погубит твой»

ЯЩЕРИЦА И ЛЯГУШКА

Лягушка завидовала сверкающей коже ящерицы. И вот говорит она раз:

— Какая ты всегда красивая! Нет ли у тебя снадобья и для моей тусклой, морщинистой кожи?..

Ящерица с готовностью отвечает:

— Есть. Слушай...

И только успела сказать:

— Наливаешь в кастрюлю оливкового масла, ставишь на огонь. Затем...

— Понятно, понятно, — закричала Лягушка и ускакала, так и не пожелав выслушать Ящерицу до конца.

Пришла она домой, поставила на огонь оливковое масло и, как начало оно закипать, — плюх! — прыгнула в кастрюлю.

Лягушачья кожа, само собой, не приобрела красоты и блеска, а покрылась волдырями и стала еще безобразней. А все из-за хвастливости и нетерпения.

ПОЧЕМУ СОБАКИ ОБНЮХИВАЮТ ДРУГ ДРУГА

Давным-давно, когда собаки еще не были приручены человеком, жили они в двух странах. Правители этими странами цари, и каждый из них считал себя могущественнее соседа.

Однажды некий царь решил жениться на сестре другого. Но, так как страны враждовали, другой правитель ответил:

— Не хочу, чтобы ты стал мужем моей сестры.

Отказ страшно разозлил этого царя, потому что он очень полюбил девушку. Он велел послать слугу ко двору своего недруга с наказом передать такие слова:

— Не отдашь мне в жены сестру, пойду на тебя войной и разорю твои земли.

Когда пес-гонiec собирался в дорогу, старейшины увидели, какой он неряха: морда неумыта, хвост — весь в грязи.

А там существовал такой обычай: посланец, который идет

сватать невесту, должен быть умытым и чистым. Вот советники и возмутились:

— Что это такое? Почему ты не умылся?

Слуге стало очень стыдно, советники приказали вымыть его хорошенько и даже надуть ему хвост.

Посланец шел по дороге, и его прямо распирало от гордости, что он такой чистый и хвост у него надут. Он и забыл, зачем шел. Свернул куда-то и поминай как звали — так и не выполнил поручения.

Вот почему с тех пор собаки с таким прилежанием обнюхивают друг друга: а вдруг это как раз тот пропавший гонец?

ХАМЕЛЕОН И ПЕТУХ

Хамелеон с женой пришли в гости к Петуху. Курица-хозяйка встретила их с радостью. Оба Хамелеона были такие красивые — просто загляденье.

Войдя в дом и сядя на предложенное ему место, Хамелеон сменил краску.

Во время разговора он опять поменял цвет. И так трижды, пока не сели за стол.

За столом шкурка Хамелеона была других оттенков. И прощаясь, он снова удивил хозяев разнообразием своих нарядов.

Получив ответное приглашение, Петух решил не отставать от друга.

— И я тоже сменю наряд в гостях, — сказал он жене.

— Во что же ты переоденешься, если у тебя всего одно платье? — удивилась Курица.

Муж высокомерно обронил:

— Во что бы то ни стало я должен переодеться.

Делать нечего, придумали они наконец, как Петуху сменить свой наряд: Курица должна будет вырвать ему перья.

На следующий день Петух с женой пришли к Хамелеону. Войдя в дом, Курица ощипала мужу правое крыло, а затем, когда уселись за стол, и левое.

За обедом Петух попросил жену выдернуть оставшиеся перья.

Жена испугалась:

— Ты же можешь умереть!

— Да не умру я, не беспокойся.

Домой возвращались они вечером, по прохладе, и Петух простудился. Ночью он умер.

ОДИНОКОЕ СЕРДЦЕ

У Льва и Львицы было трое сыновей. Один назвал себя Одинокое Сердце, второй выбрал имя — Материнское Сердце, третий — Отцовское Сердце.

Одинокое Сердце подстерег кабана, но один, без чужой помощи, справиться с ним не смог.

Материнское Сердце подстерег кабана, и мать помогла ему убить зверя. Они съели его вдвоем.

Отцовское Сердце тоже подстерег кабана, и отец тут же пришел к нему на помощь. Вдвоем они съели вкусную добычу.

Одинокое Сердце выследил другого кабана, но и с ним не сумел справиться в одиночку. Начал он хиреть и в конце концов умер.

Двое же его братьев росли сильными и здоровыми, потому что они были не одиноки.

КОТ И МЫШЬ

Подружились Кот с Мышью. Однажды решили они совершить путешествие. Но дорогу им преградила река.

— Что же нам делать? — растерялся Кот. — Река такая широкая.

Мышь отвечает:

— Пустяки. Построим лодку.

Нашли они корень маниоки и сделали из него лодку. Спустили ее на воду, сели и поплыли.

В дороге захотелось им есть, да вспомнили, что ничего с собой не взяли.

Спрашивает тогда Кот:

— Что же нам делать?

— Не волнуйся, дружище, мы можем съесть нашу лодку.

Корень маниоки пришелся коту не по вкусу, он съел совсем немножко, а Мышь ела, ела, ела, пока не прогрызла дырку, лодка и пойдя ко дну.

Пришлось им добираться до берега вплавь. Мышь плавала хорошо и быстро, а Кот еле держался на воде, с большим трудом доплыл до берега. И стыдно же ему было.

Посмотрел на Мышь голодный Кот и видит, какая она толстенькая. Захотелось ему съесть ее.

— Я ужасно голоден, Мышь. Придется мне тебя съесть.

— Что делать, — отвечает хитрая мышь, — но посмотри, какая я грязная. Я уж сначала помоюсь. Подожди-ка.

Мышь пошла и пропала. По сей день ждет ее Кот.

У Льва была дочь на выданье. Многие молодые люди приходили свататься, да все без толку, потому что всем женихам отец ставил такое условие:

— Руку моей дочери получит только тот, кто сумеет оста-

Но кто же сумеет это сделать? Конечно же, никто.

Посватался к дочери Льва и Кролик.

Невесте он приглянулся.

Как-то рано утром Кролик отправился на охоту, прихватив с собой лук и стрелы.

Подстрелил он цаплю, разделал ее и начал жарить. И вдруг говорит невесте:

— Мне надо забежать к родителям. Ты пока дожарь цаплю, а потом, вместе со своим отцом, можешь ее съесть. Оставьте только немного подливы.

Кролик ушел. Вернулся, видит — цапля съедена, осталась одна подлива.

— Возьми палку и попроси моего будущего тестя поджарить на ней подливу, — сказал длинноухий дочери Льва.

Лев взял палку, но сколько он ни пытался положить подливу на палку, ничего не получалось — все оказывалось на земле. Так и не удалось ему поджарить подливу.

Позвал Лев соседей и говорит:

— Где же это видано, чтобы подливу поджаривали на вертеле?! Спросите у Кролика, что он думает по этому поводу.

А Кролик недолго думая:

— Значит, мой тесть признает, что подливу на палке жарить нельзя. Вот так и ветер нельзя остановить.

Ничего не осталось Льву, как похвалить жениха:

— Молодчина, Кролик! Ты достойная пара для моей

ГИЕНА, ЛЕОПАРД И СОБАКА

Гиена и Леопард велели Собаке:

— Иди в деревню и принеси огня, чтобы мы могли приготовить мясо.

Пришла Собака в деревню, увидела, что там легко прокормиться да и решила остаться. Не принесла она огня.

Кричали-кричали ей друзья:

— Собака, эгей! Собака, эгей!

Так и не дождалась ее Леопард с Гиеной. Пришлось им есть сырое мясо.

Наутро повстречали они Собаку и говорят:

— Из-за тебя мы так и не поджарили мясо.

Собака отвечает:

— Я нашла прекрасное место. Там готовят всего вдоволь, так что незачем есть сырое. Я остаюсь в деревне.

Вот почему не дружат Леопард и Гиена с Собакой, ведь им пришлось из-за нее съесть сырое мясо, когда так хотелось жареного.

КРОЛИК И БЕССЛОВЕСНАЯ ЖЕНЩИНА

Жила-была бессловесная женщина, рот она раскрывала только во время еды.

Многие мужчины хотели жениться на ней, но не могли добиться от нее ни «да», ни «нет».

Кролик тоже посватался. Мать молодой женщины предупредила жениха:

— Ты хочешь жениться на моей дочери? Но ведь тебе не с кем будет разговаривать, ты просто помрешь с тоски.

— И все-таки я женюсь на ней. Она нравится мне, а что она бессловесная — не беда. Я заставлю ее заговорить.

Сыграли свадьбу. Наконец Кролик придумал одну уловку.

Сделал он удочку, забросил ее вечером в реку, а на берегу поставил мышеловку.

За ночь в мышеловку попалась мышь, а на удочку клюнула рыба.

На рассвете Кролик сунул рыбу в мышеловку, а мышь нацепил на удочку. Вернулся домой и послал жену посмотреть, что ему удалось поймать. Пошла женщина и увидела мышь на удочке, а рыбу в мышеловке. Заголосила она в ужасе:

— Ай! Ай! Ай!

Подбежала к дому, в волнении стала звать Кролика:

— Муж, случилось небывалое дело! На удочку попалась мышь, а в мышеловку угодила рыба.

Кролик стал уверять ее, что это ей померещилось, такого не может и быть.

Но женщина настойчиво повторяла:

— Нет, это правда, правда! Пойдем, и ты сам увидишь! Созвал Кролик людей:

— Друзья мои, спросите у моей жены, что произошло!

И женщина очень ясно объяснила:

— Мышь попалась на удочку, а в мышеловку угодила рыба.

И только тогда Кролик признался, что подстроил все это нарочно.

Пошел он потом к теще и говорит ей:

— Все-таки я заставил твою дочь заговорить. Теперь мне есть с кем беседовать, я не помру с тоски.

ГИЕНА И ЧЕРЕПАХА

Попала как-то Черепаха в беду: загорелась трава, и пожар стал быстро распространяться. Увидела Черепаха Гиену и взмолилась:

— Пожалей меня, огонь уже близко, а быстрее идти я не могу.

Гиена лишь рассмеялась.

Пробежал мимо Леопард, попросила Черепаха помочь ей. Поднял Леопард Черепаху, посадил на дерево, а когда огонь потух, снова положил ее на землю.

— Позволь же мне отблагодарить тебя за услугу. У тебя доброе сердце, ты должен быть красивым, — сказала Черепаха и раскрасила его шкуру головешками.

Повстречала Гиена Леопарда и удивилась:

— Откуда у тебя, дружище, такой наряд?

Отвечает Леопард:

— Это подарок моей подруги Черепахи.

Пошла Гиена к Черепахе, просит и ей сделать такое же платье. А Черепаха решила:

— У тебя злое сердце, пусть же наружность твоя будет безобразной.

Размалевала уродливо она шкуру Гиены, и та, пристыженная, убралась восвояси.

КАК ПОССОРИЛИСЬ КРОЛИК С ВОРОНОМ

Ворон с Кроликом были большими друзьями. Решили они как-то побродить по деревням, и чтобы все видели их дружбу, договорились нести друг друга на спине по очереди.

Первым забрался на спину друга Кролик. Спрашивают Ворона люди:

— Ворон, кого это ты несешь?

— Моего друга из Намандиша.

Затем Ворон уселся на Кролика:

— Кролик, кого ты несешь? — спрашивают люди.

— Пух, перья да огромный клюв впридачу, — отвечает с издевкой Кролик.

Не понравился такой ответ Ворону, соскочил он на землю и навсегда поссорился с Кроликом.

СВИНЬЯ И КОРШУН

Свинья и Коршун были неразлучными друзьями. Свинья завидовала крыльям своего друга и постоянно докучала ему просьбой: «Помоги и мне подняться под облака».

Коршун решил ее порадовать. Собрал перья от других птиц и воском прикрепил их к бокам Свиньи. Свинья очень обрадовалась. Захотелось ей взлететь высоко-высоко, но лучи солнца растопили воск, и перья одно за другим стали отваливаться. Свинья спускалась все ниже и ниже. И когда упало последнее перо, Свинья ударилась оземь, да с такой силой, что нос у нее сплющился.

Свинья решила, что Коршун хотел ее смерти, потому, мол, и крылья плохо прикрепил. С того дня не дружит она больше с Коршуном, а увидев его высоко в небе, сердито хрюкает. Вот почему у свиньи нос пяточком, и ей совсем не хочется летать...

ЧЕРЕПАХА И СЛОН

Не ладили как-то Черепаха со Слоном. Стал Слон смеяться да издеваться:

— Какие у тебя короткие лапы, Черепаха!

Черепаха отвечает:

— Может, и короткие, да только я могу перепрыгнуть через тебя.

Слон не поверил:

— Сказала тоже! Как это ты при таких лапах да своим росте перепрыгнешь через меня?

Но Черепаха стояла на своем:

— Твое дело — верить или не верить, а я говорю, что перепрыгну.

— Да не перепрыгнешь ты!

— А если перепрыгну, что тогда?

Слон отвечает:

— Если перепрыгнешь, вырву один бивень и подарю его тебе.

На том и порешили.

Черепеха пошла к своей подруге и говорит:

— Пospорили мы со Слоном. Он пообещал подарить мне свой бивень, если я перепрыгну через него. Вот я и придумала: ты спрячешься на другой стороне дороги, а потом покажешься Бивень мы продадим и заработаем много денег.

Так и сделали. Вторая Черепеха заранее спряталась в условленном месте, а подруга ее в назначенное время встретилась со Слоном.

Приготовились спорщики. «Прыгаю!» — предупредила Черепеха и спряталась. С другой стороны дороги вышла из своего тайника вторая Черепеха и говорит: «Плюх!» (как будто она плюхнулась на землю).

Спрашивает Черепеха:

— Ну что?

— Ничего не понимаю, — признался Слон. Попросил он повторить все сначала. Повторили.

— Ну что? — спрашивает Черепеха.

А Слон:

— Ничего не понимаю.

Снова встал он в полный рост. Черепеха предупредила: «Прыгаю!» А подруга ее отозвалась: «Плюх!»

Пришлось Слону признать:

— Что ж, победа за тобой.

Вырвал он бивень и подарил Черепехе.

Так что, если вы увидите слона без бивня, знайте, что это тот самый, которого обманула Черепеха.

УЛИТКА И ГАЗЕЛЬ

Газель очень гордилась легкостью и быстротой своего бега. Повстречала она как-то Улитку и ну насмехаться:

— Ты же совсем не можешь бегать. Стыд какой! Только и знаешь, что ползать себе по земле!

Умная Улитка решила подшутить над Газелью и говорит:

— Давай в следующее воскресенье устроим состязание: кто быстрее добегит до реки.

— Ты хочешь соревноваться со мной? — удивилась Газель. — Ну что ж, я согласна.

Рассмеялась Газель: совсем спятила Улитка.

А Улитка эта была грамотная, закончила школу. Она разослала всем своим подругам письма с просьбой в следующее воскресенье выйти на дорогу и крикнуть пробегающей Газели. «Да здесь я, здесь!»

В назначенное время встретила Газель с Улиткой и, даже не пытаясь сдержать смех, говорит:

— Ну что, начнем? Посмотрим, кто быстрее добежит до реки.

Улитка тут же отстала и спряталась в кусты. А Газель время от времени спрашивала по дороге:

— Улитка, а Улитка, ты где?

И каждый раз кто-нибудь из подруг Улитки ей отвечал:

— Да здесь я, здесь!

Газель не сомневалась, что это одна и та же Улитка. Она бежала все быстрее и быстрее, но всегда кто-нибудь да отвечал на ее вопрос.

Газель не выдержала такого быстрого бега и умерла.

Улитка была умнее Газели, недаром она ходила в школу и училась читать и писать. Вот почему ей удалось победить Газель.

Перевод с португальского Н. Тараториной



Первый выпуск литературного альманаха «Африка» познакомит наших читателей с романом «Хризалида» алжирской писательницы Айши Лемсин, посвященным проблемам женского равноправия и освобождения Алжира от колониального ига; повестью «Запах лука» молодой ганской писательницы Пегги Аппиа — правдивым и непосредственным рассказом о жизни африканской деревни; пьесой нигерийского драматурга Коле Омотосо «Тени на горизонте», остро ставящей вопрос о роли рабочего класса в Африке, статьями советских журналистов С. Кулика и Н. Хохлова и другими произведениями.

70304-313

210-80

4703000000

И/Афр/

028(01)-81

ЛИТЕРАТУРНЫЙ АЛЬМАНАХ «АФРИКА»

Выпуск первый

Редактор

А. Ибрагимов

Художественный редактор

Ю. Коннов

Технические редакторы

В. Кулагина и Л. Витушкина

Корректор

М. Пастер

ИБ № 1786

Сдано в набор 09.06.80. Подписано к печати А06729 от 24.02.81. Формат 84 × 108^{1/32}. Бумага тип. № 1. Гарнитура «Таймс». Печать высокая. 23,94 усл. печ. л. 23,94 усл. кр. отт. 27,352 уч.-изд. л. Зак. № 1396. Тираж 50000 экз. Цена 2 р. 80 к. Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература». 107882, ГСП, Б-78, Ново-Басманная, 19. Ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 197136, Ленинград, П-136, Чкаловский пр., 15.